

40
Щ 61
Л. В. ЩЕРБА

◆

ЯЗЫКОВАЯ
СИСТЕМА
— И —
РЕЧЕВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

◆



АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА
КОМИССИЯ ПО ИСТОРИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

А. В. Щ Е Р Б А

ЯЗЫКОВАЯ
СИСТЕМА
— И —
РЕЧЕВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД · 1974

Редакторы:

Л. Р. ЗИНДЕР, М. И. МАТУСЕВИЧ

Щ $\frac{70101-1075}{042 (01)-74}$ 350-74

© Издательство «Наука» 1974

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий том трудов академика Л. В. Щербы содержит его различные работы, как уже опубликованные в свое время, так и печатающиеся по сохранившимся в архиве рукописям и стенограммам. Помещены здесь и переводы некоторых его статей из старых зарубежных журналов, ныне недоступных для читателя.¹ Многие из публикуемых работ рассеяны по разным, часто малоизвестным изданиям, другие же, хотя и переиздавались в двух предшествующих сборниках,² тоже стали уже сейчас библиографической редкостью.

Помещаемые здесь труды Л. В. Щербы, несмотря на то, что многие из них были написаны давно, не только представляют несомненный интерес для истории отечественной филологической науки, но сохраняют актуальность и для современного языковедения. Это доказывается тем, что многие лингвистические проблемы, поставленные Щербой, и высказанные им идеи находят свое дальнейшее развитие в исследованиях нашего времени. Достаточно назвать хотя бы столь популярную сейчас теорию порождающей грамматики Н. Хомского, или не менее важную теорию языковых контактов, или же, наконец, общую теорию лексикографии, которая находит отражение в практике составления словарей разнообразных типов в нашей стране.³

Редакторы предлагаемого сборника работ Л. В. Щербы стремились к тому, чтобы дать читателям по возможности полное представление о его общелингвистических взглядах, о том, как он понимал сущность и место языковой системы, как мыслил себе ее функционирование в речевой деятельности человека. Этим стремлением объясняется и характер публикуемых здесь извлечений из книг Щербы.

Естественно, что в некоторых статьях, относящихся к разным периодам его научной деятельности, имеют место известные повторения. Они возникли вследствие того, что Щерба стремился как можно шире разъяс-

¹ Имена переводчиков см. в Примечаниях.

² Л. В. Щерба. Избранные работы по русскому языку. М., 1957; Л. В. Щерба. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Л., 1958.

³ С. Д. Кацнельсон. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972; О. С. Ахманова. Естественный человеческий язык как объект научного исследования. — Иностранные языки в школе, 1969, № 2; В. Ю. Розенцвейг. Языковые контакты. Л., 1972; Новое в лингвистике, вып. VI. Языковые контакты. М., 1972; В. П. Берков. Вопросы двуязычной лексикографии. Л., 1973.

нить разным кругам читателей ряд кардинальных проблем, либо впервые им поставленных, либо решаемых по-новому.

В текст работ Щербы не вносились в принципе никакие исправления или сокращения, за исключением стенограмм лекций и докладов, не подвергшихся в свое время авторской правке.

Для удобства читателей дополнены библиографические данные работ, упоминаемых в тексте; все дополнения заключены в квадратные скобки.

Статьи и извлечения из книг в настоящем томе составляют шесть разделов: I. Общие вопросы языкознания; II. Фонетика; III. Теория письма, транскрипция и транслитерация; IV. Лексикография; V. Методика; VI. Статьи о творчестве различных ученых — персоналии. Внутри каждого раздела статьи расположены не в хронологической последовательности, а по степени их значимости.

Как видно из приведенного перечня, этот том отличается от предшествующих сборников тем, что он содержит и некоторые — наиболее существенные — работы Л. В. Щербы по методике преподавания иностранных языков, которую он разрабатывал в плане рассмотрения языка в его трех аспектах, связывая ее таким образом с общим языкознанием.

В приложении содержится перечень трудов академика Л. В. Щербы, основанный на списке, составленном его покойным сыном Д. Л. Щербой,⁴ и пополненный некоторым числом неизвестных до сего времени рукописных работ, сохранившихся в архиве, а также и несколькими печатными статьями, ранее упущенными.

В примечаниях в конце книги для каждой работы указывается либо дата ее первого опубликования, либо время ее написания, если она печатается с рукописи, либо фамилия переводчика, если это перевод. В тех случаях, когда у читателей могут возникнуть затруднения в понимании текста или же когда Щерба упоминает об именах и фактах, возможно неизвестных широкому кругу лиц, даются соответствующие разъяснения (такие места отмечены в тексте звездочкой: *).

Вся транскрипция — как фонетическая, так и фонематическая — заключена в квадратные скобки. В тех случаях, когда они противопоставлены, для фонематической транскрипции используются кавычки, а для фонетической — квадратные скобки. Исключение сделано только для работы «Теория русского письма», в которой Л. В. Щерба помещает транскрипцию русскими буквами в лапочках („“), а транскрипцию латинскими буквами в елочках («»).

Редакторы Л. Р. Зиндер, М. И. Матусевич

⁴ Д. Л. Щ е р б а. Список трудов академика Л. В. Щербы. — В сб.: Памяти академика Льва Владимировича Щербы. Л., 1951, стр. 23—30.

Л. В. ЩЕРБА. ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ЕГО ЖИЗНИ И НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА

Л. Р. Зиндер и М. И. Матусевич

Л. В. Щерба родился 20 февраля (5 марта) 1880 г. в семье инженера-технолога. В 1898 г., по окончании гимназии в Киеве, где тогда жили его родители, Лев Владимирович поступает на естественный факультет Киевского университета, но уже в следующем году переходит на историко-филологический факультет С.-Петербургского университета, чтобы посвятить себя в дальнейшем преподаванию русского языка и литературы, о чем мечтал с юношеских лет (так он писал в одной из автобиографий). В 1903 г. Л. В. Щерба кончает университет и И. А. Бодуэн де Куртенэ, под руководством которого он занимался, оставляет его при кафедре сравнительной грамматики и санскрита. После сдачи магистерских экзаменов в 1906 г. Л. В. получает командировку за границу и едет в Лейпциг, а затем в Северную Италию, где самостоятельно изучает в деревне живые тосканские диалекты. Затем во время осенних каникул 1907 и 1908 гг. едет в лужицкую языковую область и по совету И. А. Бодуэна де Куртенэ занимается изучением мужаковского диалекта лужицкого языка, являющегося таким образом, в котором выявляется взаимное влияние немецкого и лужицкого. В конце 1907 г. и в 1908 г. Л. В. живет в Париже и работает в лаборатории экспериментальной фонетики Ж. П. Руссло, изучая фонетику ряда языков и экспериментальные методы исследования. Одновременно с этим он накапливает экспериментальный материал и по фонетике русского языка для своей магистерской диссертации.

В 1909 г. Л. В. возвращается в Петербург, избирается приват-доцентом Петербургского университета и одновременно становится хранителем кабинета экспериментальной фонетики

(ныне лаборатория имени Л. В. Щербы), основанного еще в 1899 г. профессором С. К. Буlichem, но находившегося в запущенном состоянии. Л. В. вкладывает всю свою энергию и знания в развитие кабинета и добивается значительной дотации на приобретение необходимой аппаратуры и книг. С тех пор и до конца своей жизни, в течение тридцати с лишним лет, Л. В. неустанно развивает работу лаборатории, являвшейся его любимым детищем.

Годы с 1909 по 1916 были очень плодотворными в научной деятельности Л. В. Щербы. В 1912 г. он публикует и защищает магистерскую диссертацию «Русские гласные в качественном и количественном отношении», а в 1915 г. — докторскую «Востоchnолужицкое наречие». В 1916 г. он избирается профессором Петроградского университета и находится в этой должности до эвакуации из Ленинграда в 1941 г. В этот период Л. В. участвует и в работе других учебных и научных учреждений, где он занимается организационной, педагогической и научной деятельностью, как-то: на курсах иностранных языков Бобрищевой-Пушкиной, в Петербургском учительском институте, на Бестужевских женских курсах, в Институте живого слова, в Институте истории искусств и др.

Начиная с молодых лет Л. В. стремится соединить свои теоретические изыскания с практикой в разных ее аспектах, применить их для развития культурного строительства в нашей стране. Так, уже в 1914 г. он заботится о развитии языковой культуры студентов университета и организует кружок по изучению русского языка (среди участников его были С. Г. Бархударов, Ю. Н. Тынянов и др.), руководителем которого он был в течение нескольких лет. Л. В. был связан также и со школой, сначала в качестве председателя педагогического совета, а после революции — директора 1-й единой трудовой школы Петроградского района. Как пишет в биографии Л. В. его сын, «Лев Владимирович сознательно берет на себя административные обязанности. . . : он ищет верных и широких возможностей влиять на организацию преподавания, на его характер».¹ Это стремление его быть полезным в развитии образования прежде всего в средней, а затем и в высшей школе лежит в деятельности Л. В. в течение всей его жизни.

Особо следует упомянуть деятельность Л. В. в 20-х годах в качестве организатора и руководителя различных курсов иностранных языков (фонетический институт практического изучения языков и др.). Л. В. предполагал организовать в этом институте наряду с преподаванием разных других языков

¹ Д. Л. Щ е р б а. Лев Владимирович Щерба. — В сб.: Памяти академика Льва Владимировича Щербы. Л., 1951, стр. 12.

(западноевропейских и восточных) также и преподавание русского языка для нерусских. Л. В. вводит там преподавание иностранных языков по фонетическому методу и разрабатывает свою оригинальную систему.

Начиная с 20-х годов Л. В. является бессменным председателем Лингвистического общества (естественного продолжения лингвистического отделения Неофилологического общества) и группирует вокруг себя лингвистов разнообразных специальностей. С 1923 по 1928 г. под редакцией Л. В. выходит четыре выпуска сборника «Русская речь», задачей которого была популяризация лингвистики. В них принимали участие как ученые старшего поколения, например Д. Н. Ушаков, В. И. Чернышев и др., так и молодые, например С. Г. Бархударов, С. И. Бернштейн, В. В. Виноградов, Б. А. Ларин и др.

В 1924 г. Л. В. избирается членом-корреспондентом Академии наук СССР, и с этого времени начинается его плодотворная деятельность в области теории составления словарей (см. ниже, стр. 16), завершающаяся в 1940 г. написанием труда «Опыт общей теории лексикографии».

Около 1930 г. Л. В. занялся пересмотром своих общелингвистических положений, и результатом этого явилась статья «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании», которой он придавал большое значение (подробнее см. ниже, стр. 9).

В 30-е годы Л. В. продолжает заниматься словарной работой, пишет учебное пособие «Фонетика французского языка», но уделяет также большое внимание и исследованию различных вопросов грамматики, по преимуществу синтаксических, русского языка, что привлекало его еще в 20-е годы, когда он читал в Институте живого слова курс синтаксиса русского языка.

Продолжая свою многогранную деятельность и в Ленинградском университете и в Академии наук, Л. В. в то же время уделяет много времени вопросам культурного строительства. С чувством большой ответственности он принимает участие в написании учебников для средней школы, программ, в разработке вопросов орфографии и т. д. Еще в 1921 г. Л. В. активно участвует в строительстве национальных культур Союза ССР, помогает созданию письменности языка коми. А в конце 30-х годов Л. В. привлекают к переводу графики различных языков с латинского на русский алфавит, и он — благодаря своей большой лингвистической эрудиции — дает глубокие, интересные заключения по таким проектам, как например печатающееся здесь впервые по сохранившейся рукописи «Мнение Л. В. Щербы о проекте кабардинского алфавита на основе русской графики».

В конце 30-х годов Л. В. активно участвовал также в создании нормативной грамматики русского языка, подготавливаемой к изданию в АН СССР. Однако Л. В. не успел закончить эту работу из-за эвакуации в начале войны в Нолинск, где он провел два года. Там он сотрудничает в Институте школ, а также в Институте дефектологии и др., эвакуированных из Москвы. В Нолинске же Л. В. пишет «Теорию русского письма», которая осталась незаконченной, затем книгу «Основы методики преподавания иностранных языков» по плану Института школ (он написал только первую половину ее), статьи по методике преподавания языков и др.

В 1943 г. Л. В. переезжает вместе с реэвакуирующимися институтами Наркомпроса в Москву и с головой уходит в научную, педагогическую и организационную деятельность в различных институтах и комитетах.

В сентябре 1943 г. Л. В. избирается действительным членом Академии наук СССР, а в марте 1944 г. — действительным членом вновь созданной Академии педагогических наук СССР, в которой он становится во главе историко-филологического отдела.

Последним начинанием Л. В. была организованная Диалектологической комиссией АН СССР диалектологическая конференция по северно-русским говорам в Вологде. Он был ее председателем и параллельно проводил для ее участников семинар по фонетике.

С августа 1944 г. Л. В. серьезно заболел, хотя первые месяцы еще продолжал работать. 26 декабря 1944 г. он скончался.²

* * *

Научное творчество Л. В. Щербы было очень разнообразным. Он писал и на общелингвистические темы, в частности общefonетические, и о различных аспектах отдельных языков (главным образом русского), и о звуковом строе языков (русского, французского), и о лексикографии, и о методике преподавания иностранных языков, и о графике и орфографии и т. д.

Охарактеризовать все это в одной небольшой статье, разумеется, невозможно. Поэтому авторы останавливаются только на тех проблемах, которые считают особенно значительными для характеристики Льва Владимировича как ученого-языковеда.

² Подробная биография Л. В. Щербы дана в статье его сына Д. Л. Щербы в сборнике «Памяти академика Льва Владимировича Щербы» (Л., 1951, стр. 7—22). См. также статью «Л. В. Щерба» в сборнике «Русское языкознание в Петербургском—Ленинградском университете» (Л., 1971, стр. 102—119).

Широта лингвистических интересов, глубина и оригинальность развивавшихся Л. В. Щербой идей выдвинули его в первые ряды советских языковедов. Его общелингвистические взгляды были полнее всего изложены им в статье «О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании», опубликованной в 1931 г., и в работе «Очередные проблемы языковедения», которую он не успел закончить и которая была напечатана уже после его смерти. Первая была результатом глубокого пересмотра Щербой унаследованной им от Бодуэна психологической трактовки языка и соответствующих методов его изучения. Пересмотр этот заключался не в прямой критике старых взглядов, а в поисках внутренних особенностей, присущих объекту языковедения, которые могли послужить основанием для этих взглядов.

Важнейшим положением, выдвигаемым здесь Щербой, было различие речевой деятельности, языковой системы и языкового материала. При этом на первом месте стоит речевая деятельность, т. е. процессы говорения и понимания; она возможна благодаря наличию второго аспекта — языковой системы, т. е. словаря и грамматики, которые не даны в непосредственном опыте, «ни в психологическом, ни в физиологическом», а могут выводиться только из языкового материала, т. е. «совокупности всего говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы».³ Таким образом, в языковой системе мы имеем «некую социальную ценность, нечто единое и общеобязательное для всех членов данной общественной группы, объективно данное в условиях жизни этой группы».⁴ Психофизиологическая речевая организация индивида является лишь проявлением языковой системы. «Но само собой разумеется, — пишет Щерба, — что сама эта психофизиологическая речевая организация индивида вместе с обусловленной ею речевой деятельностью является социальным продуктом».⁵

Весьма существенным для концепции Щербы является то, что в отличие от Соссюра, рассматривавшего язык и речь как хотя и связанные между собой, но независимые сферы, Щерба говорил об аспектах лишь искусственно разграничиваемого единого целого,⁶ «так как очевидно, — писал он, — что языковая система и языковой материал — это лишь разные аспекты единственно данной в опыте речевой деятельности,

³ Л. В. Щ е р б а. О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании. — Наст. сб., стр. 26.

⁴ Там же, стр. 27.

⁵ Там же, стр. 25.

⁶ На это правильно указывает С. Д. Кацнельсон в своей книге «Типология языка и речевое мышление» (Л., 1972, стр. 101),

и так как не менее очевидно, что языковой материал вне процесса понимания будет мертвым, само же понимание вне как-то организованного языкового материала (т. е. языковой системы) невозможно». ⁷

Владение языковой системой позволяет говорящему создавать и понимать тексты хотя и по определенным правилам, «но зачастую самым неожиданным образом». Щерба подчеркивает при этом важность содержательной стороны. При создании текстов действуют, читаем мы, «не только правила синтаксиса, но, что гораздо важнее, — правила сложения смыслов, дающие не сумму смыслов, а новые смыслы. . .» ⁸.

«Если бы наш лингвистический опыт, — писал Щерба в другой работе, — не был упорядочен у нас в виде какой-то системы, которую мы и называем грамматикой, то мы были бы просто понимающими попугаями, которые могут повторять и понимать только слышанное». ⁹

В статье «О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» Щерба подвергает критике свои старые работы, касающиеся субъективного метода (в частности, метода самонаблюдения). Он настаивает на необходимости эксперимента в лингвистических исследованиях, важность которого подчеркивается уже самим названием статьи. Только эксперимент может дать в руки лингвиста «отрицательный языковой материал», который характеризуется Щербой следующим образом: «. . . в „текстах“ лингвистов обыкновенно отсутствуют неудачные высказывания, между тем как весьма важную составную часть „языкового материала“ образуют именно неудачные высказывания с отметкой „так не говорят“, которые я буду называть „отрицательным языковым материалом“. Роль этого отрицательного материала громадна и совершенно еще не оценена в языкознании, насколько мне известно». ¹⁰

Эксперимент, по Щербе, — это самый надежный путь для проникновения в сущность языка, в идиоматичность отдельных языков. Именно признанием преимущества экспериментальных методов, неприменимых при анализе старых текстов, объясняется тот интерес Щербы к исследованию живых языков, который столь для него характерен.

Статья «Очередные проблемы языковедения», частично перекликающаяся с рассмотренной выше статьей «О тройном аспекте языковых явлений», посвящена главным образом выяс-

⁷ Л. В. Щ е р б а. О тройном аспекте. . ., стр. 26.

⁸ Там же, стр. 24, сноска.

⁹ Л. В. Щ е р б а. Очередные проблемы языковедения. — Наст. сб., стр. 48.

¹⁰ См. стр. 32—33.

нению принципов адекватного описания языков, построения грамматик и словарей, которые бы, по словам Щербы, «отвечали языковой действительности и которые были бы свободны от всяких традиционных и формалистических предрассудков».¹¹ Созданию «действительно хороших описаний» мешает то, что лингвисты находятся под влиянием латинской грамматики, «от которой они лишь с великим трудом и только очень постепенно освобождаются», «и изучаемый язык в той или иной мере воспринимается ими в рамках и категориях родного».¹²

Познание структуры человеческого языка, вообще являющейся, как об этом часто говорил Л. В. Щерба, единственным предметом языковедения как науки, требует изучения не только языков культурных народов. «Три типа языков, — читаем мы в той же статье, — нуждаются в первую голову в „беспредрасудочном“ изучении. Это, во-первых, языки племен, стоящих на низком уровне развития. . . Во-вторых, требуют пристального изучения языки жестов. . . Третий тип языков, который, по-моему, нуждался бы в пристальном изучении, — это язык всевозможных афатиков».¹³ Как и всегда, Щерба отмечал и практическое значение исследования подобных языков.

Большое место занимает в рассматриваемой статье проблема содержания описательной грамматики, в связи с чем стоит разграничение грамматики и лексики, которое, по Щербе, характеризуется следующим образом: «. . . все индивидуальное, существующее в памяти как таковое и по форме никогда не творимое в момент речи, — лексика. . . , все правила образования слов, форм слов, групп слов и других языковых единств высшего порядка — грамматика».¹⁴ Вместе с тем лексика не представляет собой нечто беспорядочное: напротив, Щерба пишет о «системе лексики» и о «правилах словаря».

Важным моментом в концепции Щербы является, далее, различение активной и пассивной грамматики, которое развивается им особенно подробно в работах по методике преподавания иностранных языков.¹⁵

Широкий отклик получило в нашем языковедении учение Щербы о частях речи. Он считал, что оно должно составлять особый отдел грамматики, который он предлагал назвать «лексические категории». По мысли Щербы, в нем должны найти себе место «не только такие общие категории, как существитель-

¹¹ См. стр. 47.

¹² См. стр. 41.

¹³ См. стр. 45—46.

¹⁴ См. стр. 51.

¹⁵ См. стр. 56.

ные, прилагательные, глаголы», но и «такие категории, как безличность. . . и категория грамматического рода».¹⁶ Такой своеобразный подход к учению о частях речи связан с тем, что Щерба видел в нем не классификацию слов, а объединение их в очень общие категории, определяемое различными, но в первую очередь семантическими факторами.

Л. В. Щерба почти не оставил исследований диахронического характера, но его высказывания по соответствующим проблемам представляют несомненный интерес. Он говорил о том, что язык находится «все время в состоянии лишь более или менее устойчивого, а сплошь и рядом и вовсе неустойчивого равновесия», что «всегда и везде есть факты, которые грызут норму».¹⁷

Вслед за своим учителем Бодуэном де Куртенэ Л. В. Щерба придавал большое значение фактору смещения языков. В своих работах он много раз обращался к проблеме двуязычия. Смещение, по его мнению имеющее социальную природу, лежит и в основе эволюции языков. Он писал: «. . . капитальнейшим фактором языковых изменений являются столкновения двух общественных групп, а следовательно, и двух языковых систем, иначе — смещение языков»; и далее: «Так как процессы смещения происходят не только между разными языками, но и между разными групповыми языками внутри одного языка, то можно сказать, что процессы эти являются кардинальными и постоянными в жизни языков».¹⁸

Нетрудно увидеть, что ряд изложенных выше идей Л. В. Щербы, как это недавно отмечали О. С. Ахманова и С. Д. Кацнельсон, во многом предвосхитили и основные положения и методы (в их принципиальном аспекте) новейших лингвистических направлений, в частности порождающей грамматики и трансформационного метода Н. Хомского.¹⁹

* * *

В области фонологии Щерба известен как один из создателей теории фонемы. Ему принадлежит первый в истории науки специальный анализ понятия фонемы как словоразличительной и морфеморазличительной единицы, противопоставленной оттенку (варианту) как единице, не обладающей такой дистинктивной функцией. Такому анализу было посвящено введение

¹⁶ См. стр. 59.

¹⁷ См. стр. 50, сноска.

¹⁸ См. стр. 30.

¹⁹ О. С. А х м а н о в а. Естественный человеческий язык как объект научного исследования. — Иностранные языки в школе, 1969, № 2; С. Д. К а ц н е л ь с о н. Типология языка и речевое мышление.

к магистерской диссертации Щербы, опубликованной в 1912 г. под названием «Русские гласные в качественном и количественном отношении». В это время на Западе никто еще не писал о фонеме, а Щерба, хотя иногда и в очень сжатом виде, рассмотрел все важнейшие проблемы фонологии, которые и до сих пор волнуют исследователей.

Щерба начинает анализ понятия фонемы с показа того, что к понятию отдельного звука говорящие приходят только через фонему благодаря ее связи со смысловыми единицами языка. Проблему членения потока речи он считал важнейшей и труднейшей проблемой фонологии до конца своей жизни. В своих лекциях по общей фонетике, читанных им в Ленинградском университете во второй половине 30-х годов, Щерба постоянно возвращался к этой мысли. В записях лекций, сделанных одной из ближайших учениц Льва Владимировича — И. П. Сунцовой, — имеются такие строки: «Когда говорят о фонемах, обычно говорят о сравнении фонем друг с другом. Наиболее трудное в вопросе о фонеме то, как мы делим на фонемы»; и далее: «Первый вопрос, связанный с фонемой, это вопрос о делимости звуковых рядов на части». В другой лекции мы читаем: «Надо себе представлять, что реально дано нам в языке: речевой поток; звуков речи нет.* *Вот* делится на *в, о, т*, т. е. на элементы в результате анализа. Звуки получаются в результате анализа потока». В опубликованном уже после смерти Щербы введении к академической «Грамматике русского языка» он писал: «. . . ничто не отделяет один звук от другого, с ним в речи соседящего. . . Однако поскольку отдельные звуки речи служат для различения смысла слов. . . и поскольку отдельные звуки могут иметь самостоятельное значение . . . постольку справедливо будет все же сказать, что всякая речь распадается на отдельные звуки или состоит из отдельных звуков. . . Лингвистическая природа отдельных звуков речи и определяется тем, что каждый из них может что-то значить в данном языке, и термин *фонема* введен именно с целью подчеркнуть это обстоятельство».²⁰

В «Русских гласных. . .» Щерба остановился и на вопросе о неделимости фонемы. Поводом для этого ему послужили наблюдения над акустическим характером отдельных гласных, в частности гласного *а* из слова *ад*. Хотя Лев Владимирович пользовался с нашей современной точки зрения примитивнейшими приборами, ему удалось показать, что этот гласный состоит из шести следующих друг за другом и различающихся в акустическом отношении элементов. И если тем не менее для рус-

²⁰ Грамматика русского языка, т. I. М., 1952, стр. 12.

ского языка и для его носителей этот гласный представляет собой одну единицу, одну фонему, то только потому, что со смысловой точки зрения подобные звуковые единицы никогда не членятся в русском языке.

Н. С. Трубецкой в «Основах фонологии» (М., 1960) тоже начинает фонологический анализ с вопроса о разложении сложных фонологических единиц на далее неделимые единицы — фонемы (при этом он цитирует соответствующее определение фонемы Щербы).

Однако вследствие того, что в качестве фактора, обуславливающего членение, Трубецкой принимал противопоставление, т. е. тот же фактор, который, по его мнению, действует при парадигматической идентификации фонемы, его последователи и не заметили чисто лингвистического характера проблемы сегментации речи и не уделили ей достаточного внимания. Более того, можно сказать, что в фонологии фактически считалось, что сегментация речи задана ее артикуляторно-акустическими характеристиками.

Ставшие широко известными в последние годы результаты электроакустических исследований полностью подтвердили наблюдения Щербы и сделали очевидным, что сегментация на отдельные звуки по физическим или физиологическим признакам невозможна, что членение на фонемы — это результат лингвистического членения. Благодаря этому более чем через полвека после Щербы проблема сегментации стала привлекать к себе пристальное внимание фонологов. Достаточно сказать, что на 8-м Международном фонетическом конгрессе, состоявшемся в 1971 г. в Монреале, этой проблеме были посвящены не только два доклада, представленные советскими фонологами, но и доклад главного редактора международного журнала «Phonetica» г. Пильха.

Большое значение имела для дальнейшего развития теории фонемы отчетливая формулировка различия между понятиями фонемы и оттенка, основывающегося на чисто функциональном критерии, чем подчеркивалось, что единство оттенков одной фонемы обусловлено не их фонетическим сходством, а невозможностью различать слова и формы слов в данном языке. В этой связи хотелось бы отметить, что Щерба, очевидно, понимал, что это не легко будет принять его читателю. Ведь А. И. Томсон, выдающийся русский фонетик начала XX в., утверждал, что разные по характеру *k* потому осознаются как один и тот же согласный, что они более сходны между собой, чем с *m* или любым другим согласным. Поэтому Щерба не ограничивается ставшим впоследствии хрестоматийным примером с двумя *e* в русском и французском языках, а приводит еще семь примеров, которые показывают, что одно и то же звуковое раз-

личие может иметь в разных языках разное фонологическое значение.²¹

Впоследствии, когда Щерба прочел в «Руководстве к фонологическим описаниям» Трубецкого следующее правило: «Если два акустически или артикуляторно родственные между собой звука какого-нибудь языка никогда не встречаются в одном и том же звуковом окружении, то они являются комбинаторными вариантами одной фонемы», — он подчеркнул слово «родственные» и написал на полях: «плохо!». Сам Щерба считал, что не акустическое сходство, а чередование в пределах одной морфемы объединяет два звука, находящихся в отношении дополнительной дистрибуции, в одну фонему.²²

Нужно, кроме того, подчеркнуть, что Щерба считал основной функцией фонемы не различительную способность, а хотя бы потенциальную возможность быть связанной со смыслом. Об этом свидетельствуют следующие обстоятельства: 1) определение фонемы в «Русских гласных...», которое гласит: «Фонемой называется кратчайшее общее фонетическое представление, способное ассоциироваться со смысловыми представлениями и дифференцировать слова»; 2) следующие слова из «Очередных проблем...»: «В языке утилизируются звуки не просто как физические или физиологические явления, а как элементы языка, имеющие или по крайней мере могущие иметь значение»; 3) формулировка, которую мы находим во введении к «Грамматике русского языка»: «Лингвистическая природа отдельных звуков речи и определяется тем, что каждый из них может что-то значить в данном языке, и термин фонема введен именно с целью подчеркнуть это обстоятельство».

Нельзя не отметить того, что и в нашей лингвистике, не говоря уже о зарубежной, до сих пор не оценена по достоинству последовательно лингвистическая трактовка фонемы, как она предстает перед нами в теории фонемы Щербы. А вместе с тем она остается и сейчас единственной теорией, которая ни при синтагматической, ни при парадигматической идентификации фонемы никогда не отступает от лингвистических критериев.

Заканчивая рассмотрение основных фонологических идей Л. В. Щербы, хочется вспомнить и то немногое, что можно найти у него относительно диахронической фонологии. В «Русских гласных...» им было высказано такое положение: «Вообще говоря, фонетическая история языка, в известной части, сводится, с одной стороны, к исчезновению из сознания некоторых фонетических различий, к исчезновению одних фонем,

²¹ См. наст. сб., стр. 117—119.

²² См. его замечание об *ы* и *и* в «Русских гласных в качественном и количественном отношении». СПб., 1912, стр. 50.

а с другой стороны, к осознанию некоторых оттенков, к появлению других новых фонем».

Интересно отметить и то, что в статье «К личным окончаниям в латинском и других италийских диалектах» Щерба отвергает фонетический путь развития и отдает предпочтение морфологическому, о чем подробно писал В. В. Виноградов.²³

* * *

В 1924 г. Лев Владимирович избирается членом-корреспондентом АН СССР и входит в состав словарной комиссии сначала как научный сотрудник первого разряда, а затем как товарищ председателя комиссии. К этому времени относится начало его лексикографических штудий, чему Л. В. отдается с увлечением и что станет отныне одной из его любимых тем. Как и всегда, Л. В. подводит теоретическую базу под свою практическую работу над словарями, сначала русским нормативным (академическим), так как он разрабатывает в качестве сотрудника словаря АН его часть (от *и* до *идеализироваться*), а затем и русско-французским переводным словарем. Свои постоянные размышления на эту тему он изложил в статье «Опыт общей теории лексикографии», являющейся плодом его интенсивной — как практической, так и теоретической — работы по лексикографии. Это объединение практики и теории является характерным для научной деятельности Л. В. Щербы. Как говорит Е. С. Истрина в статье «Л. В. Щерба как лексикограф и лексиколог», «практическая по общему своему характеру работа перерастает в научную работу, выдвигающую широкие научные проблемы и устанавливающую опорные теоретические положения, на которых она строится».²⁴

Главная мысль, лежащая в основе этой деятельности, — детальное изучение, «глубокая продуманность с о о т н о ш е н и й, которые определялись для него той внутренней сущностью, той и д е е й основного значения, из которой развивались подчас многообразные и тонкие оттенки, которая служила основой образа. Поиски и установление л и н и и развития каждого отдельного значения, приводящего к переносному и о б р а з н о м у употреблению слова, составляли сущность работы. . .».²⁵

Руководствуясь этой мыслью, Л. В. Щерба и писал свои статьи в русском академическом словаре, которые здесь не-

²³ В. В. Виноградов. Общелингвистические и грамматические взгляды академика Л. В. Щербы. — В сб.: Памяти академика Льва Владимировича Щербы, стр. 35.

²⁴ Памяти академика Льва Владимировича Щербы, стр. 82.

²⁵ Там же, стр. 83—84.

возможно дать; интересующиеся могут их посмотреть в соответствующем выпуске словаря.²⁶

Теми же принципами руководствовался Щерба и при написании русско-французского словаря.²⁷ Многогранная семантическая структура слова особенно ярко видна при сравнении двух разных языков, так как в результате их различного исторического развития она почти никогда в них не совпадает. В этом словаре Щерба чрезвычайно тщательно разрабатывал систему значений и их оттенков в русских словах и пытался подобрать к ним соответственные французские переводы. В предисловии к словарю (см. стр. 304—312 этой книги) есть много убедительных, ярких примеров, показывающих несоответствие русских и французских понятий, выражаемых словами.

Попутно хотелось бы отметить роль примеров, которые Л. В. считал наиболее прямым средством для понимания его мысли. Почти каждое русское мало-мальски семантически сложное слово подвергалось Щербой пересмотру, устанавливалось его основное значение и различного рода ответвления, а затем проводился так называемый эксперимент, как говорил Щерба, т. е. перебирались всевозможные русские контексты и их переводы на французский язык. В результате этой интересной, но очень кропотливой работы появлялись словарные статьи с различными семантическими подразделениями слов в русском языке и их французскими переводами со стилистическими и другими пометами. Особенно тщательно Щерба пересматривал русские предлоги и союзы, их значения и подбирал соответственные переводы.

Известный французский славист и русист Люсьен Теньер, ознакомившись со словарем еще в процессе работы над ним, сказал в своей статье (опубликованной значительно позже), что «словарь совершенно освободился от влияния традиций. . . и вполне заслуживает названия „современного“».²⁸

Из этого несомненно не вытекает, что словарь не имеет пробелов, не вполне удачных переводов и т.д. Его дальнейшее совершенствование и явилось задачей следующих изданий.²⁹

Как уже было сказано, Щерба на основе практической работы над словарями (а точнее — параллельно с ней) построил и теорию лексикографии, которую он излагал сначала в до-

²⁶ Словарь русского языка, т. IX, *И — идеализироваться*. М.—Л., 1935.

²⁷ Русско-французский словарь. Сост. Л. В. Щерба, М. И. Матусевич, М. Ф. Дусс, под общ. рук. и ред. Л. В. Щербы. М., 1936.

²⁸ Люсьен Теньер. О русско-французском словаре Л. В. Щербы. — Вопросы языкознания, 1958, № 6, стр. 42—43.

²⁹ Последнее, 9-е издание вышло в 1969 г.

кладе, прочитанном на заседании Отделения литературы и языка АН СССР в 1939 г., а затем развил в уже упомянутой статье «Опыт общей теории лексикографии» (см. стр. 265—304).

Щерба разбирает основные типы словарей, различные противоположения их. Особенно любопытны его рассуждения о противоположении словаря-справочника и нормативного (или академического). Нормативный словарь, по его мысли, должен с чисто лингвистической точки зрения «иметь своим предметом реальную лингвистическую действительность — единую лексическую систему данного языка». И дальше: «. . . хороший нормативный словарь не придумывает нормы, а описывает ту, которая существует в языке, и уже ни в коем случае не должен ломать эту последнюю». Это чрезвычайно существенно в том случае, если норма допускает два способа выражения. «Нормативный словарь поступил бы в высшей степени неосторожно, если бы забраковал один из них, руководствуясь чистейшим произволом или личным вкусом редактора».³⁰ И еще: «. . . нормализаторская роль нормативного словаря (состоит) в поддержании всех живых норм языка, особенно стилистических. . . , в поддержании новых созревших норм. . .».³¹ «Словарь-справочник в конечном счете всегда будет собранием слов, так или иначе отобранных, которое само по себе никогда не является каким-то единым фактом реальной лингвистической действительности, а лишь более или менее произвольным вырезом из нее».³²

Интересна также идея Щербы о создании толковых иностранных словарей на родном языке лиц, пользующихся ими. Эту мысль он развил в противоположении пятом: толковый словарь — переводный словарь.³³ Как говорил Щерба: «Толковые словари предназначены в первую очередь для носителей данного языка. Переводный же словарь возникает из потребности понимать тексты на чужом языке».³⁴ Однако принципиальным недостатком этих последних является предположение об адекватности систем понятий любой пары языков, тогда как это совершенно не соответствует действительности. Многие примеры из хорошего переводного французско-русского словаря и словарей других языков, приводимые Щербой как в этой статье, так и в его предисловии к русско-французскому словарю, хорошо это показывают. Для того чтобы избежать этой опасности, необходимо, по его мысли, создать новый тип толкового, на-

³⁰ Л. В. Щ е р б а. Опыт общей теории лексикографии. — Наст. сб., стр. 277.

³¹ Там же, стр. 277—278.

³² Там же, стр. 276.

³³ Там же, стр. 297 и сл.

³⁴ Там же, стр. 297.

пример французского, словаря на русском языке. В его основу можно было бы положить, как думал Щерба, хотя бы французский словарь Ларусса, толкования которого следовало бы перевести на русский язык. По мысли Л. В., для каждой пары языков должно быть четыре словаря: так, например, для французского и русского — два толковых (один для русского читателя и один для французского) и два переводных, также один для русского и один для француза. Однако этот замысел Л. В., очень трудный в осуществлении, так и остался невыполненным.

Остались ненаписанными и задуманные Щербой лексикологические этюды этой статьи, очень интересные, теснейшим образом связанные также с лексикографией; о них он бегло упоминает в сноске: «Дальнейшие этюды предполагается посвятить природе слова, его значению и употреблению; его связям с другими словами того же языка, благодаря которым лексика каждого языка в каждый данный момент времени представляет собою определенную систему, и, наконец, построению словарной статьи в связи с семантическим, грамматическим и стилистическим анализом слова».³⁵

* * *

Интерес Щербы к методике преподавания зародился еще в начале его научной деятельности. В связи со своей педагогической работой он начал заниматься вопросами преподавания русского языка, но вскоре его внимание привлекает также методика преподавания иностранных языков: говорящие машины (его статья 1914 г.), разные стили произношения, что играет в преподавании важную роль (статья 1915 г.), и т. д. Занимается он и отличиями французской звуковой системы от русской и пишет об этом в 1916 г. статью, послужившую как бы зародышем его «Фонетики французского языка». В 1926 г. появляется его статья «Об общеобразовательном значении иностранных языков», вышедшая в журнале «Вопросы педагогики» (1926, вып. I), где находим — опять-таки в зародыше — те теоретические идеи Щербы, которые он развивал в дальнейшем в течение всей своей научной жизни. Наконец, в 1929 г. выходит его брошюра «Как надо изучать иностранные языки», где он ставит ряд вопросов, касающихся изучения иностранных языков взрослыми. Здесь, в частности, он развивает (в плане методики) теорию о словарных³⁶ и строевых элементах языка и о преимущественной важности знания строевых элементов.

³⁵ Там же, стр. 265.

³⁶ В дальнейшем Л. В. их называл знаменательными.

В развитии этого интереса Щербы сыграл большую роль и его учитель И. А. Бодуэн де Куртенэ, хотя и не оставивший ничего специально касающегося методики преподавания иностранных языков, но питавший глубокий интерес к живому языку, который побуждал его, как говорит Л. В., «поощрять у своих учеников занятия тем или другим видом приложения своей науки к практике».³⁷

Важность изучения иностранных языков в средней школе, их общеобразовательное значение, методика преподавания, а также и изучение их взрослыми все больше привлекают внимание Щербы. В 30-е годы он много думает над этими вопросами и пишет ряд статей,³⁸ в которых высказывает новые, оригинальные мысли. В начале 40-х годов, во время войны, находясь в эвакуации, по плану Института школ Щерба начал писать книгу, являющуюся результатом всех его размышлений над методикой преподавания иностранных языков; это как бы ступок его методических идей, которые возникали в течение всей его научной и педагогической деятельности — на протяжении тридцати с лишним лет. Он не успел ее закончить, она вышла из печати через три года после его смерти, в 1947 г.

Как лингвист-теоретик, Щерба не разменивался на методические мелочи, на различные приемы, он старался осмыслить методику путем приобщения ее к общему языкознанию, старался заложить в ее базу важнейшие идеи общей лингвистики. Книга эта представляет собой не столько методику преподавания языка в средней школе (хотя и школьный учитель может извлечь из нее для себя много полезного), сколько общие вопросы методики, как и сказано в подзаголовке. Щерба говорит: «В качестве лингвиста-теоретика я трактую методику преподавания иностранных языков как прикладную отрасль общего языковедения и предполагаю вывести все построение обучения иностранному языку из анализа понятия „язык“ в его разных аспектах».³⁹

Основная идея Щербы состоит в том, что при изучении иностранного языка усваивается новая система понятий, «которая является функцией культуры, а эта последняя — категория историческая и находится в связи с состоянием общества и его деятельностью».⁴⁰ Эта система понятий, отнюдь не являющаяся неподвижной, усваивается от окружающих через посредство языкового материала (т. е. неупорядо-

³⁷ Л. В. Щерба. Преподавание иностранных языков в средней школе. М., 1947, стр. 13.

³⁸ См. Список трудов акад. Л. В. Щербы. — Наст. сб., стр. 415.

³⁹ Л. В. Щерба. Преподавание иностранных языков в средней школе, стр. 14.

⁴⁰ Там же, стр. 67.

ченного лингвистического опыта), «превращающегося, согласно общему положению, в обработанный (т. е. упорядоченный) лингвистический опыт, т. е. в язык». ⁴¹ Естественно, что системы понятий в разных языках, поскольку они являются социальной, экономической и культурной функцией общества, не совпадают, это Щерба и показывает на ряде убедительных примеров. Так обстоит дело и в области лексики, и в области грамматики. ⁴²

Овладение языком заключается в усвоении определенных «лексических и грамматических правил» данного языка, хотя и без соответственной технической терминологии. Щерба подчеркивает и доказывает важность различения в грамматике, помимо строевых и знаменательных элементов языка, о чем уже говорилось (см. стр. 19—20), так называемой п а с с и в н о й грамматики и а к т и в н о й. «Пассивная грамматика изучает функции, значения строевых элементов данного языка, исходя из их формы, т. е. внешней их стороны. Активная грамматика учит употреблению этих форм». ⁴³

Эта чрезвычайно интересная мысль Щербы, хотя и получила отклик в работах по машинному переводу, остается не реализованной до сих пор. Для этого требуется создать целеустремленные пассивные и активные грамматики для каждого языка (что далеко не просто), а также ввести соответствующее разграничение в методику преподавания, обычно смешивающую эти два разных подхода.

Чрезвычайно интересны также мысли Щербы о чистом и смешанном двуязычии, чему он посвятил статью, написанную еще в 1930 г. для узбекского журнала, напечатанную на узбекском языке. Ниже приводится подлинник ее, сохранившийся в рукописи.

В методическом наследии Щербы имеется также и ряд статей по методике преподавания русского языка, например по синтаксису, по орфографии и др. В последний год жизни он читает доклад, рукопись которого, к сожалению, не сохранилась, имеются только тезисы к докладу «Система учебников и учебных пособий по русскому языку в средней школе». ⁴⁴

* * *

Лев Владимирович обладал исключительной способностью проникновения в чужие идеи, причем не только ученых, близ-

⁴¹ Там же.

⁴² Там же, стр. 65—66.

⁴³ Там же, стр. 84.

⁴⁴ Они были опубликованы посмертно в книге: Л. В. Щерба. Избранные работы по русскому языку. М., 1957, стр. 180—182.

ких ему по духу, как Бодуэн, но и более далеких по лингвистическому мировоззрению, как Шахматов, или даже совсем чуждых ему, как Фортунатов. Поэтому ему так удалось помещенные в настоящем томе четыре очерка: о Бодуэне, Шахматове, Фортунатове и Мейе. Читая эти блестяще написанные очерки, мы открываем для себя важнейшие черты научного облика и своеобразия научных идей столь непохожих друг на друга замечательных лингвистов.

В характеристике Бодуэна, пожалуй, самым неожиданным для своего времени, — а для многих, может быть, и сейчас, — было утверждение Щербы, что «„психологизм“, который проходит красной нитью через все научно-литературное творчество Б. и который он сам был склонен считать его существенной чертой, с одной стороны, был способом уйти от наивного овеществления языка (выразившегося между прочим в смешении звуков с буквами), а с другой, — реакцией против механического натурализма в языкознании».⁴⁵ И действительно, бодуэновская трактовка морфемы, его учение о чередованиях, открытие им явлений «морфологизации» и «семасиологизации» звуковых явлений, «диалектический синхронизм Б.», как его характеризовал Щерба, являются гораздо более глубокими чертами лингвистической теории Бодуэна, чем тезис о психологической сущности языка, носящий скорее декларативный характер.

Гениальность интуиции Шахматова, его огромный «объем сознания» Щерба показывает на примере его анализа форм множественного числа имен существительных мужского рода. «На этом примере, — пишет Щерба, — мне кажется, хорошо видно, как серая однообразная масса фактов под напряженным, одухотворенным взором Алексея Александровича приходит в движение, начинает группироваться, становится в определенные ряды и, наконец, выдает свои тайны».⁴⁶

Отдавая должное выдающимся достижениям Фортунатова в области сравнительной грамматики, которые в наше время широко известны, анализируя труды Фортунатова в области сравнительной грамматики индоевропейских языков и отмечая их выдающееся значение, Щерба говорит: «Но если в этой области некоторые крохи фортунатовской мысли все же стали всеобщим достоянием, то гораздо хуже дело обстоит с общими идеями Филиппа Федоровича о языке: они просто никому не известны».⁴⁷ *

Для иллюстрации Щерба указывает на идеи Фортунатова об отношении между языком и диалектом, об отдельном слове и

⁴⁵ Наст. сб., стр. 385.

⁴⁶ См. стр. 396.

⁴⁷ См. стр. 403.

о сложных словах, о форме слов, о классах слов и о словосочетаниях, а также на идеи в области синтаксиса. Все время подчеркивая недооценку Фортунатова современниками, Щерба заканчивает свой очерк следующими словами: «Филипп Федорович был гениальным лингвистом своего времени, и только какие-то внешние обстоятельства помешали ему сделаться одним из вождей мировой науки о языке». ⁴⁸

Несомненный интерес представляет также характеристика научного наследия Мейе, в котором Щерба больше всего ценил труды по сравнительному языковедению. Заслугой Мейе в этой области, «главным делом его жизни», Щерба считает «возврат сравнительной грамматики к филологии, из которой она и произошла, заполнение той пропасти, которая была вырыта между ними в XIX столетии». ⁴⁹

Слова Щербы о необходимости «возврата» к филологии становятся вполне понятными в свете его теории тройкого аспекта языковых явлений. Предметом филологии является ведь глубокий анализ «языкового материала» как «неупорядоченного лингвистического опыта», ⁵⁰ из которого выводится «языковая система».

Достоинством трудов Мейе Щерба считает и то, что он свои сравнительно-грамматические штудии связывает с конкретной историей того или иного языка, «что было соединено у Гримма, но что было разъединено в течение всего XIX в.». ⁵¹ Ценил Щерба труды Мейе и за их направленность на общелингвистические проблемы, решение которых он считал основной целью всякого языковедческого исследования.

* * *

Заканчивая свой очерк о Льве Владимировиче и его научном творчестве, авторы выражают надежду, что он поможет читателям глубже понять те мысли, которые вложены в публикуемые ниже труды Щербы.

⁴⁸ См. стр. 404.

⁴⁹ См. стр. 409.

⁵⁰ Л. В. Щ е р б а. Преподавание иностранных языков в средней школе, стр. 73.

⁵¹ Наст. сб., стр. 411.

О ТРОЯКОМ АСПЕКТЕ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
И ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ В ЯЗЫКОЗНАНИИ¹

Памяти учителя И. А. Бодуэна де Куртене

Nihil est in dicendo, quod non inhaereat
grammaticae vel hominum actioni.

Nihil est in grammatica, quod non fuerit
in dicto.

Совершенно очевидно, что хотя при процессах говорения мы часто просто повторяем нами раньше говорившееся (или слышанное) в аналогичных условиях, однако нельзя этого утверждать про все нами говоримое. Несомненно, что при говорении мы часто употребляем формы, которых никогда не слышали от данных слов, производим слова, не предусмотренные никакими словарями, и, что главное и в чем, я думаю, никто не сомневается, сочетаем слова хотя и по определенным законам их сочетания,² но зачастую самым неожиданным образом, и во всяком случае не только употребляем слышанные сочетания, но постоянно делаем новые. Некоторые наивные эксперименты с выдуманными словами убеждают в правильности сказанного с полной несомненностью. То же самое справедливо и относительно процессов понимания, и это настолько очевидно, что не требует доказательств: мы постоянно читаем о вещах, которых не знали; мы часто лишь с затратой значительных усилий добиваемся понимания какого-либо трудного текста при помощи тех или иных приемов.

В дальнейшем я буду называть процессы говорения и понимания «речевой деятельностью» (первый аспект языковых

¹ Настоящая статья является дальнейшим развитием взглядов, которые намечены были впервые в моем докладе, читанном в Лингвистической секции 27 октября 1927 г.

² Имею в виду здесь не только правила синтаксиса, но, что гораздо важнее, правила сложения смыслов, дающие не сумму смыслов, а новые смыслы, — правила, к сожалению, учеными до сих пор мало обследованные, хотя интуитивно отлично известные всем хорошим стилистам,

явлений), всячески подчеркивая при этом, что процессы понимания, интерпретации знаков языка являются не менее активными и не менее важными в совокупности того явления, которое мы называем «языком», и что они обуславливаются тем же, чем обуславливается возможность и процессов говорения.

Обо всем этом неоднократно говорилось лингвистами, и я хотел бы только подчеркнуть то обстоятельство, что поскольку мы знаем из опыта, что говорящий совершенно не различает форм слов и сочетаний слов, никогда не слышанных им и употребляемых им впервые, от форм слов и сочетаний слов, им много раз употреблявшихся,³ постольку мы имеем полное право сказать, что вообще все формы слов и все сочетания слов нормально создаются нами в процессе речи, в результате весьма сложной игры сложного речевого механизма человека в условиях конкретной обстановки данного момента. Из этого с полной очевидностью следует, что этот механизм, эта речевая организация человека никак не может просто равняться сумме речевого опыта (подразумеваю под этим и говорение и понимание) данного индивида, а должна быть какой-то своеобразной переработкой этого опыта. Эта речевая организация человека может быть только физиологической или, лучше сказать, психофизиологической, чтобы этим термином указать на то, что при этом имеются в виду такие процессы, которые частично (и только частично) могут себя обнаруживать при психологическом самонаблюдении. Но само собой разумеется, что сама эта психофизиологическая речевая организация индивида вместе с обусловленной ею речевой деятельностью является социальным продуктом, как это будет ближе разъяснено на стр. 27 и сл. Об этой организации мы можем умозаключать лишь на основании речевой деятельности данного индивида.

Человечество в области языкознания искони и занималось подобными умозаключениями, делаемыми, однако, не на основании актов говорения и понимания какого-либо одного индивида, а на основании всех (в теории) актов говорения и понимания, имевших место в определенную эпоху жизни той или иной общественной группы. В результате подобных умозаключений создавались словари и грамматики языков, которые могли бы называться просто «языками», но которые мы будем называть «языковыми системами» (второй аспект языковых явлений), оставляя за словом «язык» его общее значение. Правильно составленные словарь и грамматика должны исчерпывать знание данного языка. Мы, конечно, далеки от этого

³ Случаи сознательного «выдумывания» слов довольно редки вообще, сознательное группирование слов свойственно лишь письменной речи, которая все же в целом строится тоже автоматически. Сознательность обыденной разговорной (диалогической) речи в общем стремится к нулю.

идеала; но я полагаю, что достоинство словаря и грамматики должно измеряться возможностью при их посредстве составлять любые правильные фразы во всех случаях жизни и вполне понимать все говоримое на данном языке.

Словарь и грамматика, т. е. языковая система данного языка, обыкновенно отождествлялись с психофизиологической организацией человека, которая рассматривалась как система потенциальных языковых представлений. В силу этого язык считался психофизиологическим явлением, подлежащим ведению психологии и физиологии.

Однако при этом прежде всего забывали то, что все языковые величины, с которыми мы оперируем в словаре и грамматике, будучи концептами, в непосредственном опыте (ни в психологическом, ни в физиологическом) нам вовсе не даны, а могут выводиться нами лишь из процессов говорения и понимания, которые я называю в такой их функции «языковым материалом» (третий аспект языковых явлений). Под этим последним я понимаю, следовательно, не деятельность отдельных индивидов, а совокупность всего говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы. На языке лингвистов это «тексты» (которые, к сожалению, обыкновенно бывают лишены вышеупомянутой обстановки); в представлении старого филолога это «литература, рукописи, книги».

Само собой разумеется, что все это — несколько искусственные разграничения, так как очевидно, что языковая система и языковой материал — это лишь разные аспекты единственно данной в опыте речевой деятельности, и так как не менее очевидно, что языковой материал вне процессов понимания будет мертвым, само же понимание вне как-то организованного языкового материала (т. е. языковой системы) невозможно. Здесь мы упираемся в громадную и мало исследованную проблему понимания, которая лежит вне рамок настоящей статьи. Скажу только, что понимание при отсутствии переводов может начинаться лишь с того, что два человека с одинаковым социальным прошлым, естественно или искусственно (научно) созданным, будучи поставлены в одинаковые условия деятельности и момента, возымеют одну и ту же мысль (я имею в виду реальное столкновение двух людей, лишенных каких бы то ни было средств взаимного непосредственного понимания и перевода, например европейского исследователя и, скажем, южноамериканского примитива в естественных условиях жизни этого последнего).

Далее, что еще важнее, система языковых представлений, хотя бы и общих, с которой обыкновенно отождествляют языковую систему, уже по самому определению своему является

чем-то индивидуальным, тогда как в языковой системе мы, очевидно, имеем что-то иное, некую социальную ценность, нечто единое и общеобязательное для всех членов данной общественной группы, объективно данное в условиях жизни этой группы (ср. ниже, стр. 28 и сл.).

Вундт как-то умалчивает об этом затруднении, и его «Völkerpsychologie» в конце концов ничем не отличается от простой психологии. Бодуэн пытается выйти из него, создавая понятие «собираательно-индивидуального» (см. «O „prawach“ głosowych», отд. оттиск из «Rocznik sławistyczny» [Kraków, 1910, t.] III, стр. 3 оттиска), что несколько напоминает «среднего человека» Дильтея.⁴ Однако, по-моему, это понятие не разрешает затруднений. Принять выход, предлагаемый идеалистами, т. е. признать существование языковой системы как какой-то надиндивидуальной сущности, некой «живой объективной идеи», чего-то «идеал-реального» (ср. например: [С. Л.] Франк. Очерк методологии общественных наук. [М.], 1922, стр. 74 и сл.), для меня невозможно в силу инстинктивного отталкивания от всего сверхчувственного. Не могу согласиться и с чистым номинализмом, считающим, что языковая система, т. е. словарь и грамматика данного языка, является лишь ученой абстракцией (такое впечатление производят, между прочим, рассуждения Сэпира в первой главе его прекрасной книги «Language» [1921]).

Мне кажется, однако, что разрешение вышеуказанных затруднений можно найти на иных путях. Прежде всего возникает вопрос, в каком отношении находится «психофизиологическая речевая организация» владеющего данным языком индивида к этой выводимой лингвистами из языкового материала языковой системе. Очевидно, что она является ее индивидуальным проявлением. В идеале она может совпадать с ней, но на практике организации отдельных индивидов могут чем-либо да отличаться от нее и друг от друга. Их, пожалуй, можно было бы действительно называть «индивидуальными языками», если бы в подобном названии не крылось глубокого внутреннего противоречия, ибо под языком мы разумеем нечто, имеющее прежде всего социальную ценность. И действительно, если индивидуальные отличия речевой организации того или иного индивида оказываются слишком большими, то уж этим самым данный индивид выводится из общества, как например

⁴ Позиции большинства лингвистов и даже Соссюра, ближе других подошедшего к этому вопросу, неясны. Соссюр хотя и различил четко «parole» (понятие, впрочем, далеко не вполне совпадающее с моим понятием «речевой деятельности») и «langue», однако помещает последний в качестве психических величин в мозгу (см. его замечательный «Cours de linguistique générale» [Paris, 1922], p. 32).

мы это и видим у сильно косноязычных,⁵ некоторых умалишенных и т. п. Терминологически, может быть, лучше всего было бы говорить поэтому об «индивидуальных речевых системах».

Что же такое сама языковая система? По моему, это есть то, что объективно заложено в данном языковом материале и что проявляется в индивидуальных речевых системах, возникающих под влиянием этого языкового материала. Следовательно, в языковом материале и надо искать источник единства языка внутри данной общественной группы.

Может ли языковой материал быть фактически единым внутри той или иной группы? Поскольку данная группа сама представляет из себя полное единство, т. е. поскольку условия существования и деятельности всех ее членов будут одинаковыми и поскольку все они будут находиться в постоянном взаимном общении друг с другом, постольку для всех них языковой материал будет фактически един: ведь каждая фраза каждого члена группы при таких обстоятельствах осуществляется одновременно для всех ее членов. Для единства грамматики достаточно частичного фактического единства языкового материала. Поэтому грамматически мы имеем единый язык в довольно широких группировках; в области же словаря для единства языка должно быть более полное единство материала, а потому мы видим, что с точки зрения словаря язык дробится на очень маленькие ячейки вплоть до семьи (единство так называемого «общего языка» в высококультурной среде поддерживается в значительной степени единством читаемого литературного материала). При оценке сказанного надо иметь в виду, что языки, с которыми мы в большинстве случаев имеем дело, не являются языками какой-либо элементарной общественной ячейки, а языками весьма сложной структуры, соответственно сложной структуре общества, функцией которого они являются (об этом см. ниже).

Каким образом происходят изменения языка и чем объясняется их единство внутри данной социальной группы? Очевидно прежде всего, что языковые изменения обнаруживаются в речевой деятельности. Каковы же факторы этой последней? С одной стороны, единая языковая система, социально обоснованная в прошлом, объективно заложенная в языковом материале данной социальной группы и реализованная в индивидуальных речевых системах; с другой — содержание жизни данной социальной группы. Единство языковой системы обеспечивает единство реакций на это содержание. Все подлинно

⁵ Впрочем, поскольку косноязычный сознает свое косноязычие и знает, как он должен был бы сказать, этот случай не является типичным.

индивидуальное, не вытекающее из языковой системы, не заложенное в ней потенциально, не находя себе отклика и даже понимания, безвозвратно гибнет. Единство содержания обеспечивает в этих условиях единство языка, и поскольку это содержание внутри группы остается тем же, язык может не изменяться (чего, конечно, никогда не бывает: практически можно говорить лишь о замедлениях и ускорениях процесса).

Но малейшее изменение в содержании, т. е. в условиях существования данной социальной группы, как то: иные формы труда, переселение, а следовательно и иное окружение и т. п., немедленно отражается на изменении речевой деятельности данной группы и притом одинаковым образом, поскольку новые условия касаются всех членов данной группы. Речевая деятельность, являясь в то же время и языковым материалом, несет в себе и изменение языковой системы. Обыкновенно говорят, что изменение языковой системы происходит при смене поколений. Это отчасти так; но опыт нашей революции показал, что резкое изменение языкового материала неминуемо влечет изменение речевых норм даже у пожилых людей: масса слов и оборотов, несколько лет тому назад казавшихся дикими и неприемлемыми, теперь вошла в повседневное употребление. Поэтому правильнее будет сказать, что языковая система находится все время в непрерывном изменении.

Наконец, всякая социальная дифференциация внутри группы, вызывая дифференциацию речевой деятельности, а следовательно и языкового материала, приводит к распаду единого языка.

Я не могу здесь останавливаться на подробном рассмотрении всех факторов, изменяющих речевую деятельность. Укажу кое-что лишь для примера.

Поскольку речевая деятельность, протекая не иначе как в социальных условиях, имеет своею целью сообщение и, следовательно, понимание, постольку говорящие вынуждены заботиться о том, чтобы у слушающих не было недоразумений, происходящих от смещения знаков речи, и этим объясняются, например, многие диссимиляции, особенно диссимиляции (вплоть до устранения) омонимов, что так наглядно было показано Жильероном (Gilliéron) и его школой. Поскольку возможность смещения объективно заложена в определенных местах самой языковой системы, постольку эти тенденции к устранению омонимности будут общи всем членам данной языковой группы и будут реализоваться одинаковым образом.

В языковой системе данной группы объективно заложены в определенных местах ее и те или другие возможности ассимиляции (в фонетике, морфологии, синтаксисе, словаре). Поэтому, в силу присущей (в пределах исторического опыта) людям

тенденции к экономии труда (не касаюсь здесь генезиса этой тенденции, так как это завело бы меня слишком далеко), эти возможности реализуются одинаковым образом у всех членов группы или по крайней мере могут так реализоваться, а потому во всяком случае ни у кого не вызывают протеста (факты так общеизвестны, что на них нечего настаивать).

Можно сказать, что интересы понимания и говорения прямо противоположны, и историю языка можно представить как постоянное возникновение этих противоречий и их преодоление.

Наконец, капитальнейшим фактором языковых изменений являются столкновения двух общественных групп, а следовательно и двух языковых систем, иначе — смешение языков. Процесс сводится в данном случае к тому, что люди начинают говорить на языке, который они еще не знают. Языковой материал, которому они стремятся подражать, един; языковая система, которая определяет их речевую деятельность, едина. Поэтому они одинаковым образом искажают в своей речевой деятельности то, чему подражают. Если со стороны другой группы по тем или иным социальным причинам нет достаточного сопротивления, то результаты одинаковым образом «искаженной» речевой деятельности, являясь в то же время и языковым материалом, обуславливают резкое изменение языковой системы.

Так как процессы смешения происходят не только между разными языками, но и между разными групповыми языками внутри одного языка, то можно сказать, что эти процессы являются кардинальными и постоянными в жизни языков, как это — полнее всего относительно семантики — и было показано Мейе.

При восприятии одной группой языка другой группы может иметь место не только неполное им овладение, но и изменение и переосмысление его в целях приспособления к иному или новому социальному содержанию. Таковы многие языковые изменения нашей эпохи, особенно ярким примером которых может служить переосмысление хотя бы таких слов, как «господин», «товарищ».

Выше было сказано, что изменения языка всего заметнее при смене поколений. Но само собой понятно, что все изменения, подготовленные в речевой деятельности, обнаруживаются легче всего при столкновении двух групп. Поэтому историю языка можно в сущности представить как ряд катастроф, происходящих от столкновения социальных групп (ср. мою статью «Sur la notion du mélange des langues» в Яфетическом сборнике, IV, 1925, стр. 7).*

На этом я останавлиюсь, указав лишь еще раз, что в реальной действительности вся картина сильно усложняется и затемняется тем, что некоторые группы населения могут входить

в несколько социальных группировок и иметь, таким образом, отношение к нескольким языковым системам. От степени изолированности разных групп друг от друга зависит способ существования этих систем и влияния их друг на друга (об этом см. мою вышеупомянутую статью, стр. 10 и сл.). Некоторые из этих сосуществующих систем могут считаться для их носителей иностранными языками. Таковым, между прочим, для большинства групп является так называемый «общий язык», «langue commune».⁶ Этот последний, конечно, не надо смешивать с «литературным языком», который, хотя и находится с «общим» в определенных функциональных отношениях, имеет, однако, свою собственную сложную структуру. Общий язык всегда и изучается как иностранный, с большим или меньшим успехом в зависимости от разных условий. Таких общих языков может быть несколько в каждом данном обществе, соответственно его структуре, и они могут иметь разную степень развитости. Само собой разумеется, что субъективно общий «иностраный» язык зачастую квалифицируется как родной, а родной — как групповой. Это, впрочем, и отвечает структуре развитых языков, где все групповые языки, в них входящие, считаются «жаргонами» по отношению к некоторой норме — «общему языку», который, целиком отражая, конечно, социальный уклад данной эпохи, исторически сам восходит через процессы смешения к какому-либо групповому языку.

Таким образом, лингвисты совершенно правы, когда выводят языковую систему, т. е. словарь и грамматику данного языка, из соответственных «текстов», т. е. из соответственного языкового материала. Между прочим, совершенно очевидно, что никакого иного метода не существует и не может существовать в применении к мертвым языкам.

Дело обстоит несколько иначе по отношению к живым языкам, и здесь и лежит заслуга Бодуэна, всегда подчеркивавшего принципиальную, теоретическую важность их изучения. Большинство лингвистов обыкновенно и к живым языкам подходит, однако, так же, как к мертвым, т. е. накапливает языковой материал, иначе говоря — записывает тексты, а потом их обрабатывает по принципам мертвых языков. Я утверждаю, что при этом получают мертвые словари и грамматики. Исследователь живых языков должен поступать иначе. Конечно, он тоже должен исходить из так или иначе понятого языкового материала. Но, построив из фактов этого материала некую отвлеченную систему, необходимо проверять ее на новых фактах, т. е. смотреть, отвечают ли выводимые из нее факты действи-

⁶ А зачастую и для всех групп, как например французский язык для теперешних французов.

тельности. Таким образом, в языкознание вводится принцип эксперимента. Сделав какое-либо предположение о смысле того или иного слова, той или иной формы, о том или ином правиле словообразования или формообразования и т. п., следует пробовать, можно ли сказать ряд разнообразных фраз (который можно бесконечно множить), применяя это правило. Утвердительный результат подтверждает правильность постулата и, что любопытно, сопровождается чувством большого удовлетворения, если подвергшийся эксперименту сознательно участвует в нем.

Но особенно поучительны бывают отрицательные результаты: они указывают или на неверность постулированного правила, или на необходимость каких-то его ограничений, или на то, что правила уже больше нет, а есть только факты словаря, и т. п. Полная законность и громадное значение этого метода иллюстрируются тем, что когда ребенок учится говорить (или взрослый человек учится иностранному языку), то исправление окружающими его ошибок («так никто не говорит»), которые являются следствием или невыработанности у него, или нетвердости правил (конечно, бессознательных), играет громадную роль в усвоении языка. Особенно плодотворен метод экспериментирования в синтаксисе и лексикографии и, конечно, в стилистике. Не ожидая того, что какой-то писатель употребит тот или иной оборот, то или иное сочетание, можно произвольно сочетать слова и, систематически заменяя одно другим, меняя их порядок, интонацию, и т. п., наблюдать получающиеся при этом смысловые различия, что мы постоянно и делаем, когда что-либо пишем. Я бы сказал, что без эксперимента почти невозможно заниматься этими отраслями языкознания. Люди, занимающиеся ими на материале мертвых языков, вынуждены для доказательства своих положений прибегать к поразительным ухищрениям, а многого и просто не могут сделать за отсутствием материала (примеры лингвистического эксперимента даны в особом экскурсе в конце статьи).

В возможности применения эксперимента и кроется громадное преимущество — с теоретической точки зрения — изучения живых языков. Только с его помощью мы можем действительно надеяться подойти в будущем к созданию вполне адекватных действительности грамматики и словаря.⁷ Ведь надо иметь в виду, что в «текстах» лингвистов обыкновенно отсутствуют неудачные высказывания, между тем как весьма важную

⁷ Я не говорю здесь о технике лингвистического эксперимента: она трудна и требует великого количества всяких предосторожностей. Записывать «тексты» может всякий; хорошо записывать тексты уже гораздо труднее; для того чтобы быть хорошим экспериментатором, необходим специальный талант.

составную часть языкового материала образуют именно неудачные высказывания с отметкой «так не говорят», которые я буду называть «отрицательным языковым материалом». Роль этого отрицательного материала громадна и совершенно еще не оценена в языкознании, насколько мне известно.

В сущности то, что я называл раньше «психологическим методом» (или — еще неудачнее — «субъективным»), и было у меня всегда методом эксперимента, только недостаточно осознанного. Впервые я его стал осознавать как таковой в эпоху написания моего «Восточнолужицкого наречия» ([т. I. Пгр.], 1915), впервые назвал я его методом эксперимента в моей статье «О частях речи в русском языке» (Русская речь, [Новая серия], II, 1928).* Об эксперименте в языкознании говорит нынче и Пешковский (статья «Принципы и приемы стилистического анализа художественной прозы» в *Ars poetica*, [Сборники под-секции теоретической поэтики, I. М.], 1927; ср. еще ИРЯС, I, 2, 1928, стр. 451), а раньше Тумб (A. T h u m b. Beobachtung und Experiment in der Sprachpsychologie. Festschrift Viëtor, Marburg a. d. L., 1910), правда — последний в несколько другом аспекте. Впрочем, надо признать, что психологический элемент метода несомненен и заключается в оценочном чувстве правильности или неправильности того или иного речевого высказывания, его возможности или абсолютной невозможности.

Однако чувство это у нормального (см. ниже, с. р. 36) члена общества социально обосновано, являясь функцией языковой системы (величина социальная), а потому и может служить для исследования этой последней. И именно оно-то и обуславливает преимущество живых языков над мертвыми с исследовательской точки зрения.

В этом — ограничительном — смысле и следует понимать высказывания моих старых работ о важности самонаблюдения в языкознании. Для меня давно уже совершенно очевидно, что путем непосредственного самонаблюдения нельзя констатировать, например, «значений» условной формы глагола в русском языке. Однако, экспериментируя, т. е. создавая разные примеры, ставя исследуемую форму в самые разнообразные условия и наблюдая получающиеся при этом «смыслы», можно сделать несомненные выводы об этих «значениях» и даже об их относительной яркости. При таком понимании дела отпадают все те упреки в «субъективности» получаемых подобным методом лингвистических данных, которые иногда делались мне с разных сторон: «мало ли что исследователю может показаться при самонаблюдении; другому исследователю это может показаться иначе». Как видно из всего вышеизложенного, в основе моих лингвистических утверждений всегда лежал получаемый при эксперименте языковой материал, т. е. факты языка.

С весьма распространенной боязнью, что при таком методе будет исследоваться «индивидуальная речевая система», а не языковая система, надо покончить раз навсегда. Ведь индивидуальная речевая система является лишь конкретным проявлением языковой системы, а потому исследование первой для познания второй вполне законно и требует лишь поправки в виде сравнительного исследования ряда таких «индивидуальных языковых систем». В конце концов лингвисты, исследующие тексты, не поступают иначе. Готский язык не считается специально языком Ульфилы, ибо справедливо предполагают, что его письменная речевая деятельность была предназначена для понимания широких социальных групп. Говорящий тоже говорит не для себя, а для окружения. Разница, конечно, та, что в первом случае мы имеем дело с литературной речевой деятельностью (с «письменной», по терминологии Виноградова в его работе «О художественной прозе», [М.], 1929, стр. 15), имеющей очень широкую базу потребителей и характеризующейся, между прочим, сознательным избеганием «неправильных высказываний» (о чем см. ниже), а во втором — с групповой речевой деятельностью диалогического характера.

Здесь надо устранить одно недоразумение: лингвистически изучая сочинения писателя (или устные высказывания любого человека), мы можем исследовать его речевую деятельность как таковую — получится то, что обыкновенно неправильно называют «языком писателя», но что вовсе не является языковой системой;⁸ но мы можем также исследовать ее и как языковой материал для выведения индивидуальной речевой системы данного писателя, имея, однако, в виду, в конечном счете, установление языковой системы того языка, на котором он пишет. Конечно, картина будет неполная из-за недостаточности материала, и прежде всего из-за отсутствия отрицательного языкового материала, но многое можно будет установить с достаточной точностью,⁹ как показывает многовековой опыт языкознания.

Вообще надо иметь в виду, что то, что часто считается индивидуальными отличиями, на самом деле является групповыми отличиями, т. е. тоже социально обусловленными (семейными, профессиональными, местными и т. п.), и кажется индивидуаль-

⁸ Я не думаю, чтобы такое исследование обязательно должно было совпадать с «психологией творчества» или с «психологией языка» (Sprachpsychologie). Мне кажется, что здесь возможны и чисто лингвистические подходы; но я не могу здесь обосновывать свои воззрения на этот предмет, так как это потребовало бы особого исследования.

⁹ Само собой разумеется, что в дальнейшем, для дополнения и сравнения, совершенно необходимо привлекать сочинения и других писателей, и чем больше, тем лучше. Стилистику без этого нельзя даже и построить, во всяком случае — полную стилистику.

ными отличиями лишь на фоне «общих языков». Языковые же системы общих языков могут быть весьма различными по своей развитости и полноте, от немного более нуля и до немного менее единицы (считая нуль за отсутствие общего языка, а единицу — за никогда не осуществляемое его полное единство), и дают более или менее широкий простор групповым отличиям.

Строго говоря, мы лишь постулируем индивидуальные отличия индивидуальных речевых систем внутри примарной социальной группы, ибо такие отличия, как ведущие к взаимонепониманию, должны неминуемо исчезать в порядке социального общения, а потому никто на них никогда не обращал внимания, даже если они и встречались. Этим-то и объясняется всегда практиковавшееся отождествление таких теоретически несоизмеримых понятий, как «индивидуальная речевая система» (= психофизиологическая речевая организация индивида) и «языковая система», которым более или менее грешили все лингвисты до самого последнего времени.

В сущности, можно сказать, что работа каждого неофита данного коллектива, усваивающего себе язык этого коллектива, т. е. создающего у себя речевую систему на основании языкового материала этого коллектива (ибо никаких других источников у него не имеется), совершенно тождественна работе ученого исследователя, выводящего из того же языкового материала данного коллектива его языковую систему, только одна протекает бессознательно, а другая — сознательно.

Возвращаясь к эксперименту в языкознании, скажу еще, что его боязнь является пережитком натуралистического понимания языка.¹⁰ При социологическом воззрении на него эта боязнь должна отпасть: в сфере социальной эксперименты всегда производились, производятся и будут производиться. Каждый новый закон, каждое новое распоряжение, каждое новое правило, каждое новое установление с известной точки зрения и в известной мере являются своего рода экспериментами.

¹⁰ В сущности, это подобный же пережиток, какой можно было наблюдать у Бругмана (и у многих других «младограмматиков»), когда он отрицал возможность искусственного международного языка, называя его вслед за Мейером (G. Meyer) *homunculus*'ом (Karl Brugmann und August Leskien. *Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen*. Strassburg, 1907, S. 26). Но не прав был и Бодуэн, который в разгаре обострившихся философских противоречий утверждал, что нет разницы между живым и мертвым языком, между живым и искусственным языком: достаточно кому-нибудь изучить мертвый язык, чтобы он стал живым (J. Baudouin de Courtenay. *Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen*. Ostwald's Annalen der Naturphilosophie, [Bd.] VI, [Leipzig, 1907]. Этого, конечно, мало: для того чтобы стать живым, он должен стать хотя бы одним из нормальных орудий общения внутри какой-либо социальной группы, хотя бы минимальной.

Теперь коснусь еще вопроса так называемой «нормы» в языках. Наша устная речевая деятельность на самом деле грешит многочисленными отступлениями от нормы. Если бы ее записать механическими приборами во всей ее неприкосновенности, как это скоро можно будет сделать, мы были бы поражены той массой ошибок в фонетике, морфологии, синтаксисе и словаре, которые мы делаем (об этом см., впрочем, еще: [R.] M e r i n g e r und [K.] M e y e r. Versprechen und Verlesen. Eine psychologische linguistische Studie. [Stuttgart,] 1895). Не является ли это противоречием всему тому, что здесь говорилось? Нисколько, и притом с двух точек зрения. Во-первых, нужно иметь в виду, что мы нормально этих ошибок не замечаем — ни у себя, ни у других: «неужели я мог так сказать?» — удивляются люди при чтении своей стенограммы; фонетические колебания, легко обнаруживаемые иностранцами, обыкновенно являются открытием для туземцев, даже лингвистически образованных. Этот факт объясняется тем, что все эти ошибки социальнo обоснованы; их возможности заложены в данной языковой системе, и они, являясь привычными, не останавливают на себе нашего внимания в условиях устной речи. Во-вторых, всякий нормальный член определенной социальной группы, спрошенный в упор по поводу неверной фразы его самого или его окружения, как надо правильно сказать, ответит, что «собственно надо сказать так-то, а это-де сказалось случайно или только так слышалось» и т. п.

Впрочем, ощущение нормы, как и сама норма, может быть и слабее и сильнее в зависимости от разных условий, между прочим — от наличия нескольких сосуществующих норм, недостаточно дифференцированных для их носителей, от присутствия или отсутствия термина для сравнения, т. е. нормы, считаемой за чужую, от которой следует отталкиваться, и, наконец, от практической важности нормы или ее элементов для данной социальной группы.¹¹

Совершенно очевидно, что при отсутствии осознанной нормы отсутствует отчасти и отрицательный языковой материал,¹² что в свою очередь обуславливает крайнюю изменчивость языка.

¹¹ Очень часто, особенно при смешении диалектов, норма может состоять в отсутствии нормы, т. е. в возможности сказать по-разному. Лингвист должен будет все же определить границы колебаний, которые и явятся нормой.

¹² Говорю — отчасти, так как отрицательный языковой материал создается не только непосредственными исправлениями окружающих, но прежде всего фактическим непониманием: всякое речевое высказывание, которое не понимается, или не сразу понимается, или понимается с трудом, а потому не достигает своей цели, является отрицательным языковым материалом. Ребенок научается правильно просить чего-нибудь, так как его непонятные просьбы не выполняются.

Совершенно очевидно и то, что норма слабеет, а то и вовсе исчезает при смешении языков и, конечно, при смешении групповых языков, причем первое случается относительно редко, а второе — постоянно. Таким образом, мы снова приходим к тому положению, что история каждого данного языка есть история катастроф, происходящих при смешении социальных групп.

Возвращаясь к вопросам нормы, нужно констатировать, что литературная речевая деятельность, т. е. произведения писателей, в принципе свободна от неправильных высказываний, так как писатели сознательно избегают ляпсусов, свойственных устной речевой деятельности, и так как, обращаясь к широкому кругу читателей, они избегают и тех элементов групповых языков, которые не вошли в том или другом виде в структуру литературного языка. Поэтому лингвисты глубоко правы в том, что, разыскивая норму данного языка, обращаются к произведениям хороших писателей, обладающих очевидно в максимальной степени тем оценочным чувством («чутьем языка»), о котором говорилось выше, на стр. 33. Однако и здесь надо помнить, во-первых, что у многих писателей все же встречаются ляпсусы,¹³ и, во-вторых, что по существу вещей произведения писателей не содержат в себе отрицательного языкового материала.

* * *

В заключение приведу несколько примеров лингвистического эксперимента (ср. стр. 32).

В качестве примера синтаксического эксперимента возьмем фразу *Никакой торговли не было в городе*.¹⁴ Эта фраза переводится так: „торговля отсутствовала в городе“ (надо иметь в виду, что в устном языке и фраза, и ее перевод могут иметь тройкую ритмическую форму, каждая из которых имеет свое значение: „торговля — отсутствовала в городе“, „торговля отсутствовала — в городе“ и нерасчлененная, которая здесь и имеется в виду). Попробуем переставлять слова *в городе*. Получим, во-первых, *никакой торговли в городе не было* и, спросив себя, что это будет значить, переведем так: „торговля в городе отсутствовала“ (возможно двойкое ритмическое членение); во-вторых, получим *никакой в городе торговли не было*, что прежде всего будет значить: „торговля в городе отсутствовала вовсе“ (иные ритмические членения могут дать и иные значе-

¹³ Приведу примеры: «проникнуть в тайные *недопустимые* комнаты человеческой души» (К у п р и н. Штабс-капитан Рыбников); «из *двух шагов один раз* нога срывалась с вершины кочки и вяза» (Ф е т. Мои воспоминания) и т. д.

¹⁴ Эту и все следующие фразы следует читать без логических акцентов.

ния); в-третьих, получим в городе не было никакой торговли, что будет значить: „город не имел никакой торговли“; наконец, можно получить никакой торговли не в городе было, что ничего не значит, ибо так сказать нельзя, т. е. получился отрицательный языковой материал (впрочем, первая часть до слова «было» может быть осмыслена — „торговля вне города“). Нужно иметь в виду, что для полной убедительности эксперимента необходимо для каждого изменения мысленно создавать соответственный контекст или ситуацию.

Приведу пример эксперимента в морфологии. Допустим, что иностранный исследователь общерусского языка запишет такие формы 3 л. ед. ч., как *несёт, везёт, плетёт, ждёт, мнёт, ткёт, жгёт, жжот*. Что он из этого умозаключит, сидя у себя в кабинете? Он решит, очевидно, что форма 3 л. ед. ч. определенного типа глаголов образуется путем смягчения последнего согласного основы и прибавления окончания *-ёт* (точнее, *-от*) и что форма *жжот* является пережитком или диалектизмом. Только дальнейшая проверка на фактах (эксперимент) поможет ему ввести в правило ограничение, состоящее в том, что *к, г* основы не смягчаются, а меняются на *ч, ж*. Тогда *жжот* станет у него нормальной формой, а *ткёт, жгёт* — диалектизмами. Вполне ли, однако, это будет верно? Если начать образовывать формы (эксперимент) *печёт* и *пекёт, течёт* и *текёт, сечёт* и *секёт* и т. д., то окажется, что хотя первые формы и будут безусловно правильными, однако и вторые не будут абсолютно невозможными, какими были бы, например, формы *пекот, текот, секот* (эксперимент). Далее окажется, что форма *ткёт* предпочтительнее, чем *тчёт* (эксперимент); если же попробовать образовывать форму 3 л. от малоупотребительного (в городе) глагола *ску* (эксперимент), то скажем, пожалуй, *екёт* и едва ли *щёт=счёт*. И вся картина становится совершенно ясной: формы *пекёт, секёт, жгёт* и т. д. — это формы будущего языка. Пока они устанавливаются только там, где чередования *к||ч, г||ж* затемняют корень слова: ведь никто не скажет *жжа*, а *жгя* всякий поймет (эксперимент), формы же, *печёт, течёт* и т. д. существуют лишь по традиции, хотя пока и не только в словарном порядке, но и в грамматическом.

А вот эксперимент в фонетике: возьмем русское сочетание *сел=s'el*. Спрашивается, какой гласный можно вставить в это сочетание вместо *e=ε*? Пробуем: *сял, сёл, сюл, сил* — возможно. А можно ли вставить *e=ε* из слова *сели=s'el'i*, т. е. сказать *s'el*? Оказывается, что такого сочетания в русском языке нет вовсе и что русский человек, нефонетик, даже не может его и произнести.¹⁵ Следовательно, можно предполагать с большой

¹⁵ Это безусловно справедливо по отношению к литературному языку в Ленинграде, относительно Москвы у меня имеются сомнения.

уверенностью, что ϵ , e являются лишь оттенками единой фонемы, обусловленными лишь фонетическими условиями и не имеющими самостоятельной функции.

Все эти приемы, конечно, хорошо известны людям, на месте изучавшим чужой устный язык с целью его полного грамматического и словарного описания и усвоения (нужно всячески подчеркнуть, что последнее есть необходимое условие первого), и я здесь лишь впервые теоретически обосновываю то, что практически, вероятно, многими делалось.

ОЧЕРЕДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ ¹

Я, конечно, не имею претензии исчерпать все очередные проблемы современного языковедения, я буду говорить лишь о тех, о которых мне приходилось думать в зрелый период моей научно-лингвистической жизни.

Одной из основных очередных задач является сравнительное изучение структуры, или строя, различных языков. Насколько подобное сравнительное изучение сможет дать нам историческую картину развития структуры человеческого языка вообще в связи с развитием человеческого сознания, — мне, откровенно говоря, неясно. Думается во всяком случае, что иного пути нет и быть не может. Но я слишком мало самостоятельно думал над этим вопросом, чтобы дольше останавливаться на нем.

Зато мне вполне ясна возможность подобного изучения для другой проблемы, с которой, впрочем, вышеуказанная историческая проблема тесно связана. Дело идет о взаимообусловленности отдельных элементов языковых структур. Примером такой взаимообусловленности может служить тот общеизвестный факт, что в латинском языке порядок слов почти не играет никакой грамматической роли — факт, несомненно стоящий в связи с тем, что грамматическая роль большинства слов довольно точно определяется их морфологическими элементами. Богато развитая система согласных фонем некоторых кавказ-

¹ О т р е д а к ц и и. Предлагаемая статья акад. Л. В. Щербы представляет собой черновой набросок доклада на тему «Очередные проблемы языковедения», подготовлявшегося для Общего собрания Отделения литературы и языка Академии наук. Несмотря на незаконченность работы и на некоторую эскизность ее изложения, редакция считает необходимым ее опубликовать, так как в этой статье нашли яркое отражение общелингвистические взгляды покойного академика.*

ских языков, например абхазского, имеет своим коррелянтом бедность их системы гласных вплоть до потери этими последними самостоятельного фонематического значения. Для абхазского языка, по-видимому, вполне можно постулировать в недавнем прошлом такое состояние, когда фонемой был слог. Семантизация различий по силе артикуляции согласных в грузинском (так называемая «троякая звонкость»), в некоторых германских языках и диалектах, в некоторых финских языках находится, конечно, в связи с уменьшением значения, а то и вовсе с падением противоположения звонкости и глухости согласных во всех этих языках.

Все эти факты, бросающиеся в глаза, лежат, так сказать, на поверхности наблюдаемых явлений, но на очереди стоит еще углубленное, по возможности исчерпывающее изучение относящихся сюда фактов, ибо только на этих путях можно серьезно ставить вопрос о зависимости изменений в знаковой стороне языка от изменений в структуре общества. Сейчас это больше постулат, чем очевидный факт.

Итак, насущно необходимо внимательно изучать структуры самых разнообразных языков. На первый взгляд кажется, что этим всегда и занимались и что никакой специфической проблемы сегодняшнего дня здесь не имеется. Однако если обратить внимание на то, как до сих пор изучалась структура разных языков и как это надо делать, то становится очевидным, что мы действительно стоим перед громадной лингвистической проблемой первоочередной важности.

Как мной неоднократно указывалось (между прочим в статье «Sur la notion du mélange des langues» в Яфетическом сборнике, IV),* всякое изучение второго языка ведет к двуязычию, которое бывает двух типов — чистое и смешанное. Чистым оно бывает, когда между ними не устанавливается никаких сравнений, никаких параллелей, когда перевод с одного языка на другой в сущности невозможен для носителей подобного двуязычия и во всяком случае крайне затруднен. Для того чтобы перевести какую-либо фразу с одного языка на другой, приходится возвращаться к ситуации, ее вызвавшей, так как нет никакой непосредственной связи между знаковыми сторонами данных двух языков. Примером такого чистого двуязычия может служить сосуществование русского и французского у нашей старой аристократии, получавшей французский язык от гувернеров и гувернанток, ни слова не знавших по-русски.

Двуязычие будет смешанным в тех случаях, когда второй язык изучается с постоянной оглядкой на первый, точнее — когда второй язык усваивается через первый. Таким образом, смешанное двуязычие в той или иной мере является

нормальным случаем двуязычия, тогда как чистое может возникнуть лишь в известных условиях. При смешанном двуязычии вновь усваиваемый язык всегда претерпевает то или другое влияние первого языка, во всяком случае в смысле категоризации явлений действительности.²

Русское *нога* не находит себе эквивалента ни во французском, ни в немецком, так же как ни французское *jambe*, ни немецкое *Bein* не находят себе эквивалента в русском. Всякий русский не может себе представить действие вне видового оттенка, а большинство иностранцев склонно образовывать настоящее время (не форму) от всякого нашего глагола совершенного вида. У двуязычных народов, употребляющих оба языка рядом, образуется собственный единый язык, который я позволил себе назвать «langue à trois termes» и в котором каждому значению соответствуют два способа выражения, употребляющиеся один вместо другого.

При осознании языка, т. е. при создании его грамматики и словаря, индицирующим может быть и второй язык, если он пользуется каким-либо освященным традиционным авторитетом. Так, грамматики большинства известных нам языков находятся под тем или другим влиянием латинской грамматики, от которой они лишь с великим трудом и только очень постепенно освобождаются. В этих условиях я позволяю себе утверждать, что при изучении языков у подавляющего большинства лингвистов получается смешанное двуязычие и изучаемый язык в той или иной мере воспринимается ими в рамках и категориях родного. В связи с этим особенности структуры изучаемых языков или стираются, или фальсифицируются.

Такому положению вещей пора объявить беспощадную войну, и в этом смысле это действительно одна из очередных больших лингвистических проблем. Осознание этой проблемы особенно важно для нас в Советском Союзе ввиду громадного количества языков, которые еще подлежат изучению и фиксации.

Однако это легко сказать, но трудно сделать. Для того чтобы не исказить строй изучаемого языка, его надо изучать не через переводчиков, а непосредственно из жизни, так, как изучается родной язык. Надо стремиться вполне обладать изучаемым языком, ассимилироваться туземцам, постоянно требуя от них исправления твоей речи. Но этого, конечно, недо-

² Как я показал в вышеупомянувшейся статье «Sur la notion du mélange des langues», а также в ряде других статей, действительность воспринимается в разных языках по-разному: * отчасти в зависимости от реального использования этой действительности в каждом данном обществе, отчасти в зависимости от традиционных форм выражения каждого данного языка, в рамках которых эта действительность воспринимается.

статочно: опыт учит, что и в таких условиях у взрослого получается своего рода «нижегородский французский». Со стороны лингвиста при превращении «parole» в «langue» необходима неусыпная борьба с родным языком: только тогда можно надеяться осознать все своеобразие структуры изучаемого языка. Одним это удастся в большей степени, другим — в меньшей; но к этому надо во что бы то ни стало стремиться, если решительно заниматься сравнением структуры языков. Чем полярнее эти структуры языка, тем легче это сделать. В наилучшем положении находятся те языки, в которых хорошие грамматические и словарные описания сделаны туземцем вне какого бы то ни было влияния со стороны иноземных языков. Не знаю только, сколько найдется таких действительно хороших описаний (к сожалению, я не изучал творений Rapini и не могу о них судить). Однако несомненно, что во всех подобных туземных описаниях всегда много правды и что необходимо их тщательно изучать, несмотря на возможные недостатки их лингвистического метода.

Частной и чисто отрицательной задачей в плане создания языковых описаний, адекватных действительности, является борьба с традиционной классификацией языков на флективные, агглютинативные и изолирующие (куда иногда присоединяется еще четвертый класс — языков инкорпорирующих). В свое время эта классификация была, конечно, большим достижением, но сейчас она является лишь способом терминологией заменить исследование. Сейчас едва ли кто из думающих лингвистов серьезно отождествляет эту классификацию с глоттогонией, однако самые понятия не сходят со страниц учебников и даже многих исследований. И действительно, латинский, турецкий и китайский (во всяком случае в его древней, но, конечно, не древнейшей форме, зафиксированной в иероглифике) являются структурно полярными языками. Однако непонятно, почему склонение в турецких языках называется агглютинацией, а в латинском — флексией.* Раздельность выражения падежа и числа в турецких языках, являясь вполне естественной, едва ли может считаться структурным признаком этих языков. Многообразие склонений большинства индоевропейских языков, будучи, вероятно, следствием фонетических процессов, является скорее курьезом, чем структурным признаком, хотя оно несомненно является одним из факторов разрушения склонений в этих языках. Некоторые лингвисты почему-то видят флективность в семантизации чередований гласных корня («флексия основ»). Хотя в большинстве индоевропейских языков это явление находится на стадии пережитков (даже в германских языках, где «сильные глаголы» не являются типичными), однако в принципе это, конечно, структурный признак.

Но отчего же тогда не называть флективностью и семантизацию чередований согласных, что так характерно, например, для русского языка и встречается во многих языках, и «флективных» и «агглютинативных»? Что касается семантизации чередований гласных корня, то ее нет в турецких языках не потому, что они «агглютинативны», а потому, что они характеризовались еще в недавнем прошлом, а отчасти характеризуются и сейчас так называемой гармонией гласных. Это, конечно, тоже структурный признак, но могущий иметь место в любых языках как показатель словесного или иного единства.

Категория «изолирующих» языков на первый взгляд кажется более убедительной. Однако она покоится на понятии «отдельного слова», и здесь лежит частная, но очень важная очередная проблема современного языковедения. В самом деле, что такое «слово»? Мне думается, что в разных языках это будет по-разному. Из этого собственно следует, что понятия «слово вообще» не существует. Однако если согласиться с тем, что в «речи» («parole») «слово» не дано и что оно является лишь категорией «языка как системы» («langue»), то «слово» представится нам в виде тех кирпичей, из которых строится наша речь («parole») и некоторый репертуар которых необходимо иметь в памяти для осуществления речи.³

Во всяком случае, с моей точки зрения, в язык как систему («langue») входят «слова», образующие в каждом данном языке свою очень сложную систему (к этому я вернусь ниже), живые способы создания новых слов (а потому и фонетика, точнее фонология или фонематология), а также схемы или правила построения различных языковых единств — все это, конечно, социальное, а не индивидуальное, хотя и базируется на реальной «речи» членов данного коллектива. К речи же («parole») относятся, с моей точки зрения, все процессы говорения и понимания, разыгрывающиеся в индивидууме.

Из этого, между прочим, вытекает, что многие так называемые «сложные слова», например немецкого языка или санскрита, являются в этих языках словами лишь по форме, а по существу будут соответствовать тем простейшим единицам речи («parole»), которые я называю с и н т а г м а м и: большинство сложных слов этих языков делается в процессе речи и не входит в репертуар языка как системы. Само собой разумеется, что такие русские слова, например, как *пароход*, *паровоз* и т. п., в отличие от таких, как *шлемоблещущий*, *русско-французский*, яв-

³ О понятиях «язык как система» («langue») и «речь» («parole») см. мою статью «О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» в Известиях Академии наук. Отделение общественных наук, 1931, № 1. Внимательный читатель заметит, что мое понимание относящихся сюда вещей кое в чем отличается от соссюровского.

ляются сложными словами лишь в исторической перспективе; сейчас это простые слова.⁴

Вообще при исследовании как проблемы «слова», так и всех других аналогичных проблем необходимо смелее подходить к традиционным понятиям и особенно терминам. Смешно спрашивать: «что такое предложение?»: надо установить прежде всего, что имеется в языковой действительности в этой области, а затем давать наблюдаемым явлениям те или другие наименования. Применительно к европейским языкам, а в том числе и к русскому, мы прежде всего встречаемся с явлением большей или меньшей законченности высказываний разных типов, характеризующихся разнообразными специфическими интонациями, — повествование, вопросы, повеления, эмоциональные высказывания. Примеры очевидны. Далее, мы наблюдаем такие высказывания, где что-то утверждается или отрицается относительно чего-то другого, иначе говоря, где выражаются логические суждения с вполне дифференцированными S и P (есть в русском языке некоторые и другие случаи, о которых сейчас не буду говорить): *мой дядя — генерал; хороший врач — должен быть прежде всего хорошим диагностом; мои любимые ученики — собрались сегодня у меня на квартире; все эти мероприятия — не то, что надо больному в настоящую минуту* (тире поставлены иногда против правил пунктуации для того, чтобы подчеркнуть двучленность всех этих выражений). Далее, мы наблюдаем такие высказывания, посредством которых выражается та или иная наша апперцепция действительности в момент речи, иначе говоря, узнавание того или иного ее отрезка и подведение его под имеющиеся в данном языке общие понятия: *светает; пожар; горим; солнышко пригревает, воробышки чирикают, на прогалинке травка зеленеет; когда гости подъехали к крыльцу, все высыпали их встречать; подъезжая к крыльцу, мы еще издали заметили на нем поджидающих нас хозяев; мы вошли в комнату, где жила целая семья.* (Примеры выбраны так, что все отдельные их синтагмы являются иллюстрациями данного случая).

При таких обстоятельствах оказывается совершенно неясным, что же имеется в виду, когда мы говорим о «предложении».

Насколько мы находимся во власти традиции и одностороннего формализма, видно на примере хотя бы русской грамма-

⁴ Хотя я давно и много думал и думаю о понятии «слово», однако я не могу взять на себя разработку этой проблемы, так как в моем возрасте я уже не могу взяться за такое изучение какого-либо яфетического языка, о каком я говорил выше: это требует большого самопожертвования, превращения себя на несколько лет в «примитив», что возможно только в молодом возрасте.

тики: она до сих пор видит в деепричастиях особую категорию, тогда как по функции они совершенно сходны с обычными, так называемыми личными формами глагола, обозначая или действие одновременное — у глаголов вида несовершенного, — или действие предшествующее — у глаголов вида совершенного.⁵ То, что эти формы не имеют ни личных, ни числовых примет, не может иметь никакого значения, да они в них и не нуждаются, так как лицо, число, а иногда и род обозначены всегда глаголом, к которому они примыкают, согласование же вещь вовсе не обязательная (ср. прилагательное в турецких языках и прилагательное в немецком языке: если их несколько — согласуется лишь первое определяющее слово). Примеры можно бы умножить.

Как я уже говорил выше, преодолевать «eidolas pecus», т. е. понимание, внушаемое нам родным языком, легче всего, по-видимому, на полярных по структуре языках, но основная цель сравнительного исследования разных языковых структур едва ли не лучше достигается на сравнительно близких по структуре языках, так как тут исследование несколько приближается к эксперименту.

Три типа языков нуждаются в первую голову в подобном «беспредрассудочном» изучении. Это, во-первых, языки племен, стоящих на низком уровне развития; здесь надо, между прочим, разбить предрассудок, будто языки примитивных племен структурно являются сравнительно простыми. По-видимому, это не так, и даже племена, стоящие чуть ли не на стадии палеолита, обладают языками со слабеющей и как будто даже очень отвлеченной структурой. Все это, конечно, требует проверки.

Во-вторых, требуют пристального изучения языки жестов. Это изучение не может ограничиваться тем, чтобы записать несколько десятков жестов какого-либо коллектива, а должно состоять в том, чтобы научиться свободно, как родным, владеть каким-нибудь из этих языков. На основе этого владения и постоянной проверки его на практике исследователь должен составить грамматику и словарь данного языка, — конечно, без всякой оглядки на обыкновенный звуковой язык. У нас такому изучению подлежит спонтанный язык жестов глухонемых (мимический язык), который создается вне какой-либо традиции у глухонемых детей, не подвергавшихся еще школьному обучению, но живущих вместе и, следовательно, общающихся друг с другом. Для рациональной постановки сурдопедагогики это крайне важно, ибо детей, обучающихся в школе

⁵ Любопытно отметить, что видовые различия при этом как-то стучиваются.

русскому письменному языку и чтению (я не говорю в этой связи об устном языке), никоим образом нельзя себе представлять как обучающихся первому языку, которым является их спонтанный или иная разновидность традиционного мимического языка. В результате получается ужасающее смешанное двуязычие с исключительным по понятным причинам (ничтожный размер материала на изучаемом языке и полное отсутствие контроля) преобладанием мимического языка. В связи с этим методика обучения глухонемых чтению и письму должна быть коренным образом пересмотрена, должна вдохновиться кой-чем из методики преподавания иностранных языков⁶ и, наконец, нужно не только требовать от учителей знания первого, т. е. мимического, языка учащихся, но и отличного понимания его структуры, для того чтобы уметь во всех случаях парализовать вредное влияние этой структуры на изучаемый язык.

Сурдопедагоги и лингвисты должны помогать друг другу — в результате выиграют и практика и наука.⁷

Третий тип языков, который, по-моему, нуждался бы в пристальном изучении, — это язык всевозможных афатиков. Сам я этим не занимался, но довольно много думал об организации подобных исследований. Прежде всего надо получить достаточные материалы, т. е. записи речи («parole») афатиков. Было бы очень хорошо, если бы эти записи можно было делать на пленке при помощи очень чувствительного микрофона: это были бы, во-первых, вполне достоверные тексты, а во-вторых, [это] позволило бы включить в поле исследования и фонетику. Полученные тексты надо дать опытному лингвисту, который, конечно, должен присутствовать при самой записи текстов, чтобы иметь максимум данных для их понимания. На основе этих текстов лингвисты должны попытаться составить «систему»

⁶ Методисты-сурдопедагоги должны понять, что выучиться какому-либо языку — значит усвоить себе систему данного языка («langue»), а это можно сделать только на основе громадного материала чтения («parole»), так как «parole» в прямом смысле слова [как речь] для глухонемых не существует. Изучить иностранный язык в отсутствие соответственного окружения тоже можно только через обильное чтение, только через книгу. Что касается грамматики, то существующие грамматики не годятся для глухонемых детей, так как очень многого и очень нужного в них нет, а во многих случаях они искажают действительность.

⁷ В заключение позволю себе высказать одно самое горячее пожелание, чтобы абсолютно все книги, предназначенные специально для глухонемых, особенно книги для самостоятельного чтения, снабжались знаками ударения: ведь это чтение и есть тот материал («parole»), из которого глухонемые только и могут усвоить себе такой важный момент русского языка, как ударение. При этом важно отметить все проклитики и энклитики — для этого надо только не ставить на них ударения и, наоборот, ставить его на всех ударных односложных словах: *пойдём, брат, добрый, сказал мне ваш брат и взял меня за руку*. Это прямо-таки преступление, что тексты для глухонемых до сих пор печатались без знаков ударения.

(грамматику и словарь) диалекта афатика в момент записи, подобно тому как на основании диалектологических текстов он может составить грамматику и словарь данного диалекта. Поняв систему языка афатика в целом и сравнив ее с нормальной, он сможет иногда увидеть причины ошибок речи афатика, рекомендовать целесообразные средства для устранения этих ошибок и во многих случаях понять связь между отдельными элементами языка.

Опять-таки и практика лечения недостатков речи (которых теперь так много в связи с ранениями и контузиями головы) и наука о языке очень выиграли бы от совместной работы логопедов и лингвистов.

В заключение этого отдела не могу не упомянуть об одной проблеме, которая меня очень интересует, но к которой я даже не знаю, как можно приступить. Проблему эту я называю «проблемой понимания» и подразумеваю под этим вопрос о том, как человек начинает понимать чужой язык в тех случаях, когда его этому языку абсолютно не учат. Единственное, что я думаю на этот счет, это то, что понимание обуславливается в этих случаях общностью жизненного опыта и общностью реакций на явления жизни. Если этого нет, то, вероятно, невозможно и полное понимание. Вопрос этот особенно интересен в связи с изучением языков-примитивов.

Ничего не говорю здесь об образовании понятий, хотя проблема является исключительно важной для лингвистов, ибо в основе «значений» так или иначе лежат понятия. Однако я полагаю, что вопрос этот относится скорее к ведению философии и психологии. Он имеет, конечно, громадное значение для проблемы становления человеческого языка.

Перехожу к специфически лингвистическим проблемам. Здесь мы, русские лингвисты, должны прежде всего думать о создании грамматики и словаря русского литературного языка, которые бы отвечали языковой действительности и которые были бы свободны от всяких традиционных и формалистических предрассудков.⁸ Задача эта, помимо того общенаучного значения, о котором достаточно было сказано выше, имеет еще и большое практическое значение в разных областях.

Грамматика, которая есть не что иное, как сборник правил речевого поведения, является важнейшей книгой. Правила, составляющие ее содержание, должны быть точными и отвечать языковой действительности; они должны руководить гово-

⁸ Не надо думать, что подобная работа сделана для других языков: соответственная задача стоит перед каждой национальной лингвистикой. Больше всего на этих путях может быть сделано у французов, но и они далеки еще от идеала.

рящими при составлении фраз в соответствии с теми мыслями, которые эти говорящие хотят выразить.

Пора, действительно, оставить ту обывательскую мысль, — которая, впрочем, гнездится и в головах многих лингвистов, не желающих продумать вопрос до конца, — будто изучение грамматики имеет больше образовательное значение, чем практическое, и что сама она является плодом размышляющего над языком человека, а вовсе не объективной языковой действительностью, управляющей нашей речью («parole»). В самом деле, дети, не умеющие даже читать, говорят по грамматике, которую они себе бессознательно создали⁹ на основе своего лингвистического опыта («parole»). Когда ребенок говорит — *у меня нет картов*, то он, конечно, творит формы по своей еще несовершенной [грамматике], т. е. еще не адекватной грамматике взрослых, а не повторяет слышанное, ибо такой формы он наверное не слышал от окружения. Если бы наш лингвистический опыт не был упорядочен у нас в виде какой-то системы, которую мы и называем грамматикой, то мы были бы просто понимающими попугаями, которые могут повторять и понимать только слышанное.

Где, однако, существующие грамматики оказываются особенно зловредными, это в сурдопедагогике. В самом деле, бедным глухонемым недоступны даже высказывания учителя, исправляющие и дополняющие грамматику, и грамматика является для них единственным руководителем их речевого поведения, и поэтому она должна быть безусловно надежным руководителем.

В связи с проблемой грамматики вообще стоит целый ряд частных проблем, которые настоятельно требуют своего разрешения. Во-первых, вопрос о соотношении исторической и так называемой описательной грамматики; во-вторых, о содержании самой грамматики и ее противопоставлении словарю — иначе системе лексики, — которому ниже будет посвящен особый раздел, о подразделении грамматики, в частности о месте в ней фонетики и таких отделов, как «части речи»; в-третьих, о необходимости различать активную и пассивную грамматику, в связи с чем стоит вопрос о возможности или невозможности построения «идеологической грамматики», т. е. исходящей из семантической стороны, независимо от того или иного конкретного языка.

Первый вопрос — о соотношении исторической и описательной грамматики, иначе, по Соссюру, о диахронической и синхронической лингвистике, — с моей точки зрения, совершенно

⁹ Бессознательно в том смысле, что соответственные процессы, сравнения, анализы и синтеза (языкотворчество) не сохранились у нас в памяти.

ясен и не составляет проблемы. Еще задолго до Соссюра Бодуэн учил не смешивать различные хронологические стадии в описании языка и не приписывать явлений более ранних стадий позднейшим, где эти явления или вовсе отсутствуют, или существуют в виде пережитков. Ярче всего эти, казалось бы, очевидные истины высказаны были Бодуэном в его учении об изменяемости основ,¹⁰ которое в 1870 г. так не понравилось Шлейхеру, и потом им неоднократно повторялись при разных случаях.

Я думаю, что недооценка роли синхронической лингвистики находится в связи с недооценкой роли грамматики (а как увидим ниже, и словаря) в нашей речевой деятельности, о чем я уже говорил. Что же касается презрительной характеристики некоторыми лингвистами описательной грамматики как ненаучной, то это, конечно, глубоко несправедливо: выведение из данных в опыте фактов «речи» («parole») общего, т. е. «языка как системы» («langue»), является, как всякое обобщение единичных фактов, одной из основных целей, к которой стремится каждая наука: вопрос о причинных связях явлений может с успехом ставиться лишь в той мере, в которой продвинут процесс обобщения частного. Кроме того, задача эта является самой трудной в лингвистике; если бы это было иначе, мы давно бы имели прекрасные грамматики и словари для всех известных языков. У нас не только нет этого, как я уже неоднократно указывал, но мы даже не знаем, как должны выглядеть в идеале эти грамматики и словари. Поэтому-то это и является актуальнейшими лингвистическими проблемами сегодняшнего дня.

Может быть, некоторое отрицательное отношение к описательной грамматике зависит от недостаточно четкого отграничения ее от нормативной грамматики. Дело в том, что в нормативной грамматике зачастую язык представляется — и, с моей точки зрения, это неправильно — в окаменелом виде. Это отвечает наивному обывательскому пониманию: язык изменялся до нас и будет изменяться в дальнейшем, но сейчас он неизменен. Язык все время изменяется, и в описательной грамматике это должно найти себе отражение. Некоторые стороны языка действительно стоят очень твердо в течение более

¹⁰ Не могу не сделать здесь лирического отступления и не посетовать на своих соотечественников, которые признают идеи, лишь снабженные заграничной маркой. Так, очень многое, высказанное Соссюром в его глубоко продуманном и изящном изложении, ставшем всеобщим достоянием и вызвавшим всеобщий восторг в 1916 г., нам было давно известно из писаний Бодуэна. Между тем некоторые наши лингвисты даже учение о фонемах в той или другой мере готовы возводить к Соссюру.

или менее длительного периода времени,¹¹ зато другие стареют и становятся пережитками, а третьи лишь зарождаются. Так, мы говорим уже: *речь идет о каких-нибудь тысяче рублях*, хотя и старое *о тысяче рублей* не звучит еще неправильно. *Обуславливать, подытоживать* все больше и больше уступают место новым *обуславливать, подытаживать*.

Хотя *польта* звучит еще просторечно, однако рано или поздно этой форме обеспечено будущее. Конечно, мы пишем *тысяча*, хотя в речи *тыща* не менее употребительна. Мы говорим *с тысячею рублей в кармане*, однако *с тысячью рублей* едва ли не лучше, чем *с тысячей рублей* (вероятно, в силу диссимилиации двух разносмысленных окончаний *-ей*, ср. сказанное выше [в сноске] о разных противодействующих факторах). Если описательная грамматика не даст всего этого, не покажет всей «диалектики» языка, то она будет плохая грамматика. Я думаю, что и в так называемой нормативной грамматике чрезмерная нормализация зловредна: она выхолащивает язык, лишая его гибкости. Никогда не надо забывать отрицательного примера Французской академии.

Проблемой действительно является содержание грамматики и ее разделов. Здесь царит довольно большое разномыслие. На первый взгляд естественно противоположить обозначение самостоятельных предметов мысли — лексики и выражение отношений между этими предметами — грамматики.

При таком понимании вещей все так называемые служебные слова — предлоги, союзы, связки, некоторые местоимения, многие предложные и союзные выражения — попадают только в грамматику и совершенно исчезают из словаря. Многие слова в одной функции остаются в словаре (*он прошел мимо не оглянувшись; он был в Америке* и т. п.), а в другой попадают в грамматику (*он прошел мимо нас; он был американец* и т. п.). Можно даже считать, что такое словосочетание, как *при посредстве*, будет относиться к грамматике во фразе *я обошелся при по-*

¹¹ И то это только так кажется: на самом деле всегда и везде есть факторы, которые «грызут норму», но при состоянии наших знаний мы не умеем их наблюдать. Вообще я представляю себе язык находящимся все время в состоянии лишь более или менее устойчивого, а сплошь и рядом и вовсе неустойчивого равновесия, в результате действия целого ряда разнообразных факторов, зачастую друг другу противоречащих. Многие «фонетические законы» несомненно остались и остаются нам не известны, так как их действие парализовалось действием других законов или вообще других факторов (ср. ассимиляцию слабых *ъ* и *ь* в славянских языках следующему мягкому или твердому слогу или спорадическую ассимиляцию неударного *e* последующему неударному *a*: *керосин* (прост. *карасин*), *Пелагея* (*Палашка*)). Поэтому-то и важно сравнительное изучение структуры разных языков, между прочим, конечно, и фонетической, о чем говорилось выше: вскрывая взаимосвязь языковых явлений, она может сыграть громадную роль для раскрытия внутреннего механизма эволюции языка,

средстве перочинного ножа и маленького напильника и к лексике во фразе Андрюша попал в экспедицию только при посредстве своего дяди-профессора.

Все формы слов, имеющие синтаксическое значение, естественно вошли бы в грамматику.

Однако слова и формы слов, не выражающие ни самостоятельных предметов мысли, ни отношений между ними, оказались бы беспризорными при подобном противопоставлении. Таковы формы числа, рода имен существительных, формы вида и т. п. Таковы словечки *очень, весьма* и т. п.

Далее, при подобном противопоставлении все словообразование, а в конце концов и фонетика, должны были бы войти в лексику, в словарь. Хотя все это практически и неудобно, однако смущаться, конечно, этим нечего: не объективная действительность должна равняться по ученым и их удобствам, а ученые — по объективной действительности.

Возможно, однако, и иное противопоставление: с одной стороны, все индивидуальное, существующее в памяти как такое и по форме никогда не творимое в момент речи — лексика, и с другой стороны — все правила образования слов, форм слов, групп слов и других языковых единств высшего порядка — грамматика. И тот и другой отдел, само собой разумеется, со своей семантикой.

О системе лексики будет говоритья особо ниже. Здесь я остановлюсь только на подразделении грамматики, где много спорного, являющегося, однако, насущной проблемой дня, так как грамматики пишутся и должны писаться по причинам, изложенным выше.

Основные отделы всякой грамматики для меня в общем очевидны и в основном намечены мною еще в моем «Восточно-лужицком наречии»; но там они даны на материале конкретного славянского языка и теоретически никак не обоснованы. Здесь я постараюсь говорить о грамматике вообще, поскольку это и принципиально возможно и поскольку это в моих силах. Одним из таких основных отделов грамматики являются, по моему, правила словообразования, т. е. вопрос о том, как можно делать новые слова. Вопрос же о том, как сделаны готовые слова, — дело словаря, где должна быть дана и делимость слова, если его состав еще ощущается и может быть действенным фактором речи («раголе»); при этом могут быть случаи переходные, когда то или другое слово может забываться и делаться как бы вновь. *Писальщик, читальщик, ковырляльщик* никогда не входили и не входят еще в словарь, но могут быть всегда сделаны и правильно поняты; *подавальщик, подавальщица* — слова сделанные, но могут создаваться и вновь; *носильщик, писатель* — слова безусловно во-

шедшие в словарь, но еще вполне живые в своем составе и могли бы быть сделаны; *метельщик* — слово, давно сделанное, наново сделано быть не может, но в составе своем понятное (хотя исторически, вероятно, от *метла*, а не от *мести*); слова *свинец*, *огурец* и т. п. в составе своем уже плохо понятны и раскрываются только при исследовательском подходе.

Словообразование может происходить разными способами; оно может быть морфологическим, получая при этом разные традиционные названия: или суффиксального, или префиксального, или инфиксального (термины говорят сами за себя). Морфологическим оно будет во всех тех случаях, когда словопроизводящий элемент не отождествляется с каким-нибудь словом, обозначающим самостоятельный предмет мысли.

Морфологическое словообразование является для нас самым привычным, но это не должно быть причиной того, чтобы забыть о возможности фонетического словообразования — я имею здесь в виду морфологизованные чередования. Например, чередование твердости последнего согласного основы с мягкостью при образовании отвлеченных существительных от прилагательных *зелен-ый* (*зелень*), *черн-ый* (*чернь*), чередование места ударения в английском при образовании глаголов от прилагательных и др. Далее, словообразование принимает форму так называемого словосложения во всех тех случаях, когда оба элемента отождествляются со словами, обозначающими самостоятельные предметы мысли, и не вполне утратили свое индивидуальное значение. Словосложение как таковое может иметь то или другое формальное выражение. Это выражение может быть морфологическое (так называемые «соединительные гласные» индоевропейских языков и т. п.), фонетическое (ударение, гармония гласных и т. п.), синтаксическое (порядок слов).

Однако словосложение не нуждается в формальном выражении, и любая синтаксическая группа может оказаться сложным словом, которое должно отличаться от группы лишь тем, что оно значит больше, чем сумма значений образующих его слов. Таким образом, словосочетания вроде *железная дорога*, *общая тетрадь*, *зубная паста*, *красное вино* (где со словом *красный* связывается целый ряд качеств вина) и т. д. следует считать сложными словами.

Само собою разумеется, что такие слова, как *перекати-поле*, *на чай*, *на каждый день*, *записная книжка*, являются сложными словами. Что даже такое словосочетание, как *чай пить*, начинает ощущаться сложным словом, явствует из такого очень распространенного новообразования, как *мы уже почайнили* и т. п.

Вопрос о том, какие из сложных слов относятся к лексике, а какие нет, разрешается таким же путем, как это было разъяс-

нено выше на суффиксальных словах. Сложные слова из синтаксических групп, очевидно, все будут достоянием словаря. Однако и тут могут быть общие приемы составления подобных сложных слов, где, правда, одна из составных частей носит характер служебного слова. Для французского языка разработаны такие constructions nominales и constructions verbales (Gougenheim). Русские примеры: группы с глаголом (не со связкой) *быть* (*быть в халате, быть в вечернем платье, быть в меланхолии, быть в (не)настроении* и т. п.), наречные словосочетания со словом *образом* (*неприятным образом — неприятно, неожиданным образом — неожиданно* и т. п.).

Наконец, есть семантический способ словообразования, т. е. употребление слов в новом смысле. Такие случаи, как *ручка* в смысле „то, за что держат“, специально в смысле „дверная ручка“ и специально в смысле „вставочка“ и т. д., целиком, конечно, относятся к лексике. Однако есть и типизованные случаи изменения значения, которые должны рассматриваться в грамматике.

Второй для меня ясный отдел грамматики — это правила формообразования. Его можно было бы называть морфологией, но название это скомпрометировано разными его употреблениями. Для лиц, воспитавшихся на индоевропейских языках, понятие форм слов является настолько привычным, что не вызывает никаких недоумений. На самом деле это не так, и в целом ряде случаев могут возникнуть затруднения.

Говорить о разных формах слова, не придавая термину никакого специального философского значения, можно и должно тогда, когда у целой группы конкретно разных, но по звукам сходных слов мы наблюдаем не только что-то фактически общее, а единство значения. Когда мы наблюдаем, что все эти слова обозначают одни и те же предметы мысли, хотя и в разных аспектах или с разными дополнительными значениями, то образно мы вполне вправе говорить, что слова этой группы являются различными видоизменениями, различными «формами» одного и того же слова. Собственно говоря, лучше бы не употреблять слова «форма» в этом простецком значении: слишком оно многозначно; но подобное, хотя, может быть, и не всегда до конца осознанное словоупотребление так укоренилось в нашем языке, что с ним трудно было бы вести войну.¹²

¹² Многие не признают важности и принципиальности противопоставления словообразования и формообразования, сваливая все это в одну кучу морфологии. Это находится отчасти в связи с крайним разнообразием понимания техники «формы».

Я не люблю спорить с чужими мнениями, считая, что если я хорошо обосновал собственное, то через это страдают все другие, с моими несогласные, по крайней мере элементы, противоречащие моим положениям (добро-

Как бы то ни было, но называть сейчас слово *шарманщик* формой слова *шарманка*, конечно, можно, но совершенно условно и исключительно с формальной точки зрения, и это, по-моему, как-то противоестественно, тем более что подобное словоупотребление в конце концов только запутывает довольно ясное в общем положение вещей. *Трубач* едва ли можно назвать формой слова *труба*, так как трудно даже подумать, чтобы слова *труба* и *трубач* считались за одно слово, за разные формы одного и того же слова: *трубач* есть название человека, который трубит, а *труба* — название предмета, в который он трубит. Точно так же *труба* и *трубка* нельзя считать формами одного и того же слова, так как они обозначают разные предметы. Но вот слова *трубка* и *трубочка* в определенных случаях можно считать за формы одного и того же слова: *трубочка* может называться уменьшительной формой слова *трубка* в определенных значениях. Такое словоупотребление вполне отвечает нашей словарной традиции, где зачастую уменьшительные и ласкательные формы, если они не дают новых значений, вовсе даже не приводятся — в предположении, очевидно, что они подразумеваются грамматической теорией. Другой пример: *прыгать* и *перепрыгнуть*, конечно, не являются формами одного и того же слова, так как имеют разное значение, отвечая совершенно различным вещам в объективной действительности. Напротив, глаголы *перепрыгнуть* и *перепрыгивать* можно считать формами одного и того же слова, так как оба имеют в виду совершенно одно и то же конкретное действие и только подходят к нему по-разному.

Формообразование, как и словообразование, может быть морфологическим (наши склонения, спряжения и т. п.), фонетическим (чередования гласных у так

совестные научные мнения, хотя бы и неправильные в конечном счете, всегда содержат в себе зерна истины). Однако некоторые недоразумения так вкоренились в нашу литературу вплоть до учебников, что придется сказать несколько слов по поводу некоторых традиционных утверждений.

Я никак не могу называть, вслед за Фортунатовым, формой способность слова. Конечно, в научной терминологии можно, а иногда и необходимо изменить традиционные, общезыковые значения слов; однако все же не следует этим злоупотреблять, и называть способность к чему-либо формой кажется мне противоестественным. В применении же к данному случаю такое злоупотребление только запутывает дело.

Это может быть справедливо в отношении предполагавшегося раньше особого периода индоевропейского праязыка, когда якобы существовали как самостоятельные единицы «основы», которые и «оформлялись» разными словообразовательными и формообразовательными элементами. Не говоря уже о том, что существование какого-либо подобного периода языка является более чем сомнительным, и для этого-то постулируемого периода семантически как будто нельзя ставить на одну доску, например, название самого деятеля по действию и приписывание этого действия кому-либо, хотя бы тому же деятелю (3-е лицо).

называемых сильных глаголов немецкого языка и многое другое, хорошо всем известное) и может быть сложением (разные сложные формы, элементы которых даже могут не стоять рядом в речи («раголе»)). Это «сложение» следует отличать от «слово-сложения», о котором говорилось выше: формообразующий элемент всегда является служебным словом или во всяком случае словом, утратившим свое индивидуальное значение самостоятельного слова.

Вопрос о том, что относится к лексике, а что к грамматике, разрешается точно так же, как и в словообразовании: все, что происходит по правилам, будет явлением грамматическим, а все то, что является индивидуальной принадлежностью того или иного слова, будет явлением лексическим и должно быть дано. Спряжение глаголов *есть*, *дать*, *быть* является достоянием словаря, а при глаголе *играть* в словаре должна быть лишь ссылка на тип спряжения.¹³ Но спряжение вспомогательного глагола *avoir* во французском должно быть дано в грамматике, в правиле об образовании *Passé composé*.

Хочу воспользоваться случаем, чтобы подчеркнуть, что надо различать полноценный глагол, например *быть* (*я буду завтра в банке*), вспомогательный глагол (*я буду завтра платить*), когда он входит в сложную форму глагола, и связку (*завтра я буду опять веселый*).

Само собой, все это не предрешает вопроса о том, как это удобнее подавать в учебнике, особенно для невзрослых. Однако надо помнить, что и дети должны ощущать всякие перспективы в языке. Беда наших школьных учебников грамматики и состоит в том, что там все свалено в одну кучу — собственно грамматика и более или менее случайные выписки из словаря; основные правила данного языка — вещи в общем очень редкие. Надо различать грамматическое описание языка и справочник, который в конце концов всегда может быть заменен хорошо сделанным словарем.

Французские *je*, *tu*, *il* целиком относятся к грамматике и должны быть даны в качестве элементов префиксального спряжения (само собой разумеется, что в справочном словаре они должны быть помянуты с соответственными ссылками).

Связки должны быть все перечислены в грамматике (в отделе синтаксиса), но спряжение их часто окажется лишь достоянием словаря, и т. д.

Надо всячески подчеркнуть, что при отсутствии четкого формального выражения определить в каждом отдельном случае

¹³ Если за «основную» форму глагола считать 3-е л. мн. ч., то и этой ссылки не надо, так как форма *играют* целиком определяет все дальнейшие формы.

речи («раголе»), с чем мы имеем дело — с морфологическим словообразованием, со сложным словом или с синтаксической группой, — иногда бывает необычайно трудно.

Важный отдел грамматики, который никто никогда не оспаривал, — это синтаксис. Но насчет его содержания существуют очень разные мнения. Да это и естественно. Здесь особенно должны давать себя чувствовать различия пассивного и активного аспекта грамматики. При пассивном аспекте приходится исходить из форм слов, исследуя их синтаксическое значение (что и составляло основное содержание синтаксиса в прежние времена). Далее, при пассивном аспекте надо изучать словосочетания и порядок слов в них, определяя их синтаксическое значение, наконец фразовое ударение и интонацию, отыскивая синтаксическое значение и этих средств выражения.

Я полагаю, однако, что при любом аспекте грамматики все значения форм слов, а в том числе, значит, и синтаксические, должны изучаться в отделе формообразования. Самое форму нельзя определить вне ее значения: ведь только на основании значения можно констатировать, что во фразах *он отпорол рукава* и *он отпорол обшлаг рукава* мы имеем дело с двумя разными формами слова *рукав*. На долю пассивного аспекта синтаксиса приходится, таким образом, отнести изучение синтаксических значений только синтаксических же выразительных средств — порядка слов, сочетаний слов, определенных функций фразового ударения и фразовой интонации.

Что касается активного аспекта синтаксиса, то там исходная точка зрения совсем иная. В нем рассматриваются вопросы о том, как выражается та или иная мысль. Например: как, какими языковыми средствами выражается предикативность вообще? Как выражается описание того или иного куска действительности? Как выражается логическое суждение с его S и P? Как выражается независимость действия от воли какого-либо лица действующего? Как выражается предикативное качественное определение предмета (в русском языке причастными оборотами и оборотами с *который* и т. д.)? Как выражается количество вещества? По-русски и по-французски разными количественными словами с род. пад. вещества, а по-немецки — количественными словами и с названием вещества в неизменной форме: *с куском мяса, avec un morceau de viande, mit einem Stück Fleisch; стакан пива, un verre de bière, ein Glas Bier; десять стаканов пива, dix verres de bière, zehn Glas Bier* и т. д.?

Из примеров ясно, что активный аспект синтаксиса самый неразработанный в грамматике любых языков. Один Brunot попробовал сделать что-то в этом роде для французского языка в своей большой книге «*La pensée et la langue*» — [Paris, 1936] — может быть, не всегда удачно, но всегда интересно.

Никто, конечно, не возражает против наличия фонетики в системе каждого языка, но многие хотят противопоставить ее как «физиологию речи» или как «физиологию звука» грамматике. В этом сказывается и особая точка зрения на фонетику, как это и выражается в приведенных терминах, и специальное понимание грамматики как «учения о формах». Поскольку противоположение это включает в себе зерно истины, постольку и разномыслие здесь не просто внешнее, а заслуживает некоторого внимания. Едва ли есть надобность здесь долго останавливаться на том, что в языке утилизируются звуки не просто как физические или физиологические явления, а как элементы языка, имеющие или по крайней мере могущие иметь значение. Теория фонем Бодуэна давно осветила этот вопрос и популяризована на Западе под названием **фонологии**.¹⁴

Фонемы, являясь кратчайшими в о з м о ж н ы м и элементами языка, образуют и его многофонемные единицы — морфемы, слова. Таким образом, фонетика противопоставляется не только грамматике, но и лексике, с этой точки зрения справедливо подчеркивать ее особое положение в системе языка. Однако фонетика вовсе не занимается индивидуальными словами, а исследует общие правила данного языка в области звуков. Она в своем пассивном аспекте выясняет среди пестрого разнообразия произносимого смыслоразличающие звуковые противоположения данного языка; в своем активном аспекте она изучает правила произношения фонем в разных фонетических условиях. Наконец, изучение чередования фонем данного языка обнаруживает реальную базу так называемого этимологического чутья в данном языке. Я имею в виду, конечно, не этимологическое чутье лингвистов, находящее себе опору в исторических фактах и в материале родственных диалектов и языков. Я имею в виду чутье говорящих на данном языке людей, которое является действительным языковым фактором, обуславливающим узнавание морфем и слов как тождественных и в тех случаях, когда фонетического тождества уже нет.

Эти подлинно существующие в данном языке этимологические связи слов должны найти себе отражение в словаре, как об этом говорилось уже выше; но основаны они на системе чередований, характерной для данного языка и изучаемой в фонетике.

Использование чередований в словообразовании и в формообразовании должно, конечно, найти себе место в этих отделах.

¹⁴ Впрочем, такой большой ученый, как М. Grammont, до сих пор иначе смотрит на дело и, в частности, фонологией называет учение о звуках речи как физико-физиологических явлениях. Ко всему этому я надеюсь еще вернуться в специальной статье, а если удастся, то и в особой книге.

В фонетике же должно быть обязательно и фонетическое описание ударения и интонации.

Ввиду всего вышеизложенного фонетику удобнее всего, как мне кажется, относить к грамматике, хотя она несомненно занимает в этой последней свое особое место.

Против чего надо всячески протестовать — это против отрыва фонологии от фонетики в узком смысле слова, от того, что Бодуэн называл антропофоникой. Некоторым кажется, что можно заниматься фонологией в отрыве от фонетики. Это так же невозможно, как заниматься функцией какой-либо формы в отрыве от конкретных случаев ее употребления в речи. Нельзя забывать того, что, занимаясь «языком», мы лишь обобщаем частные случаи «речи», которые только и даны в опыте.¹⁵

Исследовать систему фонем данного языка, определять «семантизированные» (фонологизованные) признаки каждой из них можно только на основе изучения конкретного произношения данного языка и разных не менее конкретных причинных связей между отдельными элементами этого произношения, а для этого надо работать по фонетике вообще, т. е. изучать разные произношения, а также самый механизм этого явления. Только в свете такого изучения будут понятны многие явления фонологии.

Итак, фонетика, словообразование, формообразование и синтаксис — вот четыре отдела, которые как будто исчерпывают содержание грамматики. Однако есть явления, которые, будучи общими, не могут быть относимы к лексике, к словарю (хотя и должны там находить себе отражение), но не подходят ни под один из перечисленных отделов грамматики. Я имею в виду такие категории, как так называемые «части речи».

О частях речи существует целая литература, и я не хочу затрагивать этот вопрос мимоходом. В наших грамматиках учение о частях речи преподносится обыкновенно в виде какой-то классификации слов. Это с какой-то точки зрения удобно, хотя всегда остается некоторое количество слов, которое никуда не подходит. Их относят либо в наречия, либо в частицы, являющиеся, таким образом, своего рода складочными местами, куда сваливают вперемешку все лишнее, что никуда не подходит.

На самом деле такие понятия, как существительные, прилагательные, глаголы, с одной стороны, совершенно даже несоотносимы с такими понятиями, как союзы, предлоги, с другой

¹⁵ Как я понимаю эти обобщения — разъяснено в моей статье «О тройном аспекте. . .». Здесь я могу только добавить, что эти обобщения обнаруживаются в фактах речи, которые оставались бы необъяснимыми без предположения наличия этих обобщений.

стороны. Первые являются выражением неких «форм» мысли (здесь слово форма употреблено совсем в другом смысле, чем это было выше), тогда как вторые являются просто разрядами слов, имеющими одну и ту же синтаксическую функцию.

Веселый, веселье, веселиться никак нельзя признать формами одного и того же слова, ибо *веселый* — это все же качество, а *веселиться* — действие. С другой стороны, нельзя отрицать и того, что содержание этих слов в известном смысле тождественно и лишь воспринимается сквозь призму разных общих категорий — качества, субстанции, действия.

Категории предлогов, союзов и т. п. найдут себе место в синтаксисе, где они будут не только полезны, но и необходимы.

Но не только такие общие категории, как существительные, прилагательные, глаголы, должны найти себе место в особом важном отделе грамматики; туда пойдут и такие категории, как *б е з л и ч н о с т ь*. Такие слова, как *светает, смеркается, тошнит, тоска* (предик.), *пора* (предик.), едва ли могут рассматриваться как формы каких-то других слов; но необходимо признать, что они представляют действия¹⁶ и состояния как не зависящие от чьей-либо воли.

Само собой разумеется, что сюда войдет и категория грамматического рода, которая, конечно, в наших языках является в большинстве случаев пережиточной.

Даже русские «виды» — несовершенный и совершенный (но не многократный), — по-видимому, должны попасть в этот отдел грамматики, поскольку русского глагола вне вида нельзя и мыслить.

В других языках, — особенно, по-видимому, малокультурных народов, — найдется немало и других общих категорий, в аспекте которых они привыкли воспринимать действительность. Все это, конечно, требует конкретного исследования этих языков с изъятием всякой призмы как родного языка исследователя, так и вообще языков с традиционной грамматикой, зачастую извращающей истинную перспективу грамматической действительности даже тех языков, для которых она сделана.

Бодуэн предвидел подобный отдел грамматики и называл его лексикологией. К сожалению, этот термин очень привычен в другом смысле, в каком его, может быть, и следует употреблять. Я ничего не вижу лучшего, как назвать этот пятый отдел грамматики — «лексические категории».

¹⁶ Такие действия естественно было бы назвать процессами, и, может быть, правильно было бы не считать «безличные глаголы» глаголами.

§ 1. Понятие смешения языков — одно из самых неясных в современной лингвистике, так что, возможно, его и не следует включать в число лингвистических понятий, как это и сделал А. Мейе (В. S. L., XIX, p. 106).¹

В самом деле, просматривая некоторые статьи, трактующие вопрос о смешении языков, мы склонны думать, что термины «Sprachmischung», «gemischte Sprache» были введены только в результате реакции на известные представления прошлого века, когда язык рассматривался как некий организм и когда охотно говорили об о р г а н и ч е с к о м развитии языка как о единственно законном, в противоположность н е о р г а н и ч е с к и м нововведениям, рассматриваемым как болезни языка. Для молодого поколения лингвистов этот этап является уже полностью пройденным; однако мы еще помним, какое большое значение придавалось в свое время как чистоте расы, так и чистоте языка. Правда, широкая публика и в настоящее время находится еще во власти этих громких слов.

При таких обстоятельствах нет ничего удивительного, что Шухардт в своем большом фактическом материале, свидетельствующем о влиянии славянского языка на немецкий, с одной стороны, и о влиянии славянского языка на итальянский, с другой,² мог утверждать, что нет языка, который бы не был смешанным хотя бы в минимальной степени, и совершенно понятно, что Бодуэн де Куртене смог опубликовать в 1901 г. (ЖМНП) статью под заглавием «О смешанном характере всех языков».

Наконец, мы видим, что Вакернагель в своей интересной статье «Sprachtausch und Sprachmischung»* ясно говорит, что своим изложением он только хотел подчеркнуть те изменения во взглядах, которые произошли в его время в языкознании.

§ 2. Если присмотреться к фактам, приводимым различными авторами, трактующими о смешении языков, то можно заметить, что они все или почти все могут быть разделены на три категории (само собой разумеется, что, если рассматривать их с других точек зрения, можно было бы прийти и к другим классификациям).

1) Заимствования в собственном смысле слова, сделанные данным языком из иностранных языков.

¹ См. также: [A. Meillet]. La méthode comparative en linguistique historique. Oslo, 1925, стр. 72 и сл., особенно стр. 83.

² [H. Schuchardt]. Slawo-deutsches und Slawo-italienisches. Graz, 1884. — Я не излагаю здесь истории вопроса, так как многие работы мне недоступны, я излагаю только мои собственные мысли, ссылаясь лишь на то, что мне кажется полезным для этого.

2) Изменения в том или ином языке, которыми он обязан влиянию иностранного языка. Примеры таких изменений многочисленны; достаточно привести в качестве примера французское *haut*, происходящее из латинского *altus*, которое получило свое придыхательное *h* под влиянием германского синонима, соответствующего немецкому *hoch*. Форма французского названия местности *Evêque-mont* также является результатом германского влияния, ср. немецкое *Bischofsberg*: по-французски мы ожидали бы *Mont-Evêque* (пример взят из уже упомянутой статьи Вакернагеля). Ср. также кальки латинского, немецкого и славянского языков, в конечном счете все сделанные по греческим образцам, как *conscientia*, *Gewissen*, *совесть* и многие другие. Ср. также развитие употребления атрибутивного родительного падежа в русском языке под влиянием иностранных языков и т. д.

3) Факты, являющиеся результатом недостаточного усвоения какого-либо языка. Повседневная жизнь изобилует индивидуальными фактами такого рода; но гораздо более редки факты такого же порядка, получившие социальную значимость, т. е. те ошибки языка, которые сделались в известной среде общепризнанной нормой. Чаще всего, ввиду наличия настоящей нормы усваиваемого языка, остаются лишь более или менее распространенные ошибки. Я не смог бы привести вполне убедительного примера такого языка, примера, который я был бы в состоянии проконтролировать сам. Однако своеобразные факты такого рода многочисленны, достаточно сослаться на вышеназванную работу Шухардта.

Что касается многочисленных креольских и других подобных им говоров, то они, правда, тоже принадлежат к этой категории, но с той оговоркой, что в их образовании участвовали также носители такого языка, которым другие стремились овладеть, худо ли хорошо ли приспособляя его к потребностям и возможностям этих последних (см. по этому поводу чрезвычайно существенные разъяснения Шухардта в его работе «Die Sprache der Saramakkaneger in Surinam»,* с которой я знаком только по «Hugo Schuchardt-Brevier»).*

§ 3. Из этого перечисления фактов следует, что мы имеем полное право, — ввиду того что они все появляются только там, где два языка находятся в непосредственном контакте, — объединить их все под общей рубрикой, дав ей какое-нибудь название, например **с м е ш е н и е я з ы к о в** = Sprachmischung.

Но вряд ли есть в этом какая-нибудь польза, так как если факты второй категории в принципе идентичны фактам третьей, ибо часто базируются на процессах, подобных тем, которые имеют место внутри одного и того же языка, то заимствования

в собственном смысле слова обязаны своим происхождением совсем иному процессу.

Во всяком случае из совокупности этих фактов нельзя [как будто] вывести ничего, что могло бы поколебать существующие взгляды на связи, возможные между языками. По-видимому, во всех этих случаях нельзя сомневаться в том, что это за язык, внутри которого произошли те или иные изменения, тем или иным образом вызванные другими языками. Виндиш в своей статье «Zur Theorie der Mischsprachen und Lehnwörter» * указывает на то, что, как бы ни был сильно смешан язык, всегда есть какой-то один язык, который составляет его основу.

Итак, может быть, лучше было бы заменить термин «смешение языков» термином «взаимное влияние языков», который ничего не содержит в себе в отношении описываемых фактов, в то время как слово «смешение» предполагает в некоторой мере, что оба языка, находясь в непосредственном контакте, могут в равной степени участвовать в образовании нового языка.

§ 4. Однако к этому последнему заключению можно легко прийти, рассматривая факты «взаимного влияния языков» с другой точки зрения, чем это было сделано выше, особенно когда мы имеем дело с языками, история которых нам не известна. Анализируя такой язык, можно иногда констатировать, что его элементы восходят к различным языкам. Пока число его существенных элементов, восходящих к одному из этих языков, намного превышает число элементов, заимствованных из всякого другого языка (но оно может быть меньше общего числа всех элементов, заимствованных из этих других языков), мы констатируем только заимствования и влияние иностранных языков и говорим, что изучаемый язык является продолжением того, который дал наибольшее число элементов. Но если случайно оказывается, что два языка передали тому или иному языку равное число элементов, одинаково важных при обычном использовании языка, то мы были бы в затруднении сказать, продолжением какого из этих языков является изучаемый язык.

Быть может, это соображение и лежит в основе примечания о смешанных языках Сетеля (внизу стр. 16 его статьи: *Setälä. Zur Frage nach der Verwandtschaft der finnisch-ugrischen und samojedischen Sprachen. Helsingfors, 1915.**)

Шухардт в своей статье «Zur methodischen Erforschung der Sprachverwandschaft» (*Revue Internationale des Etudes Basques*, [t.] VI, [Paris—San Sebastian], 1912) пишет: «Если бы мы, например, установили, что (в баскском языке) имеется равное число равных по значению хамитских и кавказских элементов, мы все же не знали бы, влились ли первые во вто-

рые, или наоборот, или и те и другие развились из одного общего основного языка». В своей статье «Sprachverwandschaft» (*Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften*, Bd. XXXVII, Berlin, 1917, S. 526) Шухардт говорит вообще: «Далее, не следует начинать с вопроса: принадлежит язык *a* языковой семье *A* или нет? Мы никогда не можем быть заранее ограничены двумя возможностями»; и он сравнивает языки с картинами, которые дают различные изображения в зависимости от того места, с которого мы на них смотрим. Сам вопрос о том, является ли тот или иной элемент языка исконным или заимствованным, не считается Шухардтом важным: «это различие и несущественно, и не может быть проведено» (первая из цитированных статей, стр. 2 отдельного оттиска).

Все это показывает нам понятие смешения языков в новом свете, если предположить, что язык может иметь несколько источников.

§ 5. Мейе в статье, появившейся в 1914 г. в журнале «Scientia» (см. теперь «Le problème de la parenté des langues» в его книге «Linguistique historique et linguistique générale», [Paris], 1921), со всей силой восстал против этой точки зрения. Он показал со свойственной ему четкостью, что мы всегда имеем основание спросить себя, каков тот язык, продолжением которого является данный язык, иначе говоря, искать язык-основу. Причина этого в том, что явление непрерывности языка, неточно называемое родством языков, есть факт чисто исторический; он основывается исключительно на наличии воли говорящего пользоваться определенным языком, либо сохраняя его по возможности без изменений, либо видоизменяя его, либо пополняя его заимствованными элементами.³ Никогда говорящие на двух языках не теряют, по мнению Мейе, чувства различия тех двух языков, которыми они пользуются. Вот

³ Хотя это может показаться странным, тем не менее я беру на себя смелость утверждать, что, когда Шухардт говорит на стр. 528 своей статьи «Sprachverwandschaft»: «В сущности история языка и история его носителей покрывают друг друга», — его основная мысль здесь та же, что и у Мейе, однако в иной связи. Ср. также: «Языковые факты не находятся ни в какой необходимой связи друг с другом, по своей внутренней форме язык может быть связан с одним, по внешней форме — с другим языком. Характеристика этих отношений (в вопросе о родстве языков) не может быть выведена из самого языка, а только из его связи с говорящими» («Baskisch-hamitische Wortvergleichen» в журнале «Revue Internationale des Etudes Basques», [t.] VII, [Paris—San Sebastian], 1913, стр. 4 отдельного оттиска). Те же мысли мы находим у Ф. Гребнера, часто цитируемого Шухардтом: «И в конце концов родство языков является в основном этнологической, т. е. исторической проблемой, по существу не связанной с языковой теорией» (*The Determination of Linguistic Relationship*. — *Anthropos*, 1913, стр. 392), цитата из Шухардта в конце той же страницы, откуда взята предыдущая цитата.

почему Мейе не согласен с выражением «смещение языков», как могущим навести на мысль о языке, имеющем два источника.

§ 6. Прежде всего, мне кажется, мы имеем право, не рискуя быть заподозренными Шухардтом в материализации языка (см. уже цитированную статью «Sprachverwandschaft», начало примечания внизу стр. 522),* утверждать, что языки вообще образуют более или менее обособленные системы (по крайней мере в нормальном случае) и хорошо ощущаемые как таковые говорящими, что, конечно, обнаруживается только при случае. Эти системы могут подвергаться различным изменениям под влиянием различного рода факторов, но ни в коем случае не разрушаются вследствие этого. Из этого следует, что Мейе вполне прав, допуская непрерывность самих языков, а не только их элементов.

§ 7. Кроме того, Мейе справедливо утверждает, что всякий, кто хочет заниматься историей какого-либо языка, вынужден считаться с родственными ему языками, т. е. что сам ход истории языка основан на чувстве непрерывности языка у говорящих. И все это находится в соответствии с социальной сущностью языка, так как каждый язык является языком какой-нибудь более или менее строго ограниченной социальной группы.⁴ Чувство непрерывности языка увеличивается или уменьшается прямо пропорционально самосознанию той социальной группы, органом которой он является. Ослабление связей внутри группы является одним из условий полного исчезновения чувства непрерывности языка, что в конечном счете я не считаю невозможным, по меньшей мере в принципе (см. ниже, § 9, 15).

Все крупные исторические описания различных языков, расцениваемые всегда как национальные труды, основаны в сущности на этом чувстве непрерывности языка, но почти никогда не принимают этого в расчет, по крайней мере явно. Однако более чем вероятно, что ускорение изменений, происходящее в ходе истории языка, всегда связано каким-либо образом с ослаблением социальных связей.

§ 8. С другой стороны, мне кажется, что есть два обстоятельства, на которых Мейе не остановился или на которых он недостаточно настаивал.

1) Быть может, представляет некоторый интерес оставить в стороне носителей языка и рассмотреть только историю всех элементов какого-либо языка. Составленное таким образом историческое описание вместо одной точки отправления имело бы

⁴ Я употребляю везде термин «социальная группа» в самом широком смысле слова.

их несколько.⁵ В этом нет большого преимущества в том случае, когда язык явно представляет собой нечто единое; но если он испытал глубокое влияние других языков, то от выявления роли всех этих элементов общая картина много выиграла бы.

И это тем более верно, что чувством непрерывности языка у говорящего руководит главным образом материальная сторона языка. В моих диалектологических поездках я всегда наблюдал, что говорящие очень склонны устанавливать звуковые сходства слов и гораздо меньше — те сходства, которые относятся к области семантики. Отсюда вытекает, что сами лингвисты, под гипнозом внешней стороны языковых знаков, меньше принимают в расчет то, что Шухардт называет «внутренней формой» (*innere Form*). Между тем есть много языков, в которых «внешняя форма» и «внутренняя форма» восходят к различным языкам, тогда как в обычных описаниях внешняя форма всегда берет верх над внутренней, и таким образом та часть языка, которая восходит к языку, давшему внутреннюю форму, часто остается в тени.

2) Раз родство языков, основывающееся на чувстве непрерывности языка у говорящих, признается как исторический факт, то становится очевидным, что оно может быть доказуемо только историческими методами. Сравнительное языкознание тут может быть ни при чем. В тех случаях, когда язык явно представляет собой единое целое, вопрос этот не представляет затруднений. Но там, где мы имеем дело с языком, имеющим в своем составе разнородные элементы, лингвистические методы недостаточны. Правда, у нас есть ряд случаев, когда мы в состоянии пользоваться не только лингвистическим методом, но также и историческим, и вполне возможно извлечь путем наблюдения этих случаев какие-то эмпирические правила; согласно этим правилам мы вправе допустить в определенных случаях **н е з а с в и д е т е л ь с т в о в а н н ы й** исторический факт чувства непрерывности языка, развивающегося в том или ином направлении; но эти правила слишком суммарны и годны только для языков с более или менее одинаковой структурой.

§ 9. Наконец, разве мы не можем представить себе такие социальные условия, при которых возможна была бы утрата чувства непрерывности языка? Допустим, что мы имеем два племени, одинаковых по значимости, но говорящих на разных языках, потерявших всякий контакт с родственными племенами и вынужденных жить вместе, образуя одну социальную

⁵ Быть может, это отвечает мысли Бодуэна де Куртене, высказанной им в конце цитированной выше статьи, касающейся создания сравнительных грамматик не родственных языков, но имеющих много общих элементов.

группу. Очевидно, что в этом случае из социальных связей внутри каждого племени останется только язык, обычаи и т. д. Но так как всякий член новой группы будет заинтересован в том, чтобы его понимали не только свои, но также представители другого племени, он выучит кое-как язык этих последних. А так как ни один из этих двух «чистых» языков не будет иметь преимуществ над другим и в нем не будет никакой практической пользы, ввиду полного ослабления социальных связей внутри каждого племени, то выживут только эти плохо выученные языки, которые будут представлять собой смесь из обоих первоначальных языков, взятых в разных соотношениях. Исключив все слишком индивидуальное, а следовательно, трудное⁶ (например, слишком сложную грамматику), из этой смеси образуют единый язык, приспособленный к потребностям новой социальной группы, — язык, не продолжающий для говорящих ни один из двух первоначальных языков.

Процесс был бы тем же, что и при образовании креольских говоров, с той только разницей, что здесь действительно имелся определенный язык, которому хотели подражать, между тем как в воображаемом выше примере проявлялось бы мало заботы о том, чтобы подражать тому или иному языку, ввиду их одинаковой социальной значимости, и решающим фактором тут была бы только легкость понимания.

Все это не имеет целью и не должно ни в чем уменьшить значение существующих сравнительных грамматик, но только допускает, что мы всегда можем оказаться перед проблемой, которую мы не смогли бы решить посредством наших сравнительных методов, но не потому, что не было бы соответствий, которые можно было бы установить, а потому, что из этих соответствий мы не смогли бы заключить об историческом факте — чувстве говорящих, что они продолжают тот или иной язык. Возможно, что во всех этих случаях мы обречены на вечное незнание; но возможно также, что — по крайней мере в известных случаях — такого рода научное исследование найдет в конце концов способы доказательства там, где в настоящее время это кажется нам недостижимым.

Впрочем, эти соображения, по-видимому, не ускользнули от Мейе, по крайней мере в их практических последствиях, так как он ясно говорит в цитированной статье, что сравнительные методы неприменимы к специальным языкам и к языкам, не имеющим более или менее сложной грамматики.

§ 10. Все это чистая теория, но она нас возвращает к вопросу о смешении языков, который мы потеряли из виду. Дело

⁶ См. по этому поводу также мою книгу «Востоchnолужицкое наречие», [т. I. Пгр.], 1915, стр. 194.

в том, что ответ на этот вопрос, как, впрочем, и на все вопросы этого рода, мы должны искать в самом индивиду, помещенном в те или иные социальные условия.

Это давно уже увидел Шухардт: «Вопрос о смешении языков, который самым тесным образом связан с вопросом двуязычия, довольно сложен и может быть выяснен только с помощью психологии» (*Zur afrikanischen Sprachmischung. — Das Ausland*, 1882, S. 868, цитирую по «Hugo Schuchardt-Brevier», S. 129). Мейе в часто цитированной статье также направил свои поиски в эту сторону, ибо чувство и желание говорить на том или ином языке могут находиться только в индивиду. Но он не довел изучение этих психологических фактов до конца, ограничившись несколькими замечаниями, которые, хотя и являются ценными, далеко не исчерпывают вопроса.

§ 11. Ясно прежде всего, что всякое взаимное воздействие языков требует наличия людей, которые хотя бы в незначительной степени были двуязычными. Поэтому надо начинать с рассмотрения вопроса о том, что такое двуязычие. Наблюдение показывает, что есть два вида сосуществования двух языков в индивиду.

1) Оба языка образуют две отдельные системы ассоциаций, не имеющие между собой контакта. Это очень частый случай у людей, выучивших иностранные языки от иностранных гувернанток, с которыми они могли говорить только на изучаемом языке с исключением всякого другого. Поэтому им никогда не представлялось случая переводить с иностранного языка на свой родной и обратно, ибо предполагалось, не без основания, что гувернантка может быть хорошей только тогда, когда она не понимает ни слова из родного языка детей. Таким образом привыкают пользоваться иностранным языком, не перемешивая его с родным языком. Поэтому оба языка образуют в данном случае две автономные области в мышлении лиц, ставших двуязычными таким путем. Обученные этим способом люди хоть и говорят довольно бегло на обоих языках, но им всегда очень трудно найти эквивалентные термины двух языков: нужные слова приходят им на память только с трудом. Они могут объяснить, что значит та или иная фраза, то или иное слово, но всегда затрудняются его перевести.

Тот же результат получается при обильном чтении без помощи словаря, он является также идеалом так называемого натурального метода преподавания языка. Этот метод, между прочим, годен для коммивояжеров, для туристов и вообще для всех тех, кто должен войти в непосредственные сношения с иностранцами, но он не имеет абсолютно никакого значения для умственного развития учеников, детей или взрослых, ибо обучение языкам имеет образовательное значение только тогда, когда

оно приучает к анализу мысли посредством анализа средств выражения. А этого достигают, только изучая параллельно языки и всегда отыскивая их соответствующие элементы. Только тогда обучение языкам становится мощным орудием формирования ума, высвобождая мысль (путем сравнения языковых фактов) из оков языка и заставляя учеников замечать разнообразие средств выражения и их значения до самых тонких оттенков. Все это возможно только при применении переводческого метода.

2) Обучаясь языку именно при помощи этого последнего метода, приходят, вероятно, самым естественным образом к такому состоянию, когда два каких-нибудь языка образуют в уме лишь одну систему ассоциаций, что составляет второй вид сосуществования языков. Любой элемент языка имеет тогда свой непосредственный эквивалент в другом языке, так что перевод не представляет никакого затруднения для говорящих. Примеры такого положения вещей нам хорошо известны, ибо это случается более или менее всегда, когда мы обучаемся языку по какому-нибудь учебнику, выучивая отдельные слова с их значением и грамматические правила, применяемые исключительно в хорошо подобранных примерах.

Во время моих занятий лужицкими диалектами я имел случай близко наблюдать двуязычное население этого типа, говорящее одновременно на немецком и лужицком языках. Я смог констатировать, что любое слово этих двуязычных лиц содержит три образа: семантический образ, звуковой образ соответствующего немецкого слова и звуковой образ соответствующего лужицкого слова, причем все вместе образует такое же единство, как и слово всякого другого языка. Говорящие, правда, сознают, что одна форма лужицкая, а другая немецкая, но они очень легко переходят от одной к другой, так что взаимные подстановки в тех случаях, когда одна из двух форм слабеет по какой-либо причине, всегда остаются незамеченными. Быть может, даже было бы неточно сказать, что люди, о которых идет речь, знают два языка: они знают только один язык, но этот язык имеет два способа выражения, и употребляется то один, то другой.

Ясно, что этот второй вид сосуществования языков образует благоприятную почву для смешения языков. Можно даже сказать, что два сосуществующих таким образом языка образуют в сущности только один язык, который можно было назвать смешанным языком с двумя терминами (*langue mixte à deux termes*).

§ 12. Если присмотреться теперь ближе к тому, что происходит в обоих случаях, то понятие смешения языков станет

еще более отчетливым и окажется совсем иным, чем понятие заимствования.

Не следует настаивать на том факте, что всякая социальная группа, обладающая особыми понятиями материального или отвлеченного порядка, создает для них специальные термины, которые отсутствуют, так же как и самые понятия, в других группах.

Известно также, что мир, который нам дан в нашем непосредственном опыте, оставаясь везде одним и тем же, постигается различным образом в различных языках, даже в тех, на которых говорят народы, представляющие собой известное единство с точки зрения культуры. Так, например, понятие температуры воды: по-французски говорят *l'eau chaude, tiède, froide*; по-немецки — *heisses, warmes, lauwarmes, kaltes Wasser*; по-русски — *кипяток* (который не обязательно будет «кипящей водой», но также и не «кипяченой водой»), *горячая, теплая, холодная вода*. Мы видим, что нет абсолютно эквивалентных слов для того, что не холодно. Возьмем еще понятие «принимать пищу»: по-французски говорят — я привожу только самые обычные слова — *manger, avaler, dévorer, prendre son repas*; по-немецки — *essen, fressen, speisen*; по-русски — *есть, кушать, жрать*. Мы видим, что эти слова тоже не равнозначны. Французское *aimer*, русское *любить* соответствуют более общему понятию, чем немецкое *lieben*, так как нельзя, например, *Weissbrot lieben*. В общем, можно сказать, что нет абсолютно тождественных понятий в разных языках, а потому и перевод, как мы знаем это из опыта, никогда не бывает точным.

Более того, известно, что слова разных языков, даже для более или менее тождественных понятий, часто бывают различны по своим вторичным ассоциациям: *chauve-souris, Federmaus, летучая мышь* обозначают один и тот же предмет, но представляют его в известной мере различно. Даже самые простые слова могут, обозначая один и тот же предмет, быть различными только потому, что они принадлежат к разным языкам, один из которых менее привычен, чем другой.

§ 13. Когда два языка существуют независимо у индивида, он имеет возможность, говоря на одном, черпать из словаря другого языка слова, которые кажутся ему нужными; но из всего предшествующего следует, что тогда он заимствует из другого языка, прежде чем слова, те понятия или их оттенки, ту их окраску, наконец, которые кажутся ему необходимыми по какой-либо причине. Это очень частый случай заимствования. Оно необходимо, когда речь идет о совершенно новом понятии — какой-нибудь предмет, изобретение, мысль и т. д., — и оно может иметь место даже там, где знание языка, из кото-

рого заимствуют, минимально. Но оно также имеет место, когда в этом нет непосредственной необходимости. Дело в том, что оно очень облегчает ход мысли. Когда мы хотим передать свою мысль самым точным образом, мы часто бываем очень довольны, что можем употребить иностранное слово, которое точно соответствует тому, что мы хотим сказать, как например *Ursprache* немцев во французском языке. Если вы хотите избежать иностранного языка, вы часто должны вернуться вспять и перестроить всю мысль, а это раздражает. Вот почему язык наших газет кишит ненужными варваризмами, проистекающими от спешки, от недостатка вкуса, филологического образования в настоящем смысле этого слова и усидчивости в работе. Но мы часто склонны вплетать в нашу речь иностранные слова и по другим мотивам: то слово кажется нам особенно выразительным, то красивым, то лишенным неприятных ассоциаций (например, для неприличных вещей) и т. д. и т. д. Случаи могут быть более или менее часты, в зависимости от разных факторов, но это будут всегда заимствования слов, частей фраз или целых фраз.

§ 14. С другой стороны, ясно, что, для того чтобы образовать систему ассоциаций, т. е. смешанный язык с двумя терминами, оба языка, сосуществующие в индивидуе, должны иметь все семантические элементы общими, т. е. они обязаны придать единообразию своему пониманию мира и сделать все свои понятия более или менее тождественными не только в отношении их содержания, но также — и, может быть, даже главным образом — в отношении их объема. Мы видим, как это происходит каждый день с лицами, которые недостаточно хорошо знакомы с каким-нибудь иностранным языком. Например, русский человек сказал бы по-французски *j'ai reçu la permission, j'ai reçu un rhume* вместо *j'ai obtenu une permission, j'ai attrapé un rhume*, потому что русский глагол *получать*, соответствующий французскому *recevoir*, имеет совсем общее значение без всякого специального оттенка. Зато малоискушенный француз прекрасно смог бы сказать *я варю хлеб = ich koche Brot*, очень мало заботясь о том, что *варить = kochen* и *печь = backen* являются двумя четко противоположными понятиями как в немецком языке, так и в русском, потому что французское *cuire* соответствует более общему понятию.

Не стоит задерживаться на этого рода фактах, так как они слишком хорошо известны. К тому же уже цитированная книга Шухардта «*Slavo-deutsches und Slavo-italienisches*» изобилует ими. В лужицком наречии, о котором я упоминал выше и возможно точное описание которого я дал в книге «*Восточно-лужицкое наречие*», придание единообразия понятиям доведено до возможного предела.

Я не буду говорить о словах, которые в моем словаре (неопубликованном) я был вынужден все время снабжать немецкими эквивалентами, возьму в качестве примера предлоги: луж. *dla* = нем. *wegen* (*mojedla* = *meinetwegen*); луж. *za* = нем. *für* (примеры: *я должен шить для барышни, конфеты на одну копейку, вилы для навоза, один раз в течение дня*); луж. *wot* = нем. *von* (примеры: *из березового дерева, из Мужакова, сбивать яблоки с веток, от города, я говорил о своем брате, он думает о чем-то, его несут четверо, и т. д., см. цитированную книгу, стр. 87 и сл.*).

Но это положение вещей вызывает много других изменений, например тенденцию создавать парные термины везде, где есть различные понятия; таким именно образом лужицкий язык получил артикль, в котором он совсем не нуждался, своего рода перфект, который является калькой немецкого перфекта, и т. п. Очевидно, что всего этого не было бы в случае независимого сосуществования языков. Весьма возможно, что немецкое противопоставление *arbeiten* — *erarbeiten* обязано тому же фактору, т. е. оно скалькировано с соответствующих славянских противопоставлений.

Последним результатом образования смешанного языка с двумя терминами является тенденция перестроить все выражения, для того чтобы оба слова были как можно более сходны в отношении внутренней формы. Примеры этого многочисленны. Они общеизвестны.

§ 15. Все эти изменения не являются заимствованиями, но они обязаны своим появлением процессу, который с полным правом мы можем назвать смешением языков. Но этот процесс на этом не останавливается: он идет дальше. В единствах с двумя терминами в языке, который мы называли «смешанным языком с двумя терминами», может всегда случиться, что один из терминов слабеет по той или иной причине, сначала у индивида, затем в социальной группе. Другой термин, оставшись один, выполняет тогда обе функции, но, что является особенно любопытным, говорящие теряют представление о его происхождении. Я мог констатировать в бесконечном множестве случаев, что говорящие не узнают происхождение немецких слов в лужицкой речи, когда они не имеют лужицких дублетов.

Итак, можно было бы предположить, что различие между немецким и лужицким, в общем очень четкое, может совершенно исчезнуть с потерей всех дублетов. Во всяком случае было бы очень интересно увидеть, что произошло бы, если бы существовали только двуязычные лица, т. е. если бы не было говорящих только по-немецки или только по-лужицки. К сожалению, это не поддается эксперименту, и я не смог бы сказать,

есть ли сейчас где-нибудь такие благоприятные для наблюдений социальные условия, которые могли бы заменить его.

Наблюдения над двуязычной средой в обычных условиях показывают, что в смешанных языках с двумя терминами считается, что речь принадлежит тому языку, на котором выражены грамматические связи. Например, анекдотическая фраза на «петербургском» немецком языке *bring die банка mit варенье von der полка im чулан* ощущается как немецкий язык.

§ 16. Другой вопрос, который интересно было бы исследовать, состоит в том, чтобы узнать, каковы условия развития смешанного языка с двумя терминами. Некоторые наблюдения могут быть сделаны на любом, ибо каждый из нас «многоязычен», если можно так выразиться, так как все говорят различно в различной среде. Как правило, эти различные «диалекты» сосуществуют в нас совершенно независимо друг от друга, и мы иногда заимствуем из них слова шутки ради или для того, чтобы сделать более выразительным наш язык, всегда стараясь взять их, так сказать, в кавычки. Я очень хорошо помню тот эффект, который производило в литературных беседах Кони слово «всамоделишный», заимствованное им из детского языка: оно очень нравилось именно неожиданностью заимствования и потому, что оно хорошо передавало оттенок. Но бывают случаи, когда границы одной среды, самой по себе четкой, недостаточно установлены для нас, как например для матерей больших семей, где много детей. Они всегда вынуждены употреблять то детский язык, то язык взрослых, и у них устанавливается в известных условиях нечто вроде смешанного языка с двумя терминами, так как они вплетают часто в свой язык детские слова, не заботясь о том, чтобы взять их в кавычки. Но все это довольно неясно и требует большого количества точных наблюдений.

§ 17. Какие заключения можно вывести из всего предыдущего? Прежде всего следующее: мне кажется, что во взаимном влиянии языков следует различать два совершенно различных процесса — **з а и м с т в о в а н и е** и **с м е ш е н и е** **я з ы к о в**; ⁷ первое основывается на двуязычии, как я предложил бы назвать независимое сосуществование двух языков у одного и того же индивида, а второе основывается на смешанном языке с двумя терминами. Само собой разумеется, что в дей-

⁷ Я предпочитаю этот термин термину Н. Я. Марра с к р е щ е н и е я з ы к о в, так как последний продолжает — как это признали Шухардт (стр. 519 цитируемой статьи [Sprachverwandschaft]) и Мейе (Linguistique historique et linguistique générale, стр. 102) — нездоровый образ так называемого р о д с т в а я з ы к о в: язык «дочь» — это перерождение языка «матери», а не ее отпрыск, и, будучи родственным, не имеет «отца», даже метафорического.

ствительности есть всегда промежуточные формы и чаще всего оба процесса перекрещиваются. Но это ни в коем случае не может поколебать сделанное выше существенное различие.

Затем, по-видимому, развитие двуязычия или смешанного языка с двумя терминами зависит 1) от способа усвоения второго языка и 2) от установления границ употребления обоих языков.

Смещение языков не предполагает обязательно потери чувства непрерывности данного языка.

По-видимому, некоторые изменения зависят главным образом от смещения языков, как например изменения внутренней формы, но в большинстве случаев из наличия разнородных элементов данного языка ничего нельзя заключить о характере процесса, который их объединил. Все это нуждается еще в изучении на базе хорошо проверенных и гораздо более многочисленных фактов.

§ 18. Наконец, мы не видим, чтобы все это могло поколебать в чем-либо результаты, полученные существующими сравнительными грамматиками, на которые ссылается Мейе в своих статьях о родстве языков (*Linguistique historique et linguistique générale*). Например, нельзя ничего сказать по вопросу о том, можно ли узнать, основан ли современный английский язык на смещении языков или нет. Но это не имеет никакого значения, ибо, так как английская грамматическая система — в том виде, как она сейчас существует, — продолжает германскую систему, можно предположить на основании опыта, что чувство непрерывности в английском языке было всегда связано с германскими элементами, а поэтому мы должны признать английский язык германским.

Но, с другой стороны, я не вижу, что бы изменилось, если бы было доказано, что был момент, когда языковые предки англичан потеряли чувство непрерывности вследствие развития смешанного языка с двумя терминами с исключением всякого другого языка.⁸ Тем не менее английский язык фигурировал бы в сравнительной грамматике германских языков. Что касается исторической грамматики английского языка, нужно было бы только внести некоторые изменения в изложение, ибо, считая английский язык германским языком, мы все же должны дать историю его негерманских элементов. Во всем этом выиграло бы понимание историко-лингвистического процесса самого по себе, так как до сих пор им почти не занимались: все внимание язы-

⁸ Это маловероятно для английского языка, но не совсем невозможно вообще, если вспомнить о том, что было сказано в § 15 о потере говорящими сознания происхождения слов в случае отсутствия дублетов. К сожалению, совсем нет примеров этому, по крайней мере мне известных, и, возможно, они никогда не существовали.

коведов было сосредоточено на установлении соответствий языковых элементов между двумя родственными языками или между двумя последовательными состояниями одного и того же языка.

НОВАЯ ГРАММАТИКА

Попытки составить учебники новой грамматики в согласии с принципами марксизма предпринимались неоднократно в течение последних лет, когда оставлена была формальная грамматика, одно время господствовавшая в программах нашей школы. Попытки эти предпринимались сгоряча, с недостаточным углублением и знанием дела и привели к ряду недоразумений. Сейчас дана директива не вводить в школах этих незрелых опытов и учить старой грамматике, фактам языка, не подводя под них философского базиса.

Старая грамматика, конечно, включает и многое хорошее и верное, чему доказательство то, что запас сообщаемых ею знаний сослужил немалую службу школе, но, конечно, не следует оставлять попыток критически отнестись к ней и перестроить ее согласно современным требованиям науки и жизни.

Цель настоящего доклада — наметить те пути, по которым могла бы идти перестройка грамматики. Здесь докладчик намечает четыре главные линии.

1. **Б о р ь б а с п с и х о л о г и з м о м.** Господствовавшее у нас в конце прошлого и в первую четверть настоящего века языкознание объясняло явления языка физико-психологическими законами. Материалистическая философия, конечно, не отрицает ни психологии, ни того, что язык есть явление психологическое. И не в этом вопрос, а вопрос в том, являются ли психологические явления первичными и не следует ли за ними искать других; не должна ли психология упираться в какие-то другие основы, в результате которых появились психологические явления и язык. Этот вопрос ждет ответа, ответа на него прежде не было.

Субъективный идеализм, в котором часто упрекали лингвистов-психологов, вовсе не связан с психологизмом и не опасен для него. Опасность лежит скорее в объективном идеализме. Опасность представляет учение о происхождении категорий мышления. Категория субстанциальности, например, является ли она производной, или она прирождена человеку, или даже существует вне человека? Потому учение о происхождении категорий и составляет как бы боевой участок нового языкознания.

Нельзя каждую минуту во все грамматические определения вкладывать без всяких пояснений голый тезис, что «всякая речь есть отражение реальной действительности». Но в отдельных случаях полезно и необходимо объяснить языковые явления с этой точки зрения, прослеживая их до их основания. Тогда и такие высказывания, как например *Илья пророк катит на колеснице*, в исторической перспективе, при углублении во времена, когда для объяснения грома у человека в объективной действительности не было другого образа, как громыхание телеги по каменистой дороге, явятся для нас на самом деле отражением этой объективной действительности. Отражением классовой борьбы явится словарь и словоупотребление, — так, например, употребление глагола *кушать* в 1-м лице было своего рода гипертрофией деликатного обхождения, и т. д. Употребление в современных языках формы *вы, you, vous* и т. д. есть отражение *pluralis majestatis*. 3-е лицо, употребляемое в обращении в языках польском, итальянском, шведском и в немецком, есть остаток обычая не прямо обращаться к монарху, а через 3-е лицо. Так можно объяснить и возникновение понятия субстанциальности наслаивающимися друг на друга ежедневными наблюдениями над тем, что некоторые вещи меняются, другие нет.

2. Вторая линия, по которой должна идти перестройка старой грамматики, — это б о р ь б а с ф о р м а л и з м о м.

Лет 20—30 тому назад школа Фортунатова положила начало этому крайнему направлению. И до Фортунатова элементы формализма существовали в грамматике, но Фортунатов и его школа провели формализм последовательно, причем истина, что «нет формы без содержания и обратно», часто подвергалась забвению. Так, например, один из формалистов различал в русском языке следующие категории слов: 1) *золото, щипцы, ласковость* (слова, меняющиеся по падежам, но не по родам и числам); 2) *рыба, стол, окно* (слова, меняющиеся по падежам и числам, но не по родам); 3) *беден, вел, завязан* (слова, изменяющиеся по родам и числам, но не по падежам); 4) *красный* (меняется по родам, падежам и числам), 5) *ходит* (меняется по лицам и числам).* Классификация, как видно, совершенно формальная, без всякого внимания к смыслу получаемых таким образом категорий [см. ст. Л. В. Щербы «О частях речи...» — стр. 80], хотя строго логическая.

Формализм проникает очень далеко, даже те ученые и учителя, которые не причисляют себя к формалистам, оказываются ими на практике. Так, например, понятия согласования, управления и примыкания противопоставляются в грамматике друг другу чисто формально, без всякого осмысления.

Но что лежит в основе согласования и управления и что противопоставляется примыканию? Согласованием одного слова с другим мы вскрываем какое-либо понятие в другом понятии как нечто ему всегда присущее. При управлении мы сближаем два понятия, из которых каждое имеет свое самостоятельное бытие вне другого понятия. Противопоставлять примыкание согласованию по смыслу получаемых при нем сочетаний невозможно, — так, например, *быстро бегать* по характеру внутренней связи ничем не отличается от *быстрый бег*. В английском языке, например, отсутствует согласование прилагательного с существительным, оно заменено примыканием, но смысл сочетаний от этого не меняется сравнительно с языками, где в подобных случаях имеется согласование.

Вопрос о числе имен существительных заключает в себе тоже много интересного. Например, некоторые употребляются только в единственном числе, а именно вещественные, отвлеченные и собственные. Последние иногда употребляются и во множественном числе, но тогда существенно меняют свое значение: *Щерба* — это определенный индивидуум, тогда как *Щербы* — понятие семьи, которое не представляет из себя суммы одинаковых понятий и принадлежит к словам *pluralia tantum*. В ином значении множественное число имени собственного может употребляться в случае, если называют двух однофамильцев в данном коллективе, например: «*Ивановы (Иванов 1-й и 2-й), пойдите прочь из класса!*».

Отличие имени собственного от нарицательного, обозначающего единый в своем роде предмет, — также очень тонкий вопрос: например, почему *солнце* не имя собственное, а *Щерба* является им? Потому, что *солнце* — понятие очень полное, заключающее в себе целый ряд признаков, а *Щерба* — не понятие, это марка, прилагаемая к известному предмету.

На все такие вопросы не отвечает формальная грамматика. Она в прошлом имеет большие заслуги, так как возникла из здорового протеста против стремления старой грамматики навязывать данному языку категории, ему чуждые. Например, навязывалась немецкому языку чуждая ему категория вида, что делалось на основании таких глаголов, как *erarbeiten*, заключающих понятие законченности действия; то же понятие законченности свойственно и русским глаголам *выводить* и *вывести*, но это понятие здесь выражено в двух видах, чего в немецком языке нет. Борясь с этим навязыванием несвойственных тому или другому языку категорий, формальная грамматика, однако, впала в другую крайность — забвение смысла за формой. С этой крайностью следует диалектической грамматике бороться всеми силами, ища в первую голову смысла данного выражения. А так как смысл присущ только речи и отдельное

слово меняет в ней свое значение, то с чего надо начинать? Ответ на это — с синтаксиса. Однако надо отличать методологию от методики, исследовательский путь от порядка изложения предмета в зависимости от обстоятельств.

4.* Четвертое направление, в котором должна развиваться диалектическая грамматика, — это действительность. Лет 30 тому назад появилась статья, где говорилось, что мнение, будто грамматика учит правильно читать и писать на данном языке, ложно, что грамматика этому не научает, а путем наблюдений над языком делает употребление его сознательным. Эти положения вошли в ход и силу, и все программы слово «грамматика» стали заменять словами «наблюдения над языком». По отношению к изучению иностранного языка это неприложимо. Грамматика иностранного языка есть ряд рецептов. Наука должна претворяться в практику. Должны быть даны указания, как образовывать ту или другую форму слова, как образовывать слова, как строить фразы. И тут-то историзм или диалектическое изложение грамматики и сыграет свою роль, выделяя отмершие, окаменелые формы от живых, все вновь и вновь образуемых. Первые должны быть воспринимаемы как нечто готовое, вторые могут создаваться в процессе речи. Ведущим началом для активного усвоения языка должен быть смысл. Однако попытка, сделанная, например, Брюно (F. B r u n o t. *La pensée et la langue*. [Paris, 1936]), идти исключительно от смысла к форме даже в родном языке не дала вполне удовлетворительных и четких результатов. Может быть, изложение грамматики от смысла к форме и нельзя провести до конца.

В аспекте обучения пассивному знанию языка надо, наоборот, идти от формы к значению. И в отношении исторического освещения полная последовательность изложения неосуществима, так как генезис некоторых явлений указать нельзя.

О ЧАСТЯХ РЕЧИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В последние десятилетия в русском языкознании по поводу пересмотра содержания элементарного курса русской грамматики всплыл очень старый вопрос о так называемых «частях речи». В грамматиках и словарях большинства старых, установившихся языков существует традиционная, тоже установившаяся номенклатура, которая в общем удовлетворяет практическим потребностям, и потому мало кому приходит в голову разыскивать основания этой номенклатуры и проверять ее последовательность. В сочинениях по общему языкознанию к вопросу обыкновенно подходят с точки зрения происхождения

категорий «частей речи» вообще и лишь иногда — с точки зрения разных способов их выражения в разных языках, и мало говорится о том, что сами категории могут значительно разниться от языка к языку, если подходить к каждому из них как к совершенно автономному явлению, а не рассматривать его сквозь призму других языков.

Поэтому, может быть, не бесполезно было бы предпринять полный пересмотр вопроса применительно к каждому отдельному языку в определенный момент его истории. Не претендуя на абсолютную оригинальность, я попробую это сделать по отношению к современному живому русскому языку образованных кругов общества.¹

Прежде чем перейти, однако, к русскому языку, я позволю себе остановиться на некоторых общих соображениях.

1. Хотя, подводя отдельные слова под ту или иную категорию («часть речи»), мы и получаем своего рода классификацию слов, однако самое различие «частей речи» едва ли можно считать результатом «научной» классификации слов. Ведь всякая классификация подразумевает некоторый субъективизм классификатора, в частности до некоторой степени произвольно выбранный *principium divisionis*. Таких *principia divisionis* в данном случае можно было бы выбрать очень много, и соответственно этому, если задаться целью «классифицировать» слова, можно бы устроить много классификаций слов, более или менее остроумных, более или менее удачных. Например, можно разделить все слова на слова, вызывающие приятные эмоции, и слова безразличные; или на основные и производные, а первые — на слова одинокие, не имеющие родственных связей, и на слова, их имеющие, и т. п. Эту множественность возможных классификаций справедливо отметил Н. Н. Дурново в своей статье «Что такое синтаксис» в № 4 «Родного языка в школе», 1923 г. (см. его примечание на стр. 66 и 67). Д. Н. Ушаков в своем отличном учебнике по языковедению прямо учит, что возможны две классификации слов — по значению и по формам.

Однако в вопросе о «частях речи» исследователю вовсе не приходится классифицировать слова по каким-либо ученым и очень умным, но предвзятым принципам, а он должен разыскивать, какая классификация особенно настойчиво навязывается самой языковой системой, или точнее, — ибо дело вовсе

¹ Не могу не вспомнить здесь с благодарностью книгу Овсяннико-Куликовского «Синтаксис русского языка» [СПб., 1912], которая лет двадцать тому назад дала первый толчок моим размышлениям над этим предметом. Из новой литературы я более всего обязан книге Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении» [М., 1938], которая является сокровищницей тончайших наблюдений над русским языком.

не в «классификации», — под какую общую категорию подводится то или иное лексическое значение в каждом отдельном случае, или еще иначе, какие общие категории и различаются в данной языковой системе.

2. Само собой разумеется, что должны быть какие-либо внешние выразители этих категорий. Если их нет, то нет в данной языковой системе и самих категорий. Или если они и есть благодаря подлинно существующим семантическим ассоциациям, то они являются лишь потенциальными, но не активными, как например категория «цвета» в русском языке.

3. Внешние выразители категорий могут быть самые разнообразные: «изменяемость» слов разных типов, префиксы, суффиксы, окончания, фразовое ударение, интонация, порядок слов, особые вспомогательные слова, синтаксическая связь и т. д., и т. д.

Изменяемость по падежам является признаком существительных и прилагательных в русском языке,² однако в латинском и глагол может склоняться (ср. *gerundium*). Изменяемость по лицам в очень многих языках служит признаком глагола; однако есть языки, где и имена могут спрягаться, т. е. изменяться по лицам (см.: А. Руднев. Хори-бурятский говор, вып. 1. [СПб.—Пгр., 1913—1914], стр. XXXVIII). Отсюда следует, между прочим, что мнение, будто категория лица является исключительно глагольным признаком, основано на предрассудке.

Самая изменяемость глагола по лицам может быть выражена окончаниями, как в латинском: *am-o, am-as, am-at*, или особыми префиксами, как во французском: *j'aime, tu aimes, il aime* (ср. местоимения: *moi, toi, lui*), или в русском: *я любил, ты любил, он любил* (полный параллелизм этих форм с формами *praesentis*: *я люблю, ты любишь, он любит*, одинаковость синтаксических связей, отсутствие таких форм, как *любилый* и т. д. — все это обуславливает восприятие всех этих форм как форм одного и того же слова — глагола *любить*).

Член европейских языков — является основным признаком существительного: нем. *handeln* — 'действовать', *das Handeln* — 'действие'.

² Впрочем, едва ли мы потому считаем *стол, медведь* за существительные, что они склоняются: скорее мы потому их склоняем, что они существительные. Я полагаю, что все же функция слова в предложении является всякий раз наиболее решающим моментом для восприятия. Иначе обстоит дело, когда вопрос идет о генезисе той или иной категории, и не только в филогенетическом аспекте, но и в онтогенетическом: тут важна вся совокупность лингвистических данных — морфологических, синтаксических и семантических.

Во фразе *Когда вы приехали?* ударение на *когда* определяет его как наречие, а отсутствие ударения во фразе *Когда вы приехали, было еще светло* определяет его как союз.

По интонации отличаем мы «определение» от «сказуемого»: *рана пустяковая* (в ответ на вопрос: *Д а ч т о у н е г о?*) [*и*] *рана — пустяковая*.

Во французском *les savants sourds* — 'глухие ученые' (*les sourds savants* — 'ученые глухие'; пример взят из: *V e n d r u e s. Le langage. [Paris, 1921]*) существительное от прилагательного отличается лишь порядком слов, как, впрочем, и в русском (только в русском порядок иной, чем во французском).

Повелительное наклонение 3-го лица в русском выражается особым словом *пусть*: *пусть придет* или *придут*.

Если я напишу: *она его... рукой*, то всякий расшифрует точки как глагол.

Признаки, выразители категорий, могут быть положительными и отрицательными: так, «неизменяемость» слова как противоположение «изменяемости» также может быть выразителем категории, например наречия.

Противопоставляя форму, знак — содержанию, значению, я позволяю себе называть все эти внешние выразители категорий **формальными признаками** этих последних, ибо не вижу никакой пользы в выделении, среди прочих признаков, формальных морфем в особую группу.

4. Существование всякой грамматической категории обуславливается тесной, неразрывной связью ее смысла и всех формальных признаков, так как неизвестно, значат ли они что-либо, а следовательно — существуют ли они как таковые, и существует ли сама категория.

Андрей Павлович в своей статье «Между Сциллой и Харибдой» (см. № 1 «Родного языка в школе», 1923, стр. 12) дает следующие категории слов русского языка: 1) *золото, щипцы, пять*; 2) *стол, рыба*; 3) *сделан, вел, известен*; 4) *красный*; 5) *ходит*. Совершенно очевидно, что эти категории не имеют значения, а потому в языке и не существуют, хотя придуманы вполне добросовестно с логической точки зрения.

5. Категории могут иметь по несколько формальных признаков, из которых некоторые в отдельных случаях могут и отсутствовать. Категория существительных выражается своей специфической изменяемостью и своими синтаксическими связями. *Какаду* не склоняется, но сочетания *мой какаду, какаду моего брата, какаду сидит в клетке* достаточно характеризуют *какаду* как существительное. Больше того, если в языковой системе какая-либо категория нашла себе полное выражение, то уже один смысл заставляет нас подводить то или другое слово под данную категорию: если мы знаем, что *какаду* —

название птицы, мы не ищем формальных признаков для того, чтобы узнать в этом слове существительное.

6. Яркость отдельных категорий не одинакова, что зависит, конечно, в первую голову от яркости и определенности, а отчасти и количества формальных признаков. Яркость же и формальной и смысловой стороны категории зависит от соотносительности как формальных элементов, так и смысла, так как контрасты сосредоточивают на себе наше внимание: *белый, белизна, бело, белеть* очень хорошо выделяют категории прилагательного, существительного, наречия и глагола.

7. Раз формальные признаки не ограничиваются одними морфологическими, то становится ясным, что *м а т е р и а л ь н о* одно и то же слово может фигурировать в разных категориях: так, *кругом* может быть или наречием, или предлогом (см. ниже).

8. Если в вопросе о частях речи мы имеем дело не с классификацией слов, то может случиться, что одно и то же слово окажется одновременно подводимым под разные категории. Таковы *п р и ч а с т и я*, где мы видим сосуществование категорий глагола и прилагательного; таковы *з н а м е н а т е л ь н ы е с в я з к и*, где уживаются в одном слове и связка и глагол (о чем см. ниже).

9. Поскольку опять-таки мы имеем дело не с классификацией, нечего опасаться, что некоторые слова никуда не подойдут, — значит, они действительно не подводятся нами ни под какую категорию. Таковы, например, так называемые *в в о д н ы е с л о в а*, которые едва ли составляют какую-либо ясную категорию, между прочим именно из-за отсутствия соотносительности. Разные усилительные слова вроде *даже, ведь, и* (= „даже“), слова отчасти союзного характера вроде *итак, значит* и т. п. тоже никуда не подводятся нами и остаются в стороне. Наконец, никуда не подводятся такие словечки, как *да, нет*.

10. Имея в виду главным образом живую русскую речь, я принципиально не чувствовал себя обязанным подбирать литературные примеры. Но, конечно, мои примеры могут и должны быть критикуемы с точки зрения их приемлемости для говорящих на «литературном» русском языке.

* * *

Перехожу теперь собственно к обозрению «частей речи» в русском языке.

1. Прежде всего очень неясная и туманная категория *м е ж д о м е т и й*, значение которых сводится к «эмоциональности» и «отсутствию познавательных элементов», а формальный признак — к полной синтаксической обособленности, отсутствию

каких бы то ни было связей с предшествующими и последующими элементами в потоке речи. Примеры: *ай-ай!*, *ах!*, *ура!*, *боже мой!*, *беда!*, *черт возьми!*, *черт побери!*.

Совершенно очевидно, что хотя этимология таких выражений, как *боже мой*, *черт побери*, и вполне ясна, но это только этимология; значение же этих выражений исключительно эмоциональное, и понимать *побери* в *черт побери* как глагол значило бы смешивать разные исторические планы, приписывать современному языку то, чего уже в нем нет. Однако во фразе *черт вас всех побери!* мы имеем уже дело не с междометием, так как от *побери* зависит *вас всех* и, таким образом, формальный признак междометия отсутствует. То же и в известной пушкинской фразе *Татьяна — ах!*, если только *ах* не понимать как вносные слова. Для меня *ах* относится к Татьяне и является глаголом; а вовсе не междометием (см. ниже, отдел VIII).

Так как довольно многие слова употребляются или могут употребляться синтаксически обособленно, то категория междометий, будучи вполне отчетливой в ярких случаях, является в общем довольно расплывчатой. Например, будут ли междометиями *спасибо*, *наплевать* и т. д.?

Едва ли не следует относить сюда обращения и считать звательный падеж (в русском лишь интонационная форма) междометной формой существительных, хотя некоторые основания к тому и имеются. В известной мере родственными являются и формы повелительного наклонения, и особенно такие слова и словечки, как *молчать!*, *тишина!*, *цыц!*, *тсс!* и т. п. Само собой разумеется, что так называемые звукоподражательные *мяу-мяу*, *вау-вау* и т. п. нет никаких оснований относить к междометиям.

II. Далее следует отметить две соотносительные категории: категорию слов **знаменательных** и категорию слов **служебных**. Различия между этими категориями сводятся к следующим пунктам: 1) первые имеют самостоятельное значение, вторые лишь выражают отношение между предметами мысли; 2) первые сами по себе способны распространять данное слово или сочетание слов: *я хожу — я хожу кругом*; *я пишу — я пишу книгу — я пишу большую книгу*; вторые сами по себе неспособны распространять слова: *на*, *при*, *в*, *и*, *чтобы*, *быть*, *стать* (в смысле связок), *кругом* (*я хожу кругом дома*); 3) первые могут носить на себе фразовое ударение; вторые никогда его не имеют, кроме случая выделения слов по контрасту (*он не только был вкусный, но и будет вкусный*), что является особым случаем, так как по контрасту могут выделяться и неударяемые морфемы (части) слов. Второе и третье различия следует считать формальными признаками этих категорий. Отнюдь не следует считать признаком служебных слов их

неизменяемость, так как некоторые служебные слова изменяются, как например связки (спрягаются), относительные *которые, какой* (склоняются и изменяются по родам).

С категорией слов знаменательных контаминируются более частные категории: существительных, прилагательных, наречий, глаголов и т. д.

III. Перехожу к существительным. Значение этой категории известно — предметность, субстанциальность. При ее посредстве мы можем любые лексические значения, и действия, и состояния, и качества, не говоря уже о предметах, представлять как предметы: *действие, лежание, доброта* и т. д. Формальными признаками этой категории являются: изменяемость по падежам (которая в отдельных случаях может отсутствовать: *какаду, пальто*) и соответственные системы окончаний; ряд словообразовательных суффиксов имен существительных, как то: *-тель, -льщик, -ник, -от(-а), -изн(-а), -ость, -(о)к, -(е)к* и т. д.; определение посредством прилагательных; согласование относящегося к данному слову прилагательного (*красивый какаду; а меня, бедного, и забыли; нечто серое и туманное скользнуло мимо*); отсутствие согласования с существительным, явным или непосредственно подразумеваемым; глагол или связка в личной форме, относящиеся к данному слову (*я ехал в лодке; люди были несчастны; кто пришел?*). Из сказанного явствует, что в выражениях *этот нищий, все доброе нищий и доброе* будут существительными. С другой стороны, явствует и то, что целый ряд так называемых «местоимений» приходится считать существительными: *я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, себя, кто? что? некто, нечто, кто-то, что-то, никто, ничто*; кроме того, *это* (редко *то*) и *всё*, употребляющиеся в качестве существительных в форме среднего рода; *всякий* и *каждый*, употребляющиеся в качестве существительных лишь в форме мужского рода; *все*, употребляющееся в качестве существительного во множественном числе.³ Примеры: *я этого не переношу; это уже надоело; я предлагал ему и то и это; мой брат всегда всем очень доволен; я знаю все; всякий это знает; я берусь каждого провести; все убежали*. Но надо сказать, что последние пять слов имеют скорее прилагательную природу и не терпят никакого прилагательного определения, так что во фразе *я люблю все хорошее* слово *все* является уже прилагательным, а *хорошее* — существительным. Любопытно отметить, что даже в таких сочетаниях, как *на сцене появилось нечто воздушное, ничем хорошим не могу вас порадовать*, можно спрашивать себя, что к чему относится: *нечто* к *воздушное*, *хорошим* к *ничем* или наоборот.

³ Сам лишь с комическими целями употребляется в смысле существительного в выражениях вроде *сам пришел* (заимствовано из просторечья); *всяк* является более или менее фамильярным архаизмом.

Все перечисленные слова составляют, конечно, по содержанию обозначаемых ими понятий особую группу местоименных существительных, так как содержание это крайне бедно и состоит в каждом случае из одного очень неопределенного признака. Формально они объединяются невозможностью их определить предшествующим прилагательным; нельзя сказать: *добрый я, славный некто* и т. п. Что касается форм склонения, то они не являются одинаковыми у всех слов группы и потому невыразительны. Прежнее состояние языка с ясным местоименным склонением, выражавшим противоположение группы местоимений группе имен (существительных и прилагательных), давно разрушено.

Выделяется в известной мере группа «личных местоимений» своей функцией личных префиксов (правда, не вполне сросшихся) в спряжении глаголов; однако и там местоимение 3-го лица (бывшее указательное) склоняется иначе, чем местоимения 1-го и 2-го лица.

Вообще надо признать, что в этой области в русском языке в настоящее время не наблюдается никакой ясной, отчетливой системы: старая группа местоимений распалась, а новых отчетливых противоположений местоименных прилагательных и существительных, наподобие того, что имеется во французском (*ce, cette, ces, celui, celle, ceux, celles*), не выработалось. Это в общем и неудивительно. Словечки местоименного характера немногочисленны, но играют значительную роль в структуре языка, и всякие пережитки сохраняются здесь чаще всего, успешно сопротивляясь логическим унификационным стремлениям коллективного языкового творчества.

Кроме местоименных существительных, мы имеем в русском целый ряд категорий,⁴ обладающих большей или меньшей выразительностью.

1) Имена собственные и нарицательные: первые, как правило, не употребляются во множественном числе. *Ивановы, Крестовские* и т. д. являются названиями родов и представляют из себя своего рода *pluralia tantum*.

2) Имена отвлеченные и конкретные: первые опять-таки нормально не употребляются во множественном числе. *Радости жизни* представляются нам чем-то конкретным и не идентичным словам *радость, тоска, грусть, ученье, терпенье* и т. п.

3) Имена одушевленные и неодушевленные: у первых форма винительного падежа множественного числа сходна с родительным, а у вторых — с именительным.

⁴ Я не буду ничего говорить о категории грамматического рода, так как ничего не прибавлю к общеизвестному.

4) Имена вещественные тоже не употребляются во множественном числе: *мед, сахар*. А поскольку употребляются, обозначают тогда разные сорта: *вина, масла* и т. п.

5) Имена собирательные (конечно, не *стая, полк, класс*, так как их собирательность никак не выражена). Наше современное понимание их исключительно объединяющее и индивидуализирующее. По-видимому в старом языке было иначе, так как сказуемое при этих словах часто ставилось во множественном числе (см. материал по вопросу из Синод. списка 1-й Новгород. лет. у Е. С. Истриной — «Синтаксические явления. . .», 1923, стр. 60 и сл.).

Зато в современном русском имеется несомненная возможность образовывать имена собирательные посредством суффиксов *-j-* или *-(е)ств-* в среднем роде: *солдатыё, мужичьё, тряпьяё, офицерыё, профессорьяё, офицерство, студенчество*.

6) Далее, в русском имеется категория имен единичных: *бисер / бисерина, жемчуг / жемчужина, солома / соломина*, образуемых посредством суффикса *-ин-*, составляют своеобразную группу, категорию.

О категории имен существительных см. у [А. А.] Шахматова в его «Очерке современного русского литературного языка» (литогр. курс лекций 1911/12 уч. г., ныне напечатанный — [1-е изд. Л., 1925]).

IV. Значение категории прилагательных в русском языке — конечно, качество, как это прекрасно показано [А. М.] Пешковским в его «Русском синтаксисе. . .», [2-е изд. М.], 1920, стр. 54 и сл. Формально она выражается прежде всего своим отношением к существительному: без существительного, явного или подразумеваемого, нет прилагательного. Далее, она выражается формами согласования с существительным, хотя это и не абсолютно обязательно; своеобразной изменяемостью, куда, между прочим, входит и изменение по степени сравнения (тоже необязательное и общее с наречиями); рядом словообразовательных суффиксов, как то: *-(е)н-, -ист-, -ан-, -оват-* и т. д.; наконец, она выражается и определяющим ее наречием.

Из всего этого вытекает, что под категорию прилагательных мы подводим и такие «местоимения», как *мой, твой, наш, ваш, свой, этот, тот, такой, какой, который, всякий, сам, самый, весь, каждый* и т. п., и все «порядковые числительные» (*первый, второй* и т. д.), и все причастия, и, наконец, формы сравнительной степени прилагательных в тех случаях, когда они относятся к существительным, например: *ваш рисунок лучше моего; эта местность красивее всего виденного мною; струя светлей лазури* (из Лермонтовского «Паруса»). Относительно первых трех групп слов не может быть сомнения, что они подводятся нами

под категорию прилагательных. Относительно же сравнительной степени достаточно указать на то, что от наречия сравнительная степень прилагательных отличается 'своей относимостью к существительному, а от существительных, которые также могут относиться к существительному, — своей связью с положительной и превосходной степенями.⁵

Среди прилагательных выделяется группа прилагательных **п р и т я ж а т е л ь н ы х**, имеющая формальные признаки — именные окончания — по крайней мере во всех формах именительного падежа:

пап-ин-	дом	пап-ин-а	дочь
отц-ов-	»	отц-ов-а	»
мой-	»	мо-я (мой-а)	»
наш-	»	наш-а	»
баб-ий	»	бабь-я (бабь-й-а)	»
пап-ин-о	наследие	пап-ин-ы	дети
отц-ов-о	»	отц-ов-ы	»
мо-ё (мой-о)	»	мо-и	»
наш-е	»	наш-и	»
бабь-е (бабь-й-э)	»	бабь-и (бабь-й-и)	»

Но, по-видимому эта категория разрушается, так как в детском языке постоянно находим *пап-ин-ая дочка*; вместо *отцов дом* мы чаще скажем *отцовский дом*, а вместо *бабье лето* можно иногда слышать и *бабее лето*; такие же случаи, как с *волчей шкурой*, приходится считать если не нормальными, то очень распространенными, особенно среди младшего поколения.

Что касается местоименной группы, то хотя она по значению и представляет из себя некую группу, но она не безусловно замкнута: считать ли, например, относящимся к ней слово *любой*? Пешковский в часто цитированной уже книге (стр. 406) относит сюда же слова *известный, данный, определенный*. Отсутствие ясного формального критерия не позволяет быть отчетливо осознанной группе местоименных прилагательных, так как то обстоятельство, что в цепи прилагательных определений существительного они нормально ставятся на первое место (*любой (всякий) порядочный вдумчивый доктор*), не чересчур навязывается нашему сознанию.

То же можно сказать и о порядковых числительных, хотя и им присваивается первое место в цепи прилагательных опре-

⁵ Что прилагательные могут быть неизменными и считаться все же прилагательными даже в тех языках, где прилагательные изменяются, между прочим, показывает старославянский язык: *испльнь, прѣпрость* и др., хотя и не склоняются, однако являются прилагательными.

делений (я кончил вторую киевскую мужскую гимназию). Однако надо признать, что крепкая ассоциативная связь по смежности (при счете) энергично поддерживает смысловую связь и понятие «порядковости», «номерности» выступает довольно ярко, так что, пожалуй, все же приходится говорить о прилагательных порядковых.

Очень живыми представляются категории прилагательных качественных, имеющих степени сравнения, и относительных, их не имеющих. Так, *золотой* может принадлежать к тем и другим: *золотое кольцо / уж на что у тебя злотые кудри, а вот у нее еще золотее*.

Причастия, конечно, составляют резко обособленную группу, будучи подводимы и под категорию глаголов. Теряя глагольность, они становятся простыми прилагательными. *Ученое стихотворение* может быть употреблено в двояком смысле: 1) „содержащее в себе много научного“ — прилагательное и 2) „которое уже учили“ — причастие.

V. Категория наречий является исключительно формальной категорией, ибо значение ее совпадает со значением категории прилагательных, как это очевидно из сравнения таких пар, как *легкий / легко, бодрый / бодро* и т. д. Мы бы, вероятно, признавали подобные наречия формой соответственных прилагательных, если бы в той же функции не употреблялось большого количества неизменяемых слов, не являющихся производными от прилагательных: *очень, слишком, наизусть, сразу, кругом* и т. д. Благодаря этому формальными признаками категории являются прежде всего отношение к прилагательному, к глаголу или другим наречиям, невозможность определить прилагательным (если только это не наречное выражение), неизменяемость (однако наречия, производные от прилагательных, могут иметь степени сравнения)⁶ и, наконец, для наречий, произведенных от прилагательных, окончания *-о* или *-е*, а для глагольных наречий (деепричастий) особые окончания.

Самый деликатный вопрос — отличие наречий от существительных, так как критерий неизменяемости возникает чаще всего на почве разрыва связи данного слова с формами соответственного существительного, т. е. в конце концов на почве значения: мыслится ли в данном случае предмет (существительное) или нет. Весьма вероятно, что если бы у нас не было прилагательных наречий и целого ряда случаев, где связь с существительным абсолютно порвана, т. е. если бы категория наречий не имела бы своих и по форме несомненных представи-

⁶ Вообще мнение, будто наречия по существу являются неизменяемыми, совершенно неосновательно: французское наречие *tout* согласуется в роде с прилагательным, к которому относится.

телей, то установление категории наречия на таких случаях, как *за границей, за границу*, представило бы большие затруднения. Впрочем, здесь на помощь может прийти и *эксперимент*;⁷ стоит попробовать придать прилагательное: *за нашей границей, за южную границу*, чтобы понять, что это невозможно без изменения смысла слов и что, следовательно, *за границей, за границу* являются наречиями, а не существительными.⁸

Что касается деепричастий, то они, конечно, составляют резко обособленную группу. В сущности это настоящие глагольные формы, в своей функции лишь отчасти сближающиеся с наречиями. Формально они объединяются с этими последними относимостью к глаголу и якобы отсутствием согласования с ним (на самом деле они должны в русском языке иметь общее лицо, хотя внешне это ничем не выражается). Что особенно оправдывает это усмотрение в деепричастиях некоторой наречности — это их легкий переход в подлинные наречия: *молча, стоя, лежа* и т. д. могут быть то деепричастиями, то наречиями.

VI. Особой категорией приходится признать слова *количественные*. Значением является отвлеченная идея числа, а формальным признаком — своеобразный тип сочетания с существительным; к которому относится слово, выражающее количество. Благодаря этим типам сочетаний категория слов количественных изъёмлется из категории прилагательных, куда она естественнее всего могла бы относиться, а также из категории существительных, с которыми она сходна формами склонения. Эти типы сочетаний состоят в том, что в именительном и винительном падежах определяемое ставится в родитель-

⁷ Я настаиваю на этом слове, придавая ему большое теоретическое значение: исследуя статическую сторону языка, мы не только наблюдаем факты, но и постоянно экспериментируем. В этом преимущество живых языков как научного материала над мертвыми. В этих последних мы имеем лишь больший или меньший, но законченный ряд наблюдений; в живых мы постоянно можем и должны производить и эксперименты. Поэтому исследование мертвых языков легче, так как ограничено данными текстами; живых — бесконечно труднее, так как его почти что невозможно исчерпать, и может быть плодотворнее, давая возможность так углубить изучение, как это по существу невозможно сделать для мертвых. Оговариваюсь, что все сказанное относится к научной работе над языком. С педагогической же стороны изучение мертвых языков может быть — и обыкновенно бывает — и труднее, и полезнее, так как требует сознательности; изучение же живых языков может протекать, особенно при натуральном методе, бессознательно и быть тогда с образовательной точки зрения абсолютно бесполезным.

⁸ В. В. Виноградов в одном из своих докладов в Лингвистическом обществе в Ленинграде очень убедительно наметил ряд дальнейших категорий внутри этой в общем малосодержательной категории. Надеюсь, что этот доклад появится в одном из дальнейших выпусков «Русской речи».

ном падеже множественного числа (при *два, три, четыре* — род. пад. ед. ч.), а в косвенных падежах ожидаемое согласование в падеже восстанавливается: *пять книг — с пятью книгами, двадцать солдат — при двадцати солдатах*.⁹ Исторические причины таких странных конструкций известны; сейчас эти конструкции бессмысленны и являются пережитками, однако утилизируются языком для обозначения особой категории, которую, конечно, лишь насилуя непосредственное языковое чутье, можно смешивать с существительными. Различие выступает очень ярко из сравнения: *десять яблок, с десятью яблоками / десяток яблок, с десятком яблок; сто солдат, со ста солдатами / сотня солдат, с сотней солдат*.

Любопытно отметить, что *тысяча* с обывательской точки зрения плохо представляется как число, а скорей как некоторое единство, как «существительное», что и выражается типом связи: *тысяча солдат, с тысячей солдат*. Однако ход культуры и развитие отвлеченного мышления дают себя знать: *тысяча* все больше и больше превращается в количественное слово, и *тысяче солдатам был роздан паек* не звучит чересчур неправильно (*миллиону солдатам* сказать было бы невозможно), а сказать *приехала тысяча солдат*, пожалуй, и вовсе смешно. Несомненно, что при пережитом падении денег и *миллион* и *миллиард* стали отвлеченнее, хотя, может, в языке это и не успело сказаться.

VII. Есть ряд слов, как *нельзя, можно, надо, пора, жаль* и т. п., подведение которых под какую-либо категорию затруднительно. Чаще всего их, по формальному признаку неизменяемости, зачисляют в наречия, что в конце концов не вызывает практических неудобств в словарном отношении, если оговорить, что они употребляются со связкой и функционируют как сказуемое безличных предложений. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что указанные слова не подпадают под категорию наречий, так как не относятся ни к глаголу, ни к прилагательному, ни к другому наречию.

Далее, оказывается, что они составляют одну группу с такими формами, как *холодно, светло, весело*, и т. д. во фразах: *на дворе становилось холодно; в комнате было светло; нам было очень весело* и т. п. Подобные слова тоже не могут считаться наречиями, так как эти последние относятся к глаголам (или прилагательным), здесь же мы имеем дело со связками (см. ниже). Под форму среднего рода единственного числа прилагательных

⁹ К этой же категории относятся и слова *много, немного, мало, сколько, несколько*, которые по недоразумению считаются наречиями: *я вижу несколько моих учеников/я ехал с несколькими учениками; в классе много детей / трудно заниматься со многими детьми* и т. д.

они тоже не подходят, так как прилагательные относятся к существительным, а здесь этих последних нет, ни явных; ни подразумеваемых.

Может быть, мы имеем здесь дело с особой категорией состояния (в вышеприведенных примерах никому и ничему не приписываемого — безличная форма) в отличие от такого же состояния, но представляемого как действие: *нельзя* (в одном из значений) / *запрещается*; *можно* (в одном из значений) / *позволяется*; *становится холодно* / *холодает*; *становится темно* / *темнеет*; *морозно* / *морозит* и т. д. (таких параллелей, однако, не так много).

Формальными признаками этой категории были бы неизменяемость, с одной стороны, и употребление со связкой — с другой: первым она отличалась бы от прилагательных и глаголов, а вторым — от наречий. Однако мне самому не кажется, чтобы это была яркая и убедительная категория в русском языке.

Впрочем, и при личной конструкции можно указать ряд слов, которые подошли бы сюда же: *я готов*; *я должен*; *я рад* / *радуюсь*; *я способен* („я в состоянии“) / *могу*; *я болен* / *болею*; *я намерен* / *намереваюсь*; *я дружен* / *дружу*; *я знаком* / *знаю* (*радый*¹⁰ не употребляется, а *готовый*, *должный*, *способный*, *больной*, *намеренный*, *дружный*, *знакомый* употребляются в другом смысле).

В конце концов правильны будут и следующие противоположения:

я весел (состояние) / *я веселюсь* (состояние в виде действия)¹¹ / *я веселый* (качество); *он шумен* (состояние) / *он шумит* (действие) / *он шумливый* (качество); *он сердит* (состояние) / *он сердится* (состояние в виде действия) / *он сердитый* (качество); *он грустен* (состояние) / *он грустит* (состояние в виде действия) / *он грустный* (качество);

и без параллельных глаголов: *он печален* / *он — печальный*; *он доволен* / *он — довольный*; *он красен как рак* / *флаги — красные*; *палка велика для меня* / *палка — большая*; *сапоги малы мне* / *эти сапоги — слишком маленькие*; *мой брат очень бодр* / *мой брат — всегда бодрый* и т. д.

То же по смыслу противоположение можно найти и в следующих примерах: *я был солдатом* (состояние: 'j'ai été soldat') / *я солдатствовал* (состояние в виде действия) / *я был солдат* (существительное: 'j'ai été un soldat'); *я был трусом в этой*

¹⁰ На некоторые слова этой категории указал мне Д. В. Бубрих.

¹¹ Пример: *по лицу его видно, что он веселится, глядя на нас*; но *в он сегодня резвится и веселится, как школьник*, оттенок будет другой.

*сцене / я трусил / я большой трус; я был зачинщиком в этом деле / я был всегда и везде зачинщик.*¹²

Наконец, под категорию *с о с т о я н и я* следует подвести такие слова и выражения, как *быть навеселе, наготове, насто-роже, замужем, в состоянии, начеку, без памяти, без чувств, в сюртуке*, и т. п., и т. п. Во всех этих случаях *быть* является связкой, а не существительным глаголом; поэтому слова *на-веселе, наготове* и т. д. едва ли могут считаться наречиями. Они все тоже выражают *с о с т о я н и е*, но благодаря отсутствию параллельных форм, которые бы выражали *дей-ствие* или *качество* (впрочем, *замужем / замужняя; в состоянии / могу*), эта идея недостаточно подчеркнута.

Хотя все эти параллели едва ли укрепили мою новую категорию, так как слишком разнообразны средства ее выражения, однако несомненным для меня являются попытки русского языка иметь особую категорию состояния, которая и вырабатывается на разных путях, но не получила еще, а может и никогда не получит, общей марки. Сейчас формально категорию *с о с т о я н и я* пришлось бы определять так: это слова в соединении со связкой, не являющиеся, однако, ни полными прилагательными, ни именительным падежом существительного; они выражаются или неизменяемой формой, или формой существительного с предлогом, или формами с родовыми окончаниями — нуль для мужского рода, *-а* для женского рода, *-о, -э* (*искренне*) для среднего рода, — или формой творительного падежа существительных (теряющей тогда свое нормальное, т. е. инструментальное, значение).

Если не признавать наличия в русском языке категори *и с о с т о я н и я* (которую за неимением лучшего термина можно называть предикативным наречием, следуя в этом случае за Овсяннико-Куликовским), то такие слова, как *пора, холодно, навеселе* и т. п., все же нельзя считать наречиями, и они просто остаются вне категорий (ср. стр. 81).

VIII. В категории глаголов основным значением, конечно, является только *действие*, а вовсе не *с о с т о я н и е*, как говорилось в старых грамматиках. Эта проблема, по-видимому, возникла из понимания «частей речи» как рубрик классификации лексических значений. После всего сказанного вначале ясно, что дело идет не о значении слов, входящих в данную категорию, а о значении категории, под которую подводятся те или иные слова. В данном случае очевидно, что, когда мы говорим *больной лежит на кровати* или *ягодка краснеет в траве*, мы это „лежание“ и „краснение“ представляем не как состояния, а как действия.

¹² Надо, впрочем, признать, что этот оттенок не всегда бывает вполне отчетлив.

Формальных признаков много. Во-первых, изменяемость и не только по лицам и числам, но и по временам, наклонениям, видам и другим глагольным категориям.¹³ Между прочим, попытка некоторых русских грамматистов последнего времени представить инфинитив как особую от глагола «часть речи», конечно, абсолютно неудачна, противоречива естественному языковому чутью, для которого *идти* и *иду* являются формами одного и того же слова.¹⁴ Эта странная aberrация научного мышления произошла из того же понимания «частей речи» как результатов классификации, которое свойственно было старой грамматике, с переменной лишь *principium divisionis*, и возможна была лишь потому, что люди на минуту забыли, что форма и значение неразрывно связаны друг с другом: нельзя говорить о знаке, не констатируя, что он что-то

¹³ Признание категории лица наиболее характерной для глаголов (отсюда определение глаголов как «слов спрягаемых») в общем верно и психологически понятно, так как выводится из значения глагольной категории: «действие», по нашим привычным представлениям, должно иметь своего субъекта. Однако факты показывают, что это не всегда бывает так: *моросит*, *смеркается* и т. п. не имеют формы лица,* однако являются глаголами, так как дело решается не одним каким-либо признаком, а всей совокупностью морфологических, синтаксических и семантических данных.

¹⁴ Под «формами» слова» в языковедении обыкновенно понимают материально разные слова, обозначающие или разные оттенки одного и того же понятия, или одно и то же понятие в разных его функциях. Поэтому, как известно, даже такие слова, как *fero*, *tuli*, *latum*, считаются формами одного слова. С другой стороны, такие слова, как *писать* и *писатель*, не являются формами одного слова, так как одно обозначает действие, а другое — человека, обладающего определенными признаками. Даже такие слова, как *худой*, *худоба*, не считаются нами за одно и то же слово. Зато такие слова, как *худой* и *худо*, мы очень склонны считать формами одного слова, и только одинаковость функций слова типа *худо* со словами вроде *вкось*, *наизусть* и т. д. и отсутствие параллельных этим последним прилагательных создают особую категорию наречий и до некоторой степени отделяют *худо* от *худой*. Конечно, как и всегда в языке, есть случаи неясные, колеблющиеся. Так, будет ли *столик* формой слова *стол*? Это не так уж ясно, хотя в языковедении обыкновенно говорят об уменьшительных формах существительных. *Предобрый*, конечно, будет формой слова *добрый*, *сделать* будет формой слова *делать*, но *добежать* едва ли будет формой слова *бежать*, так как самое действие представляется как будто различным в этих случаях. Ср. *Abweichungsnamen* и *Übereinstimmungsnamen* у О. Dittrich [в] «Die Probleme der Sprachpsychologie», [Leipzig,] 1913. В истории языков наблюдаются тоже передвижения в системах форм одного слова. Так, образования на *-л-*, бывшие когда-то именами лица действующего, вошли в систему форм славянского глагола, сделались причастиями, а теперь функционируют как формы прошедшего времени в системе глагола (*захудал*); эти же причастия в полной форме снова оторвались от системы глагола и стали прилагательными (*захудалый*). Процесс стягивания отглагольного имени существительного в систему глагола, происходящий на наших глазах, нарисован у меня в книге «Востоchnолужицкое наречие», [т. I. Пгр.,] 1915, стр. 137.

значит; нет больше языка, как только мы отрываем форму от ее значения (см. по этому поводу совершенно правильные разъяснения Н. Н. Дурново в его статье «В защиту логичности формальной грамматики» в журнале «Родной язык в школе», книга 2-я, 1923, стр. 38 и сл.). Но нужно признать, что аберрация эта выросла на здоровой почве протеста против бесконечных рубрификаций старой грамматики, не основанных ни на каких объективных данных. В основе ее лежит, таким образом, правильный и здоровый принцип: нет категорий, не имеющих формального выражения.¹⁵

Итак, изменяемость по разным глагольным категориям с соответственными окончаниями является первым признаком глагола, точно так же и некоторые суффиксы, например *-ов-||-у-*, *-ну-* и др., в общем, впрочем, невыразительные; далее, именительный падеж, непосредственно относящийся к личной форме, тоже определяет глагол; далее, невозможность прилагательного и возможность наречного распространения; наконец, характерное управление, например: *любить отца*, но *любовь к отцу*.

Теперь понятно, почему инфинитив, причастие, деепричастие и личные формы признаются нами формами одного слова — глагола: потому что *сильно* (не *сильный*) *любить*, *любящий*, *любя*, *люблю дочку* (не *к дочке*) и потому что хотя каждая из этих форм и имеет свое значение, однако все они имеют общее значение *д е й с т в и я*. Из них *любящий* подводится одновременно и под категорию глаголов и под категорию прилагательных, имея с последним и общие формы и значение, благодаря которому действие здесь понимается и как качество; такие формы условно называются *п р и ч а с т и е м*. По тем же причинам *любя* подводится под категорию глаголов и отчасти под категорию наречий и условно называется *д е е п р и ч а с т и е м*. *Любовь* же, обозначая действие, однако не подводится нами под категорию глаголов, так как не имеет их признаков (*любовь к дочке*, а не *дочку*); поэтому идея *д е й с т в и я* в этом слове заглушена, а рельефно выступает лишь идея *с у б с т а н ц и и*.

¹⁵ Слово *формальный* я понимаю здесь в том широком смысле, какой был придан ему на стр. 80, и в этом же смысле я готов объявить себя «формалистом», хотя, по совести, совершенно не вижу надобности говорить об особой «формальной школе в грамматике»: современное научное языкознание в общем едино и противопоставляется старой грамматической традиции. Конечно, существуют отдельные увлечения, некоторые разномыслия по отдельным вопросам, неизбежные при поступательном движении науки; но я не вижу ничего, что могло бы расколоть *п е р е д о в ы х д у м а ю щ и х* лингвистов на два лагеря: есть вопросы не решенные, по поводу которых высказываются разные гипотезы; есть вопросы, которые допускают разные точки зрения, но нет вопросов, *р е ш а е м ы х* в разных «школах» по-разному.

Ввиду всего этого нет никаких оснований во фразе *а она трах его по физиономии!* отказывать *трах* в глагольности: это не что иное, как особая, очень эмоциональная форма глагола *трахнуть* с отрицательной (нулевой) суффиксальной морфемой. То же и в выражении *Татьяна — ах!* и других подобных, если только не видеть в *ах* вносных слов.

Наконец, из сказанного выше о глаголах вообще явствует и то, что связка *быть* не глагол, хотя и имеет глагольные формы, и это потому, что она не имеет значения действия. И действительно, единственная функция связки — выражать логические (в подлинном смысле слова) отношения между подлежащим и сказуемым: во фразе *мой отец был солдат* в *был* нельзя открыть никаких элементов действия, никаких элементов воли субъекта. Другое дело, когда *быть* является существительным глаголом: *мой отец был вчера в театре*. Тут *был* = *находился, сидел* — одним словом, проявлял как-то свое «я» тем, что *был*. Это следует твердо помнить и не считать связку за глагол и функцию связки за глагольную. В так называемых знаменательных связках мы наблюдаем контаминацию двух функций — связки и большей или меньшей глагольности (наподобие контаминации двух функций у причастий). Осознание и разграничение этих функций очень важно для понимания синтаксических отношений.¹⁶

IX. Нужно отметить еще одну категорию слов знаменательных, хотя она никогда не бывает самостоятельной, — это слова *вопросительные*: *кто, что, какой, чей, который, куда, как, где, откуда, когда, зачем, почему, сколько* и т. д. Формальным ее выразителем является специфическая интонация синтагмы (группы слов), в состав которой входит вопросительное слово.

Категория слов *вопросительных* всегда контаминируется в русском языке либо с *существительными*, либо с *прилагательными*, либо со *словами количественными*, либо с *наречиями*.*

* * *

Переходя к *служебным* словам, приходится прежде всего отметить, что *общие* категории здесь не всегда ясны и во всяком случае зачастую мало содержательны.

¹⁶ Я предполагаю развить мои взгляды на этот предмет в особой статье, но некоторый намек в этом направлении позволю себе сделать сейчас. Если связка не глагол, то можно сказать, что все языки, имеющие связку, имеют два типа фразы: *глагольный*, по существу *одночленный* (*люблю; amo; j'aime*), где субъект не противопоставляется действию, и *связочный*, по существу *двучленный*, где субъект противопоставляется другому имени (*я — солдат; sum — miles; je suis soldat*).

Х. Связки. Строго говоря, существует только одна связка *быть*, выражающая логическое отношение между подлежащим и сказуемым. Все остальные связки являются более или менее знаменательными, т. е. представляют из себя контаминацию глагола и связки, где глагольность может быть более или менее ярко выражена (см. выше).

Я ничего не прибавлю к общеизвестному о связках, кроме разве того, что у нас как будто нарождается еще одна форма связки — *это*. Примеры: *наши дети — это наше будущее, наши дети — это будут дельные ребята*. Частица *это* больше всего и выражает отношение подлежащего и сказуемого и во всяком случае едва ли понимается нами как подлежащее: формы связки *быть* служат в данном случае главным образом для выражения времени.

ХІ. Далее мы имеем группу частиц, соединяющих два слова или две группы слов в одну синтагму (простейшее синтаксическое целое) и выражающих отношение «определяющего» к «определяемому». Они называются предлогами, формальным признаком которых в русском языке является управление падежом. Сюда, конечно, подходят и такие слова, как *согласно* (*согласно вашему предписанию*, а в канцелярском стиле *вашего предписания*), *кругом*, *внутри*, *наверху*, *наподобие*, *во время*, *в течение*, *вследствие*, *тому назад* (с вин. пад.) и т. п. Однако по функциональному признаку сюда подошли бы и такие слова, как *чтобы*, *с целью*, *как*, например в следующих фразах: *я пришел чтобы поестъ = с целью поестъ; меня одевали¹⁷ как куколку = наподобие куколки*.

ХІІ. Далее, можно констатировать группу частиц, соединяющих слова или группы слов в одно целое — синтагму или синтаксическое целое высшего порядка — на равных правах, а не на принципе «определяющего» и «определяемого», и называемых обыкновенно союзами сочинительными. В ней можно констатировать две подгруппы.

а) Частицы, соединяющие вполне два слова или две группы слов в одно целое, — союзы соединительные: *и*, *да*, *или*¹⁸ (не повторяющиеся). Примеры: *брат и сестра пошли гулять; отец и мать остались дома; я хочу взять учителя или учительницу к своим детям; Иван да Марья; когда все собрались и хозяева зажгли огонь, стало веселее*.¹⁹

¹⁷ [В обоих случаях] читать без запятой.

¹⁸ *Или* собственно считается разделительным союзом, но это едва ли выражается формально (не смешивать *или* = более или менее *то есть*).

¹⁹ Почти каждый из примеров может быть прочтен и с запятой перед союзом — тогда они попадут в группу союзов присоединительных (см. ниже, раздел ХІІІ).

В той же функции употребляются иногда и предлоги: *брат с сестрой пошли гулять* (особая функция частицы *с* отмечена здесь формой множественного числа глаголов).

Примечание. Особый случай употребления этих союзов можно наблюдать там, где при их посредстве присоединяется последний член перечисления. Хотя этот член и не составляет тогда целого с предшествующим, однако союз, вместе с особой интонацией, отличной от той, о которой будет идти речь ниже, в разделе XIV, обозначает исчерпанность ряда, его единство. Примеры: *Однажды лебедь, рак да щука. .;* *отец, мать, брат и сестра отправились гулять.*

б) Частицы, объединяющие два слова или две группы по контрасту, т. е. противопоставляя их, — **с о ю з ы п р о т и в и т е л ь н ы е**: *а, но, да*. Благодаря этому противопоставлению каждый член такой пары сохраняет свою самостоятельность, и этот случай «б») не только по смыслу, но и по форме отличается от случаев «а»). Примеры: *я хочу не большой, а маленький платок; она запела маленьким, но чистым голоском; мал золотник, да дорог; я вам кричал, а вы не слышали; вы обещали, но это не всегда значит, что вы сделаете.*

XIII. Те же союзы могут употребляться и в другой функции: тогда они не соединяют те или другие элементы в одно целое, а лишь **п р и с о е д и н я ю т** их к предшествующему. Тогда как в случае раздела XII оба члена присутствуют в сознании, хотя бы в смутном виде, уже при самом начале высказывания, в настоящем случае второй элемент появляется в сознании лишь **п о с л е** первого или **в о в р е м я** его высказывания. Формально выражается указанное различие функций фразовым ударением, иногда паузой и вообще интонацией (точных исследований на этот счет не имеется). Ясными примерами этого различия может послужить разное толкование следующих двух стихов Пушкина и Лермонтова:

1) как надо читать стих 14 стихотворения Пушкина «Воспоминание»: *Я трепещу и проклиная. . .* или *Я трепещу, и проклиная. . .?* Я стою за первое (см.: Русская речь, I, [Пгр., 1923,] стр. 31);

2) как надо читать стих 6 стихотворения Лермонтова «Парус»: *И мачта гнется и скрипит. . .* или *И мачта гнется, и скрипит. . .?* Я стою за второе.

Прав я или нет в моем понимании, в данном случае безразлично, но возможность самого вопроса, а следовательно — и двойная функция союза *и*, думается, очевидны.²⁰

²⁰ Такое разное толкование может получить и пример Пешковского (Русский синтаксис. . ., стр. 325): *червонец был запачкан и в пыли* или *червонец был запачкан, и в пыли.*

Союзы в этой функции можно бы назвать присоединительными. Другие примеры: *я сел в кибитку с Савельичем, и отправился в дорогу* (пример заимствован у Грота, но запятая принадлежит мне); *вчера мы собрались большой компанией и отправились в театр, но проскучали весь вечер; На ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да призадумалась, а сыр во рту держала; я приду очень скоро, или совсем не приду; дело будет тянуться без конца, или сразу оборвется.*

Примечание 1. Можно спрашивать себя, есть ли основание для установления двух категорий (XII и XIII), когда дело идет об одних и тех же словах. Но если вспомнить, что задачей исследования является не классификация слов, а подмечение тех общих категорий, под которые говорящие подводят те или другие слова, то разделение не покажется чересчур искусственным. Но несомненно и то, что указанные категории не так очевидны, как например, категории существительных, прилагательных и т. п. Самая граница между ними текуча.

Примечание 2. Опытный читатель мог заметить, что моя категория союзов присоединительных несколько напоминает категорию союзов сочинительных после разделительной паузы у Пешковского (Русский синтаксис. . . , стр. 453), но демаркационная линия не та (о таких словах, как *итак, значит* и т. п., см. выше, стр. 81). Кто из нас ближе подошел к живым языковым связям, судить не мне.

XIV. Особую группу составляют частицы, «уединяющие» слова или группы слов и образующие из них «бесконечные» ряды однородных целых. Формальным выражением этой категории является, во-первых, повторяемость частиц, а во-вторых, специфическая интонация. Они организуют то, что я называю «открытыми сочетаниями» (см.: Русская речь, I, стр. 22). Сюда относятся *и — и. . . , ни — ни. . . , да — да. . . , или — или. . .* и т. п. Их можно бы для краткости назвать союзами слитными. Примеры известны: *И пращ, и стрела, и лукавый кинжал щадят победителя годы; меня ничто не веселило — ни новые игрушки, ни сказки бабушки, ни только что родившиеся котята.*

Примечание. Указанные слова имеют, конечно, некоторое сходство с частицами XIII раздела, состоящее в находящейся перед ними паузе, которая и обуславливает общность их уединяющего значения. Однако специфическое значение слитных союзов в связи с их очевидными формальными признаками делает их ясно обособленными.

XV. Совершенно особую группу составляют частицы, выражающие отношение «определяющего» к «определяемому»²¹ между двумя синтагмами и объединяющие их в одно синтаксическое целое высшего порядка (в разделе XI дело про-

²¹ Я употребляю здесь эти слова, так же как и выше, на стр. 95, в самом широком смысле.

исходило внутри одной синтагмы). Частицы эти удобнее всего назвать относительными словами. Сюда подойдет и то, что традиционно называют союзами подчинительными (*пока, когда, как, если, лишь только* и т. п.) — но сюда подойдут и так называемые «относительные местоимения и наречия» (*который, какой, где, куда, зачем* и т. д.). Говорю «так называемые», потому что зачастую действительно нет причин видеть, например, в относительном *который* знаменательное слово, так как оно имеет лишь формы знаменательных слов, но не их значение. Сомневающиеся пусть попробуют определить, чем является *который* — существительным или прилагательным — во фразе *я нашел книгу, которая считалась пропавшей*.²² Точно так же трудно признать наречие в *когда* хотя бы и в таком примере, как *в тот день, когда мы переезжали на дачу, шел дождик*. Однако возможность контаминации двух функций — служебной (относительной) и знаменательной, особенно существительной, — несомненна. Можно бы даже говорить о «знаменательных относительных словах» (ср. знаменательные связки). Например: *гуляю, с кем хочу; отец нахмурил брови, что было признаком надвигавшейся грозы*.

Формальными признаками категории относительных слов является общее всем служебным словам отсутствие фразового ударения, а также то, что эти слова входят в состав синтагмы с характерной относительной интонацией. То, что делает эту категорию особенно живой и яркой, — это ее соотносительность со словами знаменательными. *Когда вы приедете, мы будем уже дома. / Когда вы приедете? Я знаю, что вы пишете. / Что вы пишете? Год, в котором вы приехали к нам, для меня особенно памятен. / В каком году вы приехали к нам?*

Недаром относительность всеми всегда ощущалась как единая категория, хотя и фигурировала зачастую в двух разных местах грамматики.

Примечание. В косвенных вопросах мы видим контаминацию вопросительной, относительной и одной из знаменательных функций.

* * *

Оканчивая свое обозрение так называемых «частей речи» в русском языке, я начинаю слышать тот стон, который идет из учительских рядов: «Как все это сложно! Неужели все это можно нести в школу? Нам надо бы что-нибудь попроще, поточетливее, попроще. . .».

К сожалению, жизнь людей не проста, и если мы хотим изучить жизнь, — а язык есть кусочек жизни людей, — то это

²² Таким образом, подобно тому как существуют служебные слова спрягающиеся — связки, — возможны и служебные слова склоняющиеся.

не может быть просто и схематично. Всякое упрощение, схематизация грозит разойтись с жизнью, а главное, перестает учить наблюдать жизнь и ее факты, перестает учить вдумываться в ее факты. Важно не то, чтобы дети бойко и без ошибки, по старой или новой системе, классифицировали слова, а важно то, чтобы дети сами подмечали существующие в языке категории, вдумывались в слова, в их смысл и связи.

Проповедуя необходимость реформы старой школьной грамматики, я всегда отдавал себе ясный отчет в том, что реформа не поведет к облегчению. Идеалом была для меня всегда замена схоластики, механического разбора — живой мыслью, наблюдением над живыми фактами языка, думаньем над ними. Я знаю, что думать трудно, и тем не менее думать надо и надо, и надо бояться схоластики, шаблона, которые подстерегают нас на каждом шагу, всякий раз, как мысль наша слабеет. Поэтому не следует прельщаться легким, простым и удобным: оно приятно, так как позволяет нам не думать, но ложно, так как скрывает от нас жизнь, бесполезно, так как ничему не учит, и вредно, так как ввергает мысль нашу в дремоту.

Однако, как я говорю своим слушателям уже с самого начала моей педагогической деятельности, все трудности окажутся значительно более легкими, если мы до конца признаем тот факт, что дети владеют всеми грамматическими категориями своего родного языка и что наша задача только разбудить у них лингвистический инстинкт и заставить осознать уже имеющиеся категории. Все предшествующее исследование имело целью показать, на чем базируется этот инстинкт, и к начальному обучению вовсе не относится. Здесь надо лишь, не мудрствуя лукаво и не насилуя ни своего, ни детского языкового чутья, наклеить ярлыки на существующие у них категории, которые таким образом и будут приведены к сознанию. Вопрос, почему у нас существуют те или иные категории, — дело дальнейшего, более высшего преподавания.

Я счастлив, что имею нынче возможность выписать из только что полученной новой книги знаменитого датского лингвиста-мыслителя и методиста Есперсена (O. Jespersen. The Philosophy of Grammar. [London, 1929,] * стр. 62) следующие слова: «При обучении элементарной грамматике я не начинал бы с определения отдельных частей речи, особенно с обыкновенных определений, которые так мало говорят, хотя и кажется, что они говорят много. Я поступил бы более практически. Несомненно, что при обучении грамматике человек узнает одно слово как прилагательное, другое как глагол, не справляясь с определениями частей речи, а тем же в сущности способом, каким он узнает в том или другом животном корову или кошку. И дети могли бы этому выучиться так же, как они выучились

различать обычных животных, т. е. практически: им следует показать достаточное количество образцов и обратить их внимание на их различия. Я бы взял для этого небольшой связный текст, например какой-нибудь рассказ, и повторил бы его несколько раз, причем сначала напечатал бы курсивом все существительные. После того как они будут таким образом выделены и вкратце обсуждены с детьми, эти последние, вероятно, без больших затруднений узнали бы аналогичные существительные во всяком другом отрывке. Потом я повторил бы тот же самый рассказ, напечатав курсивом все прилагательные. Проходя таким образом различные классы слов, ученики понемногу приобретут тот «грамматический инстинкт», который необходим для дальнейших уроков по морфологии и синтаксису как родного, так и иностранных языков».

Январь—ноябрь 1924 г.

Добавление

К сноске на стр. 93. Нынче летом я имел случай внимательно прочитать книгу М. Н. Петерсона «Русский язык» ([М.—Л.,] 1925) и, к сожалению, должен констатировать, что соображения, высказанные мною в сноске, не могут относиться к этой книге (дело идет, конечно, о частях речи), которая наглядно показывает тот абсолютный тупик, в который заводит классификационная точка зрения. Мне кажется, что сам автор чувствовал это, вводя все-таки в отделе словообразования понятие глагола, и я надеюсь, что, внимательно передумав весь вопрос, М. Н. Петерсон в основном вполне согласится со мной и со свойственным ему систематизирующим талантом дополнит и исправит мое эскизное изложение.

Октябрь 1927 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

[к сборнику «Русская речь»]

В истории науки о языке за последние лет пятьдесят обращает на себя внимание ее расхождение с филологией и, я бы сказал, с самим языком, понимаемым как выразительное средство. Строя по преимуществу историю звуков и форм того или другого языка и оперируя с абстракциями «праязыков» различных степеней, современное языковедение достигло замечательных результатов, заслужив по справедливости название точной науки; но оно до некоторой степени потеряло из виду язык как живую систему знаков, выражающих наши мысли и чувства.

Хотя такое направление научной мысли и является вполне законным, вытекающим из самого хода развития науки о языке, однако нельзя не признать, что оно имело своим последствием ослабление интереса к языковедению в широких кругах образованного общества: тогда как в начале XIX в. вопросы языка могли быть предметом обсуждения на страницах литературных журналов, в настоящее время они почитаются скучными и чересчур специальными. Такое положение вещей, будучи вполне, как сказано, законным и естественным, тем не менее является тяжелым и для науки о языке, и для мыслящих слоев общества, лишая первую притока свежих сил, а последние — научных сведений об одном из существеннейших элементов всякой человеческой группировки, об орудии человеческого общения.

В настоящее время можно констатировать некоторую тенденцию к сближению этих двух миров, тенденцию, возникающую совершенно независимо в каждой из указанных сфер, и притом безусловно органически, из причин, вполне имманентных каждой.

В языковедении, с одной стороны, оживляется, отчасти под влиянием некоторой усталости от классической сравнительной грамматики, вечно юный интерес к этнографии, археологии и истории. Группа лингвистов настаивает на необходимости изучать не только слова, но и «вещи», которые словами обозначаются: «Wörter und Sachen» — вот лозунг, с которым выступили когда-то Р. Мерингер и Г. Шухардт, нашедшие себе многочисленных продолжателей.¹ Ряд исследований посвящается индоевропейской культуре и смежным вопросам. Наиболее популярными книгами в этой области являются книги О. Шрадера и Г. Хирта. Сюда же относятся и яфетические изыскания академика Н. Я. Марра у нас в России. Наконец, едва ли не самым замечательным достижением является синтез истории языка и истории народа, его носителя, у А. Мейе в его «Aperçu d'une histoire de la langue grecque», Paris, 1922, — книге, которая так написана, что ее может читать всякий образованный человек. Аналогичный и грандиозный замысел применительно к русскому языку мы видели у покойного академика А. А. Шахматова, которому волею судеб, к сожалению, не удалось довести до конца это дело.

С другой стороны, в языковедении, несколько потерявшем было связь с живым языком, стали понимать, что механические «звуковые законы» и не менее механическая «аналогия» не достаточны для объяснения и даже для построения истории языка,

¹ Под таким заглавием и сейчас издается в Германии под редакцией Р. Мерингера журнал, вокруг которого группируется целый ряд более или менее крупных имен.

что язык есть деятельность человека, направленная всякий раз к определенной цели, к наилучшему и наиудобнейшему выражению своих мыслей и чувств, и что именно этим объясняются многие явления, которые оставались непонятными и в истории звуков, и в истории форм. Отсюда возрождение интереса к живому языку² как к данному в опыте явлению, к живому процессу речи, к синтаксису и семантике. Может быть, первыми ласточками в этом направлении были разные люди, из разных стран, как например Г. Шухардт (Градец — Graz), О. Есперсен (Копенгаген), И. А. Бодуэн де Куртенэ (Россия и Польша); но едва ли не ярче всего по крайней мере некоторые стороны движения проявились во Франции: А. Мейе, [Ж.] Жильерон.³

Так обстоит дело в языковедении. Но и в обществе, по крайней мере русском, возродился интерес к языку совершенно, как сказано, независимо от языковедения. Прежде всего поэты, для которых язык является материалом, стали более или менее сознательно относиться к нему; вслед за ними пошли молодые историки литературы, которые почувствовали невозможность понимания многих литературных явлений без лингвистического подхода; наконец, люди сцены, для которых живой произносимый язык является альфой и омегой их искусства, едва ли не более других посодействовали пробуждению в обществе интереса к языку.*

Настоящий сборник,⁴ зародившись среди лингвистов, примыкающих ко второму из указанных выше движений в языковедении, во многом питался также тем интересом, который пробудился в обществе к «поэтическому языку». В связи с этим он ставит своей задачей исследование русского литературного языка во всем разнообразии его форм, а также в его основных источниках — книжном наследии прошлого и живом говоре разных общественных слоев его современности. В связи с этим главный интерес сборника направлен на семантику, синонимику, словоупотребление, синтаксис, эстетику языка — вообще на все то, что делает наш язык выразителем и властителем наших дум. А поэтому он адресуется не только к лингвистам, но и ко всем тем читателям из широких слоев образо-

² Народными говорами языковедение интересуется уже давно, но по преимуществу с точки зрения находимых в них остатков старины.

³ А. Доза в маленькой популярной книжечке, которую тоже может читать всякий образованный человек, — «La géographie linguistique», Paris, 1922 — изложил достижения школы Жильерона. Книга Мейе — «Linguistique historique et linguistique générale», Paris, 1922 — более трудна.

⁴ Участники сборника связаны между собой личной дружбой и может быть, общим лингвистическим направлением (И. А. Бодуэн де Куртенэ), но были абсолютно свободны в своих суждениях, неся каждый личную ответственность за свои статьи.

ванного общества, в которых жива любовь к слову как к выразительному средству. Он даже позволяет себе питать, может быть, не совсем скромную надежду, что в будущем, в случае удачи, он станет в дальнейших выпусках тем мостиком между языковедением и образованным русским обществом, который был сломан во второй половине XIX в.

К ЛИЧНЫМ ОКОНЧАНИЯМ В ЛАТИНСКОМ И ДРУГИХ ИТАЛИЙСКИХ ДИАЛЕКТАХ

История личных окончаний в италийской ветви ариоевропейских языков имеет еще до сих пор несколько не вполне разъясненных пунктов, несмотря на то что по этому вопросу писали очень многие. И не столько первое, сколько именно второе обстоятельство — и многие другие делали то же — дает и мне право высказать несколько соображений на эту тему,¹ хотя я и вполне сознаю, что новое, хотя бы и более вероятное, объяснение того или другого факта в этой области не имеет почти никакого принципиального значения.

С большей или меньшей вероятностью можно предположить, что в языках италийской ветви некогда существовали следующие личные окончания: 1 ед. $-ō$, $(-mi)^2|-m$; 2 ед. $-si|-s$; 3 ед. $-ti|-t$; 1 мн. $-mos$; 2 мн. $-tes$, $-te$, $-ta$; 3 мн. $-nti|-nt$.

а) Это является общепринятым мнением, и поэтому следует лишь обратить внимание на то, что две системы окончаний во всем единственном числе и в 3 мн. (*primäre und secundäre Endungen*), унаследованные италийскими языками из ариоевропейского состояния, имели различные функции (противоположность настоящего или общего времени и прошедшего, изъявительного и сослагательного наклонений), что это функциональное различие было ассоциировано с конечным $-i$, так что эти окончания должны быть изображены так: $-m-i$, $-s-i$, $-t-i$, $-nt-i$,³ — и что вследствие этого смешение первичных и вторичных окончаний не могло происходить без особых и достаточных причин. И именно невозможность указать эти причины для смешения окончаний во 2 ед. и гарантирует

¹ Настоящая заметка есть извлечение из реферата, писанного для лингвистического семинария в Лейпциге по предложению проф. Бругмана, которому пользуюсь случаем высказать мою благодарность за его любезное отношение ко мне во время моего пребывания в Лейпциге.

² В *sum* < **esmi*.

³ Делению этому придается здесь лишь психологическое, а не историческое значение.

до некоторой степени существование окончания *-s-i*, которое иначе не имело бы другой поддержки, кроме 2 ед. от *esse-es*, являющегося у Плавта долгим слогом *-ess*, что едва ли может быть рассматриваемо как а.-е. **ess*, а скорее должно быть объясняемо из **essi*.⁴

б) Кроме того, по поводу 2 мн. *-tes* следует еще сказать, что объяснение

$$\begin{aligned} \text{age} : *age-s &= *age-te : x \\ x &= *age-te-s \end{aligned}$$

следует оставить, так как вся эта пропорция, переведенная на психологический язык, значит, что *-s* в **ages* является признаком изъявительного наклонения вообще, что мало вероятно. Скорее можно было бы предположить, что *-s* как признак 2-го лица вообще было перенесено и на множественное число; но для этого необходимо предположить, что в сознании римлян понятие лица, например в местоимениях *ego* и *nos*, *tu* и *vos*, стояло на первом плане, что недоказуемо. Поэтому предпочтительнее держаться другого известного объяснения, которое тем или другим способом идентифицирует лат. *-tes* с 2 дв. др.-инд. *-thas*, гот. *-ts* (см.: F. S o m m e r. Handbuch, [der lateinischen Laut- und Formenlehre. Leipzig—Heidelberg, 1902, S.] 526). А так как потерю двойственного числа как в латинском, так и в других италийских диалектах следует отнести в более или менее отдаленную эпоху, то можно с полным правом предположить и для осско-умбрийских диалектов то же окончание 2 мн. *-*tes*, хотя, как известно, 1 и 2 мн. в диалектических надписях не встречаются.

Из вышеприведенных гипотетических общеиталийских окончаний можно легко вывести все исторически засвидетельствованные окончания как латинского, так и осско-умбрийских диалектов. Некоторые трудности представляют лишь 3-и лица.

1. Как известно, обыкновенно принимают, что еще в общеиталийскую эпоху а.-е. конечное *-t* перешло в *-d*, в виде которого и является вторичное окончание 3 ед. в осско-умбрийских диалектах (в умбр., наравне с прочими конечными *-d*, оно обратилось в нуль), а также в нескольких древнейших латинских надписях; но удовлетворительного объяснения этого явления нет. Беценбергер (В. В. XIV, 177) думал, что это *-d* есть распространенная на все случаи а.-е. форма личного окончания, возникшая первоначально в *sandhi* в известных положениях. Но это представляется более чем сомнительным, так как глагол

⁴ Греч. $\epsilon\iota < *esi$, др.-инд. *asi* и пр. основаны, может быть, на том, что *-s* в а.-е. имперфекте $*\bar{e}s < *\bar{e}ss$ чувствовалось как окончание — $*\bar{e}-s$, а отсюда настоящее $*e-si$.

как в латинском, так и в осско-умбрийских диалектах стоит обыкновенно в конце предложения, а потому возможной у него представляется лишь так называемая «Pausaform». Кроме того, у нас вообще слишком мало данных для того, чтобы говорить об а.-е. sandhi и его законах.

Другое объяснение кажется гораздо более вероятным, а именно, что конечное *-t* было более слабым и, как таковое, обозначалось через *-d*. Что оно было более слабым, может быть редуцированным звуком, — это представляется очень вероятным. Другой, однако, вопрос, что следует разуместь в данном случае под буквой *d* памятников: если думать, что под нею скрывается редуцированная фонема *t*, то придется предположить, что древние италики имели в виду совершенно другую противоположность при буквах *t/d*, чем нынешние итальянцы, которые, как и русские, различают здесь г л у х о й и з в о н к и й, а не с и л ь н ы й и с л а б ы й,⁵ как немцы. Думать же, что предки итальянцев в противоположность их потомкам различали *t* от *d* как сильный от слабого, а *prōgi* не невозможно, но достаточных оснований, как мне кажется, к тому не имеется.

Таким образом, фонетическое объяснение представляется затруднительным, и едва ли не правильнее будет искать объяснения на другой почве. И мне представляется весьма вероятным, что *-d* 3 ед. обязано своим происхождением окончанию повелительного наклонения *-tōd* (предположение это уже высказал мимоходом Даниэльсон — *Altitalische Studien*, III, 148). Если ясно представить себе весь процесс распространения *-d*, то предположение это становится весьма убедительным.

Сначала *-d* вместо *-t* стали говорить в тех случаях, где сослагательное наклонение имело значение повелительного. В латинском в разные периоды в этом значении употреблялось то больше повелительное, то больше сослагательное наклонение: так, например, в классической латыни в 3 л. употребляется главным образом сослагательное, в ст.-лат. же встречается и повелительное и даже исключительно повелительное в некоторых надписях. В прогитивном смысле встречается у Плавта сослагательное и перфекта, и настоящего с *ne*, повелительное же — очень редко. В законах повелительное с отрицанием употребляется очень часто, а в умбрийском почти что исключительно; в осском — наоборот. Веления выражаются в осском главным образом через повелительное, в умбрийском

⁵ Что русско-итальянское *t* и *d* различаются также и по силе — в этом не может быть сомнения, так как это естественное физиологическое следствие их основного различия — по участию или неучастию голосовых связок гортани; но психологически важно лишь последнее, и никакому русскому не придет в голову обозначить фонему *t*, как бы она слаба ни была, через букву *d*.

же и через повелительное, и через сослагательное. Но так как сослагательное встречается главным образом на Игувинских таблицах Va1—Vb7, то можно думать, что они зависят от *eitipes* «*desceverunt*». Впрочем, для рассматриваемого вопроса это безразлично, так как эти формы все же несомненно имеют повелительное значение. И можно бы даже предположить, что как раз в тех случаях, когда зависящее сослагательное с повелительным значением употреблялось рядом с самостоятельным повелительным, легче всего могло, под влиянием *-tōd* повелительного, появиться *-d* вместо *-t* в 3 ед. сослагательного (ср. *Cirrus Abellanus*, где наблюдается подобное чередование повелительного и сослагательного); но это, конечно, редкие случаи.

Как бы то ни было, но можно предположить, что некогда во всех италийских языках в 3 ед. для выражения веления употреблялось и повелительное и сослагательное наклонение, так что в повседневной жизни употреблялось и *veniat* и *venitōd* (латинские выражения употреблены в смысле «праиталийского»), может быть, с тою разницей, что при последнем выражении внимание говорящего было направлено больше на самое приказание, нежели на лицо, к которому оно относилось.

Итак, прежде всего в этих, строго определенных случаях появилось *-d*, имея в противоположность к *-t* прочих случаев повелительное значение. Когда оно вполне утвердилось в этих формах, оно понемногу стало распространяться и на другие случаи, где значение было более или менее родственно повелительному. Так постепенно, от одного значения к другому, оно проникло во все формы сослагательного наклонения. Но чем шире было употребление нового окончания, тем больше теряло его значение в определенности, так что в конце концов оно потеряло всякое специальное значение, что открыло ему дорогу и в изъявительное наклонение. При этом весьма возможно, что редуцированное (см. выше) конечное *-t*, как менее ясный признак, тем легче уступило место звонкому *-d*, которое и имеем в осско-умбрийских диалектах и в древне-латинском.

II. Другой трудностью истории личных окончаний в италийских языках является вторичное окончание 3 мн. и в особенности осско-умбр. *-ns*, которое много раз было объясняемо на всевозможные лады.

Прежде всего следует упомянуть фонетическое объяснение, по которому непосредственно конечное *-nt* должно было перейти в *-ns*. Это объяснение нашло себе поддержку в законе, который Р. Турнейзен (*Arch. f. L. L.*, V, 575*) пытался установить для латинского и по которому всякое *-nt* > *-ns*, и этот «закон» хотели даже отнести в праиталийскую эпоху. Но закон этот

уже а ргогі кажется мало вероятным, его же общеиталийское происхождение во всяком случае сомнительно, как это видно из судьбы группы *-ns* в осско-умбр.⁶ Латинские же примеры Турнейзена могут быть все объяснены иначе (см.: К. В r u g m a n n. Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, I. Straßburg, 1897, S. 912. Anmerkung). Если иметь в виду судьбу группы *-ns* в осско-умбр., то предположение Даниэльсона (Altitalische Studien, III, 148) является очень заманчивым: по его мнению, *-(e)ns* произошло из *-(e)nes*, а это последнее есть не что иное, как а.-е. окончание перфекта, параллельное с гата-ав. *-arəš*, причем Даниэльсон ссылается на «частое чередование *-r-* и *-n-* суффиксов *-iter/-itineris*». Но так как никаких твердых оснований для такого а.-е. окончания не имеется, то предположение Даниэльсона имеет мало значения и гораздо вероятнее в той форме, которую дал ему Бругман (Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Straßburg, 1902—1904, S. 593, Fußnote), предполагающий, что *-s* перфекта, известное из Авесты, существовало также и в италийских языках и было прибавлено к первоначальному окончанию *-nt*, после того как **-nts* перешло в умбр. *-f*. Но, во-первых, осск. *úttiuf*, может быть, показывает, что и **-ns* более позднего происхождения переходили в *-f*, а во-вторых, *-s* перфекта для италийского не доказано. Во всяком случае это объяснение отнюдь не исключает новых попыток.

[Г.] Эрлих (I. F., [1900,] XI, 299) пытается рассматривать окончание *-ns* как им. мн. основ на *-en-*. Хотя это объяснение и находится в соответствии с судьбами *-ns-* в осско-умбр., тем не менее его нельзя назвать особенно вероятным. Во-первых, его ссылка на латинское окончание *-minī* как на параллельное явление есть не что иное, как *petitio principii*, и вопрос, каким образом именное образование попало в спряжение и вытеснило наверное существовавшую глагольную форму, является вполне уместным. Да и кроме того, объяснение Эрлиха основано на целом ряде постулатов: так, например, он принимает, что в осско-умбр. суффикс *-ō/-en-* с резко выраженным значением лица действующего был очень продуктивен; далее, он принимает, что эти имена приняли синтаксически глагольную форму, т. е. стали управлять тем же падежом, что и соответственный глагол. . . Одним словом, вопрос не может считаться решенным.

⁶ **-ns* а.-е. **-ns* и **-nss* а.-е. **-nts* является в умбр. *-f*, как например: умбр. вин. мн. *vitlaf, vitluf*, умбр. *zeref* лат. *sedens*; умбр. *traf* лат. *trans*. Более позднее осское **-ns* равным образом дает *-f*, например *úittiuf, tri-barakkiuf*, и только *-ns*, происшедшее вследствие синкопирования гласного последнего слога, остается, например: осск. *Bantins, humuns*, умбр. *Ikvins* (см.: В u c k. Elementarbuch, 48).

Судьбы различных *-ns* в осско-умбр. во всяком случае делают весьма вероятным предположение, что *-s* в окончании 3 мн. позднего происхождения, и потому уже Йогансон предполагал, что общеталийское *-nt* перешло в *-nd* (так как *-t > -d*) и дальше в *-n*, причем он ссылается на формы вроде лат. *danunt*, *explēnunt* и т. д. Но так как фонетический переход *-t* в *-d* представляется сомнительным, то объяснение может показаться несколько шатким.

Тем не менее вышеприведенные формы, которых деление *dan-unt*, *explēn-unt* и т. д. очевидно, доказывают, что в латинском существовали формы **dan*, **explēn* и т. д., так как объяснение Зоммера (*Handbuch*, 527) из **dant-unt* более чем сомнительно: почему, в самом деле, к совершенно ясной форме *da-nt* должно было быть прибавлено еще *-unt*, представляется совершенно непонятным, тем более что *dant*, как часто употребляемая форма, должна была иметь большую устойчивость против влияния всяких аналогий. Желание «придать более полную, значительную форму односложному 3 мн. *dant*» едва ли может входить в число факторов языковой жизни; точно так же не может быть причиной и желание уравнивать число слогов с 1 и 2 мн. — *damus*, *datis*, так как римляне, очевидно, не имели так много случаев упражняться в парадигмах, как наши современные школьники. Единственное объяснение, которое можно было бы дать этому предполагаемому **dantunt*, это то, что благодаря *damus*, *datis* двусложность получила значение признака множественного числа: принципиально это возможно, но очень мало вероятно.

Ввиду этого проще всего будет предположить, что во всех италийских языках случилось то же, что и в прочих а.-е. языках (кроме кельтских), т. е. что конечное *-nt* перешло в *-n*, которое и является в осско-умбр. окончании *-n-s* и в вышеприведенных латинских формах, как *dan-unt* и др. Предположение это может быть подкреплено ссылкой на *-rt*, *-rd > -r* в *jecur* и *cor*.

Таким образом **quinq̄uent* и др. дало **quinq̄uien*, к которому по аналогии к *bis*, **tris* было прибавлено *-s*. Им. вин. ед. ср. р. **ferent* дало *feren*; но вследствие непривычности альтернации $-\circ-||-t-[is]$ ⁷ в **feren* / *feren-t-is* (в противоположность к *nomen* / *nomin-is*) к **feren* было прибавлено *-s* из коррелятивной⁸ альтернации $-s||-t-[is]$ в *feren-s* / *feren-t-is* (муж. р.), *civita-s* / *civita-t-is*, *mile-s* / *mili-t-is* и т. д., но не *-s* со значением именительного падежа, а *-s-* в качестве последнего согласного

⁷ Где \circ обозначает нуль, отсутствие фонемы.

⁸ Т. е. соединенной с чередованием функций. См. подробнее об альтернациях: J. V a u d o u i n d e C o u r t e n a y. Próba teorii alternacyj fonetycznych. Część I. Ogólna. [Kraków, 1894].

основы, чередующегося с *-t* (ср. у Плавта *miles* с долгим *s*: *miless*). Это *-s*- основы (в психологическом смысле слова), конечно, скоро получило функцию *-s* им. пад., и таким образом им. ср. р. получил форму муж. р., и *ferens* стало образцом для прочих латинских прилагательных одного окончания — *duplex*, *ferox* и др., которые несомненно являются латинскими новообразованиями (ср. умбр. *tuplak*).

Остается еще объяснить *-s* 3 мн. в осск.-умбр. Бук видит в этом *-s* признак множественного числа, перенесенный из именного склонения. Хотя принципиально и нельзя ничего возразить против такой агглютинативной частицы, но так как агглютинация в латинском непривычна, то существование такой подвижной частицы *-s* должно быть еще доказано. Но дело, кажется, можно объяснить гораздо проще: *-s* есть действительно признак множественного числа, но образовавшийся в формах глагола. Если принять во внимание сказанное выше, то окончание 1 мн. в осско-умбр. должно было быть **-ms* < **-mos*, а 2 мн. — **-z* < **-ts* < **-tes*,⁹ и таким образом *-s* этих форм легко могло получить значение множественного числа и быть перенесено на 3 мн., т. е. по аналогии, например, к осск. *deika-m-s*, **deika-t-s* могло легко создаться *deika-n-s* вм. **deika-n*.

С исчезновением конечного *-i* первичных окончаний, с которым было ассоциировано функциональное различие первичных и вторичных окончаний, исчезло в значительной степени и препятствие к влиянию одной системы окончаний на другую, а потому в латинском вскоре вторичные окончания в 3-х лицах были вытеснены первичными. Осско-умбр. *-ns*, может быть, оказывало больше сопротивления, чем лат. *-n*, благодаря значению своего *-s* (см. выше) и в свою очередь поддерживало сохранение различия в 3 ед.

Что касается форм *danunt*, *explenunt* и т. д., то можно бы предположить, что и в латинском некогда существовал а.-е. имперфект и что эти формы первоначально принадлежали этому потерянному времени и появились тогда же, когда появились *dant* вместо **dan*. Когда произошло смешение окончаний, то некоторое время, пока функции имперфекта не перешли к другим формам, *das*, *dat*, *damus*, *datis*, *dant* могли употребляться в двойном смысле — настоящего и имперфекта; тогда и *danunt* стали употреблять в значении настоящего.

Можно, впрочем, предполагать, принимая теорию Циммера, что **dan* в *danunt* и т. д. является остатками так называемой «flexio coniuncta».

⁹ Ср. осск. *hürz* < **hortos*; умбр. *taçes* < **taketos*. Для **-ms* < **-mos* аналогичных примеров нет. В середине же слова: осск. *Niumsis*, *Niumsieis* ≠ лат. *Numisius*, *Numerius*, осск. *damsennias/damuse*, умбр. *uze*, *onse* < **omse* < **oměso* ≠ лат. *umerus* (см. von Planta, I*).

**РУССКИЕ ГЛАСНЫЕ В КАЧЕСТВЕННОМ
И КОЛИЧЕСТВЕННОМ
ОТНОШЕНИИ**

[Извлечения из книги]

**О некоторых основных фонетических
понятиях**

§ 1. Отправным пунктом моей работы являются идеи И. А. Бодуэна де Куртенэ, высказывавшиеся и теперь высказываемые им в разных печатных трудах, но систематичнее всего изложенные в его «Próba teorji alternacyj fonetycznych», Kraków (1894)=«Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen. Ein Kapitel aus Psychophonetik», Strassburg (1895).^{*} Поэтому можно было бы, сославшись просто на эти книги, а равно и на прочие труды Бодуэна, приступить непосредственно к предмету работы. Однако ввиду того, что эти идеи, по моим наблюдениям, до сих пор не стали всеобщим достоянием, а также ввиду того, что сам Бодуэн не все в своей теории развил с надлежащей полнотой, представляется вполне уместным подробно исследовать некоторые понятия, положенные в основание настоящего исследования, и, в частности, прежде всего остановиться на психологическом анализе того, что Бодуэн называет **ф о н е м о й**.

§ 2. Если мы будем наблюдать психические процессы при потоке слышимой речи, то результатом самого элементарного самонаблюдения и анализа будет констатирование того факта, что известные ряды сложных акустических представлений, воспринимаемые нами как нечто е д и н о е, могут вызывать в нас некоторые комплексы смысловых представлений и чувственных элементов, также объединенных в о д н о м психическом акте: так, звуковые представления, символом которых являются написания *смеркается, светает, темно*, вызы-

вают определенные, довольно сложные представления с известным чувственным тоном.¹

Но здесь нужно заметить, что для возбуждения представлений, уже возникших в нашем сознании, не требуется полного ряда соответственных ощущений и что, кроме того, эти последние могут и не быть абсолютно тождественны возбуждаемым представлениям. Вполне достаточно лишь некоторого количества элементов, более или менее подобных прежде бывшим в сознании, для наступления процесса а с с и м и л я ц и и (см.: [W.] W u n d t. Grundriss der Psychologie. [Leipzig,] 1905, S. 278), примером которого может служить, между прочим, неверное чтение слов или пропуск ошибок при корректуре. Основной чертой процесса ассимиляции, которая отличает его как одновременную ассоциацию (Simultane Assoziation) от последовательной ассоциации (Sukzessive Assoziation), является то, что полученные ощущения и результат ассимиляции не различаются сознанием как два отдельных по времени момента, иначе говоря, что мы не сознаем разницы между объективно данными ощущениями и результатом нашего восприятия, как в этом каждый мог убеждаться всякий раз, когда ему случилось неверно прочесть то или иное слово.

Следовательно, звуковые представления, соответствующие написаниям *смеркается, светает, темно* и т. д., могут возникать в нас и при произнесении довольно различных звуковых комплексов, причем различие между действительно произнесенным и нашими соответствующими слуховыми ощущениями, с одной стороны, и нашим восприятием, с другой стороны, сознанием нормально не воспринимается в силу только что указанной основной черты процесса ассимиляции; иначе говоря, в известных пределах мы вовсе не замечаем колебаний в произношении. Из этого следует, что нельзя себе представлять дело так, как будто разные произносительные формы одного и того же слова непосредственно ассоциированы со смысловыми представлениями. Такое понимание покоится на недостаточном анализе процесса восприятия, на неразличении одновременных и последовательных ассоциаций, т. е. на той «вульгарной психологии», критика которой и составляет главную заслугу Вундта перед языкознанием.

§ 3. Объективное положение вещей сводится к тому, что у людей, вполне владеющих данным языком, смысловые представления ассоциированы с некоторым общим звуковым пред-

¹ Я нарочно выбрал такие примеры, которые избавляют меня от необходимости развивать мои взгляды на взаимоотношение слов и предложений, так как это чересчур отвлекло бы меня от непосредственной задачи моего исследования.

ставлением того или другого слова, со звуковым словом-типом, которому может соответствовать колеблющееся произношение, причем размах этих колебаний бывает очень значителен. О величине его можно составить себе приблизительное представление, если вспомнить, как велики бывают ошибки при чтении слов. Maximum колебаний определяется легкостью ассимиляции: когда ассимиляция, а следовательно — и понимание, являющееся целью языкового общения, затрудняется, то мы жалуемся на худое произношение, невнятность речи и т. п. В качестве примеров разберем возможные колебания гласных одного из вышеприведенных слов, хотя бы слова *смеркается*: гласный первого слога может колебаться от ясного *e* при отчеканивании до *ь* обыкновенного произношения и до нуля быстрого произношения, когда *г* берет на себя слоговую функцию; *a* ударенного слога колеблется от *a* чистого при обыкновенном произношении до *л* быстрого темпа речи; слог *je* колеблется от *je* до *ь* и *ь* в разных темпах; *a* конечного слога, не говоря о бесчисленных возможных оттенках по тембру, может быть и звонким и глухим. . . Я не говорю уже о вариациях длительности, которые бесконечны, и оставляю в стороне вариации согласных, так как это потребовало бы экспериментальных данных и завело бы меня таким образом слишком далеко, но и приведенных примеров, полагаю, достаточно для подтверждения сказанного о значительности размаха колебаний в произношении одного и того же слова.

Тем не менее все эти колебания нормально нами не сознаются, оставаясь ниже порога сознания, и даже когда они достигают известного предела, то мы говорим, как было указано выше, лишь о «невнятном» произношении, а не об отклонении от нормы. Самой собой разумеется, что, изоцряя свое самонаблюдение и, так сказать, «дрессируя» себя в этом направлении, можно наблюдать все эти оттенки произношения, и это даже относительно просто, если нам на них укажут. Насколько же, однако, трудно обратить на них внимание в п е р в ы е, явствует из того, что «открытие» того или другого оттенка обыкновенно вменяется в особую заслугу. Сравнительно легко замечают н е к о т о р ы е оттенки иностранцы и дети, так как ни у тех, ни у других не создались еще звуковые слова-типы.

Качественно и количественно колебания произношения будут различаться от языка к языку, так как зависят от общего фонетического (а отчасти и морфологического и синтаксического) строя языка, иначе говоря — от языковых привычек представителей данной языковой группы (сумма этих привычек в области произносительной и называется артикуляционной базой; ср.: [L.] R o u d e t. *Eléments de phonétique générale*. [Paris,] 1910, p. 37).

Этим, между прочим, объясняется то, что мы довольно легко замечаем иностранное произношение: ² оно не находится в плоскости привычных колебаний.

§ 4. Углубляя самонаблюдение и анализ нашего сознания, перейдем к другому, не менее важному пункту. Известно, что такие элементы нашего сознания, как удовольствие, неудовольствие, удивление и т. п., выражаются в нашей речи и н т о н а ц и я м и (оставляю в стороне вопрос о том, что такое собственно «интонация» с фонетической точки зрения). Одно и то же слово, например *смеркается*, может быть произнесено с интонацией неудовольствия, когда уменьшение света чему-либо препятствует, или с интонацией удовлетворения, радости по поводу приближения вечера и т. п. Самой собой, однако, разумеется, что эти интонации существуют только в словах, ³ — вне этих последних их нельзя себе даже представить, точно так же как невозможно себе представить отверстия для окон без стен.

Однако по основному свойству нашей психики элементы, входящие вместе в состав целого ряда разных представлений, вступают в тесную связь друг с другом. Определенная интонация слова, входя в качестве одного из элементов в представления разных слов, имеющих, однако, всегда один и тот же чувственный элемент, например неудовольствия, н е о б х о д и м о вступает в теснейшую связь с этим последним и таким образом в известной степени изолируется нашим сознанием. Подлинное существование подобной связи вполне доказывается теми обыденными, постоянно повторяющимися случаями, когда мы произносим с оттенком, например, неудовольствия и с соответствующей интонацией слова, никогда нами ранее не слышанные в таком произношении.

Таким образом, мы должны признавать известную самостоятельность, выражающуюся в способности вступать в независимые ассоциации, за такими элементами фонетических представлений, как например мелодия слова, которая сама по себе даже не может существовать.

Раз это так, то тем более мы должны признавать подобную самостоятельность за такими элементами акустических представлений, как те, которые символизируются написаниями *a, e, s* и т. д. и которые легко могут нами изолироваться в действительности, т. е. произноситься отдельно. Некоторые из них могут даже играть роль целых слов, как например *a, u*, при-

² Хотя обыкновенно мы не понимаем, в чем состоит отличие в каждом конкретном случае.

³ Замечу кстати, что, например, *завтра!* и *завтра?* являются в той же мере разными словами, как например *карта* и *карты*, *так* и *так ли?*: решительно все равно, чем и где достигается акустическая дифференциация; но раз она налицо и ассоциирована со смысловой, то перед нами два слова.

зывающее *с* и т. д. Очень распространено мнение, будто «мгновенные», как *p*, *t*, *k*. . . , не могут быть произнесены отдельно; но раз мы произносим *at*, то решительно непонятно, почему мы не могли бы произнести просто *t*: оно мало сонорно и потому не будет слышно уже в небольшом отдалении, но может быть совершенно естественным.⁴

§ 5. Необходимо теперь ближе рассмотреть те психические процессы, в результате которых происходит изолирование таких элементов, как *a*, *u*, *i*, *d*, *p*, *s*, *v* и т. д., по большей части не конституирующих самостоятельных слов.

В силу присущей нам склонности к анализу, проявляющейся, конечно, особенно при научном мышлении, но находящейся в неразрывной связи с прочими функциями человеческой психики вообще, мы сравниваем различные звуковые представления и наблюдаем в них сходства и различия. Так, мы у з н а е м (*Wiedererkennungsvorgänge*, см. *W u n d t*, цит. соч., стр. 288) элементы *s* и *n* в слове *сан* как тождественные с начальным и конечным элементом в слове *сон* и в силу этого сознаем как отличные срединные элементы *a* и *o* и т. д. Подобный анализ собственно ясно проявляется в рифмах, сущностью которых является ведь именно у з н а в а н и е ритмически повторяющихся сходных групп фонетических элементов. Он проявляется не менее ясно при ослышках, когда говорящий искусственно выделяет сомнительный элемент, говоря, например, *soñ*, а не *soñ* и т. д. Наконец, обучение грамоте по так называемому звуковому способу было бы лишено всякого смысла, если бы оно не основывалось на имеющихся уже у ребенка ассоциациях, да и самое создание алфавита было бы делом невозможным.

Здесь, однако, нужно иметь в виду одно обстоятельство: не все проходящие через сознание представления попадают в светлую его точку — большинство остается у порога сознания; в светлой же точке появляются лишь те, которые имеют для нас интерес в данный момент, а потому привлекают наше внимание. Так как основной интерес речи лежит в смысловых представлениях, то звуковые нормально не находятся в светлом пункте сознания. Казалось бы, с этой точки зрения, что и анализ звуковых представлений нормально нами не производится и фонетическая делимость есть результат в значительной степени научного мышления. Но дело в том, что элементы смысловых представлений оказываются зачастую ассоциированными с элементами звуковых представлений: так, *t* в словах *пил*, *бил*, *выл*,

⁴ Это мнение возникло среди учителей, которые действительно для того, чтобы быть услышаны всем классом, произносят нечто вроде [tə, pə, kə] (вместо [t, p, k]).

дала ассоциировано с представлением прошедшего времени; *a* в словах *корова*, *вода* ассоциировано с представлением субъекта; *y* в словах *корову*, *воду* — с представлением объекта, и т. д. Благодаря подобным смысловым ассоциациям элементы наших звуковых представлений и получают известную самостоятельность.

Наилучшим доказательством этой самостоятельности элементов наших звуковых представлений служат многочисленные факты истории разных языков, известные под названием аналогических образований (*Analogiebildungen*), например: мы говорим *tr'os* вместо *tr'as* (тряс) при *tr'esu*, *s'ok* вместо *s'ek* (сек) при *s'eku* и т. д. под влиянием таких случаев, как *n'os* при *n'esu*, *gr'op* (греб) при *gr'ebu*, *st'er'ok* (стерег) при *st'er'egu* и т. д. Влияние это было бы абсолютно необъяснимым, если бы мы отрицали психическую самостоятельность таких элементов, как *e*, *o* и т. д. В самом деле, психологический смысл пропорции

$$n'esu : n'os = tr'esu : x \\ x = tr'os,$$

которой обыкновенно объясняют подобные явления, сводится к тому, что в глаголах с коренным вокализмом *e* в настоящем времени представление прошедшего времени ассоциировано с коренным вокализмом *o*. Само собой разумеется, что представление прошедшего времени находится в теснейшей связи с конкретным значением того или другого глагола, точно так же как и *o* не висит где-нибудь в воздухе, а находится в том или ином соседстве; однако это конкретное значение и соседство являются величинами переменными и, как таковые, находятся под порогом сознания всякий раз, когда мы образуем такие формы, как *tr'os* вместо *tr'as* и т. п. В этом можно убедиться и путем самонаблюдения: зная хорошо данный язык, мы легко образовываем формы по аналогии, но для подыскания примеров, оправдывающих эту аналогию, требуется довольно сильное напряжение. Если бы *o* прошедшего времени не выделялось нашим сознанием из целого слова, то никакая «аналогия» не была бы возможна, как ее не бывает при изолированно стоящих словах, где нет достаточных стимулов для выделения каких-либо элементов.

§ 6. Элементы звуковых представлений, подобные русским *a*, *i*, *s*, *v* и т. д., называются обыкновенно «звуками»; но для того, чтобы подчеркнуть их психическую природу и отличить их от звуков в строгом и прямом смысле слова, является целесообразным дать этим элементам какое-либо иное название. Термин «фонема», предложенный Бодуэном, будет, по моему мнению, вполне подходящим в данном случае, тем более что он

уже употребляется во многих французских лингвистических сочинениях, где он является эквивалентом немецкого *Sprachlaut*. Само собой разумеется, что дело не в термине, а в понимании, но термин зачастую является хорошим *memento*.

На основании сказанного в предыдущем параграфе фонему провизорно можно определить следующим образом: это кратчайший элемент общих акустических представлений данного языка, способный ассоциироваться в этом языке со смысловыми представлениями.⁵

§ 7. Раз фонемы являются как бы отрезками общих акустических представлений, то очевидно, что и сами они будут общими представлениями, представлениями-типами, которым соответствует колеблющееся произношение. Таким образом, все сказанное относительно слов-предложений (см. § 2, 3) всецело относится и к фонемам.

Но фонемы являются представлениями-типами не только как части более сложных общих представлений, но и в другом отношении: изоцряя наше самонаблюдение и в особенности наблюдая произносимое посредством приборов, можно констатировать, что разнообразие элементов акустических представлений чрезвычайно велико, во всяком случае бесконечно больше, чем это обыкновенно предполагается. Особенно поучительными в данном случае являются исследования [А. И.] Томсона («Фонетические этюды», [т. III,] Варшава, 1905), из которых следует, что если рассматривать ударенные гласные русского языка, произносимые в словах, то окажется, что оттенки, при этом наблюдаемые, составляют чуть ли не непрерывную шкалу. И можно с уверенностью сказать, что число наблюдаемых оттенков будет все увеличиваться по мере усовершенствования средств наблюдения.

Между тем, поскольку сознание изолирует кратчайшие элементы наших акустических представлений, оно различает относительно небольшое их число в каждом данном языке: очевидно, что при сосредоточении нашего внимания (в смысловых целях) на тех или других элементах звуковых представлений целые группы оттенков возбуждают одинаковое, т и п о в о е представление. Очевидно также, что мы имеем здесь дело с процессом ассимиляции, о котором говорилось выше, так как н о р

⁵ Из этого определения следует, что хотя в ближе [к] нам стоящих языках *s*, *k*, *t*, *ʃ* и т. д. и являются самостоятельными фонемами, но это отнюдь не является обязательным; можно себе представить язык, в котором все слоги открытые и состоят из одного какого-либо согласного и гласного *a*, и в таком языке фонемами будут *sa*, *ka*, *ta*, *ʃa* и т. д. — *a* не будет отделяться сознанием. В известном отношении к подобному состоянию, по-видимому, приближался древнеяпонский язык, что и отразилось на японском алфавите.

м а л ь н о м ы и не подозреваем о существовании всех этих оттенков, и если некоторые из них сравнительно легко замечаются внимательным наблюдателем, то о других мы лишь с удивлением узнаем из специальных сочинений.

§ 8. Какие же факторы регулируют образование этих типовых представлений, т. е. образование фонем? Прежде всего мы воспринимаем как тождественное все мало-мальски сходное с акустической точки зрения, ассоциированное с одним и тем же смысловым представлением, и, с другой стороны, мы различаем все способное само по себе ассоциироваться с новым значением. В словах *дети* и *детки* мы воспринимаем *t'* и *t* как две разных фонемы, так как в *одеть / одет, разуть / разут, тук / тюк* они дифференцируют значение; но мы воспринимаем различные оттенки первого гласного как одну фонему, так как не найдем в русском языке ни одного случая, где бы дифференциация смысла была поддерживаема лишь этими двумя оттенками, и такой случай нельзя себе представить даже в искусственном русском слове.⁶

Совершенно обратное видим во французском, где в словах *dé* и *dais* вся разница смысла покоится на различении двух фонем, [e] (*e* узкого) и [ɛ] (*e* широкого),⁷ тогда как слегка палатализованное [d]⁸ в *dis* французы (отнюдь не русские) воспринимают как тождественное с *d* в (*oui*) *da*, так как эти два оттенка не способны во французском дифференцировать значения.

Приведу еще несколько примеров для иллюстрации сказанного.

1) В русском языке исследователи давно заметили два оттенка *a* и два оттенка *i* в зависимости от качества следующего согласного, например в словах *дан* и *дань, бит* и *бить*; но эти оттенки не способны самостоятельно дифференцировать слова — с точки зрения смысла они всегда тождественны; другими словами, в русском существует лишь одна фонема *a* и одна фонема *i*. Не то видим во французском и в чешском: в первом различаются два *a*, как в *râte* и *patte*, а во втором два *i*, как в *píti* и *pití*.⁹

⁶ Возможно, однако, что диалектически эти два оттенка являются самостоятельными фонемами (см. § 13).

⁷ То же мы видим и в итальянском, где различаются слова *pesca* [peska] 'персик' и *pesca* [peska] 'удит рыбу'.

⁸ Ср. палатограммы у Rousselot. *Études de prononciations parisiennes.* — La Parole, [Paris,] 1899, p. 489, fig. 68.

⁹ По моим наблюдениям, в чешском различия по количеству при *i* и *i* отступают на задний план перед различиями по качеству, т. е. первые могут и не осуществляться и действительно по большей части не осуществляются, тогда как вторые всегда налицо; впрочем, я, конечно, допускаю, что, не будучи чехом, я неверно толкую наблюдавшиеся мной факты.

2) Во французском в словах *cas* и *qui* [k] несомненно будет очень разное; ¹⁰ но *k*, слышащееся в *qui*, никогда не будет стоять перед *a*, слышащееся же в *cas* никогда не будет стоять перед *i* — поэтому «эти два оттенка *k* не играют роли смысловых величин, а разница между ними не существует с лингвистической точки зрения». Цитирую здесь слова Пасси (P. Passy) (в «Exposé des principes de l'Association phonétique internationale», 1908, p. 15), одного из немногих фонетиков, который вполне понял эту простую идею о необходимости различать «les éléments significatifs d'une langue» от звуков, которые «n'ont aucune valeur distinctive».

3) Когда я изучал один из лужицких говоров в окрестностях Мужакова (Muskau), то записывал первое время такие слова, как [Kɔrla] 'Карл', [čipɔrla] 'подле' с другим *o*, нежели в таких словах, как [tɔ] 'то', [tɔska] 'чашка' и т. п., и, как оказалось из фонаутографических записей, эти *o* были действительно значительно разные. Но когда я обратился с распросами по поводу наблюденного мною явления, то оказалось, что туземцы вовсе не отличают этих двух оттенков *o*: меня стали уверять, что я ошибаюсь, причем для убедительности произносили [kɔ:—rla], т. е. протягивали *o* и отделяли следующее *rla*, и действительно *o* при этом получалось нормальное; но как только слово произносилось целиком, *o* получало отличный (для меня) оттенок, зависящий, очевидно, от следующего *r*. Обвинять жителей в исключительной фонетической тупости не приходится, так как они прекрасно различают три рода *o* в своем языке, из которых одно было для меня очень трудно отличать в беглой речи. Думать, что здесь сказывается влияние графики, нельзя, так как они все неграмотны на своем родном языке,¹¹ а при попытках передать свою речь немецким алфавитом они и те *o*, которые прекрасно отличают, передают через букву *o*.

4) По-русски в слове *воплъ* несомненно слышится при средоточенном внимании глухое [l'], однако никто не будет его считать самостоятельной фонемой, и вряд ли даже кто из русских без некоторой подготовки заметит разницу в *l'* в словах *воплъ* / *вопля* и *уж*, конечно, не произнесет сочетания [l'a'l']. Между тем в кимрском (уэльском) и в исландском [l] является самостоятельной фонемой и не зависит ни от каких специальных фонетических условий.

¹⁰ Оно будет чувствительно разное даже в таких словах, как *cas* и *cave*, ср.: R o u s s e l o t. Principes, II, [Paris, 1908,] p. 652, fig. 434, 1. — Вместо *cas* там взято несуществующее слово «*káv*» (транскрипция Rousselot).

¹¹ Мужаков находится в Пруссии, где местный язык не допущен в школе.

5) [Г. К.] Голоскевич очень тонко различил в украинском несколько оттенков [1 —] (Изв., Отд., 1909, XIV, 4, стр. 106); но все же они н о р м а л ь н о воспринимаются сознанием как одна и та же фонема, так как не ассоциированы ни с какими смысловыми представлениями, находясь лишь в непосредственной фонетической зависимости.

Зато полагаю, что различие между [i] и [1 —], являющимися в украинском самостоятельными фонемами, будет — по крайней мере в некоторых случаях — не больше различия *i*, *í* после мягких и *i*, *í* после твердых в чешском, о котором говорит Фринта ([А.] F r i n t a. Novočeská Výslovnost. [Praha, 1909,] стр. 64) и которое существует, по-видимому, лишь фонетически.

6) В английском, как известно, можно различить два оттенка *l* в зависимости от положения в слогe: в начале, перед гласным, *l* более высокого тембра и в конце слога *l* с более низким резонансом (*l*^o, *l*^u по Джоунзу: J o n e s. The Pronunciation of English. [Cambridge,] 1909, p. 23). Из них последнее очень напоминает русское *л*. Но, не будучи ассоциировано со смысловыми представлениями, это различие более или менее игнорируется сознанием — даже не во всех фонетиках о нем упоминается, что было бы немыслимо для русской пары *ль/л*.

Число примеров подобного рода может быть увеличиваемо без конца, как это ясно каждому практику-фонетику, имевшему дело с живыми языками. Полагаю, однако, что и приведенных достаточно для иллюстрации положений, высказанных в начале параграфа, и что я могу теперь перейти к дальнейшему исследованию природы фонем.

§ 9. Само собой разумеется, что фонемы являются общими представлениями не в логическом смысле, т. е. это не отвлеченные общие признаки группы частных представлений, — это совершенно конкретное звуковое представление, которое возникает у нас, как результат процесса «ассимиляции», под влиянием довольно различных впечатлений. Поэтому позволительно спросить, каким же объективным оттенкам соответствуют фонемы. Вопрос довольно трудный, и я полагаю, что ответ на него будет различный от языка к языку, так как надо предполагать целый ряд факторов, определяющих конкретные качества фонемы. Говоря вообще, ф о н е м а м и я в л я ю т с я т е о т т е н к и, которые находятся в наименьшей зависимости от окружающих условий.

В одном, однако, отношении фонемы отличаются от всех объективно существующих в произношении оттенков и, пожалуй, даже приближаются к логическим общим представлениям: тому, что мы называем фонемой *a*, в слове *ад* например, в произношении вовсе не соответствует нечто однородное — наоборот, гласный элемент по качеству представляет некоторую кривую,

которая начинается [Λ] (неударенный гласный, например, в слове *попа*), проходит через всевозможные оттенки *a* и кончается открытым *e*, что можно наглядно представить следующим рядом, где цифры, обозначают приблизительные отношения по длительности и где элемент, соответствующий нашей фонеме *a*, отмечен курсивом:

6 6 5 4 5 4
 [Λ] — [a 1] — *a* — [a] — [a 1] — [ε].

Мы, однако, вовсе не замечаем этих изменений. Объясняется это тем, что кривая эта будет разная в зависимости от разного соседства (*стал* — [st-a-1], *пах* — [p-a-x], *взял* — [vz'-a-1] и т. д.), постоянной же остается лишь некоторая небольшая часть (отмеченная в ряду курсивом).

Очевидно, в нашем сознании усиливается именно тот элемент, который постоянно повторяется, остальные же, как переменные, нами игнорируются, и притом так основательно, что едва ли кто без особой тренировки сможет услышать все указанные выше оттенки. Поэтому, когда нам нужно по той или другой причине (для ясности, с целью подчеркнуть, в раздумье, в удивлении и т. п.) ¹² протянуть ту или другую фонему, то мы протягиваем именно этот общий элемент. Его же мы и изолируем как нечто т и п и ч е с к о е для данной фонемы.

§ 10. Остается обратить внимание еще на одно свойство фонемы, важное для правильного понимания так называемых «аффрикат» и некоторых «дифтонгов»: каждую самостоятельную фонему можно протянуть, не прибавляя к данному фонетическому сочетанию ничего нового; те же элементы, которые не имеют самостоятельности, а являются лишь частями других фонем, никоим образом протянуть нельзя, не прибавив нового элемента. Примеров, кроме уже сказанного об *a* в слове *ад*, можно привести очень много:

1) Русские *с* и *щ* имеют несомненные элементы *s* и *š* (см. мою статью в М. S. L., XV, р. 237); * однако эти последние не самостоятельны, так как достаточно их немного протянуть, для того чтобы мы восприняли результат как *cs*, *čš*.

2) В том лужицком говоре, о котором я уже упоминал, есть особое узкое *e*, воспринимавшееся мной как нечто вроде [ei], т. е. как *e* с легкой дифтонгизацией; однако элемент *i* не может быть продолжен и потому не воспринимается отдельно от *e*.

¹² Вообще таких случаев в жизни представляется довольно много, и язык нельзя себе представлять как какой-то безостановочный поток речи: человек не граммафон.

И действительно, туземцы безусловно отрицают присутствие какой-либо дифтонгизации в данном случае. То же наблюдается и при узком *o*, которое звучит приблизительно как [ou], и при *ó*, произносимом как нечто вроде [uɔ].

3) Нечто аналогичное видим и в английском, где долгие *e* и *o* воспринимаются как простые фонемы, несмотря на их значительную и притом объективно констатированную дифтонгизацию.

4) Та фонема, которую в верхнелужицком обозначают буквой *ě*, представляет из себя в сущности дифтонгическое сочетание [ie-]; но элемент *i* весьма краток и ни в коем случае не может быть продолжен, так что все сочетание воспринимается туземцами как монофтонг, как одна простая фонема.¹³ Полагаю, что нечто подобное представляют литовское *ė* и латышское *ee*.

§ 11. Принимая во внимание все сказанное, можно придать такой окончательный вид определению фонемы (ср. § 6): фонемой называется кратчайшее общее фонетическое представление данного языка, способное ассоциироваться со смысловыми представлениями и дифференцировать слова и могущее быть выделяемо в речи без искажения фонетического состава слова.

В этом определении я заменил термин моего провизорного определения «акустическое представление» термином «фонетическое представление» как обнимающим весь сложный комплекс относящихся сюда психических элементов, потому что, как известно, акустические представления неразрывно связаны с представлениями движений органов речи, необходимых для осуществления соответственного звука.

§ 12. Как вытекает из всего предшествующего изложения, фонемы — это продукт нашей психической деятельности, это в известной мере величины производные. Однако если они являются хотя и типовыми, но все же конкретными и фонетическими представлениями, то совершенно очевидно, что и сами они могут быть факторами психической деятельности и что, в частности при процессе говорения, мы всегда стремимся осуществить все свойства данного типового акустического представления в силу вышеуказанной неразрывной связи звуковых и двигательных представлений. Иначе говоря, мы стремимся «произносить фонемы» одинаково во всех положениях. И если мы этого не делаем, т. е. если мы все-таки произносим по-разному в зависимости от фонетических условий, то происходит это от недоста-

¹³ Я думаю, что одним из решающих моментов для восприятия является в подобных случаях длительность сочетания: если она более или менее равняется длительности простых фонем той же категории, то и все сочетание воспринимается как простая фонема.

точного задержания вниманием влияния других фонетических представлений, находящихся одновременно в сознании.¹⁴

В справедливости сказанного нетрудно убедиться: в слове *дети* мы произносим закрытое *e* в зависимости от мягкости последующего согласного; но этот оттенок *e* не является самостоятельной фонемой, и вместо него неминуемо появляется нормальное *e* (соответствующее фонеме), как только нам случится протянуть это *e*, например, в удивленном восклицании: *ну, дети!* [nu, d'e : t'ь!], но никогда [nu, d'е : t'ь!]. То же самое видим и в других аналогичных случаях: [dan'], но [da: n'] и т. д.

Так надо понимать те явления, которые Бодуэн называет «несоответствием исполнения с намерением»; и мне кажется, что при такой постановке вопроса «распадение фонем на оттенки под влиянием разнообразных фонетических факторов» отнюдь не является образным и еще в меньшей степени метафизическим выражением. И мне кажется даже, что разыскание этих оттенков, на которые распадаются фонемы, а также объяснение причин появления каждого из них и являются основными задачами фонетики.

§ 13. Если все до сих пор изложенное справедливо, то теоретическая важность различия фонем и их оттенков не подлежит ни малейшему сомнению. Остается сказать еще о его практическом значении.

Различение это представляется мне безусловно необходимым с узко лингвистической точки зрения: оттенки фонем, не будучи ассоциированы со смысловыми представлениями, являясь лишь неосознанным следствием окружающих условий, не способны к перенесению «по аналогии», т. е. не являются теми основными единицами, с которыми мы только и можем оперировать в лингвистике.

Для пояснения этой простой мысли возвращаюсь к моим лужицким примерам: особенное отмеченное мною *o*, появляясь только перед *г* и не признаваемое говорящими как отличное, очевидно не может быть никуда перенесено в силу каких-либо морфологических процессов. Другое дело — узкое *o*, слегка дифтонгирующееся и появившееся перед губными и заднеязычными: оно вошло вполне в сознание говорящих и стало самостоятельной фонемой, так что у предлога *do*, например, который должен бы звучать иногда [do], иногда [dɔ] (в зависимости от следующего слова), могла быть обобщена форма [do] совершенно независимо от фонетических условий.

¹⁴ Что касается задерживающей силы внимания, то совершенно ясно, что она регулируется лишь легкостью понимания и выступает лишь тогда, когда влияние других представлений искажает слово до неузнаваемости.

То же относится и к четвертому отмеченному мной оттенку о (ó письменного языка — нечто вроде [uɔ]), появившемся только в начальном слоге слова после заднеязычных и губных. Оно вполне вошло в сознание, и можно сказать, например, *ku godam* 'к святкам' и *ku gódam* по аналогии к именительному падежу *gódy*, и если спросить туземца, как лучше, то вопрос будет понят; спрашиваемый попробует сказать так и так и ответит, что и то и то одинаково возможно.

Само собой разумеется, что абсолютной границы между оттенками и фонемами нет, как вообще в природе нет никаких резких разделений, которые обыкновенно принимаются нами лишь ради удобств научного изучения. На самом деле существуют фонемы более самостоятельные и менее самостоятельные. В § 38 второй части будет указано различие в этом смысле и его причины между *a, e, i, o, u*, с одной стороны, и *ы*, с другой стороны, в русском. Могу указать также на фонему [ž'] в моем языке (в словах *ежжу, дожди* и т. п., хотя и не во всех случаях подобного типа): ввиду того, что она встречается лишь в сочетании с предшествующим *ž*, а морфологическая граница редко приходится между ними, самостоятельность ее очень слабо сознается мной, и я несколько склонен рассматривать все сочетание [ž'ž'] как одну фонему. С другой стороны, некоторые оттенки близки к тому, чтобы стать фонемами, — так, в моем языке [š'] не является самостоятельной фонемой, однако появление его и после некоторых мягких содействует относительно выделению его среди прочих оттенков.

Вообще говоря, фонетическая история языка — в известной части — сводится, с одной стороны, к исчезновению из сознания некоторых фонетических различий, к исчезновению одних фонем, а с другой стороны, к осознанию некоторых оттенков, к появлению других новых фонем. В моей практике был в этом отношении очень поучительный случай. В том лужицком говоре, о котором уже много раз была речь, нормально говорится [do sturn'ε] 'в колодец'. Раз как-то, однако, один молодой рабочий, диктуя мне много раз записанную мной песенку, где встречается это слово, продиктовал [do sturnε], с твердым *n*. Я переспросил, он повторил свое; тогда я обратился к присутствовавшим, спрашивая их мнение; все нашли, что он правильно произносит это слово, хотя сами произносили его с мягким *n*. После ряда всевозможных контрольных вопросов я пришел к ясному убеждению, что различие *n/n'* исчезает из сознания говорящих, лишаясь смысловых ассоциаций, которые все перенесены в данном случае на гласный: после бывших мягких стоит [ε], а после твердых [æ]. Различия в этих гласных всеми сознаются, и расспросы о них всеми легко понимаются, во-

прос же: [n'ε] или [nε], — непонятен, так как и то и другое в равной мере удовлетворяет ухо местных жителей.

Нечто аналогичное может произойти и в русском языке с разными оттенками *e*: два нормально мной не различаемых оттенка могут стать самостоятельными фонемами. Случаев к этому может представиться много. Укажу на слова *передний*, *средний*, *летний* и т. д. Мягкое качество *d*, *t* нами здесь не воспринимается, так как в этом положении *d* и *t* не имеют самостоятельного взрыва (в моем языке они и являются твердыми, а предшествующий гласный имеет более широкий оттенок). Предположим, что эта мягкость будет играть в данном случае морфологическую роль; тогда *d* и *t* будут произноситься с поднятием средней части языка к нёбу; акустически же, ввиду отсутствия самостоятельного взрыва, это может обнаружиться лишь на качестве предыдущего гласного, оттенки которого, таким образом, должны будут появиться в светлом поле сознания. Если таких случаев будет достаточно, то новые фонемы готовы. Некоторые обстоятельства делают для меня вероятным, что многие русские говоры различают [e] и [ε] как самостоятельные фонемы, но, к сожалению, я не имел случая исследовать ближе этот вопрос.¹⁵

§ 14. Еще несколько слов о трудности практического различения фонем от их оттенков. Как должно следовать из предыдущего изложения, для туземцев это абсолютно легко, так как фонемы являются непосредственными фактами их сознания, оттенков же они нормально не замечают. Некоторую трудность могут разве представить пограничные случаи. Зато делать это различие в чужом языке так же трудно, как вообще трудно наблюдать чужую душевную жизнь. При диалектологических исследованиях самым трудным (и едва ли не самым важным) является не записывание разных тонких отличий, а констатирование того, какие отличия в данном языке важны, а какие

¹⁵ Преподавая в текущем учебном году на курсах новых языков основы французского произношения, я имел случай констатировать, что мои слушательницы распадаются, с точки зрения различения французских *é* и *è*, на следующие группы (в зависимости от их диалекта): большинство, подобно мне, не различает их и упорно произносит при упражнениях ряд *i*, *é*, *é*, *a* вместо требуемого — *i*, *é*, *è*, *a*; однако им можно растолковать французское *é* на русских примерах *цеп*, *цены*, *Бэла* и т. д. (подробнее о разных *e* см. § 50), и они научаются его произносить верно (есть, однако, некоторое число лиц, — диалект которых затрудняюсь определить, — произносящих, по-видимому, и в вышеприведенных русских словах обычное *e*); вторая группа — из южной России — сразу понимает различие двух *e*, но произносит их неверно: *é* чересчур закрыто (как в *тень*), а *è* как *é*; наконец, третью группу составляют уроженки Украины (их, правда, у меня было очень мало), которые, подобно чехам, произносят звук средний, годящийся еще для краткого *è* в закрытых слогах (*cette*, *celle*), но не подходящий ни к *é* в *passerai*, ни к *è* в *reine*, *passerais*.

не важны с точки зрения смысла, и здесь приходится со своим аршином, со своими языковыми привычками не приходится, так как зачастую то, что мы считаем грубыми отличиями, туземным населением вовсе не воспринимается, а то, что мы считаем неважной subtilностью, на самом деле ассоциируется с морфологическими и смысловыми представлениями, а потому ясно всякому туземцу и может быть констатировано малым ребенком, которому объяснили, что от него хотят.

§ 15. Переходя к другому понятию, лежащему в основе настоящего исследования, — неофонетическим альтернациям, или дивергенциям, я должен констатировать, что теория их развита И. А. Бодуэном де Куртенэ в вышеуказанной его работе с достаточной полнотой. То, что я считал нужным прибавить, сказано выше, так как ясно, что мои «объективно проявляющиеся в произношении оттенки фонем» являются дивергенциями Бодуэна. Как отмечалось в § 12, эти оттенки потому только и не тождественны с фонемами, что в произношении всякий раз имеются факторы, автоматически изменяющие фактическое осуществление нашего намерения, а это и является основным признаком дивергенций Бодуэна.

Но нужно сказать, что обратное не всегда справедливо, т. е. не все дивергенции будут оттенками фонем, так как понятие Бодуэна шире: оно включает и те случаи, когда мы под влиянием этимологического чутья воспринимаем как нечто одинаковое то, что в других случаях нами различается.

ФОНЕТИКА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

[Извлечения из книги]

Предисловие

Книга эта выросла из моего более чем двадцатилетнего университетского преподавания студентам-романистам теории и практики французского произношения. Поэтому она является не пересказом существующих иностранных учебников, а индивидуальным построением, вытекающим из моих воззрений на фонетику и ее роль в системе языка. В нее вошли также, кроме общеизвестных фактов, и результаты моих собственных исследований, нигде еще не опубликованных.

Как и мое преподавание, книга построена на систематическом сравнении французской фонетики с русской. Такое построение целиком диктуется не только соображениями общепедагогическими — идти от известного к неизвестному, но и

соображениями методики преподавания иностранных языков. Дело в том, что главнейшим препятствием к усвоению правильного иностранного языка вообще и его произношения в частности является родной язык учащихся. Старая методика боролась с ним посредством искусственной изоляции иностранного языка. Но в условиях отсутствия иностранного окружения это не давало и не могло давать желаемых результатов. Поэтому новейшая методика строится на основе сознательного отталкивания от родного языка.

Так как я не могу предполагать ни у своих слушателей, ни у своих читателей знания русской фонетики, то построение книги осложняется необходимостью параллельного изложения двух фонетик.

Наконец, третье обстоятельство, которое определяло построение книги, было отсутствие у нас каких бы то ни было пособий по французской фонетике. Поэтому книга эта должна обслуживать как начинающих, так и продолжающих и даже более или менее знающих язык.

Ввиду всего этого книга вышла, может быть, несколько трудноватой для начинающих; однако я принципиально считаю неправильным чересчур снижать ее общий тон, так как уровень первых курсов наших вузов растет с каждым годом и было бы нежелательно, чтобы уровень книги оказался в ближайшем будущем ниже уровня читателей. Дело вузовского преподавателя соответственными разъяснениями приспособить книгу к уровню каждой данной аудитории. . .

Так как вся система фонетики, вплоть до понятия отдельного звука, построена у меня на семантической основе и так как я вовсе не считаю фонетику формальной дисциплиной, то я не боюсь начинать изложение ее именно с отдельных звуков (хотя и признаю преимущественную важность в некоторых отношениях синтаксической фонетики). В самом деле, смешно изучать интонацию фразы, не умея произносить понятным образом звуки этой фразы. Это все равно — и даже хуже, — что разучивать оперные арии, не поставив голоса. Методически является совершенно неприемлемым что-либо выучивать неправильно с тем, чтобы потом это переучивать. Недооценка важности правильной постановки отдельных звуков зависит от неосознания той роли, которую играет отдельный звук в процессе понимания речи (см. об этом подробнее во Введении, отдел А).

Поставить незнакомый звук во фразе и даже в слове совершенно невозможно, так как контроль слуха и мышечного чувства при этом дробится и не может быть сосредоточен на нужных моментах. Кроме того, так как цель коммуникации оказывается достигнутой, как только то или другое слово (а тем более

фраза) бывает узвано и понято, то очень трудно сосредоточить внимание на ошибках произношения, которые на практике оказались уже неважными. Дело в том, что самый процесс узнавания в значительной мере покоится на ассимиляции услышанного тому, что уже имеется в опыте; благодаря этому мы, например, великолепно слышим в граммофоне знакомый текст, не замечая его провалов, тогда как зачастую прямо-таки не понимаем многих слов незнакомого текста хотя бы и на родном языке. При произнесении же отдельного звука все внимание естественно концентрируется на его качестве и на особенностях его артикуляции. Лишь только когда та или другая чуждая нам артикуляция станет более или менее привычной, можно начинать упражняться в сочетании ее с другими артикуляциями, особенно тоже чуждыми. . .

Само собой разумеется, что здесь разъяснен лишь принцип постановки звуков, на практике же преподаватель как можно скорее должен переходить от отдельного звука к простым фразам, соединяя преподавание произношения с накоплением фразеологии.

[И з г л а в ы 1]

Введение

А. Значение правильного произношения и его трудности

§ 1. Самый предмет настоящей книги требует разъяснений, и может быть больших, чем это на первый взгляд казалось бы нужным. Что, в самом деле, предлагается здесь изучать, т. е. что в сущности надо подразумевать под «французским произношением» и — в более общей форме — под произношением любого иностранного языка вообще?

Очень часто, когда говорят о трудности или легкости произношения того или иного иностранного языка, то думают в сущности о правилах чтения в данном языке и о количестве исключений из этих правил. Так, английское произношение считается трудным, потому что правила чтения в английском языке очень сложные и научиться механически читать по-английски, не зная языка, в сущности немислимо; наоборот, это представляется до некоторой степени возможным по-немецки, где правила чтения гораздо проще, а потому немецкое произношение считается обыкновенно легким. Однако, хотя французские правила чтения и будут даны в настоящей книге, они вовсе не составляют сущности вопроса о французском произношении.

§ 2. С другой стороны, когда говорят о произношении того или другого языка, очень часто имеют в виду те случаи, когда слова сознательно пишутся не так, как произносятся. По-

русски, например, мы говорим *пиши, чижы*, а пишем по историческим соображениям *пиши, чижь*. Далее, мы говорим *краситца*, а пишем по этимологическим соображениям в одних случаях *красится*, а в других — *краситься*; мы говорим *щастье, жжечь, виск, лотка*, а пишем по этимологическим соображениям *счастье, сжечь, визг, лодка* и т. п. Аналогичные случаи имеются и во французском языке, и о них тоже будет идти речь в этой книге, но опять-таки не они составляют сущность вопроса о французском произношении.

§ 3. Предметом книги является само французское произношение, совершенно независимо от того, как оно изображается на письме. Дело во французских звуках и способах их сочетать: и те и другие не совпадают с русскими, и им надо научиться, если желательно говорить на подлинном французском языке. Для того чтобы самый вопрос о произношении и значение этого вопроса стали совершенно ясными, необходимо прежде всего понять, что особые трудности кроются даже не в тех звуках, которым нет аналогичных в родном языке учащегося,¹ а как раз в тех, для которых в этом последнем имеются сходные звуки.

В самом деле, мы воспринимаем деревья весьма различной формы и величины как одинаковые, если они относятся к одной и той же породе; мы воспринимаем также как столы очень разные по внешней форме предметы и часто даже вовсе не замечаем их различий. Точно так же мы нормально воспринимаем как свои русские *а, э, с, в* и т. д. похожие на них иностранные звуки, хотя бы эти последние и значительно отличались от соответственных русских. При этом в большинстве случаев мы даже не замечаем этих различий, так как на первый взгляд нет ни малейшего практического повода обращать на это внимание. Поэтому, изучая иностранный язык путем простого подражания учителю, мы неизбежным образом подставляем вместо иностранных звуков соответственные или ближайшие русские в полной уверенности, что мы с большим или меньшим успехом подражаем слышанному. Таким путем и получается то плохое произношение, которое нам часто приходится слышать от иностранцев, коверкающих русскую речь и тоже воображающих, что они более или менее правильно ей подражают.

Совершенно необходимо теоретически, на основании всего сказанного, осознать, что натуральная речь взрослых (у детей, особенно дошкольного возраста, это протекает по-другому), обучающихся иностранному языку путем простого подражания

¹ Это зависит от того, что звуки эти привлекают к себе наше внимание и мы, не отождествляя их ни с какими звуками родного языка, так или иначе стремимся их освоить.

речи учителя, по необходимости является в большинстве случаев² сплошным коверканием иностранной речи, ее карикатурой.

§ 4. Не требует, конечно, доказательства, что в очень многих случаях мы не можем довольствоваться карикатурой иностранной речи, например при публичных выступлениях, когда комическая форма может испортить самое серьезное и хорошее содержание (ибо форма должна всегда соответствовать содержанию). Однако в тех случаях, когда нам нужно только как-нибудь объясниться с иностранцем, и карикатурная речь как будто может сослужить службу: ведь важно только, чтобы нас поняли.

Но оказывается, что коверкание произношения не только комично, но иногда ведет и к непониманию или по крайней мере к замедлению понимания речи. Дело в том, что зачастую мы считаем за один и тот же звук такие иностранные звуки, которые, принадлежа в соответственном языке к разным звуковым типам, способны различать слова. Так, например, английское *man* 'человек' и *men* 'люди' произносятся по-русски одинаково — *мэн*;³ немецкие *Kamm* 'гребень' и *kam* 'пришел', отличающиеся разным произношением гласного, по-русски произносятся одинаково, как *кам*; французские *saute* 'прыгай' и *sotte* 'глупая', отличающиеся тоже только гласными, по-русски оба выговариваются как *сот*; различие французских слов *cage* 'клетка' и *cache* 'прячь' скрадывается в едином русском произношении *каш*. Аналогично этому англичане четыре русских слова *пыл*, *пыль*, *пил*, *пиль* произносят обязательно одинаково, ибо для них *ы* и *и*, *л* и *ль* — лишь вариации одних и тех же звуков, вариации, которых они нормально даже не замечают.

Таким образом, оказывается, что подобные ошибки в произношении ничуть не лучше ошибок, например, в грамматическом роде имен существительных, в падеже и т. п., а зачастую являются даже хуже их, так как мешают осуществлению основной цели языка — коммуникации, т. е. взаимопониманию.

§ 5. Если какой-либо иностранец будет выговаривать *шяр*, *шяпка*, *Шюра*, *Машя*, то это будет только смешно; если же он скажет *стол* вместо *столь* (как это нормально для всякого англичанина) или, скажем, *кóлья* вместо *Кóля*, *копья́* вместо *копья́*⁴ (как это действительно постоянно получается с иностран-

² Говорю «в большинстве случаев», потому что есть люди с природным имитаторским талантом, которые очень легко перенимают всевозможные особенности чуждого им произношения; но это — единицы.

³ Английское *man* вовсе не произносится *ман*, однако отлично и от *мэн*, подобно тому как немного отлично от этого последнего произносится и *мен*.

⁴ Деепричастие от глагола *копить*.

цами, если их никто специально и разумно не учит русскому произношению), то это будет уже нарушением смысла.⁵ Совершенно очевидно, что при самых скромных требованиях к устной речи с ошибками второго рода никак нельзя мириться; но не менее очевидно и то, что мы сами на наш слух не в состоянии судить, какие наши ошибки в произношении делают нас только смешными, а какие мешают нас понимать. Об этом может судить лишь компетентный человек, знающий при этом данный иностранный язык, как родной.

§ 6. Научить не делать грубых звуко-смысловых ошибок во французском языке, а также по возможности не быть смешным, говоря по-французски, т. е. именно научить «французскому произношению», и стремится наша книга. Как это сделать? Мы видели уже, что путем наивного бессознательного подражания правильной речи учителя это далеко не всегда достигается, так как при этом происходит подстановка на место французских звуков ближайших им русских и получается таким образом то, что в старину называлось «нижегородским французским». Следовательно, надо прежде всего детально осознать все различия как в отдельных звуках, так и в манере их сочетать, которые существуют между французским и русским языком. Они и будут указаны в дальнейшем.

Но надо сразу сказать, что далеко не так легко услышать все эти различия: для этого надо длительно тренировать свое ухо. Наилучшим средством для этого являются так называемые «фонетические диктовки», т. е. точная запись звуков чужого языка специальным, для этой цели приспособленным алфавитом («фонетическим»). Диктующим может быть учитель, а может быть и говорящая машина (граммофон или фонограф), которая неопределенное число раз может повторять одну и ту же фразу абсолютно одинаково.

§ 7. Но, конечно, мало только услышать различия, надо научиться произносить непривычные нам звуки, надо научиться соединять их друг с другом непривычным для нас образом. Этого, конечно, гораздо легче будет достичь благодаря контролю уже воспитанного уха; но можно и еще облегчить себе эту задачу, привлекая данные фонетики, науки, изучающей звуки человеческой речи, а также условия их производства человеческим звукопроизводительным аппаратом. Благодаря этой науке можно сказать, какие движения мы делаем нашими органами речи для производства русских звуков и как надо изменить эти движения, чтобы получить французские звуки.

⁵ Я предлагаю называть ошибки первого типа ошибками в говора, или фонетическими, а вторые — звуко-смысловыми, или фонологическими.

§ 8. В конце концов можно сказать, что выучиться правильно произносить по-французски — это все равно, что усвоить себе ряд новых непривычных движений, притом так усвоить их себе, чтобы они стали как бы рефлекторными, т. е. привычными, чтобы они совершались при минимуме контроля сознания. Таким образом, изучение того или иного произношения можно уподобить обучению танцам, пению, игре на музыкальных инструментах и т. п. Приходится посредством соответственных упражнений прежде всего развить послушность органов речи, а затем путем бесконечного повторения сделать безусловно для себя привычными движения органов речи, необходимые для производства французских звуков и их сочетаний. Начинать приходится с того, чтобы, как говорят, «поставить» себе отдельные французские звуки, аналогично тому, как в пении «ставят» голос, и т. п.⁶

.....

В. Что такое отдельный звук языка?

§ 14. Прежде чем перейти к систематическому изложению предмета настоящей книги, нужно разъяснить одно основное понятие. В самом деле, мы уже неоднократно оперировали понятием отдельного звука речи; между тем это, казалось бы, простое традиционное понятие на самом деле требует больших объяснений. Более или менее очевидно, что отдельные звуки речи получаются в результате анализа слов данного языка и что это кратчайшие их отрезки, отсечение, прибавление и замена которых могут давать в данном языке другие слова или по крайней мере другие смысловые части слов, например: если у слова *парка* (род. ед.) отнимем конечное *a* — получим *парк* (им. ед.), отнимем *к* — получим *пар*, отнимем *p* — получим *па* (в танцах), отнимем начальное *n* — получим *a* (союз) и т. п. Или, сравнивая друг с другом слова *Шура*, *Мура*, *фура*, *дура*, *кура*, *Юра*, *Нюра*, мы замечаем, что при общей конечной части *ура* они отличаются друг от друга только началом *ш*, *м*, *ф*, *д*, *к*, *й*, *нь*, которые, таким образом, и выделяются как отдельные звуки речи.

§ 15. Вслушиваясь, однако, внимательно в произношение звука *ы*, например в словах *корыто*, *быт*, *мыло*, *сыпать*, с одной стороны, и в словах *рыть*, *быть*, *мылить*, *сып* — с другой, мы можем заметить, что на самом деле он произносится по-разному в этих двух рядах слов. Точно так же мы можем заметить,

⁶ Этим едва ли не впервые у нас стали заниматься по моей инициативе в Лаборатории экспериментальной фонетики Ленинградского университета. В широком масштабе это было применено к английскому языку с привлечением опыта театральной педагогики.

что в словах *мел, сел, дед* и т. п. на самом деле мы произносим другое *е*, чем в словах *мель, сели, дети* и т. п.

Первое ударенное *а* в словах *рада, сада, лада* и т. п. мы произносим по-другому, чем второе, неударенное, и т. д., и т. д. Однако все эти сходные между собой, но могущие быть различаемыми на слух звуки мы объединяем в русском языке в один звуковой тип *ы*, в один звуковой тип *э*, в один звуковой тип *а* и т. д. Причина этого лежит в том, что в русском языке все эти разные оттенки наших звуков сами по себе никогда не могут дифференцировать слов или их форм, являясь лишь функцией каких-то других факторов (в первых двух случаях — твердости или мягкости последующего согласного, в последнем — ударенности или неударенности самого гласного). Однако в других языках эти наши оттенки могут выступать и в роли самостоятельных звуков, если только они способны дифференцировать слова. Так, по-французски и по-английски те звуки, которые мы называем разными оттенками звука *э*, оказываются совершенно самостоятельными, отдельными звуками (*grès* и *gré* во французском, *tap* и *ten* в английском). То же можно сказать и о разных вышеупомянутых оттенках нашего *а*, являющихся в английском языке самостоятельными звуками, и т. д. (ср. также сказанное выше в § 4 и 5).

§ 16. Таким образом, мы видим, что в живой речи произносится значительно большее, чем мы это обыкновенно думаем, количество разнообразных звуков, которые в каждом данном языке объединяются в сравнительно небольшое число звуковых типов, способных дифференцировать слова и их формы, т. е. служить целям человеческого общения. Эти звуковые типы и имеются в виду, когда говорят об отдельных з в у к а х р е ч и. Мы будем называть их **ф о н е м а м и**. Реально же произносимые различные звуки, являющиеся тем ч а с т н ы м, в котором реализуется о б щ е е (фонема), будем называть о т т е н к а м и ф о н е м. Среди оттенков одной фонемы обыкновенно бывает один, который по разным причинам является самым типичным для данной фонемы: он произносится в изолированном виде, и собственно он один только и сознается нами как речевой элемент. Все остальные оттенки нормально нами не сознаются как отличные от этого типичного оттенка, и нужна специальная фонетическая дрессировка уха, чтобы научиться слышать их. Для простоты в дальнейшем фонемой будет называться и этот типичный ее оттенок, и лишь когда это будет почему-либо важно, эти понятия будут различаться.

§ 17. Совершенно очевидно с методической точки зрения, что эти типичные оттенки и должны прежде всего изучаться в практической фонетике, так как все остальные оттенки появляются исключительно в зависимости от действия каких-либо

специальных факторов; с уничтожением действия этих факторов все эти оттенки стремятся слиться с типичным оттенком.

§ 18. В словообразовании, морфологии и синтаксисе, а также в словаре оттенки не играют никакой роли, а поэтому в родном языке мы можем о них даже ничего не знать, ибо они чередуются с типичными оттенками в силу наших артикуляционных привычек; произнести иначе нам просто невозможно без предварительной тренировки (например, слово *мель* с *e* из слова *мел*). Но когда мы хотим изучить произношение иностранного языка, то нам приходится изучать и оттенки фонем, и правила их чередования с типичным оттенком, ибо у нас не только нет иностранных артикуляторных привычек, но нам приходится еще бороться со своими привычками, которые в большинстве случаев не годятся для иностранного языка.

§ 19. До понятия фонемы небесполезно дойти еще и следующим образом. Каждый звук человеческой речи существует, подобно всякому звуку вообще, как некое физическое, механическое явление, т. е. как некое колебательное движение, распространяющееся в той или иной среде, — это физический аспект звука речи.

Но тот же звук, воспринимаемый нашей нервной системой (периферической и центральной), представляет собою уже другой — биологический — аспект явления, который, очевидно, не только не совпадает с первым, но даже не всегда параллелен ему и во всяком случае находится с ним в весьма сложных функциональных отношениях; например, объективное усиление физического звука воспринимается лишь тогда, когда достигает известного предела, весьма различного в различных местах шкалы слышимых звуков (эти отношения изучаются в так называемой «психофизиологии звука»).

Но очевидно, что существует и третий аспект явления — лингвистический, или, поскольку лингвистика является социальной наукой, социальный. В самом деле, вопросительная частица *a?*, произнесенная громко или шопотом, басом или дискантом, представляет собой, конечно, совершенно разные звуки и физически, и биологически. Однако с лингвистической, или социальной, точки зрения это одна и та же частица, один и тот же звук. Следовательно, мы в данном случае в частных явлениях, каковыми являются физически и биологически эти разно произнесенные *a?*, видим нечто общее, которое и утилизируем в целях коммуникации.

§ 20. Чем же определяется это общее? Очевидно, именно коммуникацией, которая является основной целью языка, т. е. в конечном счете смыслом: единый смысл заставляет нас даже в более или менее разных звуках узнавать одно и то же. Но и дальше, только такое общее важно для нас в лингвистике,

которое дифференцирует данную группу (скажем разные *a*?) от другой группы, имеющей другой смысл (например от союза *и*, произнесенного громко, шопотом и т. д.). Вот это общее и называется *фоной*. Таким образом, каждая фонема определяется тем, что отличает ее от других фонем того же языка. Благодаря этому все фонемы каждого данного языка образуют единую систему противоположностей, где каждый член определяется серией различных противоположений как отдельных фонем, так и их групп.

Более углубленное изложение всего этого вопроса, который подан здесь в максимально упрощенном виде, будет дано мною в курсе «Общей фонетики», а пока могу сослаться на мое старое исследование «Русские гласные в качественном и количественном отношении» [СПб., 1912], где уже есть все основное, но где объективная суть вещей осложнена изложением психологической стороны дела.

Д. О транскрипции

§ 23. Мы уже видели в § 4, что звуков речи бывает больше, чем букв: так, по-английски важно, например, различать два разных *э*, а по-французски — два разных *о*. Поэтому, чтобы понимать письменные рассуждения о звуках речи, приходится увеличить число букв с таким расчетом, чтобы для каждого особого звука была своя особая буква. Для этого и составлялись неоднократно на латинской основе специальные, так называемые фонетические алфавиты. Самый распространенный из них — это алфавит Международной фонетической ассоциации ⁷ (см. соответствующую таблицу в «Приложения» II*). В Ленинградской лаборатории экспериментальной фонетики мы придерживаемся в общем этого алфавита, но с небольшими изменениями и добавлениями.

§ 24. Фонетический алфавит нужен, однако, не только для того, чтобы изображать на письме звуки, которые в обыкновенных алфавитах не имеют соответствующих букв, но и для того, чтобы обнаружить, так сказать, истинную звуковую природу языка, скрываемую часто разными национальными

⁷ Фонетический алфавит может быть построен и на основе русского алфавита: такова старая академическая транскрипция для так называемых восточных языков, таков алфавит, употребляемый проф. В. А. Богородицким, таков и алфавит, употребляемый в словаре К. А. Ганшиной. Но я нахожу это неудобным. Во-первых, это изолирует нас от обширной специальной и учебной литературы, употребляющей фонетические алфавиты на латинской основе; во-вторых, это невыгодно в педагогическом отношении: русские буквы естественно вызывают русское произношение, между тем как с ним-то мы и должны прежде всего бороться.

орфографиями и специальными алфавитными правилами разных языков. Мы видели уже в § 2, что многие русские слова произносятся не так, как пишутся. Прибавим к этому несколько примеров из английского и французского языков: англ. *night* произносится *найт*, англ. *cheese* произносится *чиз*, франц. *est* произносится *э*, франц. *mauvais* произносится *мовэ* и т. д.

§ 25. Запись речи посредством фонетического алфавита на основе строго проводимого звукового принципа называется транскрипцией. При этом если мы будем записывать только фонемы (см. выше § 16), то получим фонологическую, или фонематическую, транскрипцию. Если же будем записывать и все оттенки фонем, то получим фонетическую транскрипцию. Фонологическую транскрипцию можно сделать и при посредстве национального алфавита, если все фонемы находят в нем себе свой особый способ выражения.

СУБЪЕКТИВНЫЙ И ОБЪЕКТИВНЫЙ МЕТОД В ФОНЕТИКЕ

I. Значение и роль каждого из двух методов исследования, употребляемых в фонетике, можно себе хорошо уяснить из рассмотрения самого понятия фонетики как науки и ее отношения к смежным наукам. Ходячее определение фонетики говорит, что это есть **физиология звуков** человеческой речи. Так или приблизительно так еще и до сих пор называются некоторые книги, трактующие этот предмет. И — что любопытно — один из классических учебников фонетики носил в своем 1-м издании название «Grundzüge der Lautphysiologie». Однако в последующих изданиях автор учебника, Сиверс, счел нужным переменить заглавие и назвал его «Grundzüge der Phonetik». Очевидно, сознательно или бессознательно здесь действовало желание отмежеваться от физиологии, куда, казалось бы, с несомненностью относится исследование всяких функций человеческого организма, а следовательно и речи. С другой стороны, не менее очевидной является связь фонетики с акустикой, которая ведь занимается исследованием звуков, а мы привыкли слышать, что «речь человеческая состоит из звуков».

И тем не менее фонетика имеет претензию на самостоятельное существование. Не преувеличены ли эти претензии? Жизнь уже доказала, что нет: обширная литература, существование специальных преподавателей в высших учебных заведениях, наконец — и это самое главное — практическое применение в разных сферах вполне оправдывают их, и здесь мне остается лишь попытаться обосновать эти претензии теоретически.

Остановимся для этого несколько на вопросе о фонетических единицах. Для непосредственного чутья он не представляет особенных трудностей: дети, прежде чем учиться читать, упражняются в делении слов на простейшие единицы, которые в просторечии, благодаря смешению понятий, называются буквами, а в науке могли бы называться фонемами. Так, например, сочетание *ata* разлагается нашим чутьем на *a*, *t*, *a*, так как мы отличаем *ata* от *uta*, *ata* от *ada*, *ata* от *atu* и т. д. Однако если взглянуть на звукосочетание *ata* с акустической точки зрения, то дело представится совершенно в ином виде: так как акустика рассматривает звуки как движение частиц воздуха, то звуки сочетания *ata* могут быть выражены графически линией, которая будет состоять из двух отрезков волнообразной кривой, сходных, хотя и не вполне тождественных друг с другом, соединенных некоторой прямой, обозначающей отсутствие звука, так что непредубежденный человек сможет найти здесь всего лишь два элемента, отделенных друг от друга некоторым промежуточком времени, а не три, как это мы делаем в фонетике и вообще в языке.

Другим не менее ярким случаем, показывающим, что фонетические единицы не всегда совпадают с единицами акустическими и физиологическими, является старинный спор о так называемых «аффрикатах», есть ли это простые согласные или они состоят из двух звуков, например: *c(ц)* из *t+s(m+c)*, *č(ч)* из *t+š(m+ш)* и т. д. Самая возможность такого спора указывает на существование двух точек зрения. И действительно, физиологически присутствие двух элементов в аффрикатах несомненно, однако с языковой, фонетической точки зрения говорящих на данном языке людей *c(ц)*, *č(ч)* и т. д. также несомненно являются простыми согласными, так как спирантный элемент в них не может быть протянут (подробнее об этом см. мою статью в М. S. L., XV, стр. 237).

Таким образом, понятие фонетической единицы не всегда покрывает понятия единиц акустической или физиологической, из чего следует, что фонетические единицы не могут быть отнесены ни к физиологическим, ни к физическим величинам, а являются результатом нашей психической деятельности, иначе говоря: раз мы говорим об *a*, *e*, *i*, *p*, *t* и т. д., мы выходим из мира физического и физиологического и входим в область психики, где и происходит, так сказать, синтез данных акустических и физиологических и приспособление их для целей языкового общения. Этим определяется и самостоятельное положение фонетики как науки: она занимается исследованием звуковых представлений речи в первую голову, а затем уже и тех акустических и физиологических процессов, под влиянием которых эти представления возникают.

Из этого определения вытекает сама собой и роль как субъективного, так и объективного метода в фонетике. Строго говоря, единственным фонетическим методом является метод субъективный, так как мы всегда должны обращаться к сознанию говорящего на данном языке индивида, раз мы желаем узнать, какие фонетические различия он употребляет для целей языкового общения, и другого источника, кроме его сознания, у нас вовсе не имеется, — поэтому-то для лингвиста так драгоценны все хотя бы самые наивные заявления и наблюдения туземцев — они в большинстве случаев, при надлежащей их интерпретации, имеют гораздо больше цены, чем наблюдения ученых исследователей, принадлежащих к другой языковой группе.

Но, с другой стороны, то, что не находится непосредственно в сфере сознания, то, что происходит в мире физиологическом и физическом, имеет тоже громадный интерес для лингвиста, так как может стать со временем достоянием языкового мышления, являясь, таким образом, в настоящее время зародышем будущего. И это объективно существующее должно быть исследуемо объективным методом, т. е. наблюдаемо посредством разных регистрирующих приборов, а где можно, следует применять и экспериментирование. Таково принципиальное разграничение областей двух фонетических методов.

II. Переходя к более частному их рассмотрению, нельзя достаточно сильно подчеркнуть важность субъективного метода в лингвистическом отношении, так как отличие мыслимого от существующего лишь в исполнении является необходимой основой для понимания языковых явлений.

Для иллюстрации этого положения можно привести хотя бы наиболее близко нам, русским, стоящее различие двух оттенков *e* в *бел* и *бель*. Различие это акустически так сильно действует на слух, например, французов, что они различают здесь два звука (*è* и *é*), но для сознания нормального русского человека это различие, являясь функцией последующего согласного и не будучи ассоциировано непосредственно с каким-либо оттенком значения, не существует вовсе. Что это — так, в этом я неоднократно убеждался на моих слушателях и слушательницах, многие из которых долго не могли услышать это различие и должны были верить мне на слово. А что здесь графика не при чем, в этом не может быть сомнения, если сопоставить русское произношение с итальянским, где различается, например, *pesca* 'рыбная ловля' и *pesca* 'персик', несмотря на то, что различие между обоими *e* гораздо меньше русского, так что обыкновенное русское ухо его не слышит даже при внимательном вслушивании. Другой пример: мы все слышим в английском *place* 'место', *say* 'говорит', *no* 'нет', *know* 'знать' дифтонги; однако для того, чтобы убедить в этом

англичан, нужно было перевертывать валик фонографа, причем слышалось нечто вроде *sielp, non*. Нечто аналогичное встречается также и в лужицких говорах. Еще один пример из лингвистической литературы последнего времени: проф. А. И. Томсон, обладающий удивительным слухом, который, превращая его ухо в тончайший регистрирующий аппарат, позволяет ему делать тонкие и весьма ценные наблюдения, говорит нам, отрицаясь, так сказать, от собственного «я», что наше *y(ы)* — дифтонг. И он прав: *y* — дифтонг, но настолько же, насколько и *a* в слове *ад*,¹ которое, как показывают фоноаутографические записи, значительно изменяется по качеству, особенно к концу. И тем не менее и *a* и *y(ы)* для нашего сознания не дифтонги.

Примеров вообще можно привести бесчисленное множество, но и приведенного достаточно, чтобы предостеречь людей, занимающихся записыванием фонетических текстов, от тех ошибок, в которые они впадают, пренебрегая основными требованиями субъективного метода, являющегося лингвистическим по преимуществу: регистрировать факты сознания говорящего на данном языке человека. При несоблюдении этого требования их записи лишены самого главного — души. Это *memento* в равной мере относится как к записывающим посредством разных регистрирующих приборов, так и к пользующимся в качестве такового собственным ухом. Разница между первыми и вторыми сводится к тому, что первые более или менее верно воспроизводят объективную сторону человеческой речи, а вторые и эту сторону искажают, преломляя слышанное в призме собственного сознания, так как ведь даже изошренное ухо слышит не то, что есть, а то, что оно привыкло слышать, применительно к ассоциациям собственного мышления. Все это ведет к такому «импрессионизму», по меткому выражению одного лингвиста, в записях, что трудно зачастую на них основывать какие-либо заключения. Это уже давно начинает замечаться исследователями, хотя мало кто высказывается вполне определенно по этому поводу и, насколько мне известно, один Пасси со всей определенностью выставляет требование, чтобы в фонетические транскрипции вносилось лишь то, что различает «*instinct linguistique*» данной языковой группы.

III. Перейдем теперь к видоизменениям субъективного метода. Дело в том, что мы можем, напрягая внимание, увеличивать поле нашего сознания, — или, вернее, вводить в него те объекты, которые нормально в нем не существуют, — и таким образом мы можем, изошряя наш слух и мускульное чувство, наблюдать то, что нормально существует лишь под порогом

¹ Готов допустить, что в известных положениях и у известных индивидов даже больше.

нашего сознания, мы можем переводить объективно существующее в область сознаваемого, субъективно существующего. Так, например, путем небольшого упражнения мы можем довести себя до того, что будем слышать разницу между двумя *e* в *бел* и *бель* и, что гораздо труднее, почувствовать разницу в их артикуляции. И таким путем, путем осознания нормально несознаваемого в собственной речи, и были сделаны главнейшие завоевания в области фонетики. Таким образом, субъективный метод с успехом вторгается в ту область, которая принципиально отведена объективному методу. Но, во-первых, не все способны с успехом применять этот метод, и во всяком случае для этого нужна многолетняя специальная тренировка, так что глубоко заблуждаются те, которые полагают, что достаточно прочесть пару учебников, чтобы стать фонетиком и с успехом наблюдать разные говоры; а во-вторых, все-таки далеко не все объективно существующее доступно исследованию этим методом. Не нужно быть, конечно, большим мудрецом, чтобы открыть разницу между двумя *e* в словах *бел* и *бель*, между ударенным и неударенным гласным в слове *папа*, но уже труднее определить разницу между двумя *n* в этом последнем слове, еще труднее раскрыть тонкие различия в длительности звуков в разных положениях, например *a* в *ба́са*, *ба́ка*, или изменения в координации разных элементов в зависимости от ударения, например, в *па́па* и *попа́*. Говоря вообще, мало доступно, хотя бы и специалисту-фонетику, наблюдение внутреннего механизма и фонетических последствий некоторых явлений, которые нам непосредственно даны в своих результатах; например, механизм ударения, слога-деления и т. д. — вещи, до сих пор остающиеся спорными в науке. Все это область, где находит и должен находить себе применение объективный метод исследования.

Одним из разительных примеров, могущих иллюстрировать значение объективного метода, могут послужить два экспериментально-фонетических исследования: [L.] R o u d e t. [De la Dépense d'air dans la parole [et de ses conséquences phonétiques (La parole, 1900, стр. 202)]; E. A. M e y e r. Englische Lautdauer. [Uppsala—Leipzig,] 1903. Первый из них констатировал, что при прочих равных условиях при производстве более узких гласных, например *i*, *u*, трата воздуха больше, чем при производстве более широких, например *a*. Э. Мейер констатировал, что в английском при прочих равных условиях более узкие гласные, например *i*, короче более широких, например *a*. Сопоставление этих двух фактов, вскрытых лишь с помощью объективного метода, бросает сразу яркий свет на целую массу явлений: оказывается, что в языке важна не длительность фонетических элементов, а количество расходуемой на них энер-

гий, что объясняет нам, с одной стороны, сокращение узких гласных, могущее вести в некоторых случаях к их полному исчезновению вне всякой связи с ударением, а с другой стороны, замену различия по количеству различием по качеству (ср. так называемый переход *e* в *i*). Подробный пересмотр всех относящихся сюда фактов дает Мейе в своей статье в *M. S. L.*, XV, стр. 265.

IV. Рассмотрим еще и другое видоизменение субъективного метода. Ведь можно и не ограничиваться собственной персоной для фонетических наблюдений, а распространить его и на других. При этом поступают так: ² стараются слухом уловить данное произношение и воспроизвести его удовлетворительно для туземца (обыкновенно прибавляют теперь «для компетентного туземца», так как, не говоря уже о собственном контроле, контроль фонетически необразованного туземца самими сторонниками подобного метода признается недостаточным). Усвоив себе таким образом чужое произношение, с ним поступают, как со своим собственным, так что все сказанное в предыдущем параграфе относится и сюда. Нужно только прибавить, что усвоение чужого произношения представляет такие подводные камни в виду субъективности нашего уха, слышащего то, к чему привыкло и чего желает, что к такому методу нужно относиться с крайней осторожностью и во всяком случае всегда стараться проверять его данные данными объективного метода.

Чтобы иллюстрировать, к каким крупным ошибкам может привести этот метод даже таких первоклассных фонетиков, как Суит, приведу следующие два примера. Как известно, с легкой руки Суита все западные фонетики говорят о «гutturальном», заднеязычном *t*, приводя в качестве примера русское *л*. В превосходной статье, оставшейся, к сожалению, незамеченной на Западе, С. К. Булич * (*РФВ*, [1890,] XXIII, стр. 81) доказал всю несостоятельность подобного утверждения. Я располагаю экспериментальными данными из русского, польского, лужицкого и моравского диалектов, которые объективно подтверждают слова С. К. Булича и красноречиво говорят, что должны были делать западные фонетики, для того чтобы избежать грубой ошибки. Другой пример: Суит в прежние времена отождествлял русское *у(ы)* с кимрским *и*, в последнем же издании своей таблицы он их до некоторой степени различает, говоря, что кимрская артикуляция несколько более впереди, чем русская. Я имел случай изучать кимрское произношение и мог прежде всего констатировать, что кимрское *и* мало похоже на русское *ы* на слух. Когда же я сравнил

² См.: O. Jespersen. *Phonetische Grundfragen*. [Leipzig u. Berlin,] 1906, § 141, S. 140.

отпечатки обеих артикуляций на искусственном нёбе, то оказалось, что русское *y*(*ы*) есть действительно high-mixed-vowel, как говорит Суит, кимрское же *и* есть одновременное соединение front-, mixed- и back-артикуляций.

Эти два примера должны, мне кажется, навести нас на некоторые выводы о значении фонетических наблюдений над ч у ж и м языком, не подкреплённых объективными данными и сделанных не такими выдающимися фонетиками, как Суит, не говоря уже о записях, сделанных без указанных выше предосторожностей, на основании лишь одних слуховых впечатлений, когда высшим критерием служит «так слышится».

То же в ещё большей мере относится и к записям с фонографа, хотя, конечно, я отнюдь не отрицаю того значения, которое имеют и могут иметь фонограф и граммофон в фонетике. Но дело в том, что как раз фонограф является лучшим доказательством субъективности нашего слуха: оказывается, что мы дополняем сами, и конечно соответственно собственным языковым привычкам, слышимое в фонографе, так что нам кажется великолепно записанным то, что мы узнаем и понимаем; но если записать бессмысленные слова, то окажется, что фонограф вовсе не такой безукоризненный инструмент и что мы зачастую не можем различать им записанное (особенно в области согласных). Кроме того, фонограф запечатлевает одно случайное произношение, а было бы грубым заблуждением думать, что наша речь всегда одинакова: произношение слов, а тем более фраз, допускает громадные колебания, и фонетику необходимо прежде всего устанавливать типическое произношение, что возможно только в непосредственном общении с людьми. Наконец, невозможность взглянуть на губы, а при произношении отдельных звуков — и на язык говорящего ещё больше уменьшает ценность подобного метода. Фонографические записи могут лишь являться хорошим подспорьем для лиц, изучавших данный говор на месте, да, кроме того, с успехом служить педагогическим целям при наличности учителя для постановки отдельных звуков и контроля.

О РАЗНЫХ СТИЛЯХ ПРОИЗНОШЕНИЯ И ОБ ИДЕАЛЬНОМ ФОНЕТИЧЕСКОМ СОСТАВЕ СЛОВ

Вопрос о разных стилях произношения не является новым в фонетике: П. Пасси в своей классической книжечке «*Les sons du français*», вышедшей недавно 7-м изданием (первое издание в 1887 г.), различает следующие стили: *prononciation familière rapide*, *prononciation familière ralentie*, *prononciation*

soignée, prononciation très soignée. Два примера из русского языка помогут понять, в чем тут дело: *здравствуйте* и *здрaсте*; *человек* и *чек*, *говорит* и *грит* принадлежат, очевидно, разным стилям произношения (в немецкой лингвистике эти дублиеты известны под именем *Lento-* и *Allegroformen*). Внимательное наблюдение показывает, что это лишь крайние случаи и что на самом деле существует бесконечное множество переходных нюансов и что полные формы, в сущности, в обычной речи никогда не употребляются.

Если это так, то, отвлекаясь от письма, что нам, грамотным, очень трудно сделать, но что мы обязаны сделать в науке, мы становимся лицом к лицу с весьма трудным, но и весьма важным вопросом: что же считать фонетическим словом — *говорит* или *грит*? Звуковая сторона слова, которая казалась всегда такой ясной, непреложной, которая представлялась определенным ядром более или менее расплывчатых семасиологических представлений, оказывается, таким образом, сама не менее расплывчатой и неопределенной. Пока люди находились еще под очарованием письма, отличая звуки от букв больше в теории, то можно было бы еще толковать о том, что неударенное *o* произносится как *a* или как звук средний между *o* и *a* и т. п. Но когда окончательно порвали с буквами и стали наблюдать объективно существующее в связной речи разнообразие произношений, то пришлось задуматься о том, как относятся друг к другу объективно встречающиеся в разных условиях формы: [gʌvʌr'it, gəvʌr'it, gəvr'it, gər'it, gr'it, gr'it] и т. д.¹

Некоторые лингвисты, по-видимому, склонны преклониться перед фактом и не находят возможным входить в психологический анализ взаимоотношения всех этих форм; другие, видя практическую невозможность оперировать с таким многообразием, останавливаются на той или другой форме, более или менее произвольно выхваченной из этого многообразия (например, в нашем случае на форме [gəvʌr'it]). П. Пасси пытается определить то, что он считает за норму, как *prononciation familière galentie*. Теоретические основания его при этом неясны; может быть, они неясны и ему самому (ср.: P. P a s s y. *Petite phonétique comparée, [des principales langues européennes. Leipzig—Berlin, 1922,]* стр. 4, § 9 с примечанием). Поэтому и значение термина, составленного из безусловно относительных выражений, остается не совсем ясным. Само собой разумеется, что и определение по метроному темпа речи, если бы такое и было возможно, ни к чему не привело бы, так как дело, очевидно, не только в темпе речи.

¹ Все встречающиеся вариации далеко не исчерпываются указанными.

В чем же дело и каковы могут быть теоретические основания для выхода из тупика? Мне кажется, весь вопрос легко разрешается, если мы перенесем его на психологическую почву. В самом деле, для нашего сознания в большинстве случаев ясно, что мы считаем необходимой фонетической принадлежностью данного слова, и это проявляется, когда мы, по тем или другим соображениям, произносим ясно, отчетливо, отчеканивая каждый слог, — в нашем случае, например, [ga-va-r'it].² В таких условиях мы освобождаем наше произношение по крайней мере от действия наиболее деструктивных факторов — от влияния ударения, соседства и инертности органов произношения. Ведь как раз эти факторы заставляют нас, п о м и м о н а ш е й в о л и, произносить, в зависимости от тех или других условий, все те варианты слова [ga-va-r'it], которые были указаны выше и которые являются не чем иным, как зародышами будущих языковых состояний. Все эти варианты нами нормально не сознаются как таковые, вследствие свойства психологического процесса, при этом протекающего и известного под именем а с с и м и л я ц и и. Но при передаче языка от поколения к поколению некоторые из них могут стать достоянием сознания и даже вытеснить старую идеальную форму. Поэтому и правильно говорится, что язык изменяется при передаче его от поколения к поколению — изменяется при этом его идеальная сознательная форма. Самые же, однако, изменения происходят в индивидууме и обусловлены психологически и физиологически.

Может показаться, что случаев, когда проявляется идеальный фонетический состав слов, очень мало. Это неверно. Мы всегда так произносим, когда употребляем редкое, для собеседника малоизвестное слово, когда говорим из другой комнаты, когда говорим занятому, рассеянному, тугоухому и т. п., когда поправляем детей, когда хотим привлечь внимание на то или другое слово или даже часть его (когда для понимания смысла фразы важен тот или другой морфологический элемент), когда тянем слова в недоумении или удивлении, когда говорим нараспев или попросту поем и т. д., и т. д.

Выше я сказал, что для нашего сознания в б о л ь ш и н с т в е случаев ясен идеальный фонетический состав слов — значит, н е в с е г д а. В самом деле, представим себе, что ребенок никогда не слышал отчетливого произношения слова *говорит*, а слышал лишь формы [gər'it] и [gr'it]; он легко может себе представить на основании опыта со словом [məçit] *мычит*, что идеальная форма слова будет [гыг'it], и если никто

² Для некоторых русских диалектов возможно, по-видимому, и другое произношение.

не поправит его соответственного отчетливого произношения, то он так и останется с *гырит* вместо *говорит*; но если у него будет смутное воспоминание о [gəvɫr'it], то сознание может колебаться, могут возникнуть две параллельные формы и т. п. Так, например, по-моему, у нас обе формы — и *здравствуйте* и *здрасте*³ — существуют в сознании, тогда как того же нельзя сказать про *говорит* и *грит*, хотя это последнее зафиксировано даже и в литературе: *грит*, по крайней мере мною, чувствуется как диалектизм.

Так как коллективный язык является в известном отношении научной фикцией, а индивидуальные сознания представляют много неясного, переходного, то, конечно, и вопрос об идеальном фонетическом составе всех слов данного языка не может быть всегда решен с полным успехом и во всех деталях, так как это было бы насилием над фактами.⁴ Тем не менее для меня совершенно ясно, что этот вопрос неминуемо должен быть выдвинут в науке в связи с эмансипацией от письменного языка и обращением к живой речи.

Тут надо, впрочем, заметить, что всякая письменность в общем всегда стремится в той или другой мере запечатлеть идеальный фонетический состав слов и только, в силу своей инертности не поспевая за изменениями языка, отражает в большинстве случаев прошлые эпохи языка. Поэтому-то языкознание и могло сделать такие большие успехи, несмотря на то, что исходило, а зачастую и до сих пор исходит из букв. К сожалению, этимологизирование грамотеев всех времен и многочисленные заимствования (хотя бы в виде особых орфографических манер) сильно затрудняют пользование письменным языком для восстановления идеального фонетического состава слов и в прошлом. Дело усложняется еще и тем, что всякий исторически сложившийся письменный язык по большей части не отражает один какой-либо строго определенный в прошлом момент: элементы его восходят часто к различным эпохам. В этом отношении древнецерковнославянский язык (по крайней мере в евангельском тексте, где благодаря нескольким древним спискам можно с большей или меньшей вероятностью восстанавливать оригинал) является единичным и драгоценнейшим для лингвиста исключением.

От обсуждения научного значения поднятого здесь вопроса позволю себе перейти теперь к практическому и коснуться

³ Здесь, по-моему, только и уместны названия *Lento-* и *Allegroformen*.

⁴ То же справедливо и по отношению к любой области языка, поскольку мы отрываемся от буквы, книги вообще, и переносим наше наблюдение в первоисточник языка — в душу человека. К сожалению, это всегда оказывается бесконечно трудной задачей.

тех выводов из высказанных выше соображений, которые должны были бы, по-моему, быть приняты во внимание в деле обучения иностранным языкам.

По моим наблюдениям, учащиеся в большинстве случаев усваивают лишь те фонетические явления, которые выступают ясно в связной речи, а идеальный фонетический состав слов лишь там, где он не противоречит фонетике родного языка. Между тем зачастую этого мало. Так, различие долготы и краткости гласных несвойственно и даже прямо-таки непонятно нам, русским, тогда как в немецком это факт капитальной важности. Между тем в связной речи это различие зачастую несколько скрадывается (особенно в словах, не носящих логического ударения во фразе), а для русского уха и вовсе исчезает. Поэтому русские только тогда имеют случай наблюдать немецкую долготу, когда учитель произносит то или другое слово достаточно медленно и отчетливо. Для детей, впервые получающих какие-либо языковые впечатления (т. е., например, для немецких детей), этого оказывается достаточно; для лиц же, привыкших считать длительность гласных делом совершенно неважным, этого чересчур мало. В результате ученики из русских даже при затрате большого труда как с их стороны, так и со стороны преподавателя, хотя бы даже и знающего фонетику теоретически, делают неприятные ошибки в количестве; им не сумели внушить идеального фонетического состава немецких слов.

Другой пример: во французском различается *è* (*ouvert*) и *é* (*fermé*), но различие это ясно слышно только под ударением. Между тем во фразе сплошь и рядом это ударение отсутствует, и различие скрадывается; например: *c'était hier* произносится обыкновенно [sètè'jɛ:r] (где *è* — среднее ненапряженное *e*), хотя в отчетливом (по слогам) произношении фраза и будет звучать [se-te-'jɛ:r].

Таким образом, учащиеся сравнительно редко слышат *è* (*ouvert*), а так как оно несвойственно русской речи, то они его и вовсе не усваивают как самостоятельный звук. Поэтому я еще никогда не слыхал русских, даже хорошо в общем говорящих по-французски, которые бы отличали, например, *futur* от *conditionnel* в 1-х лицах [zəlirɛ] и [zəlirɛ].

Вообще учащимся приходится чаще всего слышать, употребляя выражения Пасси, *prononciation familière rapide*, сами же они говорят, особенно вначале, таким темпом, которому приличествовало бы чуть ли не *prononciation très soignée*, которого они, однако, не знают, так как его мало слыхали. Благодаря этому получается самое ужасное смешение стилей.

Для устранения этого недостатка необходимо, чтобы учащиеся заставляли изучать больше всего и прежде всего идеаль-

ный фонетический состав слов (prononciation familière придет отчасти само собой) и чтобы учащиеся, выяснив основные отличия фонетики языка изучаемого от фонетики своего родного языка, обращали на эти отличия особое внимание, а главное, чтобы сами выговаривали соответственные слова особенно тщательно. При этом не надо бояться — и это я не могу в достаточной мере подчеркнуть — утрировать произношение. Надо помнить, что ухо учащихся глухо к иноязычным «тонкостям». И только особенно подчеркивая эти тонкости, можно привлечь к ним внимание учащихся и вызвать подражание.⁵

Между тем увлечение живым языком, которое я вполне разделяю, привело к тому, что в учебниках, помещающих фонетические транскрипции, даются транскрипции более или менее связной речи,⁶ отчего получается (при чтении их учащимися медленным темпом, с остановками после каждого слова, а то и внутри слова) нечто такое, что никак не может быть одобрено с точки зрения изучаемого языка. Употребление говорящих машин лишь увеличило все эти неудобства.

Дело, однако, можно легко поправить, приняв за правило печатать всегда две транскрипции: одну, обнаруживающую идеальный фонетический состав слов, и другую — транскрипцию связной речи.⁷ То же должно применяться и по отношению к текстам, наговариваемым в говорящие машины: всякий текст должен быть записан в двух стилях и для каждого сделана фонетическая транскрипция (употребление машин без транскрипций, по-моему, сильно уменьшает их пользу).

Я собирался закончить статью фонетическими транскрипциями в обоих стилях на главнейших европейских языках, но в типографии не оказалось соответствующих знаков. Образчик такой двойной транскрипции для русского дан мною в «Court exposé de la prononciation russe. Publié par l'Association phonétique internationale» (1911). Нечто аналогичное разным стилям Пасси можно найти для английского у Джоунза (D. J o n e s. The Pronunciation of English. Cambridge, 1909). Ближе всего (хотя и не вполне) отвечают моему пониманию дела французские, немецкие и английские транскрипции (двойные), сообщенные у Джоунза (D. J o n e s. Intonation Curves. Leipzig and Berlin, 1909).

⁵ Поэтому-то я и считаю красивое произношение, расплывающееся в полутонах и полунюансах, с педагогической точки зрения безусловно вредным, а идеалом считаю то неприятное шультейстерское произношение, которое развивается от привычки диктовать.

⁶ Ср., например, классическую книгу Суита «Elementarbuch des gesprochenen Englisch» [Oxford—Leipzig, 1904].

⁷ Так, например, сделано в начале фонетической хрестоматии (для французского): [J.] P a s s y et [A.] R a m b e a u. [Chrestomathie française. Leipzig et Berlin, 1908].

В последнее время Николай Яковлевич Марр ввел в обиход понятие «диффузного» звука, заимствовав его, очевидно, из физиологии центральной нервной системы, где говорится о диффузном центральном раздражении, т. е. недостаточно локализованном и дифференцированном, распространяющемся на другие участки нервной системы. В этом смысле можно, очевидно, говорить о диффузном раздражении того или другого двигательного аппарата вообще — и далее, по-видимому, о диффузной речевой артикуляции, т. е. такой артикуляции, в которой в силу недостаточной дифференцированности раздражения с абсолютной необходимостью участвуют ненужные с точки зрения ожидаемого полезного действия группы мускулов. Однако остается совершенно неясным, в применении к речи, какое действие в каждом отдельном случае следует считать бесполезным. Совершенно очевидно, что в произношении, например, русского *п* мягкого (*пъ*) участвует, кроме губной мускулатуры, обуславливающей самый шум этого согласного, также и мускулатура языка, поднимающегося в своей средней части к твердому нёбу и обуславливающего этим его «мягкий» (высокий) тембр. Однако это действие никак нельзя считать бесполезным, а еще менее неотделимым, так как именно благодаря его наличию или отсутствию мы различаем слово *цепь* от слова *цеп*.¹

Итак, сложность артикуляции, по-видимому, не дает еще никакого права называть ее диффузной, а поэтому возникает совершенно законный вопрос, какие же именно реальные звуки следует называть «диффузными», а если таких реальных примеров нельзя указать, то нужно ли самое понятие «диффузного звука». Я полагаю все же, что оно отвечает чему-то реальному, ибо необходимость этого понятия всегда ощущалась. Только раньше говорилось о «нечленораздельных звуках», — причем, однако, что такое «нечленораздельные звуки», было неясно и в прежние времена. Бодуэн пытался определить «членораздельность» как строгую количественную соотносительность членов звукового ряда, считая, очевидно, отсутствие такой соотносительности за «нечленораздельность». В этом, конечно, есть доля истины, которая, однако, далеко не разрешает вопроса, и мне кажется, что он получит большую определенность, если мы рассмотрим некоторые словечки русского языка, зачисляемые в ту недифференцированную кучу слов, которая называется

¹ Не может быть речи о том, что артикуляция *п* мягкого была диффузной в прошлом, так как категория мягких так или иначе является в русском языке вторичной.

«междометиями», как, например *тфу*, *тьфу*, *фу*, *тпру*, *брр* и т. п., и сравним их с теми внеязыковыми звуками, от которых они, очевидно, произошли.

Прежде всего совершенно очевидно, что мы имеем здесь дело с двумя рядами совершенно разных произношений: «слова» произносятся более или менее так, как пишутся (за исключением, может быть, слова *тпру*, о котором ниже); произношением же соответственных внеязыковых звуков мы сейчас займемся.

Жест, звуковое следствие которого соответствует слову *тфу*, употребляется для удаления изо рта постороннего тела. Например, швея так сплевывает откушенную ниточку, грудной ребенок — створожившееся молоко, и т. п. Так как удаляемый предмет находится на языке, то кончик языка смыкается с верхней губой, затем за затвором накапливается воздух, и посторонний предмет в момент взрыва выносится усиленной струей воздуха. При этом получается сначала своего рода губное *t*, а затем нечто вроде губно-губного *f*. Все это, конечно, имеет некоторый тембр, который ввиду небольшого губного отверстия, необходимого для получения сосредоточенной струи воздуха, может отдаленно напоминать гласный *и* (русское *у*). Вот этот-то «диффузный», «нечленораздельный» звуковой комплекс и транспонируется в русские языковые членораздельные *тфу*, *тьфу* (и дальше *фу*), немецкое *pfui* и т. п. Этот внеязыковой комплекс неразложим, ибо он ничему не противопоставляется, не входит ни в какую звуковую систему, — в этом его «нечленораздельность», или «диффузность», в случае его лингвистического употребления обществом, не имеющим выработанной звуковой системы, а употребляющим в виде знаков несколько таких неразложимых комплексов: отдельные части не имеют повода выделяться, а потому и не выделяются. Но, входя в уже существующую языковую систему, этот комплекс к ней приспособляется и расчленяется, противопоставляясь другим словам, частично схожим, частично различным с ним по звукам.

Не могу указать происхождение внеязыкового звукового жеста, отвечающего русскому *тпру*; ясно только, что он произносится не так, как соответственное «слово». Начинается он с переднеязычного глухого затвора, одновременно с губным. Затворы эти необходимы, очевидно, для накопления воздуха (раскатистые звуки требуют много воздуха)² и без взрыва разрешаются губным звонким *г*. Все это, конечно, получает

² Впрочем, я полагаю, что смычка может иметь здесь и иное происхождение: она в качестве остановки, может быть, является в данном случае инстинктивным выразительным движением.

ту или другую тембровую окраску, которая, естественно, может иметь отдаленно губной характер. И этот действительно неразложимый «нечленораздельный», «диффузный» комплекс транспонируется в русское языковое *тпру*, в котором, однако, *г* бывает и губное и языковое, очевидно в зависимости от того, чем является для говорящего в данную минуту это звукосочетание — «словом» или «профессиональным жестом» (понятно, что это в свою очередь находится в связи с принадлежностью говорящего к той или иной профессиональной группировке).

Наконец, слову *брр* отвечает жест общего сотрясения всего организма от холода или от отвращения, который ведет при достаточной энергичности эффекта к произнесению звонкого губного *г*, являющегося несоизмеримым с нашей языковой системой и транспонирующегося в два звука «слова».

Все эти примеры — а их можно подобрать много — показывают, что «нечленораздельность» звуков или, смею думать, то, что Николай Яковлевич Марр называет их «диффузностью», состоит в отсутствии их соотнесенности, но не в потоке речи, как думал Бодуэн, а друг к другу в звуковой системе данного языка. Совершенно естественно думать, что на заре человеческой речи несколько внеязыковых звуковых жестов человека, начинавших употребляться с речевыми намерениями, были сложными артикуляциями (комплексами артикуляций — одновременных и последовательных) и при своей малочисленности не образовывали системы по своим сходствам и различиям друг с другом, а потому, не разлагаясь на звуковые элементы, противопоставались друг другу целиком и являлись, таким образом, «словозвуками», если можно так выразиться. Это были «диффузные» или «нечленораздельные» звуки, которые были диффузными с биологической точки зрения только в том смысле, что говорящие не умели их дифференцировать, не имея к тому повода.

Я полагаю, что фонематический анализ китайской звуковой системы, сделанный не с точки зрения фонетики европейских языков, а с точки зрения китайского языка, в котором «слова» никогда не делятся морфологическими границами на отдельные звуки, обнаружит для нас некоторую³ «диффузность» китайских «словозвуков».

³ Говорю «некоторую», так как наличие понятия рифм в китайском языке свидетельствует все же о каком-то двучленном делении китайских «словозвуков».

[1. Фонетика как лингвистическая наука]

До сих пор мы имели в виду язык как систему символов, говорили о филологии, которая изучает этот язык, старается провести отдельные ниточки между элементами смысла и элементами символов — будут ли это интонации, паузы и т. д. Это достояние филологии. Есть другая наука межеумочная; она изучает не символы в их значимости, не ниточки, которые соединяют элементы смысловые с элементами символов, а, перерезав эти ниточки, символы в отвлечении. Так как наши символы по преимуществу звуковые, то она и изучает звуковые символы. Причем, конечно, тут можно изучать данную систему символов, а можно ставить вопрос шире, вообще о возможных у человека символах, т. е. о возможности разнообразить символы, иначе говоря — о том, как человек может разнообразить свои звуки, которые он произносит, какими способами это достигается. Это изучение возможностей звукового разнообразия и есть задача фонетики, науки, которая известна под названием общей фонетики в отличие от фонетики частного языка.

Поскольку дело идет о звуках, то совершенно естественно, что этим надлежит ведать акустике. С другой стороны, звуки эти производятся человеческим аппаратом: легкими, гортанью, языком и т. д. Следовательно, этим занимается физиология. Управляет этим аппаратом центральная нервная система. Значит, это дело физиологии центральной нервной системы. Потом звуки эти мы слышим, управляют этим органы воспринимающие, органы слуха. Итак, мы имеем дело с физиологией и акустикой.

Затем нас интересуют звуки главным образом постольку, поскольку они что-то значат. Здесь вступает в свои права фонетика. Значит, она наука межеумочная: не то физиология, не то акустика, не то филология. В учебнике физики вы найдете отдел, посвященный речи, гласным, теории гласных и т. д.; в физиологии вы найдете отдел обширный о речи; кроме того, в учебниках филологии вы найдете самую элементарную таблицу согласных, где говорится о язычных звуках, гортанных и т. д. Таким образом, во многих ведомствах находится эта наука, и это собственно ее несчастье, потому что каждое из ведомств плохо знает дела другого ведомства и изучает вопрос односторонне, плохо и неполно. Между тем очень трудно обладать знаниями во всех ведомствах, и дело от этого страдает. Наука эта (фонетика) старая, давно она существует, ее начатки

есть уже у греков и римлян, и даже у древних индусов, целый ряд работ идет через все средневековье, не говоря уже о новейшем времени. К ней с разных сторон возбуждался интерес: кто хотел сделать говорящую машину, кто хотел обучать глухонемых и т. д. Но хотя и старая это наука, эта ее межеумочность, то, что она на трех китах стоит, ей очень вредит. Можно сказать, может быть, что и нет этой науки, а есть акустика и физиология?

Но есть все-таки момент, который заставляет ее выделить и дает ей теоретическое обоснование науки о символах как таковых, взятых до некоторой степени вне значения и смысла. Представьте себе, я произнес стихотворение, и идеальный фонограф великолепно, в точности, вполне адекватно запишет звуки моего голоса. Он представит те звуки, которые проходили в воздухе, в виде некоторой кривой, которая есть тоже символическое, но во всяком случае в значительной мере адекватное представление о звуках. Представьте, что мы эту кривую отправим на Марс, который ничего не знает о нашем языке, и предложим проанализировать эту кривую. Я утверждаю, что тамошние акустики начнут ее анализировать, разобьют на участки, но участки эти отнюдь не будут совпадать с тем, как мы это делаем. Возьмем любое слово — *стол, стул, папка, будка*, — вы сейчас же можете произвести анализ: *б-у-д-к-а*. Если вы неграмотному дадите понять, что нужно, он вам проанализирует это слово, разделит его на пять частей, когда поймет, что от него нужно. Но марсиане, тончайшие акустики, разделят не так, как мы разделим.

Теперь дальше, представьте себе, что глухонемой человек, но замечательный физиолог-наблюдатель, стал бы нас наблюдать в процессе речи. Он сделал бы исследование и записал его соответствующим образом. Допустим, он гениальный, он тоже мог бы анализировать и тоже разделил бы на части, но его деление не обязательно совпало бы ни с делением акустика, ни с нашим делением. Вот тут вся соль и лежит, что мы рассматриваем, хотя и в отвлечении от смысла, но все-таки рассматриваем, как возможные символы под тем углом зрения, что это звуки человеческой речи. Следовательно, рассматриваем все в области психологической. Фонетика есть прежде всего наука психологическая, ибо она имеет дело с анализом, основанным на психологии.

Наш анализ страшно прост. Как, собственно говоря, можно анализировать слово *столь*? Что я могу откинуть? Сначала *с*, останется *толь*, слово, которого, может быть, нет, но которое может стать словом. Откину дальше элемент *т*. Остается *оль*, возможное слово, родительный падеж множественного числа от *Оля*. Откину *о*, остается *ль*, больше откинуть я не могу.

Такое деление диктуется главным образом с точки зрения смысла, благодаря воздействию смысловых ассоциаций.

Иногда с точки зрения одного народа деление возможно, а с точки зрения другого народа невозможно. Возьмем, например, вопрос о *ц* и *ч*, очень сложный и спорный. Оказывается, что для одного народа эти сложные звуки делимые, а для другого не делимые.

Тут обнаруживается истинная природа фонетики и причина, почему она вынуждена обосноваться в отдельную науку. Больше всего в этой науке, пожалуй, сделано филологами, ими больше всего накоплено материала, потому что отправная точка этой науки — это язык. Физиологи и акустики толкуют всегда о буквах, они всегда исходят из букв печатных, впадая иногда в очень курьезные ошибки из-за того, что недостаточно разграничено представление букв и звуков.

Вот какова та психологическая подоплека, которая подводится под понятие фонетики вообще и объединяет три разных дисциплины, в связи с чем вы будете иметь удовольствие слушать трех лекторов: по акустике в лице нашего председателя В. Н. Всеволодского-Гернгросса, физиологии — доктора Богданова-Березовского и вашего покорного слугу, т. е. филолога. Мы разделили между собою роли, потому что эта наука тройственная, но хотя она и тройственная, она в то же время единая.

[2]. Фонетические методы *

Мы уже беседовали о том, что должно послужить темой нашей сегодняшней беседы. Я старался показать, что наука, представителем которой я являюсь, по крайней мере в той плоскости, в какой сейчас выступаю, наука эта — **фо н е т и к а** — базируется на двух областях, совершенно чуждых языкознанию, совершенно чуждых гуманитарным наукам, — она базируется, во-первых, на науке о звуке, т. е. на акустике, которая является частью физики, а с другой стороны, на физиологии органов речи. Две совершенно разных науки, которые при этом ничего общего с языкознанием, с гуманитарной наукой, не имеют, и наша наука развивалась то физиками, то физиологами. Она даже так называлась, по крайней мере учебники в старину именовались учебниками не по **фо н е т и к е**, а по **ф и з и о л о г и и** звука (как, например, в первом издании книга Сиверса — «Grundzüge der Lautphysiologie» *).

И, однако, приходится признать, что это все-таки и не физиология звука и не акустика, а какая-то специальная отрасль человеческого знания — фонетика, причем я постараюсь показать, предполагая значительную неподготовленность аудитории, что есть такой элемент, который обособляет нашу

науку и делает ее не физиологией и не физикой, а фонетикой. При исследовании оказалось, что не звуки сами по себе и не речевые движения органов речи важны для этого, а их психический эквивалент.

Совершенно ясно, что весь язык сводится к смыслу, к значению. Нет смысла, нет значения — нет языка. Значит, все дело в образовании комплекса, ассоциации между смысловыми представлениями и символическими представлениями; значит, когда мы говорим о звуках человеческой речи, то мы говорим, думая на самом деле не о звуках, а о звуковых представлениях. И вот эта среда, в которой только и осуществляется наша речь, т. е. психологическая среда, она и обособляет нашу науку от всех прочих. Я постарался показать, что, если бы мы отвлеклись от речи, от языка, от смысла, то мы тогда совершенно иначе воспринимали бы звуки, иначе анализировали бы и движения речевые.

Я старался показать (насколько это удалось — вопрос другой, причем это, так сказать, скорее венец науки, верхи науки, которые, может быть, довольно трудно даются людям, недостаточно сосредотачивающимся на этом), что если бы у нас не было языка, т. е. координации этих смысловых представлений, ассоциированных с представлениями речевыми и с представлениями звуковыми, то мы, вероятно, совсем не дошли бы до тех представлений элементарных, которые мы имеем в области делимости нашей речи. Такие элементы, как *a, e, u, o, k, b, l, m* и т. д., для нас не существовали бы, и когда физиолог говорит о них, он уже, собственно, тем самым вышел из пределов физиологии, так как физиология как таковая не дает ему никакого права говорить о таких элементах, как *a, b, p* и т. п. С точки зрения физиологии, делимость нашей речи совершенно другая, и только смысл, возможности смысловой ассоциации дают нам ту или другую картину, ту или иную делимость нашей речи. Нам кажется, что это очень просто, потому что это нам дано, что тут мудрствовать лукаво? *A, e, n, t* и т. д., но это не совсем просто. Представьте себе, что если бы существовал такой язык, в котором не было бы стечения согласных и в котором были бы, например, такие слова: *pasaka, tamaba, gana* — и каждый слог имел бы *a* и какую-нибудь согласную, то люди, которые говорили бы на таком языке, не дошли бы до того, чтобы отделить гласные от согласных. Собственно говоря, они могли бы дойти до этого путем анализа, но в естественном состоянии для них были бы только элементы *ba, ca, ga* и т. д., так как отделить гласные от согласных они не имели бы повода, возможности. Они не имели бы для этого повода, так как для них звуками речи были бы: *na, ka, ta*. И что это так, об этом свидетельствует психология японского языка. Но у них есть раз-

ные гласные: и *a*, и *y*, и *e* и т. д., — так что, собственно, анализ они могли бы производить, но дело в том, что для японца отделить гласный от согласного крайне затруднительно и алфавит его построен в соответствии с его фонетическим пониманием, он построен на слоговом принципе, т. е. для *ба*, *та* и т. д. существуют особые знаки. Правда, изобретены за последнее время как бы общие ключи, которые несколько сокращают число знаков, но в общем число фонетических единиц у них велико.

Таким образом, наша звуковая система может быть изучаема с подходом физиологическим или акустическим, но она должна быть изучаема и с подходом психологическим. Нужно посмотреть, как данный народ относится к тем звукам, которые он употребляет, как он их понимает, на какие элементы разлагает, что для него является существенным и что является несущественным.

Еще иначе можно подойти к этому вопросу. Так, например, возьмите слово *смеркается*. Состав его ясно слышен: *смерка-е-тца*. Это тот состав (в графике мы иначе пишем), который нами ощущается как нормальный состав этого слова. Но разве всегда я произношу так? Забудьте совершенно об этом слове и превратите себя в аппарат слуховой. Первый гласный не *e*, конечно, а что-то такое очень неопределенное, неуловимый звук, не то *e*, не то *и*, ни то ни другое. *А* остается, но после *a*, вместо *e*, которое должно быть, слышится какое-то *и*. А если я буду более быстро говорить, то это последнее *и* даже в *й* превращается, при еще более быстрой речи этот гласный может совершенно исчезнуть. Затем я нормально могу сказать и *смеркается* и *сьмеркается*. Не знаю, ощущаете ли вы или нет, но я могу засвидетельствовать на основании точнейших записей и исследований, что, оказывается, первое *с* у многих смягчается, произносится мягко, не *с*, а *сь*.

Затем мы констатировали в конце *-тца* — *смеркаетца*, но при некоторой быстроте *т* может быть вовсе не слышно. Однако вы этого не замечаете. Наоборот, вы всегда в полной убежденности, что все звуки произносятся. И это понятно, почему. Потому что в данном случае выступает основной закон нашего восприятия, заключающийся в том, что нет надобности в повторении всех элементов для того, чтобы возникали воспоминания, возникал нужный образ, для этого достаточно некоторого числа элементов подобных, чтобы из старого багажа пришли разные элементы на помощь воспоминанию, слились в одно целое с воспринимаемыми элементами и возникло бы восприятие в его чистом виде. Это процесс, который известен в психологии под названием ассимиляции. Причем характерным моментом этой ассимиляции является то, что наше сознание не различает элементов, данных в опыте, и элементов, взятых из нашего со-

знания, из нашего прежнего опыта. Это аналогично тем процессам, которые происходят тогда, когда я читаю корректуру и пропускаю ошибки. Почему я пропускаю ошибки? Потому что я дополняю опять-таки из своего «я», из своих представлений то, что там неверно или пропущено и т. п. Лучшим таким доказательством является граммофон или фонограф: когда вам приходилось слушать пьесу или декламацию, то, вероятно, приходилось говорить так: это хорошо, это худо и т. д. Конечно, в исполнении многое зависит от качества пластинки, от искусства наговаривавшего ее, а также и от искусства механика, который записывал, но очень многое зависит и от слушающего. Если пьеса знакома, то она вам нравится, так как вы все узнаете, если ж пьеса незнакома и вы ничего не можете узнать или плохо узнаете, то говорите: как нехорошо, как неясно. А все дело в том, что самый лучший фонограф или граммофон искажают звуки страшнейшим образом, но если эти звуки привычны, то мы искажений не замечаем, мы все узнаем.

Вот этот самый процесс постоянно происходит и в нашей речи. Мы на самом деле дополняем то, чего в ней нет. Мы тоже, собственно, очень плохие инструменты в смысле верности передачи. И вот в чем тут дело: у нас есть некоторый идеал, некоторая идеальная норма. В исполнении этот идеал может и не осуществиться, может только наполовину осуществляться в зависимости от разных обстоятельств, и, воспринимая речь, мы дополняем от себя то, чего не хватает в исполнении. Таким образом, если хочешь исследовать какой-нибудь язык, то нельзя идти и слушать, как говорят, потому что говорят именно приблизительно, неполно, а нужно наперед усвоить идеальные нормы, которые, так сказать, существуют в сознании, и вот поэтому основным фонетическим методом является метод субъективный. Казалось бы, что лучше было бы изобрести какую-нибудь идеальную машину, поставить идеальный записыватель, который все запишет идеально точно, а мы будем изучать. Такая запись очень важна и с практической точки зрения, и с научной. Но это будет только один инструмент, без виртуоза; самого главного нет еще, надо душу живую, по которой можно было бы видеть, во что претворяются эти раздавшиеся звуки. Так что самый основной фонетический метод — это метод субъективный, метод психологический, т. е. надо вникнуть, понять, что люди хотят произнести, каков их, так сказать, фонетический идеал, каково их понимание тех звуков, которые у них существуют.

Еще и иначе к этому вопросу можно подойти. Вот, например, в итальянском языке есть два слова: *peska* и *peska*. Не знаю, уловили ли вы разницу между ними? Между тем для итальянцев эта разница в произношении очень заметна: в одном случае

слово означает — ‘он ловит рыбу’, в другом — ‘персик’. В одном случае *e* (закрытое), в другом — *e* (открытое). Для нас, русских, различие кажется очень маленьким, а для итальянцев большим, и они прекрасно отличают эти два слова. Значит, с нашей точки зрения все равно, какое *e*, а с итальянской нет. В итальянском языке два разных *e*. Это показывает, что отношение к одному и тому же факту не одинаково. В русском языке есть это различие в произношении, например, *тень* и *с этот дом, с этот огурец*. Здесь два разных *e*: *тень* и *этот*; если прислушаться внимательно, то вы ясно эту разницу услышите. В итальянском языке эта разница гораздо меньше, но, однако, для нас она не важна, потому что она получается в силу чисто механических условий, в известных комбинациях и никогда никакими смысловыми ассоциациями не может сопровождаться, а в итальянском это различие дифференцирует смысл. Точно так же как во французском языке, например, *je viendrai* и *je viendrais* ‘я приду’ и ‘я пришел бы’. Для нас это неважно, мы этого не замечаем. Возьмем другой пример: если бы я сказал *tirer* на русский лад, с мягким *t*, то это француза несколько не шокирует, он не заметит руссизма. Но если я скажу *nid* с мягким *n* (*нь*), то он очень отрицательно отнесется к такому произношению, потому что по-французски *t* и *ть* не различаются, у них нет таких противопоставлений, как у нас: *ходит* и *ходить*. Но по-французски отличается *n* и *нь*, и наше произношение *ни* с мягким *n* у француза вызывает впечатление, будто слово *nid* звучит так, как если бы оно было произнесено с мягким *gn* (*gnid*), что сделает это слово непонятным, а для нас это все равно. Вот тут различная психология, различный подход к одним и тем же фактам в различных языках: факт один и тот же, но он может быть различно интерпретирован; таких примеров можно приводить без конца, и они все будут свидетельствовать о том, что один и тот же факт, объективно данный в произношении, будет для лиц, принадлежащих к разным языковым группам, различно пониматься, различно освещаться и для того, чтобы заниматься каким-нибудь языком, надо прежде всего понять и усвоить психологию данной звуковой системы, психологию данного языка.

[3. О фонеме и ее оттенках *]

Вы уже видели, что в русском языке есть три передние гласные: *a*, *e*, *и*. Однако на первом же занятии, когда я приводил слова *низи*, *биток* и т. д., то вы слышали, что *и* в них произносится по-разному. Чему же верить? Тому ли, что у нас три передних гласных, или их 33? И то и другое — правильно, но тут нужно учесть одно понятие, которое окажется очень

важным. Дело в том, что у нас есть действительно некоторое количество звуковых элементов, благодаря которым мы можем дифференцировать слова, делать новые слова. Так, например, может быть: *дом, дым, дум*, — меняя какой-нибудь один элемент, я получаю новое слово. Эти элементы, которые могут давать новые слова и которые являются носителями семантических различий, называются основными элементами, или имеют термин, который был пущен в ход уже давно, они называются **фонемами**.

Значит, фонемами мы называем такие звуковые элементы, или элементы речи, которые способны сами по себе дифференцировать слова. Но не надо думать, что эти элементы всегда одинаково произносятся. Вы видели, что, например, *и* по-русски может произноситься по-разному. Если я возьму *низи* и *бит*, или *избитие*, *избит*, то тут *и* будет произноситься разное. В одном случае будет *и* закрытое, а в другом более открытое *и*. Также, например, *а* в слове *сад* и *сады*, конечно, произносится по-разному, в зависимости от того, под ударением оно или нет. В *сад* и *садик* *а* произносится тоже по-разному, но все эти разные произношения не способны дифференцировать слова. Они не служат для целей звукового общения, а являются следствием речи, некими приспособлениями нашего речевого аппарата к разным фонетическим условиям.

И так в каждом языке. Мы имеем, с одной стороны, известное число основных звуков, фонем, которые способны по-разному сочетаться и давать разные слова, но каждый из этих звуков дальше может в значительной мере по-разному произноситься. То, что я вам даю в отношении гласных, — это и есть список русских гласных фонем, способных дифференцировать слова. Каждая из этих фонем, однако, может произноситься по-разному в разных фонетических условиях.

Гласных в русском языке — 6: *и, е, а, о, у, ы* и только, несколько не больше, — но каждая из этих 6 гласных фонем может произноситься весьма и весьма по-разному.

Вот те капитальные моменты, которые надо усвоить. При этом еще одно замечание: в каждом языке колебания произношения каждой фонемы будут особые. Так, например, мы имеем в русском языке *а* ударное и *а* неударное: *сад* и *сады*. Но это не значит, что по-французски, например, такое же отличие будет между *а* ударным и *а* неударным, или по-английски и по-немецки.

Совсем нет. Между прочим, иностранный акцент зависит не только от того, что я излагал до сих пор, но и от того, что сами фонемы другие, каждый язык имеет свои фонемы, а также от того, что в каждом языке отдельные фонемы меняются в произношении по-своему, и от того, конечно, все и зависит. В рус-

ском языке есть *e* — фонема, которая очень колеблется в произношении: *дети, деда, Бэла* — получается три качества *e*; по-русски мы не найдем двух слов, которые могли бы дифференцироваться разными качествами этого гласного. Различие между фонемами имеет социальный смысл, т. е. утилизируется для взаимопонимания, а разное произношение одной фонемы не утилизируется.

Чему прежде всего все-таки надо учить: разновидностям фонемы или фонемам? Ясно, конечно, что прежде всего надо учить фонемам, потому что когда я говорю медленно, очень внятно и слогораздельно, то все факторы, изменяющие мое произношение, значительно ослабляются в своем действии. Но вот прислушайтесь к такому моему произношению: *Да, он говорил об этом прошлый раз* (обратите внимание на глагол — *говори́л—гвари́л*).

Если вы не расслышали, то вы спросите меня снова, и я вам отвечу совершенно раздельно: *Да, он га-ва-рил об этом прошлый раз*. Следовательно, при четком произношении проявляются фонематические качества речи, мы возвращаем речь к ее фонематическому составу, и, конечно, это то, чему мы должны учить учеников, которые усваивают русский язык. Должны ли вы учить произносить *гвари́л* или *гавари́л*? Если вы научите произносить *гвари́л* и он будет отвечать вам *учитель гьвари́л*, — то это не будет русский язык.

Мы, значит, не должны увлекаться всеми теми отклонениями, которые существуют в быстрой речи, а должны прежде всего учить нормализованной, фонематизованной речи. Прежде всего надо учить отчетливому, ясному произношению. В связи с этим надо научиться двум транскрипциям русского языка: одной — фонематической, например «*gadavój*», а другой фонетической — [*gъdavoj*].

ИНТОНАЦИЯ

В языковедении под интонацией чаще всего понимают изменение высоты голоса (мелодика), силы звука (ритмика), относительной длительности (или «количества») отдельных звуков (просодия) и, наконец, тембра голоса той или иной речевой единицы, начиная от предложения и кончая слогом или отдельным звуком. Некоторые ученые сужают понятие интонации до понятия «речевой мелодии», исключая из него изменения силы и тембра, что противоречит обыкновенному словоупотреблению и едва ли нужно.

Различные типы интонации предложения (фразовая интонация) выражают различные общие элементы данного выска-

звания: вопрос, утверждение, просьбу, приказание, иронию, задушевность и многое другое. Некоторые из этих интонаций нашли себе выражение в виде знаков препинания. Большинство, однако, прекрасно понимаемых нами интонаций не только не нашло себе выражения в письме, но до сих пор даже вовсе не классифицировано. Число различаемых интонаций, их смысл и их форма могут изменяться от языка к языку. Л о г и ч е с к о е у д а р е н и е есть не что иное, как характерное видоизменение интонации предложения, выделяющее так называемое логическое сказуемое.

Интонация отдельного фонетического слова (с л о в е с н а я и н т о н а ц и я) очень часто бывает связана с местом словесного ударения, являясь функцией этого последнего, а потому обыкновенно не имеет самостоятельного значения. В произнесении же она, конечно, суммируется с фразовой интонацией, которая всегда является как бы суммой нескольких интонаций и никогда не осуществляется в чистом виде.

Наконец, надо упомянуть о слоговых интонациях (иначе — слоговых ударениях), например сербского, латинского, литовского, древнегреческого, китайского, некоторых африканских и других языков. Любой слог любого языка всегда произносится с какой-либо интонацией, но о слоговых интонациях говорят лишь тогда, когда различные интонации какого-либо слога могут служить для дифференциации слов или их форм. Число мыслимых типов слоговой интонации теоретически бесконечно велико; но в одном и том же языке различают редко более четырех типов. Так, например, в китайском (в пекинском диалекте) различаются тоны ровный, восходящий, падающий-восходящий и падающий.

[ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ К КНИГЕ И. П. СУНЦОВОЙ
«ВВОДНЫЙ КУРС ФОНЕТИКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА»]

Значение вводного курса

Для того чтобы с успехом вести вводный курс, следует прежде всего отдать самому себе ясный отчет в том, зачем нужен «вводный курс», зачем нужна фонетика, зачем нужно правильное произношение.

В самом деле, приблизительно до середины прошлого века, когда пути сообщения были еще очень плохи, когда передвижение из страны в страну стоило очень дорого и было доступно лишь немногим, да когда экономически и надобности в этом особенной не было, значение иностранных языков не играло очень важной роли в жизни. А если оно и нужно было, то един-

ственно для того, чтобы прочесть ту или иную книгу на иностранном языке. Знание разговорного языка было совсем не важно, так как случаев для разговоров с иностранцами представлялось немного, — поэтому в школах и не учили разговаривать.

Во второй половине XIX в. положение вещей совершенно изменилось: непосредственное общение людей разных наций стало зачастую совершенно необходимым и во всяком случае сильно облегчилось в связи с развитием техники. При этом оказалось, что старые методы обучения языку недостаточны: один из методистов того времени очень красочно рассказывает, как он, думая, что хорошо знает немецкий язык, приехал в Берлин и как его никто там не понимал, так как произношение его никуда не годилось, да и приемы его речи вообще были мало вразумительны.

Чтобы ясно представить себе, что получается без специального обучения разговорному языку и особенно без специального изучения произношения, следует подумать о тех иностранцах, которые приезжают к нам с плохим знанием русского языка. Кто поймет в английском произношении (очень плохо передаваемом русскими буквами) «тшоэ гоқыва» русское «Трое Горького», — а примеры такие можно приводить тысячами. Мы должны понимать, что когда мы без соответствующей тренировки говорим на иностранных языках, то получается то же самое.

Конечно, для того, чтобы спросить себе пить и есть, достаточно и такого коверканного языка, который можно к тому же дополнить жестами; но уже для того, чтобы в суматохе спросить, когда отходит поезд, нужно гораздо больше — иначе и тебя никто не поймет, да и ты сам плохо поймешь. В это последнее обстоятельство особенно нужно хорошо вдуматься: человек, привыкший понимать напечатанные фразы книги, зачастую совсем не понимает речи в ее живом произношении. Существует анекдот про одного старого профессора турецкого языка, который, побывав в Константинополе, говорил потом: «Эти турки удивительно плохо знают турецкий язык — ни я их не понимал, ни они меня». Этот анекдот ярко показывает изменение в оценке знаний языка. Пока человек сидел у себя дома и имел дело с книгами и рукописями, он был знатоком своего дела; когда он выехал в чужую страну и столкнулся с живой жизнью, где суть дела в быстром взаимопонимании, он оказался несостоятельным.

В прежнее время к ошибкам выговора относились снисходительно, ошибки же грамматические считались очень грубыми. Сейчас в практике живого языка ошибки должны расцениваться совершенно иначе: те ошибки будут грубыми, кото-

рые мешают взаимопониманию; а это гораздо чаще будут ошибки произношения, нежели ошибки грамматические.

Особенно важным становится правильное произношение тогда, когда приходится выступать публично: все знают, как смеется аудитория, когда оратор имеет какой-либо недостаток речи. И если из вежливости не смеются вслух, то все усилия употребляют на то, чтобы этого не делать; содержание же оказывается таким образом недоходчивым. В наше время, когда, с одной стороны, общественная жизнь получила такое исключительное развитие и когда, с другой стороны, радиотехника уничтожила в сущности расстояние, устная публичная речь стала могущественным фактором жизни. Но для того, чтобы кого-либо в чем-либо убедить, публично или даже в частном разговоре, надо говорить выразительно и не смешно.

Следовательно, для людей, желающих беседовать с иностранцами и на них воздействовать, необходимо усвоить хорошее произношение. Как же это сделать? Есть два пути: один — поместить человека в соответствующую иностранную среду, с тем чтобы он интуитивно и очень постепенно перенял ее произношение,¹ и другой — рационализировать дело обучения. Первый практически в большинстве случаев недоступен; патефон лишь в ничтожной доле может заменить иностранное окружение и в лучшем случае будет способствовать развитию понимания, но не правильного говорения. В чем же тут дело? Многим кажется, что дело только в «активной практике».

Однако суть вещей сложнее. Слушая иностранную речь, мы обыкновенно воспринимаем ее звуки как ближайшие свои (конечно, кроме тех случаев, когда у нас нет совсем ничего похожего) — таков основной закон механизма нашей речи. Соответственно мы, конечно, и подражаем иностранной речи, подставляя везде свое произношение. Отсюда и получается то ужасное коверкание, образец которого дан был выше. Самое трагичное при этом то, что мы вовсе не слышим своего коверкания, больше того — что по существу вещей мы и не можем его услышать, если не принять к тому особых мер: нормально нам кажется, что мы правильно подражаем чужому произношению. Тут-то и должна выступить на сцену рационализация обучения: прежде всего систематическими упражнениями надо добиться того, чтобы учащиеся четко различали на слух правильное и неправильное произношение. И этого не так легко достичь; но зато, когда это достигнуто, главное уже сделано. Попутно надо помочь органам речи найти те непривычные для

¹ Это удастся, однако, только детям; взрослые, как показывает опыт, обыкновенно сохраняют свои ошибки, если не подвергаются специальному обучению и особо не тренируются в правильном произношении.

них движения, которые необходимы для достижения правильного эффекта. Здесь на помощь приходит фонетика — наука, изучающая наряду с другими вопросами разные движения органов речи, от которых и зависит все то разнообразие речевых звуков, которое наблюдается у человечества.

В этой связи особенно ценен и поучителен для современной методики преподавания иностранных языков в СССР известный рассказ Н. К. Крупской о том интересе к новым методам преподавания языков, который проявлял В. И. Ленин, имевший громадный личный опыт в изучении иностранных языков: «Когда, — пишет Надежда Константиновна, — во вторую эмиграцию летом 1908 года я поступила в Женеве на шестинедельные курсы для педагогов-иностранцев, преподающих у себя на родине французский язык, я рассказала Ильичу о методах преподавания. В центре преподавания стоит фонетика, причем учитываются особенности родного языка преподавателя, устраиваются постоянные беседы в классе и во время ближних экскурсий, на этих курсах широко применяется слушание правильной французской речи, записанной на граммофонные пластинки (лингалоны). Ильич очень заинтересовался такой постановкой преподавания, познакомился с учебниками, по которым мы занимались, одобрил этот метод, говорил о необходимости самого широкого его применения».²

Итак, научить различать на слух правильное произношение от неправильного и научить правильно произносить иностранную речь — вот первая задача при обучении активному владению иностранным языком. Она должна быть первой, должна предшествовать всему остальному, так как иначе слова и фразы долгое время будут заучиваться в плохом произношении и затем их придется переучивать, а известно, что нет ничего труднее, как переучивать что-либо заученное неправильно.

При обучении музыке это давно поняли и начинают с упражнений, гамм, легких пьесок, являющихся также упражнениями и т. п., и никто не начинает с вальсов Шопена или сонат Бетховена. А в области языка самая простая фраза является для новичка с точки зрения произношения не менее трудной, чем любая соната: она в большинстве случаев будет содержать в себе все произносительные трудности данного языка.

Передовые лингвисты тоже поняли это и создали тот вводный фонетический курс, который в применении к немецкому языку для русских является предметом настоящей книги и который иначе может называться «постановкой звуков немецкого (или иного) языка». Такое название было бы самым пра-

² Н. К. Крупская. Ленин об изучении иностранных языков. Ц. О. Правда, № 245, 5. IX 1937 г.

вильным, так как задача здесь вполне аналогична той, которую преследует «постановка голоса» у будущих певцов и драматических актеров. Само собой разумеется, что под «звуками немецкого языка» надо понимать и его ритмику и мелодику.

Разновидности вводного курса

В нашей вузовской практике существует различие между:

1) вводным курсом определенного языка для лингвистов — специалистов по данному языку, ранее изучавших его, как например большинство студентов первого курса немецкого цикла;

2) вводным курсом для лингвистов — специалистов по данному языку, до вуза не знавших его (или, во всяком случае, недолго и несистематически его изучавших), как например большинство студентов английского, французского или любого из востоковедных циклов;

3) вводным курсом для лингвистов, изучающих данный язык как общефакультетский предмет (например, французский язык для славистов и т. д.);

4) вводным курсом по иностранному языку для неспециалистов, т. е. для студентов — историков, математиков, физиков и др.;

5) вводным курсом по иностранному языку, проводимым путем заочного обучения.

Каждый из упомянутых видов вводного курса имеет свою специфику, причем первый и второй из них резко отличаются от всех остальных тем, что студенты-лингвисты изучают основной язык своего цикла не только в пассивном, но и в активном аспекте, т. е. должны научиться и говорить на данном языке, и притом говорить вполне правильно и в смысле произношения. Кроме того, практически приходится иметь в виду, что будущие германисты, получающие первый вид вводного курса, приходят в вуз после нескольких лет систематического изучения языка в школе. В результате этого преподаватель языка в вузе оказывается, с одной стороны, в более удобном положении, так как его ученикам уже известен некоторый лексический и грамматический материал; с другой стороны, в его практике сразу же появляется и тормозящий фактор — студент приносит с собой разнообразнейшие ошибочные, подчас укрепившиеся, произносительные навыки.

Любой из перечисленных видов вводного курса может быть или чисто фонетическим, лишь с повторением уже известного лексического и грамматического материала, или вводным курсом, в состав которого входит и фонетика, и грамматика, и лексика.

Задача настоящего пособия — описать методику вводного курса для студентов-лингвистов немецкого цикла.

На основании наблюдений над проведением вводного курса в нескольких лингвистических вузах и на филологическом факультете Ленинградского государственного университета я считаю необходимым для студентов немецкого цикла только фонетический курс, лишь с частичным повторением усвоенной в школе лексики и грамматики, причем во время такого курса считаю безусловно необходимым применять все время транскрипцию, прибегая к обычной орфографии лишь в тех редких случаях, когда почему-либо нужно связать новые навыки студентов с их старым багажом.

Т р а н с к р и п ц и я

Одним из серьезных вопросов вводного курса является транскрипция. По-настоящему он собственно вовсе не серьезный, но его сделали серьезным методисты, боящиеся новшеств. Дело в основном очень простое. Весь вопрос о транскрипции вырос из того, что обычное письмо во всех языках не вполне соответствует произношению, т. е. буквенный состав слов не соответствует звуковому. При этом дело идет вовсе не о том, что звук *ш* изображается по-немецки через *sch*, по-французски через *ch*, а по-английски через *sh*, что буква *g* по-французски читается как *ж* перед *e*, *i*, *y* и как *г* в других случаях и т. п.: это все правила чтения, которые надо, конечно, выучить, но которые, однако, нисколько не нарушают фонетичности письма. А дело идет о тех случаях, когда, если читать по правилам, получается не то, что надо, или о тех случаях, когда не знаешь, как читать, т. е. когда нет правила. В этом смысле самый трудный язык для иностранца — это русский, так как в русском письме не обозначается ударение и все неодносложные слова представляются загадками, если их не знаешь на слух. Между тем, не на месте поставленное ударение в большинстве случаев мешает узнать слово; в самом деле, кто может понять, что такое *потблок*, *корбвай*, *болотб* и т. п.? Вполне достаточной в этом отношении транскрипцией является просто расстановка ударений. Есть в русском языке и другие недоразумения, однако менее важные: пишут *детская*, а произносить надо *децкая*, пишут *сжечь*, *визг*, а произносить надо *жжечь*, *виск*, и т. п.

В немецком языке аналогичным по важности русскому ударению является различие долготы и краткости гласных (несвойственное русскому языку): неправильное в этом смысле произношение ведет часто к непониманию. Это различие, правда, часто обозначается на письме, но правила не всегда простые,

а главное, имеется масса исключений: в самом деле, по правилам надо бы читать *Erde, Arzt, Mond, Obst* и много, много других подобных слов с краткими гласными, а произносятся долгие; *Viertel, weg* ('прочь'), *Monat* (гласный *a*) надо было бы читать с долгими гласными, а произносятся краткие. Самая простая транскрипция состояла бы в том, чтобы, например, долгие гласные обозначать каким-либо дополнительным знаком — или черточкой над буквой, или двоеточием после буквы. Например, слово *Sprache*, про которое никак нельзя догадаться, читать ли его с долгим гласным *a* или с кратким, можно транскрибировать *Sprāche* или *Spra:che*. Так и можно поступать, например, при четвертом виде вводного курса, а главное — что-нибудь в этом роде делают сами учащиеся, даже дети, когда поймут важность различения долготы и краткости в немецких словах (к сожалению, не всегда сами преподаватели до конца сознают эту важность). А что это очень важно в немецком языке, это явствует из таких пар, как *Kamm*³ 'гребень' и *kam* 'пришел', *Damme* 'плотина' (дат. пад.) и *Dame* 'дама', *stellen* 'ставить' и *stählen* 'закалять', *binnen* 'внутри, в продолжение' и *Bienen* 'пчелы' и т. д., — такие пары можно приводить в большом количестве.⁴

Кроме непоследовательности в обозначении долготы и краткости гласных, немецкое письмо в целом ряде и других случаев не отражает звукового строения слова. Не говоря о таких словах, как *Rad* (произносится [ra:t]), *Lob* (произносится [lo:p]) и т. п., — случаи, которые для русских не представляют затруднений, — по-немецки такие слова, как *Mundart, absondern* и т. п., произносятся с *t* и *p* в середине. Есть некоторое количество и других трудностей, о которых будет сказано во II части книги.

Случаев расхождения написания и произношения по-немецки может быть не так много, как во французском и особенно в английском, однако их все же набирается в конечном счете так много, что возникает вопрос о том, чтобы при обучении, наряду с обычным письмом, употреблять настоящее звуковое письмо, где бы каждый отдельный звук был обозначен особой простой буквой (такое письмо и называется транскрипцией).

³ Двойная согласная буква и является в немецком языке знаком краткости предшествующего гласного.

⁴ Любопытно отметить, что русское произношение ударенных немецких гласных является чем-то средним между кратким и долгим, а потому каждое немецкое слово, произнесенное русским, в громадном большинстве случаев не сразу узнается немцем, если он не привык к русскому произношению немецких слов, и страшно замедляет восприятие речи русского, даже в общем и бегло говорящего по-немецки. Особенно плохо узнаются краткие гласные.

Это письмо служит для того, чтобы записывать произношение слов. Оно упорядочивает то, что каждый должен был бы делать кустарно и случайно. В этом и состоит прежде всего его практическое значение. Далее, при его помощи легко и просто указывается произношение слов в словарях во всех тех случаях, когда оно не явствует из написания. Само собою разумеется, что звуковое письмо — транскрипция — не учит самому произношению, звуки чужого языка должны быть поставлены, но оно дает на письме звуковой (а не письменный) образ слов, что крайне важно для всех тех, кто не живет со своим учителем вместе и не может всякую минуту спрашивать у него, как звучит то или другое слово.

Некоторое неудобство представляет собою тот факт, что получаются две системы письма, которые могут как-то путаться, если их сразу изучать параллельно. Однако при первом виде вводного курса учащиеся уже знают орфографию, а при втором — им ее не следует давать до тех пор, пока они не освоят звуковой стороны языка (то же относится и к детям). Впрочем, для взрослых интеллигентных людей, какими являются наши студенты, затруднения эти так пустячны, что о них не стоит и говорить; они существуют лишь для тех, кто вовсе не хочет работать. В самом деле, какого сознательного студента могут затруднить две азбуки сербского языка — кирилловская (вуковица) и латинская: выучить их — вопрос одного вечера, максимум двух.

Психологически для всех языков, обладающих письменностью, существуют два ряда образов — зрительные от письменного языка и слуховые от устного. Эти ряды постоянно не совпадают, а при обучении чужому языку очень важно показать, что они не совпадают, и зрительная поддержка особого ряда слуховых образов транскрипцией только содействует их отчетливости, которая совершенно необходима для правильного произношения. Транскрипция, таким образом, не является собственно третьим рядом языковых образов, как некоторым кажется, а лишь полезным осложнением слуховых образов, которым она абсолютно параллельна.

Для лингвистов (т. е. во вводном курсе первых трех типов) транскрипция — кроме чисто практического значения при обучении языку — имеет еще и огромное теоретическое. Она является единственным способом преодоления того смешения звука с буквой, которое так характерно для всякого грамотного человека и которое психологически состоит в том, что два ряда образов — зрительный и слуховой — составляют неразрывное целое, заменяя друг друга. Между тем преодоление этого смешения, т. е. осознание самостоятельности каждого из этих двух рядов, является краеугольным камнем лингвистического об-

разования. Человек, не сделавший этого шага, не может считаться лингвистом.

Что касается пятого вида вводного курса — для заочников, то совершенно очевидно, что именно в этом случае, при отсутствии непосредственного общения с учителем, без транскрипции просто невозможно обходиться.

Наконец, четвертый вид вводного курса, допуская в широком масштабе не вполне немецкое произношение, может довольствоваться суррогатами транскрипции (см. выше замечания об обозначении долготы в немецком) в тех случаях, когда это по ходу дела представляется все же нужным. Однако и студенты-нелингвисты ничего не потеряют, если узнают о существовании удобного способа обозначать отличия произношения от написания и научатся понимать соответственные указания словарей. Для взрослых людей это просто даже не вопрос, так как относится к числу тех полезных сведений, которые усваиваются мимоходом.

Надо сказать еще несколько слов о выборе системы транскрипции, так как их существует довольно много. Существуют национальные системы (своя для каждого языка), существуют международные. Эти последние можно строить на базе любого алфавита с теми или другими добавлениями, а можно строить и сплошь из выдуманных знаков. С учебной, а тем более с научной точки зрения это в общем безразлично. Одним кажется, что русские должны пользоваться транскрипцией на базе русского алфавита, как знакомого русским учащимся. Другим кажется, что удобнее пользоваться транскрипцией на основе латинского алфавита, который в громадном большинстве случаев уже известен учащимся или во всяком случае должен стать известным как раз в связи с обучением иностранному языку. Первые могут говорить в защиту своего мнения, что удобно, чтобы знаки слуховых образов всегда отличались от знаков зрительных образов; вторые — что как раз удобно, чтобы там, где нет расхождения между зрительным и слуховым образами, был один знак; вторые могут также говорить, что русские знаки невольно вызывают и русские произносительные ассоциации. Я считаю все эти аргументы мало весомыми и трудно учитываемыми и во всяком случае думаю, что изучение любой транскрипции требует некоторых лишних, хотя и ничтожных, усилий только при тех знаках, которые не будут совпадать ни с русскими ни с латинскими буквами, а что сами по себе латинские буквы могут затруднять лишь совсем некультурных учащихся, первая задача которых, однако, при изучении иностранного языка и состоит в освоении начертаний латинского алфавита. Поэтому я считаю весь вопрос, с методической точки зрения, совершенно несущественным, и если стою за фонетиче-

ский алфавит на латинской основе, то, главным образом, именно в силу его общепринятости при обучении иностранным языкам. Утверждение единой международной фонетической транскрипции является актуальной задачей науки о языке, и всякие попытки мешать этому важному делу, если они не имеют никакой особой серьезной подкладки, не заслуживают поддержки. У нас в Союзе в методике обучения иностранным языкам международный алфавит прочно обосновался: издано множество книг, пособий и словарей, употребляющих этот алфавит, и разрушать сделанное, переиздавать все словари и учебники нет никаких серьезных оснований.

Стандартное произношение немецкого языка

Другой важный вопрос вводного курса — это вопрос о стандартном произношении данного языка, в нашем случае немецкого.

Во всяком, даже литературном языке существуют большие колебания в произношении. Так, по-русски одни говорят *дождя*, другие — *дожжя*, третьи — *дожджя*, четвертые — *дожжа* (это последнее считается, впрочем, нелитературным), а в соответствии с этим в именительном падеже это слово будет звучать или *дошт*, или *дош*, или *доц* (т. е. *дошч*), или *дош*. Одни говорят *Горький*, а другие *Горькой* (т. е. *Горькай* и даже *Горькый*); одни говорят *верх*, а другие *верьх*, и так без конца. В немецком языке колебания в произношении гораздо более значительны. Они настолько значительны, что вопрос об орфоэпии (т. е. о «правильном произношении») стоит в Германии очень остро. Но если для немцев это в конце концов только неудобство, то для иностранцев, изучающих немецкий язык, создается прямо-таки безвыходное положение: какое же произношение изучать? Совершенно ведь очевидно, что нельзя сразу учиться разным произношениям. Простое решение вопроса состоит в том, чтобы перенимать произношение своего учителя-немца. Так всегда и поступали, особенно когда вопросам произношения не придавали особого значения. Однако в школе часто приходится переменять учителя, и при внимательном отношении к произносительной стороне языка вопрос о типе немецкого произношения всплывает сам собой. Стало быть, необходимо в нашей школе — средней и высшей — раз навсегда условиться о типе этого произношения, о стандартном произношении. В Германии существует такой разработанный стандарт, известный под названием *Bühnendeutsch*. Если еще далеко не все говорят по этому стандарту, то все же когда возникает вопрос о «правильном произношении», то обращаются

именно к нему и только к нему: Bühnendeutsch не имеет на практике конкурентов, и он понемногу все более и более проникает в жизнь. Поэтому так называемый Bühnendeutsch должен лежать в основе вводного курса немецкого языка.

Здесь есть одна трудность, на которую следует обратить внимание. Среди наших преподавателей многие имеют то или иное произношение, не совпадающее с Bühnendeutsch; против этого нельзя особенно возражать. На старших курсах это даже очень полезно, так как отражает своим разнообразием реальную жизнь Германии, но для начинающих это неудобно. Желательно, чтобы преподаватели вводного курса отделались от индивидуальностей своего произношения и строго придерживались Bühnendeutsch, которое, конечно, положено в основу настоящего пособия.

Лиц, желающих подробнее ознакомиться с тем, что такое Bühnendeutsch, отсылаю к книге О. Н. Никоновой «Основы немецкого произношения»⁵ и далее к первоисточнику: Th. Siebs. Deutsche Bühnenaussprache. Hochsprache. Лучший словарь немецкого произношения — W. Vietor. Deutsches Aussprachewörterbuch (обе книги все время выходят новыми изданиями).

Разные стили произношения

В произношении следует различать разные стили: замедленный, обычный разговорный, скороговорочный и т. п. В методике принято иметь в виду прежде всего два стиля: полный, когда все слоги выговариваются более или менее ясно и отчетливо, и обычный разговорный. По-русски в полном стиле мы скажем *ядавитые растения*, а в обычном разговорном — *идавитыи растения*.⁶ Однако совершенно очевидно, что начинающие должны придерживаться полного стиля, так как они не могут еще говорить быстро. Поэтому весь вводный курс должен, конечно, вестись в полном стиле. Разговорный придет сам собой по мере ускорения речи учащихся.

Отдельные звуки языка, или фонемы

Понятие «отдельного звука» языка (Sprachlaut), которое теперь принято обозначать термином *фонема*, разъяснено в вышеупомянутой книге О. Н. Никоновой и подробнее в моей книге «Фонетика французского языка» [Л., 1939], а также

⁵ О. Н. Никонова. Фонетика немецкого языка. Изд. 2-е. М., 1948. — Прим. автора пособия.

⁶ Буквой *и* в неударенных слогах в данном случае обозначен неясный гласный звук, имеющий оттенок [i].

в книге Л. Р. Зиндера и Т. В. Строевой-Сокольской «Современный немецкий язык» [Л., 1941].

Здесь для начинающих достаточно указать на то, что часто там, где мы видим один «звук», одну фонему в ее разных речевых вариантах, в другом языке может быть два «звука», две фонемы, если они способны различать слова. Так, в русском языке в словах *се́ра* и *се́ни* в разговорном языке произносятся совершенно разные *e* в зависимости от твердости или мягкости последующего согласного. Однако мы их считаем за один и тот же «звук», за одну фонему, поскольку в русском языке нет двух слов, которые бы отличались друг от друга лишь качеством своего *e*. По-немецки наоборот: эти два оттенка *e* имеют самостоятельное значение и являются двумя разными «звуками», двумя различными фонемами (ср. *Ehre* 'честь' и *Ähre* 'колос').

Таким образом, оказывается, что каждый звук, каждая из фонем может произноситься в разных положениях по-разному. Оказывается, далее, что один из этих вариантов является для каждой из фонем наиболее характерным, наиболее типичным. Отсюда вытекают практические правила для изучающих иностранный язык:

1) В известных пределах можно не совсем точно произносить иностранные звуки. Важно только, чтобы произносимое не было принято за другую фонему данного иностранного языка. Если неточность будет все же воспринята, то получается «ошибка выговора», «ошибка фонетическая», не мешающая взаимопониманию, а потому практически не очень важная. Если произносимое будет принято за другую фонему, то получится «звукосмысловая, или фонологическая, ошибка», которая может обусловить непонимание, а потому является грубой ошибкой. Русское произношение немецкого слова *Kamm* 'гребень' как *кам* будет заключать фонологическую ошибку, так как будет восприниматься как немецкое слово *kat* 'пришел', лишь с неточным произношением *a* и *tt*, т. е. с двумя фонетическими ошибками; в русском произношении немецкого слова *kommen* 'приходить' — *коммэн* не будет фонологической ошибки, так как все фонемы могут быть восприняты правильно, хотя в самом произношении будет заключаться не менее четырех фонетических ошибок (неточное произношение *k*, неточное в двух отношениях произношение *o*, неточное произношение *tt* и неточное произношение *e*).⁷

2) Чтобы быть всегда верно понятым, достаточно научиться произносить типичные варианты фонем, которые и должны быть поставлены в течение вводного курса.

⁷ Впрочем, это последнее с точки зрения строгого *Bühnendeutsch* следует считать фонологической ошибкой, хотя диалектально такое произношение и возможно.

І. Описываемое произношение

В очерке описывается произношение образованных людей С.-Петербурга. Оно в ряде случаев отличается от московского произношения, так как явно сохранило фонетическую структуру слова, свойственную северным русским говорам, и заимствовало у южных говоров лишь произношение гласного *a* вместо *o* в неударенных слогах (так называемое *áканье*).

ІІ. Общие замечания о звуках русского языка

В связи с тем, что различие между ударными и безударными слогами четко выражено, слабые (т. е. безударные) гласные чрезвычайно кратки, ненапряженны и малоотчетливы. Но так как первый предударный слог и конечный открытый слог несколько сильнее остальных безударных, то их гласные немного длиннее и, следовательно, немного более отчетливы. Впрочем, этимологическое чутье может часто определить тот или другой оттенок безударных гласных, так что иногда почти невозможно установить их произношение.

Чтобы облегчить чтение, в транскрипции учтены некоторые оттенки, не имеющие смыслового значения, однако следует заметить, что она была по мере возможности упрощена. В действительности изменения гласных даже в ударных слогах бесконечно сложнее. Осталась также неучтенной взаимная адаптация звуков (переходных звуков), которая имеет в русском языке, по сравнению с наиболее известными европейскими языками, определенные характерные особенности.

ІІІ. Таблица звуков

В приводимой ниже таблице звуков те из них, которые имеют смыслоразличительное значение (т. е. фонемы, по терминологии Бодуэна де Куртенэ), обозначены жирным шрифтом, оттенки же, не имеющие его, — обычным шрифтом. Звуки, которые встречаются лишь в очень ограниченном числе слов, взяты в скобки. (Используются знаки Международной фонетической ассоциации).¹

¹ См. *Exposé des Principes*, опубликованное Ассоциацией.*

	Гортан- ные	Язычные			Губные	
		задние	сред- ние	передние	губно- зубные	двугубные
Согласные	Смычные	kk gġ		tt dđ ts ṭ ṭ [ḍz]		pp bb
	Носовые			[ŋŋ] n̄n̄		[m̄m̄] m̄m̄
	Боковые			[ʎ̣] ʎ̣i		
	Дрожащие			[ṛṛ] ṛṛ		
	Фрикатив- ные	[ħħ]	x̣x̣		ṣṣ ẓẓ ʃ̣ʃ̣ ʒ̣[ʒ̣]	f̣f̣ ṿṿ
Гласные						

IV. Описание звуков

1. Согласные

По предложению П. Пасси палатализованные согласные обозначены соответственной буквой с точкой над ней.² Физиологически эти согласные точно такие же, как и соответствующие непалатализованные, но с дополнительным поднятием спинки языка, приблизительно таким же, как для гласного [i]. Не следует смешивать их с палатальными согласными. Их акустиче-

² Следует, однако, заметить, что наиболее привычный знак в лингвистике для этих звуков — это знак минуты или апостроф после буквы, например d', l' или d', l'.

ское свойство в том, что они имеют более или менее высокий резонанс.³ Согласный [ŋ] можно было бы сравнить, в крайнем случае, с акустической точки зрения с французским [ɲ](gn)

В согласных [ts, tʃ, dʒ] фрикативный элемент очень краток и является лишь своеобразным взрывом соответственно [t] или [d]. Эти звуки воспринимаются как простые.

Согласный [ɫ] — это разновидность [l], очень близкая к той, которая встречается в конце слога в английском языке, но с несколько более низким резонансом.

Согласный [h] — это немецкое *h*, но озвонченное, как оно произносится между гласными. Многие вместо [h, ħ] произносят [g], [g̃]. Вместо [dʒ], которое встречается только после [ʒ], часто произносят [d] или же удлиняют предшествующий [ʒ]. Эти различия происходят вследствие диалектальных или литературных влияний.

2. Гласные

Русские гласные, даже в ударных слогах, менее напряжены, чем французские.

Ударные слоги: [u] — очень открытое по сравнению с французским *u* в слове *tout*; губы не выдвинуты вперед.

[ʊ] — делабиализованное *u*; язык немного продвинут вперед к смешанному положению.

[ɔ] — очень открытое, похожее на открытое [ɔ] французского слова *or*.

[ɑ] — равно итальянскому *a*, т. е. не такое отодвинутое назад, как французское *a* в *pas*.

[i⁴] — закрытый «смешанный» гласный, т. е. звук средний между [ʊ] и [i].

[ɛ̃] — звук средний между французским *e* открытым [ɛ] и гласным в английском слове *bird*, но слегка ослабленным.

[i_⊥⁴] — напоминает французское *i*, но с менее энергичной артикуляцией, уголки губ не раздвинуты.

[i] — несколько более открытый гласный, чем предшествующий [i_⊥].

[i_⊥⁴] — еще более открытый; он, однако, отличается от краткого *i* немецкого и английского языков.

[e_⊥⁴] — гласный более закрытый, чем французское закрытое *e*.

[e] — более или менее соответствует французскому закрытому *e*.

[ɛ] — очень открытое [ɛ], нечто вроде этого гласного в слове *maitre*.

³ Это главное, подробности здесь не могут быть изложены.

⁴ В упрощенной («широкой») транскрипции нет необходимости обозначать эти оттенки. Употребление их указано в правилах на стр. 175.

[a⁴] — его можно было бы сравнить с французским *a* в слове *patte*, но оно значительно менее напряжено (так же как и все остальные русские гласные).

Безударные слоги: [Λ, ö, ə, ʏ, ɪ, æ] — гласные слабые и очень ненапряженные; однако [Λ], встречающееся в средних по силе слогах, более напряжено, чем другие.

[Λ] — делабиализованное *o* открытое [ɔ].

[ə] — более или менее соответствует нейтральному английскому гласному (из *the*, например, в *the book*); это также самый нейтральный гласный в русском языке.

[ö] — произносится при том же положении языка, но со слабой лабиализацией.

[ɪ] — похоже на английское *i* в слове *bit*.

[ʏ] — произносится при том же положении языка, но со слабой лабиализацией.

[æ] — произносится близко к английскому гласному в слове *map*, но менее напряженное.

3. Чередования ⁵

1) Звонкие согласные чередуются с соответствующими глухими в конце слов или перед глухими: [vΛ'da] — *вода* || [vot] — *вод* || ['vot-k-Λ] — *водка*. Согласный [h] чередуется в тех же условиях с [x]: ['bɔh-Λ] — *бога* || [bɔx] — *бог*. Согласные [r, l, m, n] чередуются с соответственными глухими после глухих только в конце слова и перед глухими в начале слова: [pɪ'tr-a] — *Петра́* || ['pɛtrɪ] — *Пётр*; [rɔt] — *рот* || [rɔt-a] — *рта*.

2) Глухие согласные чередуются с соответственными звонкими перед звонкими, за исключением [r, l, m, n, v, j]: [pɪ'Λ's-i-ʔ] — *просить* || [pɪ'pɔz-b-Λ] — *просьба*.

3) Согласные [s, z] чередуются с [ʃ, ʒ] перед [ʃ, tʃ, ʒ, dʒ]: [s pɪ'tju] — *с пятью* || [ʃ ʃə'stju] — *с шестью*; [ɪz'ɔvΛ] — *из олова* || [ɪʒ'zə'lezΛ] — *из железа*.

4) Непалатализованные согласные чередуются с соответственными палатализованными перед палатализованными того же типа: ⁶ [s Λ't:sɔm] — *с отцом* || [ʃ nɪ'tm] — *с ним*.

⁵ Чередованием называется соответствие фонем-дивергентов (*phonèmes divergents*) в родственных частях разных слов; так, например, можно сказать, что *al* из *animal* чередуется с *o* (*aux*) из *animaux* или что *ien* из *vien-s* чередуется с *en* из *ven-ons*. В этом разделе речь пойдет только о чисто фонетических чередованиях, т. е. вызванных современными фонетическими условиями; таково, например, во французском языке чередование немого *e* с нулем звука в *une petite* [pɛtɪt] *fille* и *un petit* [pti] *garçon*. О теории чередований см.: *Baudouin de Courtenay. Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen. Strassburg, 1895.*

⁶ Условия чередования слишком сложны для того, чтобы их можно было здесь кратко изложить. Кроме того, эта обусловленная соседством палатализация иногда не ощущается говорящим.

5) Согласный [j] чередуется с [j̄] в конце слога: [шл'j-а] — *моя* || [шэj̄-] — *мой*; и с нулем звука в безударных слогах между гласными: [zə-vл'j-эв-э-п] — *завоёван* || [zə-vэ-г'v-а-т̄] — *завоевать*.

6) Гласный [i] чередуется с [i_л] перед палатализованными и с [i_т] перед непалатализованными смычными и носовыми: [пл'š-i] — *носи* || [пл'š-i_лт̄] — *носить* || [пл'š-i_т-ткл] — *носи-тко*. Этот гласный чередуется с [ш] после непалатализованных: [i_тгл] — *игло* || [рл'dшгэм] — *под иглом* (см. также чередования [ш]), и с [ɪ] в безударных слогах: [m̄iл] — *мило* || [m̄iа] — *(она) мила*.

7) Гласный [e] чередуется с [e_л] перед палатализованными: [d̄et] — *дед* || [пл'de_лд-е] — *на дедё*; с [ɛ] между непалатализованными: [et̄et̄] — *этот* || [s̄ ɛt̄et̄] — *с этот*; и с [ë] при тех же условиях после губных (у некоторых говорящих): [v̄ ɛt̄et̄] — *в этот*. Этот гласный чередуется с [ɪ] в безударных слогах после палатализованных и с [ə] после непалатализованных: [st̄en-ə] — *стёны* || [st̄i'n-а] — *стенá*; [ts̄en-ə] — *цёны* || [ts̄en-'а] — *ценá*.

8) Гласный [a] чередуется с [a] перед палатализованными: [da-п] — *дан* || [da-т̄] — *дать*. В безударных слогах: а) после непалатализованных [a] чередуется с [ʌ] в первом предударном слоге или в конечном открытом, и с [ə] во всех остальных положениях: [sat] — *сад* || [s̄ad-ʌ] — *сада*, [rap] — *раб* || [rʌ'b-а] — *раба*; [da-п] — *дан* || [ɔd:ə-п] — *отдан*; б) после палатализованных во всех остальных позициях он чередуется с [ɪ]: [r̄at-] — *ряд* || [r̄i'd-ш] — *ряды*. Сочетание [ja] чередуется с [æ] в безударных слогах: вместо [t̄ʃaj-ʌ] — *чая* (ожидаемая форма от [t̄ʃaj̄] — *чай*) говорят [t̄ʃaæ].

9) Гласный [u] чередуется с [ü] в безударных слогах: [d̄ur-] — *дуб* || [d̄y'b-ш] — *дубы*. Сочетание [ju] чередуется с [y] в безударных слогах: вместо [t̄ʃaj-u] — *чаю* говорят [t̄ʃay].

10) Гласный [ш] чередуется с [i] перед палатализованными и после [ʃ, ʒ]: [ja 'bш̄] — *я был* || [b̄i-т̄] — *быть*; и с [ə] в безударных слогах: [r̄гшb-ʌ] — *рыба* || [r̄гə'b-ак] — *рыбак*.

Гласный [ɔ] никогда не встречается в безударном слоге.^{7*}

⁷ Чередования [ɔ] с [ʌ] и [ə] (в тех же условиях, что и для [a]), с моей точки зрения, не являются новыми.

Обычно слог, носящий на себе так называемое «словесное ударение», представляют себе или самым сильным («динамическое¹ ударение»), или самым высоким («музыкальное ударение»), или самым долгим («квантитативное ударение»).

В идеале, если только так можно выразиться, ударяемый слог является и самым сильным, и самым высоким, и самым долгим (для простоты я буду иметь в виду лишь слоговой элемент слога). Таким безусловно и является так называемое французское «ритмическое ударение».² По-видимому, приблизительно так дело обстоит и в английском: во всяком случае долгие гласные несомненно сокращаются в безударном положении, а краткие, может быть, удлиняются под ударением.

Однако в большинстве случаев дело не обстоит так просто. Начнем с русского языка. Фраза *Тут брат взял нож* состоит из четырех ударенных слогов, так как в ней нет ни одного безударного (проклитического или энклитического) слова. Следовательно, в этой фразе не может быть и речи об ударенном слоге как наиболее сильном, высоком или долгом, и приходится признать, что в русском языке «ударение» — чисто качественное явление. Это некое свойство слога, которым он может обладать или не обладать. Иначе говоря, любой слог и даже любой гласный можно отдельно произнести с ударением или без него, и это действительно нетрудно осуществить при некоторой тренировке.

В чем состоит это «свойство» и каковы его варианты, можно выяснить только экспериментально. Однако и путем простого наблюдения как будто можно уже догадаться, что оно сводится к выделению начала ударного гласного, к своеобразному «удару» на это начало. Нормально с этим свойством связывается усиление и удлинение всего гласного по сравнению с соседними неударенными слогами. По-видимому, при этом ни усиление, ни удлинение сами по себе не могут быть субститутами «ударности» гласного; но это еще требует дальнейшего исследования. Зато уже и сейчас несомненно, что выделение начала гласного

¹ «Динамическое» ударение чаще всего по традиции называют «экспираторным». Однако это вызывает неправильные представления о механизме динамического ударения, как это разъяснил еще Форхгаммер-старший (см. обо всем этом у Есперсена [O. Jespersen. *Lehrbuch der Phonetik.*² Leipzig und Berlin, 1913, S. 116]), и я предпочитаю не употреблять этого термина.

² Как мною едва ли не впервые показано в моей «Фонетике французского языка», по-французски нет словесного ударения в строгом смысле этого слова, а так называемое «ритмическое ударение» по своей семантической направленности является «синтагматическим ударением» (то есть в идеале характеризует последний слог синтагм), хотя пережиточно еще и носит явные следы своего происхождения из словесного ударения.

под ударением в русском языке сопровождается сильной напряженностью всей артикуляции гласного (а может быть, к ней и сводится), которая, однако, падает при всяком продлении гласного в связи с эмфатическим акцентом, с интонацией удивления, в пении или по любым другим причинам. С этой напряженностью связан особый качественный оттенок самого гласного, который может быть разным в зависимости от соседства. Таким образом, в русском языке качественно различаются гласные ударенные и неударенные; [a] ударенное (переднее) и [á] неударенное (отодвинутое назад, но не [ɑ]), [á] Богородицкого, [α] Шахматова, [Λ]³ моих старых транскрипций, [ǎ] Бодуэна; ударенное [ε], [¹ε], [e], [e̞] (в зависимости от соседства) и [è] неударенное (отодвинутое назад), [ě] Бодуэна; разные (в зависимости от соседства) оттенки [i] ударенного и [i̞] (отодвинутое назад), [i] моих старых транскрипций, [ь] Богородицкого (которому, впрочем, присваивается обыкновенно качество иррациональности), [i̞] Бодуэна; [ʊ] ударенное и [ù] неударенное (выдвинутое вперед), [u] моих старых транскрипций, [ǔ] Бодуэна; [ы] ударенное (смешанное, но с подогнутым концом языка) и [ы̞] неударенное (чистое смешанное), [ǚ] Бодуэна.

Все эти артикуляции иллюстрируются приводимыми схемами, сделанными в лаборатории экспериментальной фонетики Ленинградского университета и претендующими на некоторую реальность.

РАЗБОР КНИГИ М. Е. ХВАТЦЕВА «ЛОГОПЕДИЯ»
 («НЕДОСТАТКИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ»
 ИЗД. 2-е, ПЕРЕРАБ. М., 1939)

1. Книга М. Е. Хватцева «Недостатки речи у детей и их устранение» вышла вторым изданием. Это является объективным доказательством появившегося у нас спроса на подобного рода пособия, а следовательно, и того, что логопедия начинает понемногу входить в обиход школы и в сознание школьных работников. К сожалению, подобных книг и пособий пока еще очень мало, и книгу Хватцева надо всячески приветствовать как первую и единственную в этом роде. Ее надо особенно приветствовать еще и потому, что она написана учителем русского языка по профессии и филологом по образованию.

6. Следующая глава «Образование звуков речи и их классификация» тоже должна быть одной из основных. И в ней

³ Несомненно, что [a] неударенное колеблется в зависимости от тщательности артикуляции между [á] и [Λ], являясь [á] лишь в «идеале».

действительно упомянуто почти о всех русских звуках речи. Однако она написана слишком кратко. К тому же в ней есть неточности, пропуски, недомолвки и просто ошибки.

Так, никто больше не уподобляет действие голосовых связок действию струн (для последнего нужна, между прочим, дека): это басня, которую давно пора выгнать со страниц популярных учебников, но которая почему-то там до сих пор держится. Голос получается в гортани по принципу язычковых труб — это важно понимать, между прочим, и для учения о тембрах (грудной, фальцет и т. п.).

«Вторая препона», т. е. мягкое нёбо, и «третий ряд препон» (употребляя термины автора), т. е. поднятый кверху язык, не равноценны друг другу по функции, как это можно думать по изложению автора: поднятое мягкое нёбо лишь выключает носовой резонатор, а поднятый язык является звукообразующим органом.

Поднятый кверху язык образует не только *г, ж, л, р, д, з* (звонкие), но и звук *й* (т. е. *j*).

Таблица 1 (классификация звуков русского языка) явно стоит под влиянием таблицы Богородицкого, но много выиграла бы, если бы была заимствована целиком, без изменений: у Богородицкого (в «Очерках [по языковедению и русскому языку]») она стройнее и последовательнее, а потому поучительнее. Однако грубых ошибок в таблице Хватцева только три: *й* надо было поместить в плавные; русские *г, к, х* (мягкие) — вовсе не среднеязычные, — а такие тоже есть, например, в латышском, — а средне-заднеязычные, как они названы у Богородицкого (на самом же деле вопрос сложнее); *щ* не отдельный звук.

В примечаниях к таблице упущено, что *ц* в русском языке всегда твердое; буквы *е, я, ю, ё* неосторожно названы звуками, и непоследовательно затронут вопрос о неударных гласных, который должен был бы трактоваться в разделе «Изменяемость гласных».

7. В разделе «Изменяемость гласных» все формулировки неточны; но хуже всего утверждение, будто гласный придает предшествующему согласному звонкость. Как же быть со словом *сахар*, например, и со всей массой подобных слов, где перед гласными стоят глухие согласные? Очевидно, автор имел в виду правило правописания, согласно которому для определения того, какую букву (согласную) надо писать на конце слова или перед другими согласными, необходимо так изменить слово, чтобы после «сомнительного» согласного стоял гласный. Формулировка в книге, очевидно, является результатом какой-то непонятной аберрации.

Совсем неудачен пример со словом *дождь*, в котором автор вовсе не смог разобраться. Дело в том, что это слово имеет

четыре произношения: *дождя*—*дошт*, *дождя*—*дошь*, *дождя*—*дош* (с мягким *ж* и *ш*) и *дождя*—*дошш* (с твердыми *ж* и *ш*). Три первые варианта одинаково допустимы в литературном произношении, последний является явно нелитературным.

8. Третья глава «Законы правильного звукопроизношения» оказалась самой обстоятельной, занимая почти три страницы, и представляет собой изложение общеизвестных орфоэпических правил русского языка. Изложение не всегда точное и четкое, но явных ошибок нет. Непонятно только, какую разницу хочет делать автор в произношении первого слога, например, слов *пятак* и *пяточок* (пункты 7 и 9). Я, конечно, не говорю о том, что в корне не согласен с методом подачи материала всей этой главы, а также с некоторыми отдельными правилами. Так, по-моему, нет никакой надобности говорить *чесы* — это явно диалектальное произношение. Нет также никаких оснований, по-моему, требовать произношений *долгий*, *крепкий*, *тонкий*, *каменную (стену)* и т. п.

9. Наконец, главы четвертая и пятая — «Основные факторы развития правильной речи» и «Какой должна быть речь ученика» — не вызывают никаких замечаний.

Суммируя сказанное об «Общей части», приходится признать, что ее надо кардинальным образом переделать: кое-что просто выкинуть, а кое-что рассказать подробнее и четче.

10. Переходим к «Специальной части», которая, вообще говоря, гораздо лучше «Общей», и в частности ко второму ее разделу — «Косноязычие», где я больше всего могу быть полезным автору. В заключительном конце второй части («причина косноязычия») автор правильно указывает, что видимые анатомические недостатки органов речи в громадном большинстве случаев не мешают воспитанию правильной речи и не требуют оперативного вмешательства, кроме таких случаев, как волчья пасть, заячья губа и т. п. Я бы даже несколько больше развил это положение, так как здесь ведь лежит центр тяжести всей логопедии как новой дисциплины и здесь нужна еще пропаганда, и не только среди педагогов, а, может быть, даже среди врачей, неспециалистов в этой области.

11. Обращаюсь к звукам *с* и *з*. Автор и здесь, как и при описании других звуков, описывает одно из возможных *с* и не старается выяснить читателю главный момент артикуляции, которая и обуславливает характерный для данного звука шум.

В самом деле при звуке *с* положение губ и даже степень раскрытия межзубной щели совершенно безразличны. Растяжение губ несколько повышает окраску *с*, что особенно характерно специально для французского акцента; но можно получать прекрасные *с* и при округлении губ; таковы лабиализованные *с* перед *у* и перед *о*, например в словах *суд*, *сон*. Минимальная

межзубная щель является просто самым экономным способом артикуляции, но вовсе не существенна для нее. Упирать кончик языка в нижние зубы вовсе не обязательно: для английского это давало бы даже фальшивый акцент, а между тем английский язык отличает *s* не только от *ш*, но и от особого звука, обозначаемого буквами *th*. Суть артикуляции *s* состоит в образовании довольно короткой, но очень узенькой щели между передней частью спинки языка и альвеолами (последнее только потому, что это выдающееся место на нёбе и на нем проще всего благодаря этому образовать нужную щель). Чем уже щель (желобок), тем лучше выходит *s*; чем щель шире, тем больше *s* начинает походить на английское *th*. Отсюда и методика: опирая конец языка в нижние резцы, возможно сильнее выгортливает переднюю часть спинки языка по направлению к альвеолам. Упор о нижние резцы дает возможность относительно с большей силой это делать. Особым зондом (зонд Гутцмана, по-французски эти зонды называются вообще *guide-langue*) можно у людей, плохо владеющих своими речевыми органами, не позволить кончику языка подниматься тоже кверху. Когда искомая артикуляция станет привычной, зонд становится лишним.

В связи с изложенным палатограмма и схема артикуляции неверны. Самое большое, что может выйти при изображенной на схеме артикуляции, — это *x*-образный шум. Что касается палатограммы, то она технически не удалась автору.¹

12. Относительно недостатков произношения *s* и *з* надо сказать следующее.

1) При высунутом между зубами кончике языка можно давать вполне приличное *s*, но, конечно, высовывать его все же не надо, так как это может загромаздить выходное отверстие. Кроме того, конечно, не надо заменять щели на альвеолах щелью между языком и верхними резцами. Правда, при наличии плотного ряда верхних резцов можно все же ухитриться произнести и на зубах *s*, которое можно узнать, однако в большинстве случаев щель будет чересчур широкая и получаемый звук будет походить на английское *th*. Между прочим, этому последнему так и обучают (хотя настоящее английское *th* произносится несколько иначе) и даже в фонетику оно вошло с нелепым названием «межзубного» *s*.

2) Само собой разумеется, что если вместо щели сделать смычку, то получится не щелевой, а соответственный смычный звук, т. е. *т* или *д*.

¹ В подстрочном примечании к палатограмме автор ошибся: простой штриховкой обозначено место касания при мягких *сь* и *зь*, а двойной — при твердых. Между прочим, думается, что русские *s* и *з* при прочих равных условиях не должны совпадать на палатограмме.

3) *сь* и *зь* получаются не от слишком выгорбленной спинки, так думает автор, а от отсутствия дифференциации в этой выгорбленности. Для того чтобы не получилось мягких *сь*, *зь*, надо, сохраняя максимальную выгорбленность в передней части спинки языка, резко опустить среднюю ее часть. Трудностью этой дифференциации и объясняется, почему при физиологическом косноязычии *с* и *з* заменяются через *сь* и *зь*, о чем говорит и автор на странице 6.

4) Действительно, если спинка выгорблена, но только вовсе не слишком, а на большом сравнительно участке, так что звукообразующая щель получается длинная и широкая, то вместо *с*, *з* будут звучать *ш* и *ж* особого типа (вроде английских).

5) Данный тип дефектного произношения (с элементами *ль*) описан в общем верно; только в субституте звонкого *з* произносится не украинское *з* (о котором см. ниже), а мягкое звонкое *х*.

13. Артикуляция обоих типов *ш*, *ж* описана вполне правильно. Надо только добавить, что у первого типа два звукообразующих фокуса: один — у альвеол и другой — между задней частью спинки языка и нёбом. Таким образом, наше обычное *ш* состоит из одновременно производимого предъязычного шума типа английского *th* (щель широкая) и звука *х*. Схема и палатограмма верны. О втором типе *ш* уже сказано выше под цифрой «4».

14. Что касается *щ*, то автор прав, что надо ставить *щ* равным *шч*, а не *шьшь*: это проще, так как не надо обучать особому мягкому *ш*; в сочетании же *шч* звук *ш* сам собой будет всегда таким, каким является у ученика следующее *ч*.

15. *Ц* и *ч* не вызывают особых замечаний с моей стороны, кроме того, что, поскольку $ц = т + с$, все сказанное выше про *с* относится, конечно, и к *ц* и что, следовательно, схема рисунка 30 и палатограмма рисунка 32 во вторых своих частях неверны.

Самое главное в аффрикатах, так называются слитные *ц* и *ч* (но не *щ*, которое обозначает просто группу двух звуков), — это момент слияния: надо уметь все же отличить группы *тса* и *тьша* от *ца* и *ча*. Различие состоит в том, что в группах смычный элемент имеет свой взрыв, а в аффрикатах его вовсе нет, причем в русских аффрикатах щелевой элемент очень краток и не может быть продлен.

16. Артикуляция *р* описана правильно; схема и палатограмма удовлетворительны. Следует только прибавить, что и в нормальном русском языке *р* не одинаково в разных положениях: настоящее раскатистое *р* с двумя, тремя ударами произносится только на конце слов и после смычных; во всех остальных положениях оно имеет по большей части один удар,

а между гласными более чем одноударное *p* производит уже странное впечатление.

Далее нужно сказать, что «картавое» *p* — понятие очень неопределенное, так как под него подводят совершенно различные по образованию звуки. Надо иметь в виду следующее: *p* может быть раскатистым — многоударным, одноударным и безударным, т. е. просто щелевым согласным. Последнее имеет место в английском языке и при некоторых видах так называемого «картавого» *p* (о чем см. ниже). Оба разряда могут быть плавными, т. е. не иметь местных шумов, и шумными, т. е. сопровождаться звуком соответственного щелевого согласного, образующегося на месте образования ударов. Наилучшим примером бесшумного многоударного *p* является итальянское *p*, а наилучшим примером шумного многоударного *p* является чешское переднеязычное *ř*. Плавное, т. е. бесшумное, раскатистое язычковое *p* является превосходным заменителем русского переднеязычного *p* и если не имеет большего, чем полагается в русском языке, числа ударов, то почти что не замечается невнимательным наблюдателем, и переучивать его было бы, конечно, совершенно бессмысленно. Зато явно «картаво», хотя и очень приятно, звучит плавное (бесшумное) звонкое *x*, которое является основным типом так называемого парижского *p*. Другой тип парижского *p* представляет собой безударное плавное язычковое *p*. Для французского языка вообще неприемлемы многоударные и шумные варианты. В рамках разбора учебника по логопедии я не могу, конечно, дать полной теории звука *p*, так как это составило бы целую монографию, а потому в заключение скажу только, что овладение раскатистым переднеязычным *p* — вещь нелегкая и что задача логопеда состоит в том, чтобы развить эластичность кончика языка: при *p* он действует наподобие стальной пружинки, причем совершенно не требуется его соприкосновения с нёбом, так что представление *p* как ряда очень кратких *д* в корне неверно. Однако в Западной Европе при усвоении переднеязычного *p* принято исходить от повторения звука *д* (*дддд. . .*), лишь слегка касаясь альвеол.

17. Артикуляция *л* твердого описана правильно, но описание артикуляции *ль*-мягкого просто малопонятно. На самом же деле разница, как всегда, состоит в том, что при мягком *ль* средняя часть спинки языка подымается к нёбу.

Пункт 4 (о «шепелявом» *л*) изложен совершенно непонятно, и когда и почему так надо поступать — неясно.

18. Артикуляция звуков *к*, *г*, *х* описана правильно, и рисунки в общем верны (только в схеме представлены очень глубокие *к*, *г*, а на палатограмме скорее передние). Способ усвоения *к*, *г*, указанный автором в пункте 2, действителен.

На палатограмме рисунка 50 (простая штриховка) вместо *х* дана артикуляция немецкого *ich-Laut*'а, т. е. глухого *й* (справедливость этого подтверждается сравнением палатограмм). Я встречал такое произношение, но считаю его диалектальным. На рисунке 51 у Хватцева дано не произношение русского *кя*, а произношение, например, латышского среднеязычного *к*, т. е. не смягченного заднеязычного, а просто среднеязычного, что далеко не одно и то же и на слух.

19. Артикуляция *й* указана неправильно: уже на схемах рисунков 49 и 52 видно, что автор смешивает *х* твердое и *й*, что, конечно, не имеет никакого основания в действительности. В схеме рисунка 52 звукообразующую щель надо перенести вперед на твердое нёбо, и делается она не задней частью спинки языка, а средней. В этом смысле правильную идею о части языка, производящей смычку, и о ее месте дает рисунок 51, средняя схема (*кя*).

20. Артикуляция русских *т*, *д*, *н* дана в схеме рисунка 54 совершенно неправильно. Это какие-то какуминальные *т*, *д*, *н*, а вовсе не дорсальные, каковыми являются соответственные русские звуки. Палатограмма рисунка 56 правильна.

Однако на палатограмме должно бы ярко сказаться отличие звонких от глухих и чистых от носовых. Дело в том, что русские глухие согласные являются, как и в большинстве языков, многовоздушными (голосовая щель более или менее сужена). Благодаря этому смычка при глухих смычных гораздо энергичнее, чем при звонких смычных, в соответствии с чем самая зона смычки при первых будет значительно больше, чем при вторых.² Что касается носовых, то при них большая часть воздуха уходит через нос, а поэтому смычка при них будет еще более ослаблена.

При щелевых согласных результат будет другой: так как их акустический эффект состоит только в шуме трения и воздуха при звонких щелевых может оказаться недостаточно для его возбуждения, то щель при них иногда приходится сужать, а следовательно, зону соприкосновения увеличивать. Все это довольно важно знать и логопеду.

21. Описание артикуляции *ф* и *в* дано правильное; но схема рисунка 57 дает *ф* одновременно с глубоким *х*, и в этом смысле положение языка указано лучше на схеме рисунка 60. То же надо сказать и о палатограмме рисунка 59 (мягкое *фь* и *вь* на палатограмме даны правильно), но я, не зная субъекта этой

² В связи с этим и самый шум у глухих будет гораздо сильнее, чем у звонких, почему немецкие фонетики и языковеды называют глухие согласные сильными, а еще чаще твердыми, а звонкие согласные — слабыми, а чаще мягкими,

палатограммы, затрудняюсь что-нибудь сказать о происхождении на ней ³ двойной штриховки.

22. Артикуляция *п, б, м* дана правильно.

23. Что касается звонкости, то общий прием ее усвоения указан правильный. Однако если ученик может давать голос, то следует, по-моему, заставить его осознать переход от шепота к голосу и затем применять осознанное движение и при переходе от глухого согласного к звонкому. Только надо помнить, что при этом переходе ротовая артикуляция обязательно должна быть значительно ослаблена — иначе трудно будет сблизить в достаточной мере голосовые связки (см. сказанное выше о слабости артикуляции звонких смычных).

24. Артикуляция гласных *а, о* (ударного), *у* на схемах рисунков 64, 66 и 68 показана удовлетворительно. Схема для *и, э, ы* (рис. 70, 72, 74) не годится.

Если гласный *и* произносится близко к *э*, то дело не в артикуляции губ, как думает автор, а в положении языка: растяжение губ немного повышает собственный тон гласного, но не в состоянии перевести *э* в *и*.

Описание метода постановки гласного *ы* очень неточно, поскольку представление автора о самой артикуляции этого гласного неверное; однако при контроле слуха и таким методом, быть может, получаются желаемые результаты.

25. Заканчивая критический обзор важнейшего отдела книги «Косноязычие», я должен лишь прибавить, что схематические рисунки лица при разных звуках мне кажутся неудовлетворительными, так как утрируют губную артикуляцию: она должна быть выразительной, но естественной.

27. Что касается раздела III — «Недостатки речи на почве фонетических особенностей разных диалектов и национальных языков», — то автор лучше всего сделает, если его пропустит. Это большой, трудный вопрос, который никак не входит в задачи книги. Тут надо только на нескольких удачно выбранных примерах показать, что подобные недостатки речи никоим образом не являются патологическими.

Остальное содержание книги не требует моих специальных знаний, а потому я могу здесь и остановиться.

³ То же относится и к палатограмме рисунка 63.

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ДИСЦИПЛИН, ИЗУЧАЮЩИХ ЗВУКИ РЕЧИ

Звуки человеческой речи могут быть рассматриваемы, как известно, с двух точек зрения: с одной стороны, именно как звуки, т. е. с чисто акустической точки зрения, а с другой — как те или иные действия органов, необходимые для произведения этих звуков. Следы этого исконного двойного подхода к звукам речи широко отражены в соответствующей терминологии: мгновенные и длительные — термины очевидно акустические; смычные и щелевые (Engelaute) — физиологические и даже механические. Губные, зубные, нёбные и т. п. — термины явно анатомио-физиологические. В науке о звуках человеческой речи до сих пор господствовала последняя точка зрения. Это находится в связи с тем, что акустика звуков речи почти что не разрабатывалась,¹ тогда как механизму звукопроизводства издавна уделялось большое внимание из-за практического применения результатов соответственного научного исследования к делу воспитания речи у глухонемых (начиная с XVI в.) и к делу обучения живому иностранному языку (начиная со второй половины XIX в.). Может показаться странным это изучение «звуков» не в их звучании, а в действиях некоего механизма, каким являются наши речевые органы. Однако это вполне оправдывается той неразрывной связью между двумя рядами явлений, которая образуется у человека и благодаря которой в процессе мышления акустические образы могут заменяться двигательными и наоборот.

Как известно, у хорошо грамотного человека в подобную же, хотя, конечно, и менее неразрывную связь вступает и зрительный ряд знаков, служащих для изображения звуковой речи (т. е. букв), а также действия руки, потребные для написания этих знаков. Соответственные образы в процессе мышления тоже могут заменять акустические образы звуков речи. Это обнаруживается между прочим в том, что, имея в сущности в виду звуки речи, часто говорят о буквах, и в целом ряде случаев такая подмена не приводит ни к каким недоразумениям. Ниже мы увидим, что возможность говорить о буквах вместо звуков, по крайней мере в каком-то определенном разрезе, имеет еще и другие, более глубокие основания.

Однако ввиду сложности отношений между звуками и буквами, как например в русском или английском языках (а в меньшей мере и во всех языках), эта подмена ведет зачастую и к эле-

¹ Это справедливо, несмотря на несколько крупных имен, как Гельмгольц, Герман, Штумпф и несколько других, менее известных, которые, однако, все остаются единицами. Только в настоящее время успехи радиотехники вызвали большое оживление в этой области.

ментарным, а иногда прямо чудовищным ошибкам, лишаящим все рассуждения автора какой-либо научной ценности. Можно назвать, например, целый ряд очень почтенных с виду работ, которые говорят о гласных *я*, *ю* и т. п. и делают соответственные наблюдения и выводы. Между тем это не гласные, а буквы, которые в одних случаях обозначают действительно гласные, а в других — слоги, состоящие из согласного *й* (*j*) + гласные *а* или *у*. Да и в тех случаях, когда они обозначают гласные, дело обстоит очень сложно, так как с точки зрения строя русского языка (или, как теперь говорят, с «фонологической» точки зрения) они обозначают просто гласные *а*, *у*, а с точки зрения антропофонической они обозначают сложные образования (но не равные *я*, *ю* в словах *яма*, *юг*), отдельно в русском языке не произносимые. Часть этих образований служит для восприятия мягкого качества предшествующего согласного, а часть функционирует морфологически и семантически в роли гласных *а* и *у*. Я сошлюсь на работу проф. Мороховца «Основные звуки человеческой речи и универсальный алфавит», [М.,] 1906, и на разрушительную ее критику проф. А. И. Томсоном в ЖМНП [1907, ч. VII, стр. 395—407, ч. VIII, стр. 172—201].

Уже эти примеры и соображения показывают, что хотя в некоторых пределах и можно говорить о звуках человеческой речи с какой-то только одной точки зрения — акустической, механическо-физиологической или даже графической, — однако это может повести и не раз приводило к печальным последствиям.

Впрочем, смешение звуков речи с буквами хотя и оказывается, к сожалению, весьма распространенной ошибкой как среди естественников, так даже и среди языковедов, однако в том аспекте, как оно было только что представлено, является чересчур элементарным. Гораздо важнее другие недоразумения, вскрытию которых собственно и посвящена настоящая статья.

Но прежде чем перейти к этому вопросу, я скажу несколько слов о том, что и смешение звуков с движениями органов речи, т. е. подмена акустического анализа физиологическим, нашедшее себе такое широкое отражение в учебниках фонетики, является источником для всяких заблуждений. Действительно, увлекаясь дробной классификацией звуков по месту их образования, зачастую исследователи совершенно упускают из виду акустическое значение этой классификации. Очень часто артикуляционное различие, имеющее место благодаря каким-либо сопутствующим моментам, приписывается тому, что не имеет особого акустического значения. Так, в самом названии «интердентальные» отразилась подмена характера щели ее местом, которое в известных пределах в данном случае неважно. Вопрос о «полиморфизме», т. е. возможности получать сходные

звуковые эффекты разными артикуляциями, совершенно забыт, и только интересная книга «The Vowel» (1928) американца Рассела (Russell), — с практическим выводом которого я, впрочем, не согласен, — ставит его снова во весь рост.

Перехожу к самому главному. Звуки человеческой речи могут быть изучаемы совершенно независимо не только от того, как они возникают, но и независимо от того, как они воспринимаются. Может быть совершенно объективно изучаемо то колебательное движение, которое аффицирует наше ухо, и даже далее — трансформации этого движения, которые оно претерпевает в органе слуха до момента превращения в нервное возбуждение. С этого в общем обязательно должно начинаться всякое акустическое исследование звуков речи, а потому назовем эту точку зрения *акустической*.

Параллельно этому в области звукообразования мы можем рассматривать его механизм у человека тоже совершенно независимо от того, как этот механизм приводится в движение. Иначе говоря, мы можем рассматривать действия речевого аппарата лишь с точки зрения их звукового эффекта, в таком же аспекте, в каком мы можем рассматривать действие любого звукопроизводящего прибора, например любого музыкального инструмента.

Надо сказать, что в так называемой физиологии речи, а также в традиционной фонетике это основной подход. Назовем его *анатомо-механическим* или просто *механическим*, а соединяя его с акустическим, их оба вместе — *акустико-механическим*.

Но можно пойти дальше и в том и в другом направлении. Можно рассматривать звук как физиологическое явление, как явление деятельности нашей нервной системы (в том числе и прежде всего, конечно, и центральной), как восприятие. Здесь исследовательские возможности обстоят до сих пор довольно плачевно, но все же по крайней мере соотношение внешних раздражений и восприятий давно изучается в психофизиологии звука (ср. классическую, но уже, конечно, устаревшую книгу Штумпфа ([K.] S t u m p f. Tonpsychologie [Leipzig], 1890) и сравнительно недавно вышедшую его же «Sprachlaute» [Berlin], 1926, или книгу Йенша (R. J a e n s c h. [Untersuchungen über] Grundfragen der Akustik [Leipzig], 1929) и многие другие).

Как уже было сказано выше, успехи телефонии и особенно радиотехники сделали эти исследования весьма актуальными, ибо соотношения «звука объективного» и «звука субъективного», или иначе «звука механическо-акустического» и «звука физиологического», оказались крайне сложными. Этим вопросам в последнее время посвящено много капитальных исследований (укажу на ориентирующую книгу Флетчера: F l e t-

с h e r. Speech and Hearing. [London,] 1929). Назову эту точку зрения физиологическо-акустической.

Но и в области звукопроизводства можно указать на нечто параллельное. Наш речевой аппарат приводится в движение мышцами, а мышцы иннервируются в конце концов из центральной нервной системы. Здесь, надо сказать, дело обстоит едва ли не еще плачевнее. В конце концов физиологи не ушли в этом направлении много дальше знаменитых в свое время книг Меркеля.² Между тем совершенно очевидно, что, поскольку «речь есть энергия», движение, нас интересовать должен больше всего внутренний механизм действий человеческого речевого аппарата, его мускулатуры и нервной системы. Очевидно, что, только хорошо зная этот механизм, мы сможем устранять всякие дефекты его действия, а главное — понимать причины изменений в этих действиях в разных условиях. Назовем эту точку зрения физиологической.

Но этими точками зрения не исчерпываются возможные подходы к звукам речи. В самом деле, *a*, сказанное громким голосом, *a*, сказанное шепотом, *a*, сказанное на низких или высоких нотах, со всех четырех вышеизложенных точек зрения будут совершенно разными явлениями; с точки же зрения русского языка все они будут одним русским словом — вопросительной частицей *a*. С другой стороны, одно и то же слово *a*, произнесенное грудным голосом или фальцетом, для профессионального музыканта будет разными явлениями. Одни и те же звуки могут оказаться разными в зависимости от той роли, которую они играют в настоящей жизни, от той функции, которую они выполняют. Назовем поэтому эту точку зрения функциональной. Ее, однако, можно назвать и социальной, ибо ту или другую роль звуки приобретают в жизни общества, благодаря взаимодействию индивидов. Поскольку дело идет о звуках речи, т. е. поскольку они функционируют как средства взаимопонимания в процессе речи, постольку эту точку зрения можно назвать лингвистической.

Поскольку в процессе речи все дело сводится к узнаванию звуков, т. е. к несмещению их с другими, постольку каждый звук речи данного языка определяется не всеми своими качествами, а лишь теми, которые противопоставляются качествам каждого из остальных звуков речи этого языка. Поэтому в русском языке гнусавость *a* есть случайное явление и не

² Это, конечно, на самом деле не так: с тех пор вышло громадное количество работ в этой области. Однако, читая современные сводки хотя бы у Нагеля или у Гуцмана *, не можешь удержаться от невольного восклицания: Как мало все же нового, непосредственно применимого, например, в языковедении!

играет никакой лингвистической роли; во французском же это то, что отличает слово *temps* от слова *ta*. Поэтому *a* носовое (или носовое) в русском не представляет из себя особого звука речи, а во французском это особый звук речи, или особая фонема, как говорят в последнее время в лингвистике.

Благодаря всему этому число звуков речи каждого данного языка определяется не числом могущих быть в нем различными с акустико-механической, или физиологическо-акустической, или физиологической точек зрения звуковых вариантов, а числом звуков, могущих самостоятельно дифференцировать слова. По-русски мы произносим носовое (носовое) *a* между двумя носовыми, например в слове *мама*, и нормально даже не замечаем этого, так как в этом положении нельзя по-русски произнести чистого *a*, так как в каком-либо другом положении его даже и выговорить трудно русскому человеку. По-французски же оно возможно в любом положении (см. выше). По-русски в словах *пат* (в шахматах) и *спать* произносятся разные *a* (в зависимости от следующего согласного), но эти звуки не являются в русском самостоятельными звуками речи, фонемами, тогда как во французском приблизительно аналогичные оттенки образуют отдельные звуки речи, будучи в состоянии дифференцировать слова, например: *pâte* 'тесто' и *patte* 'лапа'.

Отсюда вытекает, что если в данном языке каждому отдельному звуку речи, т. е. каждому звуку, способному самостоятельно дифференцировать слова, отвечает отдельная буква (что в общем очень редко бывает в языках), то в каких-то пределах вполне возможно говорить о буквах вместо звуков речи — все случайные явления, не играющие в системе данного языка дифференцирующей роли, будут исключены, ибо они никогда не находят себе отражения на письме.

Но отсюда же вытекает и то, что нет единой системы букв для всех языков и что, например, буква *o* сама по себе ничего не значит, но в системе латинского алфавита она что-то значит, ибо это звук, имеющий более низкую характеристику, чем *a*, и более высокую, чем *u* (латинское). Думать, что есть *o* вообще, является элементарной ошибкой, так как во многих языках есть два звука (способных дифференцировать слова), которые относительно друг с другом один ближе к *a*, а другой ближе к *u*; *o* немецкого *Grobian* воспринимается нами как *u* (ср. русское заимствование *грубиян*), а *o* немецкого *Vorposten* — как *o* (ср. русское *форпост*). Гласный звук английского слова *man* для французов сближается с гласным звуком в их словах *patte*, *ma*, *ta* и т. д. (но не с гласным в словах *pâte*, *pas*, *mât* и т. д.), а для русских — с *э* в словах *этот*, *это* и т. д. Оценка на слух различных звуков, получаемых посредством замечательного

интерференционного прибора Штумпфа лицами с разными национальными языками, получится разная, — если, конечно, они не условятся оценивать их с точки зрения одного языка (что, конечно, требует отличного знания этого языка). Неучет всех этих обстоятельств портит зачастую самые лучшие экспериментальные работы, и даже такая прекрасная книга, какой является «Sprachlaute» Штумпфа, не свободна от этих недостатков.

Из всего сказанного я хочу сделать вывод, что «звуками речи» должна заниматься особая наука, которую надо отличать от физиологической акустики и от физиологии речи и которая должна базироваться не только на данных физиологии, но и на данных акустики (в широком смысле слова) и особенно лингвистики. Науку эту можно по-старому называть «фонетикой», помня, однако, о ее сложной природе. Эта наука должна, по-моему, быть одной из ведущих дисциплин в сурдопедагогике.

В заключение хочу высказать искреннюю благодарность руководству ЛЭДДИ * за приглашение выступить перед давно знакомой и близкой мне аудиторией. Еще молодым приват-доцентом я имел случай читать фонетику на курсах для учителей глухонемых и всегда считал это самой наглядно-понятной своей деятельностью.

Если представится случай, я с удовольствием выступлю перед этой аудиторией еще и по вопросу о грамматике. Если нормальные дети могут без ущерба для своего умственного здоровья пользоваться традиционной грамматикой, которая преподносится им в элементарных учебниках, то для глухонемых она должна быть совершенно заново пересмотрена в связи со всем тем, что мы знаем теперь в языковедении.

ТЕОРИЯ РУССКОГО ПИСЬМА

Предварительные замечания

Главные стадии развития человеческого письма и основной характер русского письма

Письмо есть средство коммуникации между людьми в тех случаях, когда непосредственное общение для них почему-либо невозможно, т. е. практически когда они разделены пространством (географически) или временем (хронологически). Хотя и на первых ступенях своего развития письмо было, конечно, тесно связано с устным языком, однако связь эта вначале была очень неопределенная: те наивные рисунки, посредством которых первобытный человек пытался передать другим свои мысли, чувства, желания и которые известны под названием пиктографии, можно читать (если не понимать) по-разному. В самом деле, как прочесть эту вывеску, которую когда-то можно было видеть у парикмахера в захолустьях нашего отечества и которая изображала человека с намыленной щекой.¹ *Парикмахерская, Цирюльник, Здесь бреют* (этот последний вариант поддерживается встречающейся на некоторых вывесках припиской — *и кровь отворяют*)? Примеры настоящих пиктографических сообщений малокультурных народов можно найти в любом учебнике по истории письма.

Конечно, и при пиктографии какая-то фраза или фразы устного языка преподносились сознанию пишущего. Однако есть все основания думать, что письмо в данном случае не являлось результатом систематического лингвистического анализа конкретных фраз устного языка на те или другие языковые знаменательные части (например, слова). Этот отрицательный при-

¹ Подобные вывески являются, конечно, пережитком пиктографии, поскольку они понимались как заменители надписей.

знак — независимость письма от того или иного смыслового, но чисто лингвистического членения речи — и надо считать характеристикой той стадии развития письма, которая называется пиктографией.

Следующая стадия развития характеризуется уже большей связью с устным языком: письмо появляется в результате анализа конкретных фраз на знаменательные части (например, слоги); каждая из которых получает свое изображение, сначала реальное, а потом символическое, — свой иероглиф. В связи с этим данная стадия известна под названием и е р о г л и ф и ч е с к о г о п и с ь м а .

Наконец, последняя стадия развития письма характеризуется анализом речи уже на отдельные звуки и звуковые комплексы с их обозначением посредством тех или иных символических знаков — букв. Эта стадия потому и называется з в у к о в ы м п и с ь м о м .²

Само собой разумеется, что все эти стадии являются до известной степени абстракциями. На самом деле между ними в реальных письменностях наблюдается множество переходных случаев, и на практике можно говорить лишь о преобладании того или другого принципа в той или другой письменности определенной эпохи.

Русское письмо наряду с письмом громадного большинства современных литературных языков (кроме, однако, китайского и японского) является настоящим звуковым письмом. Однако и в нем можно вскрыть иероглифические и даже пиктографические элементы. В качестве последних приводят обыкновенно знак + в смысле сложения, знак Δ в геометрическом языке в смысле треугольника и т. д. Иероглифами являются наши цифры, знаки: = 'равно', < 'меньше', > 'больше' и т. п. Мы увидим ниже, что иероглифический принцип играет большую роль в английском правописании, несколько меньшую — во французском и хотя совсем небольшую, но все же играет ее и в русском, и в немецком.

Если мы вдумаемся, однако, хорошенько в современное письмо европейских народов, то придем к заключению, что столь важный в нем элемент, как делимость на слова, тоже является в сущности применением иероглифического принципа. Действительно, границы слов фонетически или ничем не выражены, как например во французском, или выражены настолько слабо, что возможны всякие недоразумения: по-немецки с фонетической точки зрения ничто не заставляет делить *der Vogel singt* так, как это имеет место, и с фонетической

² Что касается слогового письма, то оно является лишь частным случаем звукового.

точки зрения вполне можно было бы написать, например: *Dervo gelsingt*; по-русски *сила рук* вполне можно было бы написать *си ларук*.

В очень многих языках слова как самостоятельная единица определяются словесным ударением. Не говоря уже о том, что в языках со свободным ударением это, как мы только что видели, не определяет границ слова, мы должны были бы, руководствуясь словесным ударением, все энклитики и проклитики не считать за особые слова и писать их слитно со словами, к которым они относятся. По-русски, следовательно, мы должны были бы написать *подстолбм, на́реку, говорíлон, я́ зна́ю что́ты́ приде́шь*; по-немецки *einbúch, wirspréchen, alser-nachhausekát*³ и т. п. Таким образом, белое место между словами, с одной стороны, и дефис, с другой, надо считать за своего рода иероглифы.

Далее, такой знак, как кавычки, надо, конечно, считать иероглифом, так как он решительно ничего не выражает фонетически. Многие запятые в русском, немецком, чешском тоже ничего не выражают и употребляются иероглифически. В сущности даже про такие элементы нашего письма, как знак вопросительный, можно спрашивать себя, что он в первую голову выражает — вопрос или вопросительную интонацию. Это еще более справедливо и по отношению к прочим знакам препинания. То же относится и к прописным буквам после точки. Что касается прописной буквы имен собственных, то она, конечно, является иероглифическим элементом.

Основное деление книги

Чтобы построить теорию русского письма, надо сделать обзор относящегося сюда материала: во-первых, определить звуковые выразительные средства русского языка вообще и выделить те из них, которые нашли себе то или другое обозначение в письме; во-вторых, надо определить те смысловые элементы, которые нашли себе непосредственное обозначение на письме в той или другой степени, минуя звуковое посредство; в-третьих, надо выделить те элементы русского письма, которые имеют только звуковое значение, и те, которые имеют или чисто иероглифическое значение, или смешанное — полужвуковое, полуиероглифическое.

К числу звуковых выразительных средств русского языка относятся прежде всего отдельные звуки речи — согласные и гласные, — длительность (или, как говорят в фонетике, «ко-

³ По-французски *jene puis pas me rappeler*.

личество») звуков, так называемое «словесное ударение», паузы, вообще ритм и, наконец, интонация в самом широком смысле этого слова; хотя и в гораздо меньшей степени, но сюда относится и слоговое строение. Из них на письме нашли себе систематическое обозначение лишь отдельные звуки и их длительность. Интонация и пауза нашли себе в некоторых случаях обозначение в знаках, которые имеют и непосредственное смысловое значение. Слоговое строение обозначается лишь в некоторых случаях (см. ниже).

К числу смысловых элементов, нашедших себе в той или другой степени обозначение на письме, относится прежде всего членение нашей речи на слова, а затем — гораздо менее систематически — различные типы и интонация членения; иногда тот или иной характер связи между отдельными элементами речи; характеристика тех или иных элементов речи как утверждение или вопрос; особая аффективность утверждений, вопросов и особенно приказаний; некоторые социальные характеристики тех или других отрезков речи (например, как чужая речь, как прерванная речь и т. п.).

Что касается элементов письма, то буквы имеют исключительное звуковое значение, а белые пространства между словами, дефисы и так называемые знаки препинания (включая и красную строку) имеют или чисто иероглифическое значение, или смешанное — полузвуковое, полуиероглифическое; сюда же относится и употребление прописных букв.

В связи с только что установленным различием в функциях элементов нашего письма его теорию правильнее всего разбить на две части: 1) употребление знаков, обозначающих звуковые элементы русского языка, и 2) употребление знаков, обозначающих в первую очередь некоторые грамматические и смысловые элементы русского языка. В первом случае это будут в основном знаки для тех звуковых элементов, которые дифференцируют отдельные слова, т. е. буквы; во втором — это будут в основном знаки, характеризующие посредственно или непосредственно синтаксические единицы речи, хотя бы они и состояли из одного слова, т. е. в первую очередь так называемые знаки препинания и вообще небуквенные знаки в письме. В общем это будет отвечать традиционному делению на «правописание⁴ и пунктуацию»; только слитное, дефисное и раздельное написание, а также употребление прописных букв при нашем делении переносится из традиционного правописания в пунктуацию.

⁴ Слово правописание, как видно будет из дальнейшего, я употребляю в более узком, специальном смысле.

Значение и употребление букв русского алфавита

Графика и правописание

Согласно сказанному в предыдущих параграфах, первая часть посвящена буквам русского письма и правилам их употребления. Приглядываясь, однако, ближе к этим так называемым «правилам правописания», можно заметить, что среди них надо различать две категории правил. Одни говорят о значении букв данного языка совершенно независимо от написания тех или других его слов; другие говорят о написании конкретных слов данного языка, которое может находиться в отдельных случаях и в полном противоречии с правилами первой категории.

Так, по-русски в окончании родительного падежа единственного числа мужского и среднего рода прилагательных и местоимений пишется *г* вместо произносимого *в*: *красного, синего, его, самого* и т. п. вместо *красново, синево, ево, самово* и т. д. Однако никому в голову не придет утверждать, что звук *в* в русском языке может изображаться не только через букву *в*, но и через *г*: немецкую фамилию *Wiese* никак нельзя написать по-русски *Гизе*. В написании *красного, его* и т. п. мы имеем, таким образом, дело с правилом второй категории. Наоборот, когда мы пишем русскими буквами китайские географические названия *Яньчэн, Чжэцзян* через букву *э*, то мы поступаем согласно правилам первой категории, которые дают возможность изображать твердость звука *ч* и его звонкой параллели, передаваемой сочетанием *чж*. При этом мы поступаем так вопреки правилам второй категории, по которым после шипящих никогда не пишется буква *э*. Очевидно, что правила второй категории относятся только к русским словам или к словам, ставшим совсем русскими.

Многим кажется, что в словах *вода, голова* и т. п. буква *о* изображает звук *а*, и это фактически, конечно, так. Однако никак нельзя сказать, что в русском алфавите звук *а* в неударенном положении изображается или через букву *а*, или через букву *о*: французскую фамилию *Sardou* никак нельзя написать *Сордү*. И когда мы пишем *о* в словах *вода, голова*, то пишем одну букву вместо другой, сознательно изображая в силу того или иного правила второй категории не тот звук, который на самом деле произносится.

То же самое имеет место и в тех случаях, когда мы на конце слов вместо букв для глухих согласных пишем буквы для соответственных звонких, например *боб* вместо *бон*, *воз* вместо

вос и т. д. Мы это делаем опять-таки не потому, что в русском алфавите буквы для звонких согласных могут изображать в известных случаях и глухие: мы сознательно, в силу определенного правила второй категории, ставим одну букву вместо другой; но никому не придет в голову немецкую фамилию *Roth* написать *Род*, хотя с точки зрения законов русского произношения это и вполне возможно, о чем будет сказано ниже.

Написание *о* вместо *а* и звонких вместо глухих, а в известных случаях и обратно (*просьба* вместо *прозьба*) облегчается тем, что в русском языке нет неударенного *о*, на конце слова в произношении невозможны шумные звонкие согласные (*б, в, д, з, ж, г*), а перед шумным, кроме *в*, в произношении возможны лишь однородные согласные, т. е. звонкие перед звонкими и глухие перед глухими. Однако все это нас несколько не уполномочивает говорить, что буквы русского алфавита *о, б, в, д, з, ж, г*, а в конце концов и *п, ф, т, с, ш, ц, ч, к, х* (ср. *отдать* вместо *оддать*, *к дому* вместо *г дому* и т. д.) двусмысленны, т. е. имеют два звуковых значения, а именно: буква *о* — значение *о* и *а*, буква *б* — значение *б* и *п*, буква *в* — значение *в* и *ф* и т. д.

Явления, аналогичные только что описанным, имеются в письменности многих языков. Так, во французском алфавите буквы *с* и *г* перед буквами *е, и, у* обозначают звуки, близкие к русским *с* и *ж*, и звуки, близкие к русским *к* и *г*, во всех остальных случаях: *cil* 'ресница', *genou* 'колени', *cas* 'случай', *gare* 'вокзал'; и это является правилом алфавита, совершенно не зависящим от написания тех или иных конкретных слов. Но в слове *femme*, произношение которого русскими буквами можно было бы изобразить *фам*, пишется *e* вместо *a* исключительно в силу правила второй категории, т. е. в силу истории этого слова, происходящего от латинского *femina*, и никак нельзя сказать, что буква *e* перед *mm* вообще произносится, как буква *a* (ср. слова *lemme*, *gemme*, где буква *e* имеет обычное для этого положения значение). В немецком языке, кроме случаев, аналогичных русским в области согласных, имеются и другие, аналогичные случаям различения старого *ѣ* и *е* в дореформенном русском правописании: так, немецкие сочетания *aa* и *ah* по правилам первой категории оба обозначают *a* долгое, но в одних словах пишется *aa*, например *Aal* 'угорь', а в других — *ah*, например *kahl* 'голый, лытый', и это имеет место уже согласно правилам второй категории. Подобных случаев особенно много в английском языке: так, *i* (долгое) может быть изображено через *e* в открытых на письме слогах, через *ee*, через *ea* и через *ie* (*these* 'эти', *feel* 'чувствовать', *speak* 'говорить', *chief* 'вождь, главный') и т. д.

Зная правила первой категории, можно вполне точно писать все слова данного языка, хотя это будет выглядеть с точки зрения традиционного письма очень безграмотно, а потому окажется очень трудным для чтения и понимания. Однако если бы правописание того или другого языка было чисто фонетическим, то запись по правилам первой категории считалась бы вполне грамотной, поскольку никаких правил второй категории и не существовало бы в этом языке.⁵

Вот пример такой записи в применении к русскому языку:

В одной из аддалённых улиц Масквы, ф серам доме з белыми калоннами, антресолю и пакривифшымся балконам жыла некагда барыня, вдава, акружонная многачисленнай дворней. Сынавья ее служыли ф Петербурге, дочери вышли замуш; ана выежжала ретка и уединённа дажывала паследнии годы сваей скупой и скучяющчей (=скучяющей) старости. День её, нерадастный и ненастный,⁶ давно прашил, но и вечер её был чернее ночи.⁷

Вот пример такой записи в применении к французскому языку:

Il è cinq (=sink) eur (=œur) du soir. On lé voi tou lé trois remué au (=ô) fon d⁸ la tranché (=trenché) sombre (=sonbr).

Вот этот текст в обычном написании:

Il est cinq heures du soir. On les voit tous les trois remuer au fond de la tranchée sombre (из B a r b u s s e, Le feu).

Вот пример аналогичной записи в применении к немецкому языку:

Ess (=äss) scheint (=schaint) jedoch (=jehdoch=jeedoch), dass er (=ehr) seinenn (=sainen) drei (=drai) Kindern seine (=saine) Kleinodienn (=Klainohdienn=Klainoodienn), dass Schwert, dass Horn unt den (=deen=dehn) Ring zurückließ (=zührückließ=zuurückließ=zurückliß).

Вот этот текст в обычном написании: Es scheint jedoch, daß er seinen drei Kindern seine Kleinodien, das Schwert, das Horn und den Ring zurückließ (из H e i n e).

Спрашивается, как называть правила только что выясненных двух категорий. Проф. Бодуэн де Куртенэ называл правила первой категории «правилами графики». Хотя слово «графика» и может быть понято в смысле «внешняя форма букв», однако я решил все же предпочесть термин Бодуэна термину

⁵ Само собой разумеется, что при записи слов другого языка в основном следует пользоваться правилами первой категории (см., впрочем, ниже).

⁶ Возможны формы *радасный*, *ненасный*.

⁷ Начало повести Тургенева «Муму». Знак равенства показывает, что оба написания одинаково возможны.

⁸ Возможна и форма *de*.

«правила алфавита», так как этот последний несколько сужает понятие, которое здесь имеется в виду. Что касается правил второй категории, то их проще всего назвать «правилами правописания», так как при чисто фонетическом письме, как было только что сказано, нет самих этих правил, как нет в сущности никакого правописания, или «орфографии».⁹ Дело в том, что самое понятие «правописания», или орфографии, возникает лишь в момент, когда по тем или другим причинам начинают писать не так, как говорят, и когда, таким образом, «правильным» будет то написание, которое условно всеми принято, хотя бы оно и не соответствовало звукам данного слова.

В связи со всем этим первая часть книги. «Значение и употребление букв русского алфавита» распадается в свою очередь на две: А. «Русская графика» и Б. «Русское правописание и его принципы».

Однако прежде чем перейти специально к правилам русской графики, необходимо осветить три вопроса, имеющих большое значение для всех дальнейших рассуждений: 1) вопрос о семантизации звуковых различий, в связи с чем стоит вопрос о том, что следует понимать под отдельным звуком речи; 2) вопрос о разных стилях произношения; 3) вопрос об отношении орфоэпии к орфографии.

В связи с первым вопросом полезно сказать несколько слов и о научной фонетической транскрипции.

Семантизация звуковых различий

Не всякое звуковое различие используется в языке в целях взаимопонимания: противоположения баса и тенора, хриплого и чистого голоса, громкого голоса и шепота и т. п. хотя и могут о чем-то сигнализировать слушателям, но в русском языке не соединены ни с какими языковыми, смысловыми противоположениями. Наоборот, противоположение падающей и восходящей интонации во фразах *Приехал.* и *Приехал?* ассоциировано с противоположением утверждения и вопроса. Это противоположение, как говорил Бодуэн, семантизовано¹⁰ (в последнее время по почину Пражского лингвистического кружка такое противоположение стали называть **фонологическим**), т. е. осмыслено. Понятие семантизации яв-

⁹ Термин «правописание» есть точный перевод греческого термина «орфография».

¹⁰ Бодуэн говорил семантизовано или морфологизовано, имея в виду такие случаи, когда то или другое звуковое различие соединено с различием морфологическим. Однако без семантики нет морфологии, а поэтому термин «семантизация» вполне может покрывать и понятие «морфологизация».

ляется основным понятием языкознания: это то, что делает языковыми явления, не имеющие к языку никакого отношения. Так, противоположение красного и зеленого цветов семантизовано в железнодорожном деле и является зачаточным элементом зрительного языка, который в морской сигнализации достиг значительной степени развития.

С этим понятием тесно связано и понятие отдельного звука речи. Дело в том, что в речевом потоке объективно наблюдается разнообразие звуков, которого мы нормально, однако, не замечаем, воспринимая как одинаковое довольно разное звучание. В самом деле, то, что мы считаем за один звук *т*, будет чувствительно разным перед *а* и перед *у*, например в словах *та* и *ту*: в последнем случае он будет слегка огублен, а в первом нет (в этом всякий может легко убедиться, произнося эти слова перед зеркалом). Подобное же различие наблюдается между начальным и конечным *т* в слове *тот*: *т* оказывается огубленным и перед русским *о*, которое начинается с очень короткого элемента *у* и может быть обозначено как *ʹо*. Кроме того, между двумя *т* в этом последнем слове имеется еще и то различие, которое обусловлено слоговым строением: всякий согласный в начале слога произносится иначе, чем в конце его (см. ниже, стр. 209). Если обратиться к гласным, то увидим, что их качество очень зависит от окружающих согласных: то, что мы считаем за одно и то же *а* между двумя переднеязычными, например в *рада*, произносится на самом деле совсем по-другому, чем между двумя губными, например *баба*.¹¹

Различие гласных перед твердыми и перед мягкими согласными, например в словах *стал* и *стали*, *быт* и *быть*, *села* и *сели*, давно подмечено и очень слышно даже и для неопытного уха. Такое же различие наблюдается и при *и*, например в словах *бит* и *бить*. Менее заметны, хотя все же имеются, различия при *о* и *у* в этом же положении. Не менее заметны различия, зависящие от ударения: два *а* в слове *сада*, два *и* в слове *видит* качественно не тождественны, хотя мы этого нормально не замечаем. Почему же нормально мы не замечаем этих различий и вполне отождествляем такие разные звуки, как например *е* в словах *сел* и *сели*? Ответ очень прост: потому что эти различия вовсе не семантизованы, потому что по-русски нельзя себе даже представить двух слов, которые бы отличались друг от друга, например, лишь качеством двух *е*, как это имеет место во французском, где, например, *pré* ('луг') с закрытым *е* отличается от *prêt* (с непроизносимым *t*) 'готовый' с открытым *е*.

¹¹ Разница эта показана мною экспериментально в моей книге «Русские гласные в качественном и количественном отношении» (СПб., 1912), но при известной тренировке может быть воспринята на слух и мускульным чувством.

Мы даже затрудняемся воспроизвести в отдельности различие наших двух *e*, хотя оно значительнее различия двух французских *e*, нашедшего себе там даже графическое выражение. Все дело в том, что то разнообразие звуков, о котором говорилось выше, целиком зависит от фонетических условий, и вне этих условий все констатируемые варианты или оттенки звуков не только не встречаются в русском языке, но даже оказываются в отдельности непроизносимыми для русского человека, не получившего специальной фонетической тренировки.

Таким образом, самостоятельными отдельными звуками речи являются далее не делимые общие звуковые элементы, способные в данном языке дифференцировать слова. Эти звуковые элементы реализуются в целом ряде тесно связанных между собой вариантов или оттенков, которые все имеют одну и ту же функцию, а потому в восприятии нормально не различаются и появление каждого из которых целиком зависит лишь от фонетических условий. Профессор Бодуэн де Куртене называет подобные общие понятия особым термином — **фонемы**, и этот термин теперь принят наукой. Термину же **звуки речи** некоторые исследователи начинают присваивать более общее значение.

Среди вариантов или оттенков каждой фонемы обыкновенно выделяется один, который является как бы типовым их представителем. Нормально это тот вариант, который мы произносим в изолированном виде. Очень часто, говоря о фонеме, имеют в виду не всю группу вариантов или оттенков, но лишь этого типового их представителя.

Из всего сказанного явствует, что всякий практический алфавит должен и может обозначать только фонемы, а отнюдь не их варианты: совершенно очевидно, что для быстрейшего восприятия текста важны те звуковые различия, которые способны дифференцировать слова, а не те, которые лишь механически возникают при артикуляции в зависимости от тех или других условий произнесения. Многим казалось и кажется, что наше практическое письмо, не обозначая более никаких звуковых нюансов языка, должно считаться неточным. Это настолько не отвечает действительному положению вещей, что скорее можно было бы поддерживать обратное, т. е. что оно было бы неточным, если бы стремилось обозначать все эти нюансы. И это понятно: число нюансов, завися не только от фонетического окружения и от словесного ударения, но и от темпа речи и вообще от общих условий говорения (вдвоем с товарищем, при официальном разговоре, в гостиной, на митинге и т. д., без конца), может быть бесконечно велико, и нет никаких объективных оснований для решения вопроса о том, какие из них следует отмечать и какие нет.

Истина состоит в том, что алфавиты всех языков так или иначе стремятся обозначать все фонемы данного языка и никогда не изображают их вариантов или оттенков.

Научная фонетическая транскрипция

Фонетической транскрипцией называется запись звуков того или другого отрезка речи по правилам какой-либо определенной графики, но без соблюдения каких бы то ни было правил правописания. В этом смысле отрезки на русском, французском и немецком языках, данные выше, могут считаться образчиками. Научность ее зависит от того, насколько правила данной графики удовлетворяют некоторым определенным требованиям, которые сводятся к следующему: 1) каждый отличаемый в данном языке звук должен иметь свой особый знак или по крайней мере специальный вариант того или другого знака; 2) для одного и того же звука не должно быть больше одного знака; 3) каждый знак или его вариант должен употребляться только в одном значении.

Все остальное (в том числе и самый алфавит) принципиально безразлично. Русский алфавит вполне может быть положен в основу транскрипции, но правила русской графики хотя и достаточно точны для научной транскрипции, однако слишком сложны, а главное, как увидим дальше, не удовлетворяют требованию пункта 1.

Однако в дальнейшем, имея в виду читателей-лингвистов, мы будем все же пользоваться для фонетических транскрипций и русским алфавитом, и русской графикой, вводя, однако, вслед за сербской вуковицей¹² знак *j* для йота (подробнее см. ниже) и тем уничтожив двусмысленность букв *e*, *ë*, *ю*, *я*. Подобную транскрипцию мы будем всегда включать в кавычки „ “.

Наряду с такой транскрипцией мы будем употреблять для читателей-лингвистов транскрипцию, основанную на международном фонетическом алфавите, с той целью, чтобы резко отличать русские буквы и их ассоциации от русских звуков. Латинская транскрипция всегда будет заключена в кавычки « ».

Научная транскрипция может быть двух родов: одна, отмечающая лишь фонемы данного языка, и другая, регистрирующая всяческие оттенки звуков. Первую можно назвать **фонематической** (или **фонологической**), а вторую — **фонетической**. Фонетическая транскрипция всегда

¹² Сербский алфавит, введенный знаменитым сербским писателем и филологом Вуком Стефановичем Караджичем.

производит более или менее импрессионистическое впечатление, так как степень ее точности совершенно произвольна и зависит от изоциренности наблюдательных способностей автора, от ориентации его интересов и от других случайных причин.

Разные стили произношения

Для того, чтобы определить состав фонем русского литературного языка, и особенно для того, чтобы правильно понять в связи с этим явления его вокализма, необходимо иметь в виду различия в степени ясности и отчетливости нашей речи. Совершенно очевидно, что тут возможно бесконечное число переходных ступеней, начиная от абсолютной ясности и четкости (например, при произношении по слогам) до небрежной скороговорки, когда все неударенные слоги наполовину съедаются.

Практически достаточно различать два типа произношения, которые назовем один — **п о л н ы м** стилем, а другой — **р а з г о в о р н ы м**.

Полный стиль свойствен публичной речи в очень большой аудитории, например на митинге, когда для того, чтобы быть всеми услышанным и понятым, приходится четко произносить как ударенные, так и неударенные слоги. При этом эти последние слегка протягиваются и произносятся более отчетливо, чем обыкновенно, хотя различия между ударенными и неударенными гласными всегда все же сохраняются. Этот же полный стиль постоянно употребляется нами и в повседневной жизни, но только не сплошь, а в отдельных фразах или их частях, часто даже в частях слов. Это бывает, когда мы хотим что-либо подчеркнуть, на что-либо обратить внимание, когда нас кто-либо плохо слышит или не понимает и т. п. Например, на вопрос *И как же вы на это реагировали?* ответ может быть: *Пол-ней-шим равнодушием* (что в печати может быть иногда выражено разрядкой). Фраза *Ах ты голова!* может быть произнесена в разговорном стиле с сильным ударением только на последнем слоге слова *голова*, а может быть произнесена и так: *Ах ты га-ла-ва!* — с выделением слова *голова* для усиления укоризны.

Разговорный стиль — понятие, конечно, гораздо более условное. Различные формы разговорного стиля составляют предмет ученых наблюдений и не так легко поддаются фиксации. Однако при большой наблюдательности можно уловить нечто среднее, свойственное спокойному, несколько замедленному и не чересчур интимному разговору, не состоящему из коротких эмоциональных реплик. Неударенные гласные разговорного стиля подвергаются сильной количественной и качественной редукции и представляют очень пеструю картину.

Особенно сложные изменения происходят в послеударенных слогах, начинающихся на мягкие согласные или на «j».

Вот образчик русской транскрипции полного стиля: „вадно́й - из - ад - да - лён - ных у́ - лиц Ма - сквы́ фсе́ - рам до́ - ме збе́ - лы - ми ка - лон - на - ми, а - нтре - соль - жу и - па - кри - ви́ф - шы - мя - ба - лко́ - нам, жы - ла́ не - ка - гда ба́ - ры - ня вда - ва́ а - кру - жон - на - ја мно́ - га - чис - ле - ннай - двор - ней“.

То же в международной фонетической транскрипции: «va - 'dnoj iz - ad - da - 'l'on - nых 'u - l'ic ma - 'skvy | 'fs'e - ram 'do - m'e } 'zb'e - лы - m'i - ka - 'lon - na - m'i } a - ntr'e - 'sol' - ju } i - pa - kr'i - 'v'if - шы - ms'a ba - 'lko - nam | жы - 'la 'n'e - ka - gda 'ba - gy - n'a } vda - 'va } a - kru - 'žon - na - ja 'мно - ga - 'čis - l'e - nnaj 'dvor - n'ej ||».

Вот образчик сильно упрощенной русской транскрипции¹³ того же отрывка в разговорном стиле:

„ва́ - дно́ - йз - ё - дда́ - лённ - ёх - у́л - й - цма́ - сквы́, фсе́р - ё - мдо́ - ме́ збе́л - ё - ми́ - ка́ - лонн - ё - ми́ а́н - трй - соль - жу́ й - пы́ - кри - ви́ф - шы́ - мси́ - ба́ - лко́н - ём. . .»

То же в международной фонетической транскрипции: «vΛ - 'dno - i - zə - d : Λ - 'l'on : - əx - 'ul' - i - cma - 'skvy | 'fs'er - ə - 'mdo - m'e } 'zb'ελ - ə - m'i - ka - 'lon : - ə - m'i } Λn - tr'i - 'sol' - ju } i - pə - kr'i - 'v'if - шы - ms'i - bΛ - 'lko - nəm. . .».

Самое главное, что надо до конца понять и оценить при сличении обеих транскрипций, — это то, что наша грамматика, а также наше письмо целиком базируется на полном стиле. В самом деле, формой русского языка будет „вадно́“, а не „вадно“, как это произносится в сочетании со следующим *из* (см. выше транскрипцию разговорного стиля) и даже «в адно́ј» (а не вместе), поскольку говорится „в эта́ј адно́ј“, а не „вэта́ј вадно́ј“ (это последнее не всегда отражается в фонетике полного стиля, однако в полном стиле „из аддалённых“, а не «изадалённых»). Точно так же и для грамматики, и для письма следует исходить из формы „ф се́рам“, а не „фсе́рым“. И даже основной, например, будет форма полного стиля „под до́мам“, а не разговорная „падомм“ (со слоговым м̣), и т. д., и т. д.

Отношение между письмом и орфоэпией

Поскольку русское письмо является фонетическим, постольку в его основе не может не лежать какой-то определенный устный язык: мы не можем одно и то же написанное слово читать или как *пруд*, или как *ставбк*, как это возможно при иероглифическом письме. Однако и наше письмо допускает разное

¹³ Знак краткости над гласной этой транскрипции обозначает относительную краткость, а главное — разной степени редуцированность данного гласного. Поэтому *й* вовсе не равно «j».

«произношение». Это положение вещей характерно для всех больших литературных языков, но особенно ярко выражено в немецком, где иностранец, даже хорошо знающий немецкий язык, часто с трудом понимает своего собеседника, хотя и говорящего на литературном языке, но с сильным местным акцентом (произношением).

На понятии «произношения» необходимо несколько остановиться, чтобы выяснить, когда мы должны говорить о том или ином произношении одного и того же звукового комплекса, а когда просто о другом звуковом комплексе. В принципе как будто очевидно, что о «произношении» говорят лишь в тех случаях, когда и в необычно произносимом все же узнается тот или другой н о р м а л ь н ы й звуковой комплекс. Так говорят о разном произношении буквы *щ*, т. е. того звукового комплекса, который обозначается этой буквой, — или как «шьчь», или как «шьшь» (*щи* — «шьчи» или «шьши», *щука* — «шьчюка» или «шьшюка» и т. д.); о разном произношении звуко-сочетания «чи», например в словах *чисто*, *чин* и т. д. — или так, как пишется, или как «чы» («чыста», «чын»); о разном произношении слов с неударенным орфографическим *о* — «карова» или «корова», «гара» или «гора» и т. п.

Говорят о дефективном произношении, когда слова *лодка*, *лапа*, *козел* и вообще звук *л* выговаривают «ўотка», «ўапа», «казёў» («ў»). О том же можно, пожалуй, говорить, когда маленькие дети выговаривают те же слова «лётка», «ляпа», «козёл» — с мягким *л*. Однако едва ли будем говорить об ошибках произношения, если бы кто-нибудь говорил *клизга* вместо *книга*, *дбна* вместо *дбома*, *шкорость* вместо *скорость* и т. п. По-видимому, под вариантами «произношения» мы подразумеваем только какие-либо регулярно встречающиеся отклонения от нормы, ибо только такие отклонения гарантируют нам возможность идентификации материально не совпадающих звуковых комплексов.

Из сказанного прежде всего вытекает, что для русского литературного языка все же существует какая-то норма произношения. Эту норму принято называть литературной, и на нее-то ориентируется наше письмо.

Внутри этой литературной нормы существует некоторое количество равноправных вариантов. Все прочие варианты ощущаются или как диалектные (например, произношение на *о*), или как дефективные (например, «ў» вместо «л» и т. п.), или как детские (например, так называемое «сюсюкание»).

Само собой разумеется, что наше письмо должно ориентироваться только на литературные варианты, а не на диалектные.

Для большей ясности приведем литературные и нелитературные (последние взяты в скобки) варианты слов *щи, дождь* (в им. и род. пад. ед. ч.) и *вижат*:

„шчи“	„дошчь“	„дажджя“	„вижджят“
„шьчи“	„дошьчь“	„даждьджя“	„виждьджят“
„шьши“	„дошьшь“	„даждьжя“	„виждьжят“
„(шшы)“	„(дош)“	„(дажджа)“	„вижджат“
„(шти)“	„доштть“	„даждя“	„(виждят)“

Что касается литературных вариантов, то, строго говоря, мы должны были бы допускать соответственные варианты и в нашем письме. Однако поскольку единообразие письма имеет громадное практическое значение, постольку приходится выбирать в каждом отдельном случае один из существующих литературных вариантов произношения как основу нашего письма: *дверь, Тверь, зверь* и т. д. или *дъверь, Тъверь, зъверь*,¹⁴ *фонарщик, сварщик, спорщик* и т. д. или *фонарьщик, сварьщик, спорьщик*; *фиалка, колониальный* и т. д. или *фьялка, колонияльный*; *пианино, миниатюра, материалы* и т. д. или *пьянино, миньтюра, матерьялы*; *скучный, конечно, молочный* или *скушный, конешно, молошный*.

Само собой разумеется, что наиболее трудно разрешимые случаи будут относиться к неударяемому вокализму в полном стиле. В самом деле, какой вариант произношения следует предпочесть: *плясать, памятник, заяц, серебряный, ветряный* и т. д. или *плесать, паметник, заец, серебряный, ветренный*? *Варево, курево, крошево, мелево* или *вариво, куриво, крошиво, меливо* и т. п.?

Надо подчеркнуть, что подобные вопросы должны во всяком случае решаться не в орфографическом порядке, а в плане «орфоэпии», т. е. в плане вопроса правильного произношения. Может показаться, что такое разделение является своего рода ученой «канцелярщиной», но, конечно, дело не в названии, а лежит гораздо глубже.

Письмо все же является по отношению к языку чем-то внешним, не относится, так сказать, к его существу. Поэтому, организуя наше письмо, устанавливая и реформируя нашу орфографию, мы вправе руководствоваться часто практическими мотивами: легкостью усвоения письма, легкостью и быстротой чтения и схватывания смысла читаемого. Можно даже сказать, что эти мотивы должны быть решающими в деле орфографии.

¹⁴ При этом вовсе не обязательно, чтобы все случаи одной и той же категории произносились одинаково, т. е. вполне можно условиться произносить *Тверь, дверь*, но *зверь*; *фонарьщик*, но *сварщик* и т. п., ибо так бывает и в жизни.

Вопросы же произношения являются уже вопросами самого языка и его жизни. Я отнюдь не склонен фетишизировать язык; вслед за Бодуэном¹⁵ я не думаю также, чтобы жизнь языка не могла подвергаться в той или другой мере нашему сознательному воздействию. Но как раз это и обязывает нас к максимально обдуманым действиям по отношению к языку.

Как это явствует из новейшего языкознания, все элементы языка образуют единую систему и так связаны друг с другом, что любое изменение какого-либо из них вызывает те или другие изменения в других частях системы. Это справедливо, конечно, и по отношению к произношению. Поскольку, однако, письмо поддерживает тот или иной вариант произношения, постольку, оказывается, и оно влияет на жизнь языка,¹⁶ особенно в современных условиях всеобщей грамотности и исключительно большой роли письменного языка в нашей жизни (многие языковые факты мы познаем главным образом из книг и газет).

Между прочим, отсечение одного из вариантов произношения может обеднить язык или во всяком случае препятствовать его семантическому росту, так как этот последний часто происходит путем насыщения содержанием вариантов слов или форм, получившихся на разных путях.

Так, формы с беглым *и* и без него, помимо того что в руках поэтов дают материал для звуковых эффектов (большая или меньшая сонорность слова и разная ритмика), зачастую семантически дифференцированы или по крайней мере готовы принять на себя такую функцию: *Мария и Марья, София и Софья, варение (=варка) и варенье, (не)имение и (хорошее) именье, бытие и житье-бытье, (украшенный прелестными) миниатюрами и миньятурная фигурка* и т. д.

Поэтому хотя в общем и совершенно справедливо, что письмо является чем-то внешним по отношению к языку, однако выбор для него того или иного варианта произношения бывает иногда вовсе не безразличен и может в некоторых случаях иметь решающее значение для судеб языка. Поэтому-то выбор этот и не может производиться в рамках упорядочения или реформы орфографии для ее упрощения или облегчения: это дело какого-то более широкого обсуждения вопросов орфоэпии данного языка, т. е. единства его произношения. Это обсуждение должно вестись под флагом рационализации устного языка вообще, что, конечно, очень обязывает лиц, участвующих в подобном обсуждении и принимающих какие-либо решения по

¹⁵ Ср. его полемику с Бругманом на этот счет.*

¹⁶ Здесь я не касаюсь большого и малообследованного вопроса о громадном влиянии письма на синтаксис, о формировании специального письменного языка и влиянии этого последнего на устный и т. п.

этому поводу. Между тем у нас в орфографии очень часто попутно решаются чисто языковые вопросы и, в частности, даже судьбы русского склонения и спряжения. Так, из двух вариантов окончания предложного падежа единственного числа имен существительных — на безударное *-е* (не *-ё*) и *-и* (*в счастье, на побережье* или *в счастье, на побережья* и т. п.) — обыкновенно выбирается без дальних разговоров вариант *-е*, как более легкий со школьной точки зрения. Между тем в языке между ними происходит борьба, и окончание *-и*, по-видимому, побеждает благодаря своей дифференцирующей роли, помогающей отличать направление действия и местонахождение: *Я верю в счастье* и *В счастье люди часто забывают о других*; *Я еду на побережье Черного моря* и *Я живу на побережья Черного моря*; *Она впала в забытье* и *Она была в забытьи*.

Из двух вариантов окончания 3-го лица множественного числа глаголов 2 спряжения с ударением не на окончания — *-ат* и *-ут* (*стоят, просят, мочат*) — выбирается традиционный на *-ат*, чем искусственно поддерживается его жизнь в языке.¹⁷

Между тем естественный ход развития языка, по-видимому, ведет именно к *-ут*, как к более четкому и характерному признаку данной морфологической категории: неударенное *-ат* в разговорном стиле смешивается с *-ит* 3-го лица единственного числа. Любопытно отметить, что в полном стиле мы вполне допускаем произношение *месяц, заяц, память* вместо *месяц, заяц, память*; формы же *просет, возет, молет* нам кажутся совершенно невозможными: косвенно это является доказательством нереальности форм *просят, возят, молят* в литературном устном языке.

Кроме этих и целого ряда других крупных и более мелких явлений произношения, перед русской орфографией стоит большой вопрос в выборе «экающего» или «икающего» произношения вообще, т. е. произношения, различающего в полном стиле гласные «е» и «и» в неударенном положении или смешивающего их в гласном «и»: *пелёнка* или *пилёнка*, *берёт* или *бирёт*, *педагог* или *пидагог*, *пеклеванный* или *пикливанный*, *тепёрь* или *типёрь*, *переплёт* или *пириплёт*, *мбет* или *мбит*, *кблет* или *кблит*, *учитель* или *учитиль*, *предобрый* или *приобрый*, *преступная* или *приступная*, *Сбнечка* или *Сбничка*, *пёсенка* или *пёсинка*, *Пётенька* или *Пётинька*, *Лёленька* или *Лёлинька* и т. д. и т. д. Сейчас «иканье» в полном стиле считается диалектным произношением, как это явствует, между прочим, из тургенев-

¹⁷ Из сказанного отнюдь не следует, чтобы я был за немедленную реформу орфографии в этом смысле: множество практических соображений этому препятствует. Но принципиально я за этот вариант устного языка, а следовательно, и за соответственное написание.

ских «Певцов», где орловское произношение мальчугана в конце рассказа четко характеризуется следующей фразой: *Тебя тятя высечь хочи-и-ит.*

Однако пополнение населения Москвы «йкающими» элементами грозит несколько спутать положение вещей. Сейчас, если бы кто-нибудь стал петь с «йкающим» акцентом *Пичаль моя свитла* или *Дли биригов отчизны дальшой*, то вызвал бы всеобщее возмущение, хотя в разговорном стиле именно так и произносится. Благодаря такому положению вещей всем изучающим русский язык приходится усваивать два стиля произношения, зачастую расходящихся не только в оттенках фонем, но и в самих фонемах (ср. транскрипции), что едва ли можно считать рациональным. Задача языковой политики в этой области состоит, стало быть, либо в том, чтобы полный стиль, а за ним и письмо подтянуть к «йкающему» произношению (и тогда диалектным будет произношение *высечь хоче-е-т*, а также пение с сохранением неударенных *е*, т. е. так, как сейчас пишется), либо в том, чтобы и разговорный стиль подтянуть под полный и под существующее письмо. Я полагаю, что выгоднее стремиться к последнему, так как первый путь ведет к полному разрыву литературной традиции, что едва ли желательно, особенно в настоящее время, когда русский язык изучается миллионами наших националов и представляет собою большую культурную ценность не только в его современном виде, но и со всеми накопленными в нем ценностями. Думать же, что второй путь невозможен ввиду стихийности процесса развития произношения в разговорном стиле, едва ли приходится: значение письменного языка в его орфографической одежде настолько велико в наше время, что имеет решающее значение для развития языка вообще, тем более что в состав русской интеллигенции все время вливаются громадные контингенты лиц, выучивающихся литературному русскому языку через книгу, а не от окружения. На моей даже памяти неударенное *а* после мягких согласных, т. е. орфографическое *я*, начинает вытеснять в полном стиле традиционное *е*: *плясать* вместо старого *плесать*, *клянусь* вместо *кленусь* и т. д.

Если же выбирать второй путь развития, т. е. стремиться к сохранению неударенных *е* и в разговорном стиле,¹⁸ то важно и в орфографии не делать никаких уступок йкающему произношению. Во всяком случае, все вопросы подобного рода требуют специального обсуждения в плане языковой политики и не могут быть решены попутно с упорядочением орфографии и вне широких языковых перспектив.

¹⁸ Само собой разумеется, что эти неударенные *е* отнюдь не должны быть равны ударенным и произносятся обыкновенно с легким уклоном в сторону *и*.

К сожалению, вопросы языковой политики у нас до сих пор не стали в порядок дня,¹⁹ и даже вопросы орфоэпии не выходят за пределы узкого круга специалистов.

А. Русская графика, или теория русского алфавита

Для того чтобы приступить к формулировке правил русской графики, необходимо прежде всего выяснить звуковые средства, употребляемые в русском языке для различения слов. Сюда относятся словесное ударение, система фонем русского литературного языка, длительность или «количество» фонем и слоговое строение. Мы начнем с последнего.

Слоговое строение

Всякий речевой поток естественно распадается не на отдельные звуки речи, а на слоги, обуславливаемые последовательными усилениями и ослаблениями звукового ряда; часть речевого потока, начиная с усиливающегося звука и кончая ослабляющимся, и называется слогом.²⁰ В связи с этим согласные, стоящие в начале слога, будут «сильноконечными», т. е. усиливающимися, а стоящие в конце слога — «сильноначальными», т. е. ослабляющимися.

Ослабления и усиления речевого потока, при недостаточно изоощренном внимании, часто не так легко осознаются в беглой речи, так как различия в этой области в русском языке нормально не семантизованы (см., впрочем, сказанное ниже). Однако мы без затруднения делим речевой поток на слоги, когда стараемся говорить особенно членораздельно и вразумительно. Особенно разительно мы это делаем, когда, например, что-либо диктуем людям, которые очень медленно [пишут, медленно осознавая звуковую сторону речи.

При таком посложном произношении действуют, по-видимому, следующие правила слогаделения:

1. Если между гласными стоит один согласный, то слоговая граница проходит всегда после гласного: *тра-ва́*, *го-ро-дбк*, *по-ро-хо-вбй*, *ку-ёт* (т. е. *ку-йбт*), *пб-яс* (т. е. *пб-йас*), *ра-йбн*, *ма-йбр* (см., однако, ниже) и т. п.

2. Если между гласными стоит группа согласных, начинающихся на «j», то этот последний всегда отходит к предыду-

¹⁹ В значительной степени благодаря широко укоренившемуся пред-
рассудку о невозможности влиять на естественный ход развития языка.

²⁰ Теория слога принадлежит к труднейшим проблемам фонетики и
здесь не может быть полностью развита (ср. сказанное о слоге в моей
«Фонетике французского языка» [Л., 1939]).

щему гласному и образует вместе с ним, таким образом, закрытый (т. е. оканчивающийся на согласный) слог: *пай-кб-вый, вой-ско-вбй, кбй-ка* и т. п.

3. Если между гласными стоит группа согласных, не начинающаяся на «j» (причем под группой следует разуметь в данном случае и двойной согласный), то первый из них нормально отходит к предыдущему слогу после ударенных гласных и к последующему после неударенных: *кбл-ба, пят-ка, кам-ни, бан-тик, фанар-щик, плак-са, он гра-зит-ца, бт-те-пель, кас-са, ван-на, и т. д., но ка-лба-са, на ка-ткэ, ре-мни, пла-ксий-вый, а-тца, ка-ссыр, ма-ссыр-ка, ка-ре-ннбй* и т. д. Еще примеры на все правила сразу: *е-стес-тве-нный, ка-ктис-тый, збн-ти-чный* и т. д.

Малейшее усиление какого-либо неударенного слога превращает его при посложном произношении в ударенный и привлекает к нему начальный согласный последующей группы (причем в сущности, конечно, искажается фонетическая перспектива слова). Подобное усиление связывается с нашим стремлением подчинить слоговое строение делению на морфологические части. В связи с этим чаще всего выделяются очевидные префиксы, оканчивающиеся на согласные, и подчеркивается тоже наиболее очевидное деление на корень и суффикс в тех случаях, когда первый оканчивается на согласный. Примеры: *рас-ни-сать* (*рас-* — префикс), *под-не-реть* (*под-* — префикс), *маль-чу-ган* (*маль-* — коренная морфема), *вы-гон-ка* (*гон-* — коренная морфема, *-ка* — суффикс).

С другой стороны, при посложном произношении мы можем слегка протягивать гласные, делать все слоги открытыми (за исключением, конечно, слогов, оканчивающихся на «j»): *е-стес-тве-нный, ра-спий-ше-тца, б-тте-пель* и т. д. Все эти колебания возможны, конечно, только благодаря тому, что слоговое строение внутри слова не семантизовано в русском языке (см. ниже, стр. 211).

Однако, при произношении разговорного стиля правила слогаделения будут сложнее и до сих пор совершенно не изучены.

Правила посложного произношения, по-видимому, сохраняют свою силу и в разговорном стиле, поскольку не противоречат нижеследующему правилу.

В разговорном стиле и одиночный согласный, и группа согласных, стоящих между гласными, целиком отходят к предыдущему слогу, если последующий слог содержит в себе сильно редуцированный гласный:²¹ *рбз-ъ-ва-я, каст-ъ-ва-я, касс-ъ-ва-я, гал-ъ-ва-лбм-ка, в масс-ъх* (но *мас-са*), *Анн-ъ-нский*

²¹ По существу это не что иное, как расширение правила п, 3.

(но *Ан-на*), *гбл-ъ-ву* (но *гъ-ло-ва́* при *гал-а-ва́* с добавочным начальным ударением) и т. п.

В противоположность тому, что наблюдается внутри слова, на стыке слов оказывается, что и отдельный согласный, и группа согласных могут в потоке речи и замыкать последний слог первого слова, и начинать первый слог второго слова, благодаря чему противоположение сильноконечных и сильноначальных согласных оказывается семантизованным в этом положении, причем сильноконечные согласные сигнализируют начало слова, а сильноначальные — его конец.

Само собой разумеется, что это в конце концов помогает узнавать и самые слова. Вот несколько примеров: *протѣл ъсь* (как долг) / *протѣл ѡсь* (так как он ушел); *хѡдит ѡколо* / *хѡдѣт ѡбѡлом*; *горѣст*²² *ѡло* (кажется) / *горѣ стѡла* (ѡлой); *крѣѣ ѣха* / *крѣѣѡха* и т. д. Ошибки в слоговом качестве согласного, стоящего на стыке слов, очень остро ощущаются, затрудняя правильное восприятие, например: *вѣдѣ шѡрку* вместо *вѣдѣшь ѡрку*, *кѣ стѡкѡци* вместо *кѣст ѡкѡци*, *водѡм ѡря* вместо *водѣ мѡря*, *крѣѣ ѡля* вместо *крѣѣ ѡля* и т. п. На стыке слов противопологаются не только конечносложные и начальносложные группы согласных целиком, но и разделение этих групп на два слога, причем под группой следует разуметь и двойные согласные. Так, группа *ст* может быть или целиком начальносложной, или целиком конечносложной; или *с* может быть конечносложным, а *т* — начальносложным: *кѣст ѡкѡци* / *на чекѣ стѡла* / *вкѣст тѡлька*; *всѣ сѡбра* / (он не обучает) *мѡсс ѡхѡте* (в абсолютном исходе будет — он не обучает *мѡсс*). Ср. еще такие примеры, как *дѡ ѡду* / *дѡѣ ѡду* / *дѡѣ ѡду*. В конце концов в этом положении не невозможны тройные согласные и даже четверные: *прѣлѣг к концу*, *водѡвоз сѡсору затѣл*, *недопущѣние мѡсс сѡсѡрѣтѣся*.

Раз какое-либо фонетическое противоположение где-либо семантизовано, то оно уже может применяться и там, где оно фонетически не обусловлено. Этим объясняется, почему в посложном произношении и неударенный префикс, вопреки фонетическому правилу (п. 3), может перетягивать к себе первый согласный группы, если этот согласный с морфологической точки зрения относится к префиксу. Иначе говоря, этим объясняется, почему нормальный в этих случаях начальносложный согласный может произноситься как конечносложный. Примеры: *рас-тѡ-ѣть*, *рас-те-сѡть*, но *Ро-стѡв*, *ро-стѡв*; *под-рѣть*, *под-валѣть*, но *по-дрѣ-га*, *по-дѡл* (в этом последнем случае префикс уже не очень чувствуется) и т. п. Сюда же

²² Т. е. *горѡзд* — народное слово в смысле „очень“.

относится и такое произношение, как он *рас-сб-ри-тца* (с тремя с).

Подобное слоговоеделение понемногу проникает и в разговорный стиль, и этим объясняется возможность таких произношений, как *над-индивидуальный с и*, а не с *ы* (о чем см. ниже).

Наконец, прониканием семантизованного на стыке слов противоположения начальносложных, т. е. сильноконечных, и конечносложных, т. е. сильноначальных, согласных объясняется возможность таких слоговыхделений, как *рай-бн*, *май-бр* и под. вместо нормальных для русского языка *ра-ён*, *ма-ёр*. Эти странные с исторической точки зрения произношения возникли под влиянием написания в словах. Но, конечно, подобное фонетически не мотивированное перенесение той или другой особенности произношения возможно только, если оно семантизовано.

Словесное ударение

Как правило, каждое знаменательное слово русского языка и каждая его форма характеризуется «ударением» на том или ином определенном слоге. Под ударением в традиционной русской грамматике обыкновенно понимают произношение одного из слогов слова с большей силой, чем другие: слог ударенный является, таким образом, самым сильным слогом в слове. Хотя это и совершенно справедливо, однако не исчерпывает сути дела. Во фразе *Брат вдруг взял нож* имеется четыре односложных слова и четыре ударенных слога, так что никакой речи о сравнительной силе слогов как сущности словесного ударения в данном случае быть не может. И действительно, сущность русского ударения, по-видимому, состоит в особом напоре на начало ударенного гласного, сопровождающемся сильной напряженностью всей артикуляции. Любой гласный может и в изолированном виде быть произнесен с таким напором и без него, т. е. как ударенный и как неударенный. При продлении, поскольку особый напор характеризует лишь начало ударенного гласного, всякий ударенный гласный кончается как неударенный. С изменением напряженности артикуляции связаны и определенные качественные различия между ударенными и неударенными гласными. Эти различия могут в известных условиях заменять противоположение ударенности и неударенности.

В разговорном стиле гласные неударенных слогов количественно и качественно редуцируются в разной степени в зависимости от определенных фонетических условий — согласно правилам, которые будут изложены ниже. В некоторых случаях при редукции фонемы могут переходить одни в другие. Однако в полном стиле все эти редуцированные гласные восстанавливаются, но никогда не получают ударения, а в связи

с этим и качественно никогда не смешиваются с ударенными гласными.

Словесное ударение семантизовано в русском языке в трех направлениях. Во-первых, поскольку им снабжается каждое знаменательное слово, постольку оно выражает делимость речевого потока на слова или на группы слов с одним знаменательным словом в центре каждой из них: *мо́й бра́т прие́хал вчера́ ве́чером домо́й; мы́ нашли́ пя́ть грибо́в; на бере́гу реки́ росло́ не́сколько со́сен и дубо́в; говори́л он бчень́ дблго́, так что́ все́м наскучи́л.*

Во-вторых, будучи абсолютно свободным, т. е. не связанным никакими фонетическими правилами, словесное ударение в русском языке характеризует слова как таковые, т. е. с точки зрения их значения: если во фразе у всех слов передвинуть ударения на непривычные места, то такую фразу будет трудно понять. В русском языке можно приводить сотнями слова, которые отличаются друг от друга только ударением, и поскольку оно почти что не нашло себе выражения на письме, постольку эти слова оказываются зрительными омонимами: *за́мок и замо́к, му́ка и мука́, по́лки и полки́, по́том и пото́м* и т. д., и т. д.

В-третьих, поскольку русское словесное ударение оказывается не только свободным, но и подвижным, т. е. меняющим свое место при изменениях одного и того же слова и также при словопроизводстве, постольку оно имеет и грамматическое значение: оно, как говорят, является грамматикализированным. Примеры на роль ударения при словоизменении: *го́рода / города́, дба́ма / домо́а, стена́ / стéны, вода́ / во́ду, гора́ / го́ру, ношу́ / но́сит, ловлю́ / лбвит, свечу́ / свéтит* и т. п. Примеры на роль ударения при словопроизводстве: *но́с, но́са / носо́к* (хотя *но́сик*); *во́з, во́за / возо́к* (хотя *во́зик*); *го́д, го́да / годо́к* (хотя *го́дик*); *зна́ть, пригна́ть, догна́ть / вы́гнать; да́ть, прида́ть, отда́ть / вы́дать* и т. п.

Длительность отдельных звуков

Длительность отдельных гласных колеблется в речи в очень широких пределах, но зависит исключительно от фонетических условий. В частности, в разговорном стиле ударенные гласные при прочих равных условиях в среднем в полтора раза длительнее неударенных, так что эта относительная долгота может даже являться одним из признаков ударенных гласных.²³

²³ Подробно обо всем этом смотри мою книгу «Русские гласные в качественном и количественном отношении».

Таким образом, систематизованных противоположений гласных по длительности, подобных тем, которые имеются в чешском, латышском или немецком, в русском абсолютно нет.

Длительность согласных тоже колеблется в зависимости от фонетических условий. Однако возможно противоположение более длительных согласных с нормальной длительностью и в совершенно одинаковых фонетических условиях, например: *стеннѳй* / *стенѳй*, *странны́* / *страна́*, *ссбра* / *сбра*, *поддѳать* / *подѳать*, (будет) *косѳться* (т. е. „косицца“) / *косѳца*, (много раз) *морѳженный* / *морѳженный* (картофель), (вчера) *пѳсанная* / *пѳсаная* (красавица) и т. д.

Что длительные согласные с чисто артикуляционной точки зрения вовсе не являются «двойными», в этом не может быть никакого сомнения, тем более что это подтверждается экспериментальными данными. Однако в целом ряде случаев длительные согласные относятся к двум разным морфемам: *поддѳать*, *стен-н-ой*, *спин-н-ой*; даже такое слово, как *длинна* (краткая форма женск. р. прилагательного *длинный*), может быть понято как *длин-н-а*, т. е. как образованное от слова *длин-а* посредством суффикса *-(е)н*; слово (будет) *косѳться* морфологически делится — *кос-иц-ца*, причем первое *ц* исторически является продолжателем окончания инфинитива, а второе относится к возвратному суффиксу. Зато в словах *странны́й*, *ссор-а*, *мороз-енн-ый*, *пис-а-нн-ый* никакая морфологическая граница не проходит сейчас через длительный (долгий) согласный,²⁴ и ее уже во всяком случае нет в заимствованных словах *ванн-а*, *касс-а*, *Анн-а*²⁵ и т. п.

Спрашивается, в этих условиях имеем ли мы в русском языке дело с длинными (долгими) согласными или с двойными согласными? Надо полагать, что ввиду значительного количества и тех и других случаев русское лингвистическое сознание является несколько неопределенным в этом отношении, что и сказывается в отсутствии единогласия в этом вопросе среди лингвистов. Мне кажется, что так как в целом ряде случаев долгие согласные со всей очевидностью понимаются как «двойные», то это понимание естественно распространяется и на те случаи, где морфологическая делимость неясна: ее всегда можно предположить в прошлом. Поэтому в конце концов считаю, что семантизованного противоположения со-

²⁴ Исторически второе *н*, однако, все же восходит к старому суффиксу *-ън-*, образовавшему прежде от глагольные прилагательные особого значения как от глагольных основ, так и от причастий страдательных.

²⁵ Даже в оригиналах этих слов второй согласный графического происхождения.

гласных по длительности в русском языке также не имеется и что во всех сюда относящихся случаях следует говорить просто о группе повторяющихся согласных.²⁶

Звуковой состав русского литературного языка (список фонем)

Согласные

Губные: „п, пь, б, бь, м, мь, ф, фь, в, вь“ = «р, р', б, б', м, м', ф, ф', в, в'».

Примеры: *цеп, цепь; губá, губя́* (= „губья́“); *тем, темь; шарф, верфь; слава, слава́* (= „славья“) ²⁷ = «сер, сер'; gu'ba, gu'b'a; t'em, t'em'; šarf, v'erf'; 'slava, 'slav'a».

Переднеязычные: „т, ть, д, дь, н, нь, с, сь, з, зь, ш, ж, ц, чь, л, ль, р, рь“ = «t, t', d, d', n, n', s, s', z, z', š, ž, c, č', ʎ, l', r, r'».²⁸

Примеры: *мыт, мыть; городá, городя́* (= „городья́“); *стан, стань; отбрóс, отбрóсь; егозá, егозя́* (= „ягозья́“); *спешá, жужжя́, ловця́, мячи́; мол, моль; спор, спорь* = «мыт, мыт'; gara'da, gara'd'a, stan, stan', a'dbros, a'dbros'; jega'zá, jega'z'a, sp'e'sa, žu'žža, ʎaf'sy, m'a'č'i, mol, mol', spor, spor'».

Среднеязычные: „й“, который в дальнейшем мы будем обозначать через „j“ (ср. сказанное на стр. 217), = «j».

Примеры: *твой* (= „твоj“), *твоя́* (= „тваjá“), *край, края́* (= „краjá“); *пой* (= „poj“), *пою́* (= „пajú“), *поёт* (= „пajót“), *вой* (= „voj“), *вóет* (= „вójэт“),²⁹ *чей* (= „čeј“), *чьи* (= „č'j'j“) = «tvoj, tva'ja, kraj, kra'ja, poj, pa'ju, pa'jot, 'vojet, č'eј, č'j'j».

²⁶ Тот факт, что «двойные» согласные являются артикуляторно едиными, не меняет положения вещей, так как и такие группы согласных, как „ст, зд, шт, жд, бм, дн“ и т. п., артикуляторно представляются едиными.

²⁷ Написания *губья, славья* и ниже *городья, егозья, ткьот, жзьот* должны рассматриваться как транскрипционные, где ь обозначает только мягкость предшествующего согласного и вовсе не является отделительным знаком. (Самый принцип такой транскрипции заимствован из украинского алфавита, где нашему написанию *Псёл* отвечает написание *Псьол*).

²⁸ О двойных мягких „шьшь,“ и „жъжъ“ как об особых фонемах русского литературного языка см. стр. 220. О мягких „шь, жь, ць“ как о потенциальных фонемах см. стр. 221—222.

²⁹ Написание, которое противоречит правилам русского алфавита, поскольку буква *э*, как мы увидим ниже, обозначает твердость предыдущего согласного, а звук „j“ никак не может считаться твердым. Поэтому это написание кажется абсолютно невозможным и здесь фигурирует в качестве условной фонетической транскрипции, где буква *э* имеет значение латинского *e*, обозначая лишь гласный «е».

Заднеязычные: „к, къ, г, гь, х, хь“ = «k, k', g, g', x, x'». ³⁰
Примеры: *рука́, кот, ткёт* ³¹ (= „ткьот“), *реке́* (не *рекэ*),
нога́, Гот, жгёт ³² (= „жгьот“), *ноге́* (не *ногэ*), *блота́, блохе́*
(не *блотаэ*).

Гласные

Передние: „э, и“ = «e, i». Примеры: *эти, сел* (= „сьэл“);
пэры, сйла.

Задние губные: „о, у“ = «o, u». Примеры: *о́кна, сон, у́ши,*
су́кна.

Смешанный: ³³ „ы“ = «y». Примеры: *сын, рыба*.

Открытый: ³⁴ „а“ = «a». Примеры: *а́лый, ара́б*.

Замечания к списку фонем русского литературного языка

Согласные фонемы

Ф р и к а т и в н о е „г“

В русском литературном языке обыкновенно констатируют наличие особой фонемы, так называемого «фрикативного г», т. е. звонкой параллели для фонемы „х“ (в русской транскрипции будем обозначать его „хʳ“, а в международной «γ»). Старшее поколение употребляет его в таких словах, как *бога* (им. пад. ед. ч. будет *бох* в произношении), *господи, благо, благословить*, и немногих других. Это пережиток старого литературного произношения, которое пришло к нам из просвещенной Киевщины и которое сохранилось в словах, относящихся к религиозному обиходу. Однако молодежь его больше не знает, поскольку оно не нашло себе отражения на письме, и, по видимому, нет никаких оснований его искусственно поддерживать, тем более что оно легко может быть воспринято как южнорусский диалектизм. Во всяком случае, нет смысла затруднять им наших националов и всех иностранцев, изучающих русский язык, и, наконец, глухонемых.

³⁰ О так называемом фрикативном г, как о пережиточной фонеме русского литературного языка, см. ниже.

³¹ Старая форма *тчёт* является диалектной.

³² Конкурирует с *жжёт*, т. е. „жжот“, которое является более литературной формой.

³³ Собственно смешанным по артикуляции, т. е. с плоским укладом языка, является лишь неударенное *ы*; ударенный же его вариант представляет собою тип промежуточный между смешанным и задним, почему многие считают *ы* просто задним гласным.

³⁴ Называю фонему «а» открытым гласным, так как именно этим качеством она противопоставляется всем остальным в русском языке.

Многим кажется неправильным отождествление того звука, который мы обозначаем в нашем правописании буквой *й* (например, в слове *край*), с первым элементом звуко сочетаний, обозначаемых буквами *я, ю, ё, е* в начале слов, после гласных и после *ъ* и *ь* (например, в словах *яма, край, объятия, копыя, юг, союз, адъюнкты, вьюн, ёлка, приём, объём, копыё, ель, поёлы, подъезд, в ладье*). При этом подчеркивается, что в первом случае мы имеем дело с неслоговым гласным, а во втором — с особым согласным, известным в западных языках под названием йота (по-немецки *j*, по-французски и по-английски *y*). Во всем этом есть большая доля правды. Оставляя в стороне вопрос о фонетической природе того звука, который мы обозначаем в нашей письменности через *й*, как вопрос очень трудный и спорный, следует признать, что, действительно, в произношении первый элемент слова *я* (обозначим его через „j“) отличается от второго элемента в слове *ой* (обозначим его через „й“). Однако это различие стоит и в непосредственной связи со слоговым строением: в начале слога, т. е. для русского языка всегда перед гласным, слышится „j“ („кра-*ја*, ма-*ја*, па-*ју*“), а в конце слога, т. е. для русского языка всегда, когда он стоит не перед гласным, слышится „й“ („край, мой, пой“); при этом „й“ в начале слога и „j“ в конце его в русском языке абсолютно невозможны. Из этого следует, что звуки „j“ и „й“ являются лишь вариантами единой фонемы. Который из них считать за главный? Так как все согласные в конце слога, будучи сильноначальными, а следовательно слабokonечными, в русском языке слегка редуцируются, то главным вариантом следует считать „j“, т. е. сильноконечный вариант нашей фонемы, который и будет в дальнейшем фигурировать как ее символ.

Распространенность мнения о необходимости различать в русском языке „j“ и „й“ объясняется тем, что семантизованное противоположение начальносложной и конечносложной фонемы „j“ нашло себе графическое выражение в русском алфавите, тогда как у прочих согласных фонем это же самое противоположение, не менее семантизованное, чем у фонемы „j“, алфавитно ничем не выражается. Ближе обо всем этом см. выше, раздел «Слоговое строение».

Т в е р д ы е и м я г к и е с о г л а с н ы е

О твердости и мягкости согласных в наших грамматиках обыкновенно говорят так: в русском языке многие согласные могут быть твердыми или мягкими. Это понимается обыкновенно в том смысле, что некое „л“ вообще, некое „т“ вообще и т. д.

могут быть твердыми и мягкими. Это, конечно, неверно, так как в русском языке не существует ни „л“ вообще, ни „т“ вообще, а существуют лишь „л“ твердое и „ль“ мягкое, „т“ твердое и „ть“ мягкое и т. п. Конечно, представители каждой подобной пары во многом сходны между собой, но ничуть не больше, чем многие другие пары русских согласных, например: „т“ и „д“, „п“ и „б“, „б“ и „м“, „д“ и „н“ и т. д. Во всяком случае, подобно „п“ и „б“, „д“ и „н“ и другим согласным, русские „л“ и „ль“, „т“ и „ть“, „н“ и „нь“ и т. д. являются вполне самостоятельными фонемами, так как могут стоять в одинаковых фонетических положениях и могут дифференцировать разные слова, как это явствует из примеров, приведенных выше в списке фонем. Неверное понимание сути вещей коренится в смешении звуков с буквами, т. е. в применении к звукам того, что справедливо по отношению к буквам.

В русском алфавите, действительно, вместо того чтобы каждую фонему выражать особой буквой, имеется по одной букве для каждой пары твердой и мягкой фонем. В этом большое практическое достоинство алфавита, но в этом и его теоретический недостаток, внушающий ложные идеи.

Возможность обозначения твердых и мягких согласных одной буквой сильно облегчена строем русского языка, в котором они очень часто чередуются друг с другом в разных формах одного и того же слова: „стол||на сталь-э“, „вад-а||вадь-э“, „сяд-у||сядь-эшь“, „сильн-ы||сильнь-эјэ“ и т. д., а также при словопроизводстве — „черн-ы||чернь-ить“, „лис-а||лись-иј“ и т. п. Во всех этих случаях перемена твердого согласного на соответственный мягкий создает видоизменения корней, семантически абсолютно тождественных: „стол-“ и „столь-“ (в *на столе*), „сяд-“ (в *сяду*) и „сядь-“ (в *сядешь*), „черн-“ (в *черный*) и „чернь-“ (в *чернить*).

Что касается сходства твердых и соответственных мягких согласных как с акустической, так и с артикуляторной точек зрения, то оно очевидно лишь у губных, у которых основная (губная) артикуляция остается неизменной, так как добавочная артикуляция, обуславливающая «мягкость» звука, состоит в поднятии средней части языка к твердому нёбу. Во всех прочих случаях сходство затемнено в большей или меньшей степени благодаря взаимодействию основной и дополнительной артикуляций, оказывающихся обе язычными. Особенно далеки друг от друга „л“ твердое и „ль“ мягкое, „т“, „д“ твердые и „ть“, „дь“ мягкие; в меньшей степени — „с“, „з“ твердые и „сь“, „зь“ мягкие, „р“ твердое и „рь“ мягкое.

В применении к паре „л/ль“ это видно, между прочим, из того, что в некоторых славянских языках и диалектах (а у нас в русском у отдельных индивидуумов) „л“ твердое пре-

вращается в „у“ неслоговое, чего никогда не бывает с „ль“ мягким.

Что касается пар „т/ть“ и „д/дь“, то надо подчеркнуть, что „ть, дь“ у нас слегка приближаются к мягким „ць, дзь“.

Наивная немецкая транскрипция русского имени *Митя* будет «Mitzia», из чего следует, что для среднего немца русское „ть“ звучит скорее как „ц“, чем как „т“. Таким образом, оказывается, что развитие произношения мягких „т“, „д“ в русском идет в том же направлении, что и в белорусском. Точные исследования вполне подтверждают эти наблюдения.

Русские мягкие „сь, зь“ звучат несколько шепеляво. Нам это не заметно, как привычное, но становится заметным при сравнении нашего произношения с иностранным.

Наконец, „р“ твердое может быть более или менее раскатистым, если стоит не между гласными: „р“ мягкое — никогда. Кроме того, „р“ твердое в положении между гласными само приближается к гласному («огласняется», если так можно выразиться), а „р“ мягкое склонно к превращению в ффрикатив (т. е. в шум трения).

Отличие мягких „кь, гь, хь“ от соответственных твердых не так велико, чтобы считать их уже не мягкими заднеязычными, как это некоторые думают: типичные среднеязычные, имеющиеся, например, в латышском, слишком характерны, чтобы можно было отождествить наши „кь, гь“ с латышскими среднеязычными «k, ģ». Однако основная артикуляция „кь, гь“ будет все же несколько отличной от артикуляции „к, г“. Что касается „хь“, то она диалектально действительно произносится как настоящий среднеязычный немецкий *ich-Laut*.

Так как нормально в русском языке перед гласными „и, э“ (т. е. «i, e») стоят лишь мягкие согласные, то может показаться, что мягкие согласные перед этими гласными фонетически обусловлены, тем более что между ними действительно существует артикуляторная и акустическая близость: и для тех и для других средняя часть языка поднимается к твердому нёбу. Однако это оказывается безусловно неверным по отношению к мягкости согласных перед гласным „э“ (т. е. «e»): дело в том, что при русских мягких согласных язык поднимается к нёбу так же сильно, как при гласном „и“, а следовательно, гораздо больше, чем при гласном „э“ (т. е. «e»), а отсюда вытекает, что мягкость согласных перед этим гласным вовсе не является результатом живой ассимиляции. Эмпирически это подтверждается тем, что согласные „ш, ж, ц“ в русском языке нормально не смягчаются перед этим гласным: *наше* („нашэ“), *коже* („кожэ“), *курице* („курицэ“). Но и кроме того, никакого русского не затрудняет произношение слогов „тэ, дэ, нэ, сэ, зэ“ и т. д. на стыке

слов: *от этого, над этим, с этим, из этого, в этом, об этом* и т. п.

Что касается положения мягких согласных перед „и“, то хотя фонетическая зависимость здесь и несомненна, однако она оказывается обратной: после мягких согласных мы произносим „и“, а после твердых всякое „и“ превращается в „ы“, как об этом подробнее будет сказано ниже.

Фонемы „ш, ж, ц, чь“

Фонемы „ш, ж, ц, чь“ нормально не имеют в русском литературном языке параллелей по твердости и мягкости.³⁵ При этом „ш, ж, ц“ оказываются нормально твердыми, а „чь“ — мягкой. Впрочем, диалектально „ч“ произносится и более или менее твердо некоторыми лицами, в остальном говорящими вполне литературно (возможность такого произношения находится, конечно, в связи с тем, что твердое „ч“ не используется фонологически). Однако рядом с „ш“, „ж“ твердыми у значительной части русских, говорящих на литературном языке, имеются еще самостоятельные двойные мягкие „шьшь“, „жьжь“: ³⁶ *ищу* (в произношении одних „ишчю“, других — „ишьню“), *гуца* (в произношении одних „гушчя“, других — „гушьшя“), *возчик* (в произношении одних „вошчик“, других — „вошьшик“), *щи* (в произношении одних „шчи“, других — „шьши“), *вижжать* (в произношении одних „вижжать“, других — „вижьжять“), *пригвозжу* (в произношении одних „пригвожжу“, других — „пригвожьжю“), *жжёт* (в произношении одних „жжот“, других — „жьжёт“), *вожжи* (в произношении одних „вожжы“, других — „вожьжи“).

Оба произношения — „шчь“, „жж“, с одной стороны, и „шьшь“, „жьжь“, с другой, — надо считать вполне литературными, а потому возникает вопрос о дополнении списка согласных фонем русского литературного двойным мягким „шьшь“ и двойным мягким „жьжь“. Это были бы фонемы, употребляемые не повсеместно и в сравнительно небольшом количестве слов, но тем не менее вполне выкристаллизовавшиеся в самостоятельные звуковые единицы: те, кто употребляют эти фонемы, вполне различают, например, слова с *жёнами* („жжонъми“) и *жьжёнными* (квасцами) („жьжьёнъми“), которые смешиваются в разговорном стиле лицами, не знающими двойного „жьжь“

³⁵ Что касается фонемы „j“, то она является артикуляторно мягкой по своей природе: она образуется сближением средней части языка с нёбом, что является характерным для всех мягких. Твердая параллель при ней принципиально невозможна.

³⁶ Относительно двойных согласных см. выше, раздел «Длительность отдельных звуков».

мягкого. Первые различают слова с *шёлком* и *щёлком* как „шшолкѣм“ и „шьшѣлкѣм“, т. е. противопоставляя двойное твердое „шш“ двойному мягкому „шьшь“, вторые различают их как „шшолкѣм“ и „щѣлкѣм“, т. е. противопоставляя двойное твердое „шш“ звукосочетанию „щч“.³⁷

Однако произношения „щч“ и „жж“ более отвечают грамматической системе русского языка. Дело в том, что фонемы „к, т“ чередуются у нас с „ч“, а фонемы „г, д“ с „ж“ твердым: *тыкать* || *тыч-у*; *стук* || *стуч-у*; *мет-ать* || *меч-у*; *крут-ой* || *круч-а*; *город-ить* || *горож-у*; *круг-а, круг-у* || *о-круж-ать*; *движ-ать* || *движ-ут*; *глож-ать* || *глож-ут*. Кроме того, фонемы „с, з“ фонетически ассимилируются последующим „ш, ч, ж“, как это видно из следующих примеров: *без шести, без числа, без жира* (в произношении: „бешшэсти“, „бешчисла“, „бежжыра“). Поэтому при *иск-ать* вполне естественно ожидать „ишч-у“, а не „ишьшьу“, при *воск* — „вошч-ить“, а не „вошьшь-ить“, при *густ-ой* естественно ждать „гушч-а“, а не „гушьшь-а“, при *пуст-ить* — „пушч-у“, а не „пушьшь-у“ и даже при *визг-а, визг-у* и т. д. — „вижж-ать“, а не „вижьжь-ать“, при *брызг-ать* — „брыжж-у“, а не „брыжьжь-у“ и, наконец, при *пригвозд-ить* — „пригвожж-у“, а не „пригвожьжь-у“. Учитывая все это и имея в виду наших националов, обучающихся русскому языку, иностранцев и глухонемых, я предпочитаю не включать двойных мягких „шьшь“ и „жьжь“ в основной список фонем русского литературного языка, сознательно предрешая этим до известной степени и орфоэпический вопрос. На это меня уполномочивает и современное состояние нашего правописания: букву *щ* мы можем считать и за дублет для буквосочетания *шт*, и за выражение двойного мягкого „шьшь“; но мы не имеем сейчас возможности отличить на письме двойное мягкое „жьжь“ от двойного твердого „жж“. Мы увидим далее, что все это можно переделать; но пока я считаю правильным не ломать здесь традиции нашего письменного языка.

Окончательное же решение вопроса надо предоставить компетентной комиссии, которая будет решать его в плане общей языковой политики и отнюдь не по поводу правописания.

Поскольку вся система русских согласных характеризуется их парностью по твердости и мягкости, постольку появление в ней простых мягких „шь, жь, щь“ возможно фонологически, и фонетически они также не представляют для русских никаких затруднений. Таким образом, они являются как бы фонемами

³⁷ Впрочем, надо иметь в виду, что для доказательства фонологичности того или иного звукового противопоставления вовсе не нужно приводить омонимических выражений: вполне доказательной является уже возможность появления членов подобного противопоставления в одинаковых фонетических условиях.

в потенции, как бы «готовыми кусками» русского языка: свидетелями тому являются заимствованные слова вроде *брошюра*, *жюри*, *парашют*, которые произносятся либо на французский лад, либо как „брашьюра, жьюри, парашьют“. С мягким „ць“ произносятся и такие собственные имена, как *Цюрих*, *Песталоцци*, *Цявловский* и т. д. Наконец, с мягким „ць“ произносится весь бесконечный ряд существительных на *-ция* (*революция*, *механизация*, *станция* и т. д.), прилагательные на *-ционный*, *-ционный* (*порционный*, *мобилизационный*, *рациональный*, *национальный*) и т. д.

Что касается фонемы „чь“, то при ней не наблюдается употребления твердой параллели в качестве особой фонемы, хотя потенциально это и вполне возможно, а в отдельных случаях — при заимствованных собственных именах — и желательно. Ср., например, китайское *Яньчэн* (о твердом произношении этой фонемы в литературном языке вообще см. выше).

Ф о н е м ы „кь, гь, хь“

Для многих спорным является вопрос о наличии в нашей системе фонем мягких заднеязычных — „кь, гь, хь“. Они появляются у нас почти исключительно лишь перед гласными „э“ (т. е. «е») и „и“, перед которыми невозможны твердые „к, г, х“, причем невозможны, впрочем, и сочетания „кы, гы, хы“. Однако произносительно они возможны в любом положении, кроме как перед „ы“, и встречаются в таких словах, как вполне литературные *ткёшь* (т. е. „ткь-ош“),³⁸ *ткёт*, *ткём*, *ткёте* и как весьма распространенные разговорные *жгёт* (т. е. „жгь-от“) и т. д., *секёт* (т. е. „секь-от“) и т. д. Хотя в литературном языке таких форм и немного, однако и одной было бы достаточно, чтобы показать, что они вполне возможны и что появление или непоявление их в литературном языке ни в коей мере не стоит в связи с фонетикой. Сюда же относятся заимствованные слова вроде *гяур*, *Кяхта* и некоторые другие. О фонетической необязательности вообще русских мягких перед гласными „э“ (т. е. «е») было сказано выше. Это справедливо, конечно, и по отношению к русским „кь, гь, хь“. К примерам, приводившимся ранее, можно присоединить еще междометие *хе-хе!* в смысле „вот оно как“, которое произносится и с мягким и с твердым „х“ (в связи с чем иногда и пишется *хэ-хэ!*), заимствованные слова *кэб*, *кекс* и некоторые другие, которые порусски вовсе не обязательно произносятся „кэп, кэкс“ (т. е. «k'ep, k'eks»), а могут произноситься и „кэп“, „кэкс“.

³⁸ Форма *тчёшь* и т. д. воспринимается как диалектальная,

Однако самое главное доказательство наличия в нашей системе фонем мягких „кь, гь, хь“ состоит в том, что чередования „к||кь, г||гь, х||хь“ в целом ряде случаев морфологизованы («грамматикализированы»), входя в систему чередования твердых и мягких согласных при склонении и при спряжении: „рук-а||рукь-э, наг-а||нагь-э, блах-а||блахь-э“,³⁹ как „вад-а||вадь-э, гар-а||гарь-э, слив-а||сливь-э“ и т. д.; „тк-у||ткь-ош, жг-у||жгь-ош“ и т. д., как „вед-у||ведь-ош, греб-у||гребь-ош“ и т. д. В конце концов, можно даже сказать, что так называемые правильные формы „печ-ош“ при „пек-у“, „теч-ош“ при „тек-у“, „лж-ош“ при „лг-у“, „береж-ош“ при „берег-у“ и т. д. являются литературными реликтами и при свободном (от письменной традиции) развитии языка давно были бы вытеснены формами „пекь-ош“, „текь-ош“, „лгь-ош“, „берегь-ош“ и т. д. В детском языке вполне возможны такие образования, как *сux-ée, тix-ée* (вм. *сѹш-е, тѣш-е*) и т. п. От *полбг-ий* не употребляется *полбж-е* и в разговорном языке всегда может сорваться *полог-ее*, и т. п.

Все это вместе взятое заставляет признавать безусловное наличие фонем „кь, гь, хь“ в системе русских согласных.

М я г к о с т ь и т в е р д о с т ь с о г л а с н ы х п е р е д м я г к и м и

Некоторым исследователям кажется, что в положении перед мягкими согласными противоположение твердых и мягких согласных в русском языке невозможно. Действительно, качество твердости и мягкости согласных безусловно хорошо воспринимается лишь перед гласными и на конце слов. Перед согласными же во многих случаях конец предшествующего согласного сливается с началом следующего, благодаря чему в этом положении восприятие твердости и мягкости первого согласного становится менее четким, а иногда и вовсе невозможным⁴⁰ (ср., например, группы „тль, дль, трь, дрь“ в начале слова).

Далее, надо констатировать, что некоторые согласные в процессе речи в той или другой мере ассимилируются по мягкости следующим мягким согласным, особенно склонны к этому „с“ и „з“ (ср., например, произношение слов *кости, гвозди*). При этом часть говорящих на русском литературном языке воспринимает получающиеся в результате ассимиляции согласные, как настоящие мягкие. Другая же часть вполне различает такие группы, как „сьтьи, здьи“, с одной стороны, и „стьи, здьи“ — с другой стороны, где при полной мягкости предше-

³⁹ Формы *руке, ноге, блохе* заменили более старые *руцѣ, нозѣ, блохѣ*.

⁴⁰ Вообще условия восприятия твердости и мягкости согласных являются большим и мало еще изученным вопросом.

ствующего согласного в первом случае наблюдается лишь его «полумягкость» во втором. Написания *косъти, гвозьди, съни, зьмей, разъница, ресъница* и т. п. кажутся представителям этой группы говорящих по-русски не отвечающими их произношению.

Это становится особенно очевидным при четком произношении: подчеркнуто мягкое произношение первого согласного группы в этих словах оказывается решительно шокирующим, тогда как в словах *Кузьмич, бросьте* и т. п. оно звучит вполне естественно. Ср. еще произношение таких слов и словосочетаний, как *лезьте* (= „льэсьтьэ“) и *без лести* (= „бьэзльэстьи“), *возьми* (= „вазьми“) и *зми* (= „змиј“); группы „сьть“ и „сть“, „зьми“ и „зь“ в этих случаях никак не смешиваются для многих русских. Очень склонно к ассимиляции „н“ перед мягкими „ть, дь“. Однако и здесь нельзя сказать, чтобы все произносили одинаково группу *-онть* в словах *зонтик* и *троньте* или группу *-анть* в словах *в банте, станьте*.

Перед „ј“ все согласные склонны к ассимиляции; ср. произношения „адъюнкт, адъютант“ вместо *адъюнкт, адъютант*; однако *подъезд, отъестъ, изъестъ* и т. п. вполне возможны и даже предпочтительны в полном стиле с твердыми согласными.

Что касается многих других согласных, то противопоставление их по твердости и мягкости перед мягкими фактически вполне возможно: *немки и ньмки, лапти и лапъти* (ср. повелительное наклонение от несуществующего глагола *лапить—лапъте*), *подковки и подковъки, дверь и дьверь, затмить и затъмить, фонарищик и фонарьщик* и т. д., и т. д. Если ко всем этим словам по историческим причинам не всегда имеются соответственные противопологающиеся слова или их части, то все же оба произношения настолько возможны, что во многих случаях является спорным, которое из них надо считать литературным.

Ассимиляция не обязательна даже при двойных согласных: при втором мягком первый не обязательно должен быть тоже мягким. Нормально мы говорим слово *пленник* с двумя мягкими „нь“, но уже произношение „Аньне“, „в касьсе“ вовсе не обязательно, можно говорить и „Аньне“, „в касьсе“.⁴¹ Что касается таких слов, как *оттепель, подделать*, то они произносятся „отътепель, подъделать“ и во всяком случае произношение с двумя мягкими согласными („отътепель“ и „подъделать“) в полном стиле было бы неестественным и даже смешным.

Поскольку категория мягких губных находится несомненно в некотором упадке (ср. произношение *сем, восем, кров,*

⁴¹ Знак ъ употреблен здесь и в аналогичных случаях для обозначения твердости предшествующего согласного.

сын и т. д. вместо *семь, восемь, кровь, сыпь* и т. д.; ср. также разложение категории мягких губных в украинском и белорусском), постольку различие мягких и твердых губных перед согласными вообще не соблюдается: *вьюжный* и *въ южной* (стороне) произносятся одинаково, одними — с мягким „в“, другими — с твердым „в“.

Наконец, надо отметить и то, что различие твердости и мягкости согласных перед мягкими согласными сравнительно мало используется фонологически в русском языке, хотя в очень многих фонетических положениях это было бы вполне возможно.

В связи со всем сказанным мне в дальнейшем придется, не предвещая орфоэпического вопроса, который потребует большого и тщательного предварительного исследования, в основном исходить из того состояния русского языка, которое отражено в письменном языке, т. е. я буду считать за норму произношения *кости, немки, дверь* и т. д. с фонологически твердыми, фонетически полумягкими согласными, а *бросьте, возьмите, Кузьмич* — с мягкими.

Гласные фонемы

С о ч е т а н и я: *ня, нё, ню; ля, лё, лю* и т. д.

Многим кажется совершенно неправильным утверждение, что слоги *ня, нё, ню; ля, лё, лю* и т. д. разлагаются просто на „н^ь+а, н^ь+о, н^ь+у; л^ь+а, л^ь+о, л^ь+у“ и т. д. При этом многим кажется, что слоги эти разлагаются на „н^ь+ја, н^ь+јо, н^ь+ју; л^ь+ја, л^ь+јо, л^ь+ју“ и т. д. Однако если без предубеждения попробовать сложить эти элементы обратно, то получатся *нья, нё, ню; лья, лё, лю* и т. д. Так и получается у маленьких детей, знающих только буквы: более бойкие из них протестуют против того, что, например, *л^ь+я* (т. е. „а“) будет *ля* (т. е. „ля“), я этому был много раз свидетелем. Они настаивают на том, что *л^ь+я* будет „л^ьја“, т. е. *лья*, и написание *Галя* готовы считать ошибочным. Убеждение, что *л+я* будет „ля“, т. е. *ля*, можно вогнать в детей лишь авторитетным путем, и подобное утверждение в сущности ничем не лучше утверждения, что *буки+аз* будет *ба*. Практически оно гораздо хуже, так как идет под флагом звукового (?!) метода. Насильственно внушенное нам в раннем возрасте убеждение, что при сложении звука „л“ со звуко сочетанием „ја“ (т. е. *я*) получается „ля“ (т. е. *ля*), является настолько прочным, что необходимо иметь очень критический ум и нужно потратить много труда, чтобы до конца разубедить себя в этом. Впрочем, людям, изучавшим иностранные языки, это дается значительно легче.

В самом деле, наше $л + я$, например, по-немецки можно изобразить только как $l + ja$, а это и будет lja , т. е. наше $ля$, тогда как l (т. е. более или менее наше „ль“) + a дает la (т. е. более или менее наше $ля$).⁴²

Есть, однако, более тонкие люди, которые, вполне соглашаясь со всем только что сказанным, утверждают все же, что хотя в русском сочетании $ля$ и нет никакого „ ja “ ($я$), но что гласный этого сочетания нельзя вполне отождествлять со звуком „ a “. И это совершенно справедливо. В звукосочетании $ля$, $лѣ$, $лю$ и т. д. мы на самом деле произносим не чистые гласные „ a , o , y “, а нечто вроде „ a , o , y “, ⁴³ т. е. „ a , o , y “ с маленьким придатком вначале чего-то напоминающего звук „ i “ (см., однако, последнюю сноску). Этот элемент никоим образом не может быть выделен или продолжен (удлинен) и является не отдельной фонемой, а лишь придатком последующих гласных (морфологическая граница никогда не проходит одновременно перед ним и после него). Однако наличие его, как показали точные экспериментальные данные,⁴⁴ не подлежит никакому сомнению. При некоторой тренировке эти „ a , o , y “ можно научиться произносить отдельно.

Поэтому вполне естественно поставить вопрос, не являются ли эти „ a , o , y “ самостоятельными фонемами. Поскольку, однако, эти звуки появляются только после мягких согласных и никогда не стоят ни в начале слов, ни после гласных, ни после твердых согласных, постольку приходится сделать вывод, что они являются лишь фонетическими вариантами соответственных гласных „ a , o , y “, обусловленными мягкостью предыдущих согласных. Если бы мягкие согласные появлялись только в зависимом положении, скажем только перед „ i “, а звуки „ a , o , y “ встречались, например, и в начале слов, то именно эти последние были бы самостоятельными фонемами, а мягкие согласные — вариантами соответственных твердых согласных. Такое положение вещей не невозможно при разрушении категории мягких согласных как самостоятельных фонем. Ду-

⁴² Психологически подойти к пониманию состава наших звукосочетаний $ня$, $нѣ$, $ню$ и т. д. может помочь сопоставление таких слов, как $копѣ$ и $копѣя$ (т. е. „ $копѣ$ “ = « $кор'а$ » и „ $копѣя$ “ = « $кор'ја$ ») или $Коля$ и $коля$ (т. е. „ $Коля$ “ = « $кол'а$ » и „ $коля$ “ = « $кол'ја$ ») и т. п. Может помочь морфологический анализ прилагательных и местоимений с краткими окончаниями: $бел$, $бел-а$, $бел-о$; $папин$, $папин-а$, $папин-о$; $наш$, $наш-а$, $наш-э$; $силь$, $силь-а$, $силь-э$; $весь$, $всь-а$, $всь-ѣ$ (точнее — „ $фсь-а$, $фсь-о$ “). Совершенно очевидно, что во всех случаях „ j “ не участвует в образовании женского и среднего рода; йот же в словах „ $мој$, $мој-а$, $мој-о$; $твој$; $твој-о$; $свој$, $свој-а$, $свој-о$ “ относится к корню и во всяком случае к основе слова.

⁴³ Точнее « a , o , y ».

⁴⁴ Ср. мою книгу «Русские гласные в качественном и количественном отношении».

мается, что по диалектам такой путь развития кое-где и намечается; но для литературного языка об этом и думать не приходится, и звуки „а, о, у“, если они даже воспринимаются как таковые (а обыкновенно они не воспринимаются, и во всяком случае никто ⁴⁵ не в состоянии их изолировать), безусловно не являются самостоятельными фонемами, и написания я, ё, ю после согласных вместо ожидаемых а, о, у имеют в виду лишь обозначить на письме мягкость предшествующих согласных.

Почти все сказанное относится и к слогам *ле, те, де* и т. д., где буква *е* вовсе не обозначает „јэ“ (=«је»), как это имеет место в начале слов после гласных и после *ъ* и *ь*, например в словах: *ели, поел, съел, в ружье* (т. е. „јэли, пајэл, сјэл, вружјэ“). После согласных буква *е* обозначает их мягкость, параллельно тому, как буква *э* после согласных обозначает их твердость (*тема, но Анатэма*).

При этом звук „э“ после мягких в произношении тоже имеет маленький придаток в виде очень короткого „и“, так что звуки слова *сел*, например, в транскрипции следовало бы изобразить так: „сь^иэл“. Однако в данном случае не приходится говорить, что звук „э“ является вариантом фонемы „э“, так как эта последняя нормально так произносится и в независимом положении: *эта, эти, эва* (междометие), *экий*, в транскрипции „^иэта, ^иэты, ^иэва, ^иэкий“. Даже в иностранных словах мы также произносим наше *э* обратное в начале слов: *эхо, эпос, Эвелина* и т. д. (любопытно отметить, что собственное имя *Ева* произносится либо „јэва“, либо „^иэва“). Произношение всех этих и им подобных слов с чистым „э“ характеризует людей, хорошо знакомых с иностранными языками, где, разумеется, нет ничего подобного.⁴⁷

Ф о н е м а „ы“

Подходим к спорному вопросу об „ы“: является ли оно самостоятельной фонемой или лишь оттенком, вариантом фонемы „и“, как это утверждал уже проф. Бодуэн де Куртенэ. Действительно, „ы“ и „и“ составляют настолько тесную пару,

⁴⁵ Конечно, кроме тех людей, в диалекте которых начинает разрушаться категория мягких согласных.

⁴⁶ Точка под знаком гласного в научной транскрипции обозначает его узкое произношение.

⁴⁷ Причины такого положения вещей очевидны: собственно русских слов с твердыми согласными перед „э“ нет, кроме тех, где оно стоит после твердых „ш, ж, ц“ (*шест, жертва, целый*). Случаев с „э“ в начале слова исключительно мало, а после гласных и вовсе нет, если не считать слов заимствованных. Поэтому произношение „^иэ“, которое фонетически оправдано после мягких согласных, являясь доминирующим, приобрело значение главного оттенка и в качестве такового, естественно, проникает и в независимое положение.

что механически заменяют друг друга в положении после согласных, причем после мягких может стоять только „и“, после твердых — только „ы“; противоположение *ы/и* является лишь фонетической функцией противопоставления твердых и мягких согласных. Самые убедительные примеры находим на стыке слов: *с икрой* произносится „сыкрой“, *в игре* — „выгре“, *над избой* — „надызбой“, *этот извозчик* — „этатызвозчик“, сокращение исчезнувшего теперь термина *волисполком* (волостной исполнительный комитет) — „волыспалком“ и т. п. Случаев обратных, т. е. замены „ы“ через „и“, нет, так как нет слов, начинающихся на „ы“. Однако из морфологии можно сослаться на именительный-винительный падеж множественного числа, который оканчивается на „ы“ после твердых согласных и на „и“ после мягких, хотя это последнее не имеет никакого исторического оправдания. К сожалению, продуктивных суффиксов, начинающихся на „ы“, у нас тоже нет; но если бы мы вздумали по образцу *раб/рабыня* образовать женский род от слова *царь*, то сказали бы, конечно, *цариня*, а не *царыня*; от *вождь* было бы *вождиня* и уж никак не *вождыня*; от *князь*, если бы не было слова *княгиня*, образовали бы, конечно, *князиня* и отнюдь не *князыня*. Аналогичные соображения можно вести и по поводу суффикса *-ыня* в словах *пустыня*, *твердыня*, и по поводу суффикса *-ырь* в словах *пузырь*, *пупырь* и т. п. В конце концов и нет надобности во всех этих примерах, так как и так очевидно, что для русского соединить твердый согласный с *и* и мягкий с *ы*, т. е. выговорить „ди“ с твердым „д“ и „ды“, практически невозможно.⁴⁸

Таким образом, „ы“ и „и“ как будто приходится признать вариантами единой фонемы, из которых главным придется признать „и“, поскольку „ы“ вовсе не встречается в независимом положении. Получается случай более или менее аналогичный тому, что мы наблюдали при звуках „а, о, у“.

Однако интуитивно что-то мешает нам считать „и“ и „ы“ за одну фонему. И действительно, хотя в конкретных русских словах „ы“ никогда не встречается в независимом положении, тем не менее нас несколько не затрудняет его изолировать

⁴⁸ Однако в тех случаях, когда между согласными и гласным „и“ проходит словесная, а следовательно и слоговая граница, возможны и сочетания твердого согласного с гласным „и“: „хо-дил-Иван“, „ка-коф-И-горь“, „мёт-и-са-ло“ и т. п. Но если слоговая граница не будет совпадать со словесной, то в сочетании с твердым согласным возможно только „ы“: „хо-ди-лы-ван“, „ја-ка-фы-га-ре-вич“ (*Яков Игоревич*), „го-ра-ты-де-ре-вня“ и т. п. Отсюда такое произношение переносится и внутрь слова, на сочетания последнего согласного префикса с начальным „и“ корня: *над-индивидуальный*, *без-идейный* и т. п. В конце концов не невозможны и произношения: *с-из-мальства*, *в-и-гре* и т. п. — с сильноначальными „с“ и „в“; но, конечно, *сызнава*, *выграх*.

и в конце концов по аналогии с глаголами *акать, окать, экать, ѓкать* образовать глагол *ѓкать* (пример Д. Н. Ушакова). А раз так, то уже трудно утверждать, что „ы“ не является особой фонемой, хотя появление его и является фонетически обусловленным в большинстве случаев. Как же объяснить получающееся противоречие? Несомненно, что когда-то „ы“ было вполне самостоятельной фонемой и вовсе не ассоциировалось с фонемой „и“. Оно могло также стоять в независимом начальном положении, как это, может быть, и теперь видно из глагола *об-ѓкнуть*, который не обязательно продолжает *обвыкнуть*. Но в результате целого ряда фонетических процессов „ы“ ассоциировалось с фонемой „и“ и оказалось относительно него в определенных фонетических условиях. Это вполне подготовило почву для его окончательного слияния с „и“, но последнее еще не произошло, как это случилось, например, в чешском. Пережиточно „ы“ сохраняет свою самостоятельность, которая выражается в том, что при его продлении оно вовсе не переходит в „и“. Следовательно, „ы“ в словах *сын, было* и т. п. обусловлено не только фонетически предшествующим твердым согласным, но и традиционно. По-чешски «i» после твердых согласных сначала тоже напоминает русское „ы“, но потом оно переходит в настоящее *и* (это особенно ясно при долгих «i»).

По-русски сколько бы ни тянуть *ы*, оно, и будучи освобождено от ассимилятивного влияния предшествующего твердого согласного, остается самим собою. Таково положение вещей в настоящий момент, а как дальше пойдет развитие языка — трудно сказать с уверенностью. Во всяком случае, нет оснований сейчас совершенно отказывать „ы“ в самостоятельности: потенциально оно может стоять и в независимом положении и может дифференцировать слова *ѓкать/ѓкать*.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДКОМИССИИ»¹

Всякое правописание является, как это и указывалось академиком Ф. Ф. Фортунатовым, некоторым компромиссом между фонетическим, этимологическим и историческим принципами. Что касается первых двух, то здесь нужно отличать фонетику и этимологию лингвиста от фонетики и этимологии обыкновенных смертных, т. е. то, что доступно лишь изощренному вниманию исследователя, от того, что является общим достоянием и

¹ Настоящая заметка была написана в августе 1904 г., немедленно по выходе в свет «Предварительного сообщения», но по разным обстоятельствам не могла быть тотчас же напечатана.

составляет живые, психически существующие факты языка и что собственно должно быть исключительной основой правописания. Из «Предварительного сообщения орфографической подкомиссии» явствует, что она, по крайней мере в области этимологии, руководствовалась подобными соображениями. Так, в сообщении предлагается написание *восток* наряду с *восприятие*, т. е. слово *восток* в современном сознании является опрощенным, не сложным. Тем более странно написание *растение* наряду с *рости*, так как книжным или заимствованным² это слово является лишь для филолога. То же самое относится и к написаниям *разпятие*, *развлечь* и т. д. наряду с *ропись*, *ро-сказни*. Число случаев чередования *ра-|| ро-* так мало, что не может быть и речи о соединении с чередованием оттенка значения подобно *град*, *гражданин* / *город*, *горожанин*, *превратные* / *поворот*, *глава* / *голова* и т. д.,³ что только и оправдало бы различие этих написаний, предложенное подкомиссией. Что касается единичного случая *р́азум*, то едва ли оно является для обыкновенного сознания сложным словом; кроме того, единичный факт не составляет сколько-нибудь серьезной психической величины.

Что касается исторического принципа, в котором собственно следует различать два принципа: «так говорили наши деда» и «так писали наши деда», — то, по-видимому, орфографическая подкомиссия принимала в соображение первый и отвергала второй. Ср. написания *добрый*, *синей*, *ее* вместо *ея* и т. д. Но если оставить совершенно в стороне практические соображения, заставляющие нас не разрывать с традицией и оказывать иногда «дедам» больше уважения, чем это следовало бы, то, мне кажется, ценность того и другого принципа совершенно одинакова и, раз приходится писать не так, как говоришь, то для практических целей современного правописания в сущности абсолютно все равно, писать ли так, как говорили, или так, как писали в старину. Противореча фактам произносимого современного языка, оба эти принципа терпимы лишь как необходимое зло, вытекающее из самой сущности правописания, которое, конечно, всегда далеко отстает в своем развитии от произносимого языка. Из двух зол, в общем одинаковых, очевидно приходится выбирать лучшее; лучшим же является, конечно, то, которое менее противоречит живым фактам современного произносимого языка. И я позволяю себе думать, что подкомиссия в своем увлечении принципом «так говорили наши деда» несколько игнорировала эти факты, по

² См. «Предварительное сообщение», ст. 7, выноска 1.

³ См.: J. Baudouin de Courtenay. Próba teorji alternacuj fonetycznych. [Kraków, 1894.] стр. 78.

крайней мере в области морфологии. Можно, конечно, только приветствовать такие написания, как *доброй, сильной* и т. д., так как всеми ясно чувствуемым (психически существующим) окончанием им.-вин. пад. ед. ч. муж. р. имен прилагательных с несреднеязычной основой несомненно является *-ой* (ср. *худ-ой, зл-ой* и т. д.) и лишь фонетические условия (отсутствие ударения), делающие невозможными в литературном русском наречии неударяемое *о*, мешают этому окончанию проявиться всюду и везде со всеми его свойствами. Если бы какая-либо волшебная сила сделала все окончания имен прилагательных ударяемыми, то, конечно, мы все вместо *dóbrъj* говорили бы *dobrój*, а не *dobrýj*. Но непонятными являются предложенные подкомиссией написания *зимней, синей, лисей* и т. д., так как никакого оправдания в фактах современного литературного наречия они не находят: ударяемого окончания *-ей* для им.-вин. пад. ед. ч. муж. р. имен прилагательных в нем вовсе не имеется,⁴ а неударяемое *е* в подобном положении по условиям фонетики в литературном наречии невозможно.⁵ Факты других наречий русского языка могут быть привлекаемы только как второстепенные соображения, поскольку они не противоречат фактам литературного наречия образованных классов. Таким образом, предложенное подкомиссией окончание им.-вин. ед. ч. муж. р. имен прилагательных с среднеязычной основой *-ей* является чистейшим мифом. Таким окончанием следует считать, соответственно существующей орфографии, *-ий*, в фонетической транскрипции *-ьj*, где *ь* — неопределенный гласный среднеязычного уложения, близкий к *i*, которое и слышится при искусственном протяженном произношении: *s'i-n'ij*. Мне представляется, что скрытым мотивом к установлению написаний вроде *синей* является стремление к симметрии. Но симметрия — вещь относительная: то, что с одной точки зрения кажется симметричным, может им совсем и не быть с другой. В данном случае чувство симметрии основано было, конечно, на знании истории языка; но, раз эта последняя противоречит

⁴ *Сам-третей* редко употребляется и, не имея косвенных падежей, носит наречный характер (*решает дела сам-третей у постели*); местоимение же *чей*, принадлежа к другому морфологическому типу по ударению (*чьего́, чьему́*), едва ли может играть большую роль, тем более что делимость его — *ч-ей* — не навязывается уму с большой настойчивостью, как это бывает у всех подобных, особняком стоящих и часто употребляемых слов (ср. *меня/мне/мною*).

⁵ См.: [И. А.] Б о д у э н д е К у р т е н э, Отрывки из лекций по фонетике и морфологии русского языка. [— Филологические записки, вып. II—III. Воронеж,] 1882, стр. 81; [В. А.] Б о г о р о д и ц к и й, Грамматика русского языка, [ч. I. Варшава,] 1887, стр. 166.

фактам современного языка, принцип «так говорили наши деды» должен отступить на второй план.

Таким образом, для им.-вин. пад. ед. ч. муж. р. имен прилагательных имеется два психически существующих окончания: *-ой* и *-ий*, которые, конечно, при произнесении могут варьироваться в известных пределах в зависимости от фонетических условий, в которых им приходится появляться. Из них первое появляется при несреднеязычных основах, второе — при среднеязычных. Из этого вполне необходимо следует, что нужно писать *рыжей*, *меньшой*, *божьей*, *старшой*, *княжьей*; но *ходячий*, *тощий*, *овечий*. Впрочем, даже и при предложенном подкомиссией окончании *-ей* написания *рыжей*, *меньшей* непонятны, так как различие окончаний в зависимости от среднеязычности и несреднеязычности последней фонемы основы более чем очевидно, а что *ж*, *ш*, *ц* являются в литературном произношении несреднеязычными, а *ч* и *щ* среднеязычными, то это, конечно, всем известно. Поэтому введение здесь исторического принципа, противоречащего в данном случае современным фактам языка, кажется несколько странным. Единственным соображением, которым можно было бы оправдать такое решение, является практически-педагогическое, а именно, что решение это согласуется с предложенным подкомиссией правилом относительно чередования букв *о* и *е* после *ж*, *ч*, *ш*, *щ* и *ц* в слогах ударяемых и неударяемых. Но это полезное в общем правило должно отступить на второй план, раз оно противоречит фактам. Кроме того, облегчения при обучении письму от этого не будет, так как все равно пришлось бы заучивать, когда писать *-ой*, а когда *-ей*. При следовании же фактам языка затруднение устраняется чрезвычайно простым и вполне соответствующим языковому чутью каждого говорящего на русском литературном наречии делением на несреднеязычные (*-ой*) и среднеязычные (*-ий*) основы. Некоторые недоразумения могут вызвать такие слова, как *сладкий*, *строгий*, так как в подобных словах, кажется, наблюдаются в литературном произношении колебания между среднеязычностью и несреднеязычностью *к* и *г*. Но для однообразия, ввиду несомненной несреднеязычности основы в косвенных падежах, могут быть приняты написания *сладкой*, *строгой*.

Все сказанное об окончаниях *-ый/-ой* и *-ий/-ей* относится в полной мере и к окончаниям имен прилагательных *-ого/-ого* и *-яго/-его*, т. е. по тем же причинам мне кажутся уместными написания *доброго*, *рыжого*, *лучшего*, *куцкого* и т. д. (как *худого*, *чужого*) и *синиго*, *зимниго*, *прочиго*, *тощиго*, *божьего*, *овечьего*, так как род. пад. ед. ч. муж. р. и ср. р. имен прилагательных имеет в современном литературном наречии два окончания: *-ого* (собственно *-ова*) для несреднеязычных основ и *-иго* (соб-

ственно *-ива*) — для среднеязычных. Мне можно, конечно, возразить, что, раз допустить написание *синиго*,⁶ а не *синего*, то ради симметрии придется провести это и в остальных падежах, т. е. *синиму* вместо *синему*, *о синим* вм. *о синем* и т. д. Но отчего бы и не так? Это было бы вполне согласно с истиной. Но если бы даже подобная ломка и была признана по практическим соображениям неудобной, то, раз старое написание *синего* отвергнуто, почему бы не заменить его правильным — *синиго*, которое нашло бы себе поддержку в написании твор. пад. *синим*, так что мы бы имели три падежа с основой *сини-*, а два — с основой *сине-*. В сущности, конечно, факты произносимого языка не дают нам права различать эти основы: основа одна для всего склонения и оканчивается на *и*.⁷

В конце концов, впрочем, и написание *синего*, конечно, лучше *синяго* в педагогическом отношении, так как благодаря этому мы будем иметь вместо трех основ *сини-*, *синя-* и *сине-* две — *сини-* и *сине-*, что несомненно будет легче заучить. Как бы ни был решен этот вопрос, т. е. будет ли решено писать *синего* или *синиго*, во всяком случае написания *рыжего*, *лучшего*, *куцего* не выдерживают критики и должны быть заменены написаниями *рыжого*, *лучшого*, *куцого*.

Подкомиссия предлагает принять за окончание им.-вин. мн. ч. имен прилагательных всех родов *-ие*, *-ие*. Но современный русский литературный язык вовсе не оправдывает *е* этих окончаний, так что оно является, так сказать, висящим в воздухе на тонких исторических соображениях. Живым, психически существующим окончанием следует считать *-ий*, *-ий*, и решение подкомиссии может быть оправдано исключительно практическими мотивами — не разрывать по возможности с традицией.

Все высказанные здесь соображения являются результатом самонаблюдения единичного лица и потому требуют, конечно, проверки путем правильно поставленных экспериментов над более или менее значительным числом лиц.

В заключение позволю себе обратить внимание на предложенные подкомиссией написания *возприятие*, *разположение*, *низпослать* и т. д. Несомненно, что последовательности ради следовало бы восстановить *з* этих приставок в положениях пе-

⁶ Окончание *-иго* нельзя допустить не только ради симметрии с *-ого*, но и по историческим соображениям. Е. К[арский].

7	Ед. ч. муж. р.	жен. р.	Мн. ч.
	<i>s'in'-ь-j</i> (ср. р. <i>s'in'-ь-je</i>)	<i>s'in'-ь-ja</i>	<i>s'in'-ь-ji</i>
	<i>s'in'-ь-va</i>	<i>s'in'-ь-j</i>	<i>s'in'-ь-x</i>
	<i>s'in'-ь-mu</i>	<i>s'in'-ь-j</i>	<i>s'in'-ь-m</i>
	<i>s'in'-ь-j / s'in'-ь-va</i> (ср. р. <i>s'in'-ь-je</i>)	<i>s'in'-ь-ju</i>	<i>s'in'-ь-ji / s'in'-ь-x</i>
	<i>s'in'-ь-m</i>	<i>s'in'-ь-j (u)</i>	<i>s'in'-ь-m'i</i>
	<i>a-s'in'-ь-m</i>	<i>a-s'in'-ь-j</i>	<i>a-s'in'-ь-x</i>

ред глухой фонемой. Но вопрос в том, как ценна вообще последовательность в правописании и не может ли быть в нем других, более ценных идеалов. Мне кажется, что таким идеалом является возможно больший параллелизм между языком написанным и языком произносимым, и несомненно, что всякое правописание, даже самое консервативное, постоянно развивается в этом направлении. В частности, по отношению к русскому правописанию указывалось, что именно теперь уместна его реформа, так как оно сравнительно недалеко отстало от языка произносимого и потому приближение его к этому языку не произведет такого коренного переворота, как это было бы, например, в английском. Поэтому казалось бы уместным воспользоваться освященной традицией уступкой фонетике при приставках *из-*, *воз-*, *раз-*, *низ-* и распространить ее на другие префиксы, т. е. писать *восприятие*, *расположение*, *бесполезно*, *чресполосица*, *потпереть*, *преттеча* и т. д. Само собой разумеется, что этимологическое чутье несколько от этого не пострадает, так как не правописанием оно воспитывается: и неграмотный человек прекрасно понимает, что *без-* (в *безупречный*) и *бес-* (в *беспорочный*) значит одно и то же. Между тем подобное решение будет несомненно шагом вперед в развитии нашего правописания, шагом, который несомненно пришлось бы рано или поздно сделать, как его пришлось сделать, например, по отношению к слову *восток*.

МНЕНИЕ Л. В. ЩЕРБЫ О ПРОЕКТЕ КАБАРДИНСКОГО АЛФАВИТА НА ОСНОВЕ РУССКОЙ ГРАФИКИ

1. В основном надо признать, что авторы проекта так или иначе разрешили стоявшую перед ними проблему, хотя самая редакция проекта и нуждается в коренной переработке, а иногда и в доработке с разных точек зрения.

2. В частности, можно целиком одобрить принцип обозначения смычногортанных посредством соответственных несмычногортанных + знак гамзы. Точно так же можно одобрить мысль авторов проекта изображать увулярные (иначе велярные, или глубокозаднеязычные) посредством соответственных заднеязычных + *ъ*. Наконец, вполне можно принять мысль авторов и об изображении лабиализованных посредством соответственных нелабиализованных + *у*.

Надо указать, однако, что то же самое можно применить и к латинскому алфавиту и тем сократить его на соответственное число знаков.

3. Если принять следующие два положения, — а не принять их невозможно, — то надо будет все-таки внести серьезные изменения в проект алфавита.

4. Первое основное положение. Всякий проект перехода с латинского алфавита на русский должен считаться с возможностью подобного же перехода и некоторых других народов Союза, а следовательно, с необходимостью известного единства в адаптации русских букв к иноязычным звукам.

5. Второе основное положение. Переход на русский алфавит одною из главных своих целей ставит максимальное облегчение одновременного усвоения грамоты на двух языках — национальном и русском. Для этого недостаточно принять начертания русских букв и их основные значения. Необходимо осознать и усвоить некоторые основные принципы русского алфавита. Только тогда у обучающихся не будет коллизий между двумя письменностями и только тогда переход на русский алфавит будет иметь полностью то благотворное влияние, которое он имеет в виду.

6. Исходя из этих двух основных положений, надо отвергнуть изображение гамзы русским э, так как благодаря этому буква э приобретает два совершенно разных смысла (гласного и согласного), что не может не являться лишней трудностью в и без того трудном деле одновременного изучения двух грамотностей. Возможность сближения русского э с гамзой у авторов проекта объясняется школьным произношением изолированной гамзы, которую не так легко произнести изолированно, не сопровождая ее последующим гласным.

7. Апостроф является тем знаком, который как бы специально создан для изображения гамзы: в русском он является «отделительным знаком», а гамза на слух во многих случаях будет именно отделять предшествующий согласный от следующего гласного. Хотя природа «отделения» в русском и кабардинском и не одинаковая, однако лучшего способа для обозначения гамзы нельзя найти, если не взять соответственного арабского знака.

8. Как сказано было выше, употребление твердого знака (т) в качестве диакритики для обозначения увулярных (иначе велярных, иначе глубокозадненебных) согласных надо признать в высшей степени остроумным, так как велярность является максимальной противоположностью мягкости, а следовательно очень хорошо символизируется твердым знаком.

Этот принцип следует положить в основу приспособления русского алфавита и для многих других языков.

Поэтому *q* очень удачно изображается через *къ*; *q^z* — через *кхъ*; *χ* — через *хъ* и *g* — через *гъ*.

Примечание 1. Такова обязательно должна быть теория кабардинского алфавита в процессе обучения. Так, может быть, придется писать в будущем при унификации алфавитов близких языков, где будет важна легкость взаимного понимания. Пока же на практике можно упростить дело и писать *кx* вместо *кxъ*. Это упрощение допустимо в том же порядке (но еще с большим правом), что и русский обычай писать *e* вместо *ё* (*внес* вместо *внёс*).

Примечание 2. Нельзя не отметить, что перспективно начертание *гъ* для *g* недопустимо, так как при этом русская буква *г* для смычного (взрывного) звука применяется для щелевого (спиранта). Не говоря уже о противоречии с русским, которое будет путать кабардинских ребят, могут оказаться близкие языки, где надо будет отличать смычный от щелевого, а поэтому следует придумать особый знак для заднеязычного и велярного щелевых (эта надобность уже и сейчас имеется в кабардинском, где русские слова со взрывным *г* изображаются через спирантное *g*; с улучшением знания русского языка эта надобность обострится). Такой знак имеется в украинском, но так как украинские знаки противоречат русскому (*г* — щелевой, а *г* — смычный), то они будут тоже путать кабардинских детей при обучении грамоте.

Поэтому можно предложить или диграфы — *gx* для щелевого заднеязычного и *gxъ* для щелевого велярного, или ту или другую диакритику, например *g* и *ǵъ* (если диграфы могут повести к каким-либо смешениям). Другого выхода нет, а потому это должно быть или принято сейчас, или иметься в виду для будущего. Так как я понимаю, что в каких-либо языках диграфы, наверное, поведут к смешениям, то, вероятно, придется прибегнуть к диакритике. Однако ввиду того, что вопрос о диакритике спорный и типографски не может быть решен немедленно, то временно можно согласиться на изображение *γ* через *gx* и даже через *g*, а *g* — через *gxъ* или даже через *gъ*.

9. Тут уместно сказать несколько слов против узкого делячества в вопросе алфавитного строительства. Не алфавит должен строиться, приспособляясь к техническим затруднениям сегодняшнего дня, а техника приспособиться к рациональной политике в области алфавитного строительства. Этого повелительно требуют руководящие идеи социалистического строительства вообще: не человек для техники, а техника для человека, — этот принцип перспективно всегда оставался руководящим.

Переходя к практическому приложению этого общего положения, надо выставить следующий принцип.

10. **Третье основное положение.** Легкость чтения, быстрота понимания и легкость обучения; отсутствие в нем внутренних противоречий (однако легкость обучения лишь постольку, поскольку она не противоречит легкости чтения) гораздо важнее легкости писания или печатания, ибо читают миллионы, а пишут десятки,* которые могут и потрудиться для миллионов, печатание же является техникой, которая должна приспособиться к удобствам человека.

11. Поэтому, во-первых, всякие разговоры о том, что так выходит дешевле или так выходит технически проще, при всей своей важности не могут иметь решающего значения, когда

дело идёт о лёгкости чтения и наглядности, простоте обучения. Можно придумать очень «дешевую» орфографию, которая, однако, будет ненавистной по своей трудности, и Союз не так беден, чтобы идти по этому пути.

12. Во-вторых, признавая принципиальную желательность ограничиться существующей русской кассой, надо, однако, признать, что в ней не больше знаков, чем сколько есть, а потому может наступить момент, когда этот правильный принцип обратится в свою противоположность. Поэтому надо предвидеть, что, кроме обычной русской кассы, придется создать специальную русскую кассу для национальных языков Союза с некоторыми дополнениями.

13. В-третьих, целиком признавая желательность в принципе обходиться без диакритических знаков, нельзя, однако, из этого принципа делать фетиш, так как иногда диакритика является единственным удобным и в процессе обучения очень наглядным (ибо аналитичным) способом обозначения звуков, не имеющих в русском языке. Типографские возражения несомненно преувеличены (ср. французскую фразу *l'été avait été très sec*, где имеем шесть диакритических знаков) и во всяком случае не могут иметь, как сказано выше, решающего значения. Что касается отрыва руки при писании, то перспективно надо иметь в виду, что пишущая машинка в Западной Европе уже вытесняет писание от руки: есть люди, которые перо употребляют лишь для подписи. Во всяком случае, удобства чтения и обучения важнее удобства письма, как было разъяснено выше.

14. Безусловно неудачным в проекте надо признать обозначение *l'* через *ль* и *h* через *хь*, особенно при одновременном обозначении *z* через *жь*. Русский мягкий знак таким образом употребляется в трех разных смыслах, из которых два не совпадают с русским. Это нетерпимо согласно второму основному положению, тем более что кабардинское *l'* обозначается не через *ль*, которому оно соответствует, а через *л*, т. е. через *л* твердое.

Между тем есть весьма простой способ (вытекающий из кабардинского языка и из основных принципов русского алфавита) не только не вносить смуты в детские умы, но, исходя из кабардинского языка, помочь детям разобраться в трудностях русского алфавита.

15. В кабардинском языке *š'* и *ž'* можно признать мягкими по отношению к *š* и *ž* (как это и делают авторы проекта, предлагая для первого *щ*, а для второго *жь*). Из этого надо сделать естественные выводы и обозначить их так, как обозначаются мягкие согласные в русском языке, т. е. *шь*, *жь*, *шя*, *жя*, *шю*, *жю*, *ше*, *же*, *шё*, *жё*, *ши*, *жи*, *шыы*, *жыы* в отличие от *ш*, *ж*,

ша, жа, шу, жу, шэ, жэ, шо, жо, шъи, жъи,¹ шы, жы, передающих кабардинские твердые *š* и *ž*.

Так как кабардинские *l'*, *ḷ'* по мягкости отождествляются с русским *ль*, то во избежание совершенно невыносимой путаницы в головах детей необходимо принять написание *ль* для кабардинского *l'* (о написаниях для *ḷ'* см. ниже, п. 16) и в полном соответствии с *шь*, *жь* и с русскими алфавитными принципами писать также *ля*, *лю*, *ле*, *лѐ*, *ли*, *лы*. Благодаря этому на четырех мягких звуках кабардинского языка будут целиком усвоены очень сложные правила изображения мягкости в русском алфавите. Это громадное педагогическое достижение стоит того, чтобы на конце слов и перед согласными писать *ь*, которое с точки зрения узкого делячества можно было бы в кабардинском и пропускать, приняв русское твердое *л* для обозначения кабардинского мягкого *l'*.

Что касается слов, заимствованных из русского или через русский, то они будут писаться по-русски, т. е. *канцелярия*, *иллюстрация*, *Энгельс*, *Ленин* и т. п., т. е. совершенно одинаково с исконными кабардинскими словами. Там, где по-русски имеется твердое *л*, правописание будет сохраняться русское, а в произношении на первых порах будет колебание; но во всяком случае дети будут знать уже из графики, что в словах *флора*, *лампа* и т. п. на самом деле произносится не *ль*, а что-то другое, — и педагогически это тоже будет важным достижением.

16. По всем указанным причинам приходится забраковать *ль*, как обозначение кабардинского *ḷ'*. Соглашаясь с авторами проекта, что диграф *тл* может вызвать смешение, я предлагаю сочетание *хль* и в сочетаниях с гласными *хля*, *хлю*, *хле*, *хлѐ*, *хли*, *хлы*, а для *ḷ'* следовательно *хль'* (но *хль'а*, *хль'у*, *хль'э*, *хль'о*, *хль'и*, *хль'ы*).

Такова обязательно должна быть теория кабардинского алфавита при обучении грамоте. На практике же можно

¹ Твердый знак в сочетаниях *шъи* и *жъи* употреблен несколько в другом смысле, чем это принято в проекте (см. п. 8), но однако все-таки в близком смысле, так что затруднений никаких не возникает. Но перспективно надо иметь в виду, что русский алфавит совершенно не умеет обозначать твердые согласные перед *и* и мягкие перед *ь*, особенно первые, и что, может быть, придется в дальнейшем найти какой-либо иной принципиальный выход, чем мною предложенный. Этот выход может идти или по украинской линии, т. е. состоять во введении двух знаков для *и* (ср. украинское *i* и *ï*) — один для обозначения твердости, а другой для обозначения мягкости, — или по линии принятия особой диакритики. Все это придется сделать в будущем лишь в том случае, если окажется настоящая нужда различать твердые и мягкие перед *и* в широком масштабе, когда *ъ* может оказаться резко двусмысленным. Пока же для кабардинского мои предложения являются вполне приемлемыми.

условно выкидывать ь (см. выше примечание 1 к п. 8), поскольку не может быть смешений, и писать *хл'*, *хл'а*, *хл'у*, *хл'э*, *хл'о*, *хл'и*, *хл'ы* (но не *хл* вм. *хль*).

Так как и в других кавказских языках встречается глухое *л* и предлагаемый мною способ его обозначения, наверное, где-нибудь будет неприемлем ввиду возможных смешений, то его следует считать временным, а перспективно необходимо иметь в виду создание для него особого знака, например, *ль* или *ль̣* (я считаю, что диакритика лучше специальных выдуманных знаков, которые, как показал опыт между прочим и кабардинского алфавита, в большинстве случаев оказываются неудобными в употреблении).

17. По тем же причинам, что и *ль* для *л̣*, приходится забраковывать и *хь* для *ħ*. Звук этот имеет большое распространение во всех кавказских языках, и совершенно очевидно, что для него придется в конце концов принять латинский знак *ħ* или в простом виде, или в удвоенном — *hh*, или с диакритикой — *ħ* (ввиду того что придется, вероятно, отличать несколько гортанных спирантов). Не надо пугаться смешения двух алфавитов (ср. п. 12), так как практика сербского языка нам показала, что введение Караджичем *j* и *ħ* в состав сербского алфавита, в основном состоящего из русских букв, не привело ни к чему плохому («вуковица» считается даже одним из образцовых алфавитов).

Однако пока, ввиду временных технических затруднений, можно предложить для кабардинского *ħ* (арабского ح) удвоенное *xx*, что находит себе некоторое акустическое оправдание в том, что оно представляется как бы усиленным придыханием.

18. Став до конца на позиции второго основного положения (см. п. 5), приходится одобрить изображение *ја*, *ји*, *је* через *я*, *ю*, *е* и даже предложить ввести *ё* для обозначения *jo*. Для обозначения *jы* и *ji* (если в последнем есть надобность) приходится все-таки принять *йы* и *йи* (для *йи* можно было бы предложить украинское *і*, но это без надобности усложнило бы дело), поскольку *й* употребляется уже после гласных (*бэй*, *бий* и т. п.), отличаясь от *и* в этом положении.

Правило правописания о написании *иы* вместо *йы* надо решительно отвергнуть, как образец подчинения сути языкового дела внешним типографским требованиям (уменьшение числа случаев применения диакритики) и усложнения таким образом дела обучения, см. выше пп. 10 и 13.

19. Хотя на первых порах для кабардинского, по-видимому, и можно принять неразличие на письме *у* слогового от *ў* неслогового, однако перспективно надо иметь в виду,

что это различие очень распространено в других языках и что в дальнейшем привлечение *й* из белорусской кассы совершенно необходимо для обозначения *у* неслогового. Это значительно облегчит чтение и понимание и в кабардинском.

20. Обозначение лабиализованных через прибавление *у* (а в будущем обязательно через *й*) следует признать вполне целесообразным.

21. Обозначение *dʒ* через *дз* более чем естественно. Точно так же и обозначение *dʒ̣* через *дж*.

Что касается *qʰ*, то так как его аффрикатный характер является четко выраженным, его тоже вполне целесообразно изображать через *кх(ъ)* (см. п. 8).

22. Наличие в исконных кабардинских словах — а следовательно, и различие — трех гласных, кроме *ы*, несомненно, и хотя усилия авторов проекта обойтись только двумя знаками и надо признать в высшей степени остроумными (учет ударения), однако они решительно вредны, так как затемняют простую сущность дела сложными и трудными в процессе обучения орфографическими правилами.

Между тем основа всех этих ухищрений все та же: подчинение языковых потребностей внешним типографским требованиям. Различие *а* и *ă* забраковывается из-за предрассудка против диакритики, а различие *а* и *аа* сокращается за счет уменьшения употребления *аа* в целях удешевления (ср. п. 11).

Мне кажется, что безусловно надо откинуть все мудреные правила орфографии, только затрудняющие процесс обучения, и принять *э, ѣ, а* (а не двойное *аа*, являющееся двусмысленным), которые после *л* будут изображаться через *е, ѣ, я*.

Русские заимствованные слова с *э* не представляют затруднений. Такие русские слова, как *Ленин, электрон*, тоже с легкостью укладываются в рамки кабардинского алфавита. Такое слово, как *тема*, будет, однако, не совсем понятно в принципе своего написания: применительно к естественному кабардинскому произношению этого слова оно должно бы писаться *тэма*. Я нахожу во всяком случае, что сочетание *те, де, се, зе* и т. п. в русских заимствованных словах явятся хорошим сигналом для того, чтобы обратить внимание учащихся на их особое произношение в русском языке. Если же по-кабардински они будут произноситься как *tje, dje, sje, zje*, подобно тому, как они наверное произносят какое-либо *бюро* как *bjuro* и т. п., то в этом не только не будет ничего плохого, но эти произношения явятся совершенно правильной адаптацией русской фонетики к кабардинской и будут вполне аналогичны тому, что делают русские, произнося *ню* вместо французского *ни*.

Пунктуация — правила употребления дополнительных письменных знаков (знаков препинания), служащих для обозначения ритмики и мелодики фразы, иначе фразовой интонации. При этом надо отметить, что паузы, которые мы считаем основным средством ритмического членения речи, фактически могут и отсутствовать и впечатление пауз может обуславливаться лишь соответствующей интонацией. Поскольку, однако, ритмика и мелодика речи выражают членение потока нашей мысли, а иногда ту или другую связь отдельных ее моментов и, наконец, некоторые смысловые оттенки, постольку можно сказать, что знаки препинания служат собственно для обозначения всего этого на письме. Этим определяется двойственный характер всякой пунктуации: фонетический, поскольку она выражает некоторые звуковые явления, и идеографический, поскольку она непосредственно связана со смыслом. Членение речи-мысли, а в еще большей мере связь между отдельными ее частями и разные смысловые их оттенки выражаются в речи не только интонационно, но и отдельными словами, формами слов и порядком слов, и если справедливо, что членение и аффективные оттенки всегда находят себе выражение в интонации (хотя далеко не всегда это обозначается на письме), то связь между отдельными частями речи только очень суммарно выражается интонационно, а логические их оттенки — и очень редко. Во фразе *я спросил моих друзей довольны ли они своим пребыванием в Москве*, написанной даже без знаков препинания, частица *ли* ясно показывает, что членение фразы приходится перед словом, к которому эта частица относится, и соответственная интонация, передаваемая на письме запятой, выражает членение, выраженное уже этим *ли*. Такой же случай мы имеем и во фразе *мы не топили вчера плиты потому что было слишком жарко*, где слово *потому что* и соответственная интонация выражают аналогичное членение. Наконец во фразе *были ли вы вчера в театре* вопрос выражен частицей *ли* и вопросительной интонацией, нашедшей себе выражение на письме в виде вопросительного знака. Однако в последней фразе вопросительная интонация может быть сильно ослаблена, а в некоторых языках и вовсе аннулирована. Во второй фразе характер связи между двумя ее членами выражен исключительно словом *потому что*, а не интонацией, и т. п. С другой стороны, часто бывает и так, что интонация является единственным средством выражения как членения, так и характера связи между отдельными частями. Так, вторую из вышеприведенных фраз можно перестроить следующим образом: *мы не топили вчера плиты: было слишком жарко*, — где и чле-

нение и причинная связь выражены единственно интонацией. Благодаря этому совершенно естественно, что известную депешу исторического анекдота — *казнить нельзя помиловать* — абсолютно нельзя понять без знаков препинания, которые бы отражали интонацию и ее членение.

Но дело дальше осложняется еще и тем, что разные средства выражения членения речи могут иногда друг другу противоречить: *я знаю что он придет, дом где я живу* произносятся чаще всего как интонационные целые, несмотря на словечки *что, где*, которые несомненно выражают членение. При таких обстоятельствах естественно, что пунктуация, которая должна отражать все эти явления на письме, находится зачастую в затруднительном положении. В силу своей фонетической природы пунктуация должна была бы обращаться к интонации, которая в естественном потоке устной речи всегда налицо и не оставляет места ни для каких сомнений; но когда нам надо искусственно воспроизвести эту интонацию, для того чтобы записать ее на бумаге в виде знаков препинания, дело оказывается очень трудным. Поэтому пунктуация охотно обнаруживает другую свою природу — идеографическую — и обращается к смысловому анализу каждого данного контекста. Но и смысловой анализ зачастую представляет значительные затруднения, а потому пунктуация часто обращается к тем средствам выражения смысла, которые легко схватываются, — к словам, их формам, их порядку и т. д. — и зачастую ставит знаки вопреки смыслу и интонации, руководствуясь лишь формальными признаками. Мы уже видели, что там, где порусски ставится формальная запятая (перед относительными словами), сплошь и рядом нет никакого — ни интонационного, ни смыслового — членения: в самом деле, синтагма *дом где я живу* по смыслу абсолютно равна синтагме *наш дом* (с переносным значением слова *наш*), имея лишь отличную от нее внутреннюю форму. Далее, мы обязательно выделяем запятыми такие слова, как *кажется, вероятно, может быть* и т. д., исходя из формального отнесения этих слов к категории «вводных слов». Между тем это в большинстве случаев не оправдывается ни интонационно, ни по смыслу, так как по большей части эти слова не являются самостоятельными предметами мысли. Благодаря этому в общепринятой пунктуации скрадывается глубокое различие между *кажется, мы приехали* и *мы кажется приехали*. С другой стороны, мы никак не отмечаем совершенно очевидного членения в таких фразеах, как *мой дядя / был старый революционер, мои родственники с отцовской стороны / приехали наконец в Москву* (школьные учебники вынуждены даже специально утверждать, что сказуемое никогда не может быть отделяемо запятой от своего подлежащего).

Благодаря всему сказанному правила пунктуации носят в большинстве случаев компромиссный характер и являются отчасти фонетическими, отчасти смысловыми, отчасти формальными.

Большинство древних письменностей из всех знаков препинания знало только «абзац» или «точку». Графически они выражались по-разному, хотя, по-видимому, точка и была самой распространенной формой и первоначальная дифференциация этого знака у греков состояла лишь в постановке точки вверху строки, посреди строки и внизу строки. Значительное развитие пунктуация получила лишь у поздних александрийцев. В древнерусской письменности самым распространенным знаком тоже была точка, употреблявшаяся более или менее в смысле нашей запятой и в основном разделявшая, по-видимому, текст на синтагмы. Те или другие знаки более сложной формы, которые более или менее отвечали бы по смыслу нашей точке, встречаются реже и являются чем-то средним между нашим «абзацем» и «точкой». В этой же функции фигурировало, по-видимому, то, что мы назвали бы большой, или прописной, буквой, т. е. так или иначе увеличенная и изукрашенная буква.

Современная европейская пунктуация, в том числе и русская, восходит к началу книгопечатания, когда типографщики братья Мануции увеличили число знаков препинания и установили правила их употребления.

Однако правила эти установились не сразу и в разных языках значительно разнятся друг от друга, причем можно наметить два их типа: французский (английский, итальянский и т. д.) и немецкий (чешский, польский, русский и т. д.). Первый реже, чем второй, ставит тире, употребляет гораздо меньше запятых и стремится выражать ими смысловые нюансы (зачастую чисто идеографически, т. е. вне всякой связи с интонацией); второй широко признает тире и злоупотребляет запятыми, ставя их более или менее по формальным признакам. В первом типе, например во французском, относительные придаточные предложения только тогда выделяются запятыми, когда пропуск их искажает общий смысл фразы; напротив, во втором, например в русском, запятые ставятся в этих случаях всегда. Например, русской фразе *она знала человека, который ей поклонился* во французском языке соответствует фраза *elle connaissait l'homme qui l'avait saluée*, где запятой никак нельзя поставить, так как *который ей поклонился* является для слова *человек* необходимейшим определением, без которого вся фраза теряет свой смысл. Ж. Санд, имевшая свою систему пунктуации, стояла между прочим за систематическое неупотребление запятых при кратких относительных предложениях (независимо от их функции), ссылаясь, по-видимому, на интонацион-

ные тенденции живой речи, объединяющей в таких случаях определяемое и определяющее в одно целое понятие. Так, во фразе *elle s'approcha de la lampe, qui finissait de brûler* ('она подошла к лампе, которая догорала') она предлагала не ставить запятой. Но ее предложение не прошло, так как именно на этой фразе было показано, что без запятой она означала бы, что *она подошла к той лампе* (из многих), *которая догорала*; по-русски, при существующих правилах пунктуации, отсутствие запятой было бы просто безграмотностью и указанное смысловое различие никак не может быть выражено знаками препинания.

Независимо от того или иного типа пунктуации, употребляемые в европейских письменностях знаки препинания имеют следующие общие смысловые функции: 1) **з а п я т а я**, с одной стороны, разделяет единое целое на отдельные части, члены, поскольку эти части не являются вполне самостоятельными единицами речи (легкое повышение тона); с другой стороны, она ставится между так называемыми однородными членами, вернее однородными элементами одного и того же члена единого целого (интонация перечисления); 2) **т о ч к а с з а п я т о й** разделяет вполне самостоятельные части единого целого (небольшое понижение тона); 3) **д в о е т о ч и е** также разделяет две вполне самостоятельные части единого целого, но кроме того указывает, что во второй части даются какие-либо разъяснения к первой; таким образом интонация, выраженная двоеточием (повышение тона), имеет приблизительно то же значение, что союзы *а, именно, потому что, так что*; 4) **т и р е**, или **ч е р т а**, имеет самое неопределенное значение, в связи с чем сфера его употребления очень колеблется в разных письменностях — от единственной функции разделения слов разных действующих лиц в диалоге (во французском) до крайне разнообразного его применения (в русском); по-видимому, можно сказать, что основной смысл тире — это более или менее резкое противопоставление, выражаемое повышением, а затем резким падением тона, а иногда и реальной паузой, противопоставление вопроса и ответа, подлежащего и сказуемого, протезиса и аподозиса, действия и неожиданного следствия, действия и его причины и т. п.; последнее обстоятельство ведет к некоторому смешению тире с двоеточием; кроме того, тире употребляется иногда в смысле скобок; 5) **т о ч к а** в связи с большой буквой следующего слова обозначает полную законченность высказывания, выражаемую сильным понижением тона; 6) **а б з а ц**, или «красная строка», которую тоже надо считать своего рода знаком препинания, углубляет предшествующую точку и открывает совершенно новый ход мыслей; 7) **м н о г о т о ч и е** выражает недоконченность, недоговоренность, оборванность мысли (отсутствие и повышения и пони-

жения тона); 8) вопросительный знак (специфическая интонация) выражает вопрос; 9) восклицательный знак со специфической интонацией выражает сильный аффект (удивление, ужас и т. п.) и особенно энергичное приказание (здесь полезно будет указать, что в испанском вопросительные и восклицательные знаки остроумным образом ставятся не только в конце предложения, а и перед ним, но в перевернутом виде: ¿ sabe ud. el castellano?); 10) кавычки (лапочки) употребляются для текстуального приведения чужой речи, чужих фраз и даже отдельных слов, которые пишущий не считает своими (специфическая интонация); 11) скобки обозначают, что мысль, в них приведенная, совершенно выпадает из общего хода речи, что выражается иной высотой тона того, что произносится в скобках.

Черточка (иначе дефис), пробел между словами, апостроф хотя и являются дополнительными письменными знаками, но собственно не относятся к знакам препинания, так как не имеют отношения к фразовой интонации. Из них пробел не требует объяснений; черточка, или дефис, присоединяет частицы, не могущие быть употребленными отдельно, а также слова, потерявшие свою самостоятельность; апостроф выражает пропуск буквы, нормально пишущейся в данном случае.

К ВОПРОСУ О ТРАНСКРИПЦИИ

(Доклад, читанный в заседании лингвистической секции
СПб. Неофилологического общества 11 мая 1911 г.)

Доказывать желательность единообразия научной лингвистической транскрипции значит ломиться в открытые двери. Скорей мне придется сделать кое-какие оговорки. Во-первых, я не совсем согласен с Хиртом (см. статью «Zur Transcriptions-misère» в I. F., XXI, [1907,] 152) относительно необходимости введения единой транскрипции в классическую сравнительную грамматику ариоевропейских языков. По-моему, трудно заниматься сравнительной грамматикой каких бы то ни было языков, не зная их. А раз они должны изучаться, то их своеобразная графика или транскрипция не представят большого затруднения. Реальная выгода от того, что греческие, латинские; славянские и пр. слова будут написаны более или менее единообразно, получится разве для популярных лекций, где необходимо наглядно показать возможность сравнения разноязычных элементов. Так, конечно, и приходится поступать при чтении подобных курсов, особенно ввиду распространяю-

щегося незнания греческого языка; но вводить подобную транскрипцию во все учебники, словари, научные статьи и пр., конечно, не стоит. Где собственно особенно резко чувствуется необходимость единообразия транскрипции — так это при теоретических исследованиях, а главное — при описании всевозможных диалектов: тут зачастую приходится лишь просматривать отдельные работы, и индивидуальные транскрипции разных авторов приводят читателя иногда в отчаяние.

Во-вторых, нужно напомнить давно установленное положение, что у н и в е р с а л ь н ы й фонетический алфавит есть нечто само по себе невозможное: алфавитов собственно должно быть столько, сколько языков. Это вытекает из того простого констатирования, что трудно найти два а б с о л ю т н о идентичных звука в разных языках. То, что мы смело обозначаем через *a*, например, в русском, малорусском, сербском, французском, немецком, английском языках, на самом деле является значительно различными по качеству звуками. Многим это может показаться смешным и бесцельным педантизмом; однако малорусское *a*, например, французом будет несомненно воспринято как самостоятельный звук, отличный от обыкновенного французского *a* и являющийся во французском продолжателем долгого *a* (ср. *patte* и *râte*). Мало того, как известно, каждая фонема (звук речи) произносится не всегда одинаково: произношение способно колебаться в известных пределах. Р а з м а х и н а п р а в л е н и е э т и х к о л е б а н и й, о к а з ы в а е т с я, з н а ч и т е л ь н о р а з н и т с я о т я з ы к а к я з ы к у, и этого не выразить никаким алфавитом.

Таким образом, как бы ни был совершен определенным фонетический алфавит, все равно для каждого данного языка должен быть дан ключ, т. е. подробное акустическое и физиологическое описание фонем. Можно даже сказать, что фонетический алфавит, как и всякая голая схематизация, кроет в себе опасности для дальнейшего развития науки: люди приучаются смотреть на ф а к т ы сквозь клеточки таблички, вместо того чтобы их попросту и по возможности беспристрастно описывать; все новое и хоть сколько-нибудь непредвиденное безвозвратно для них погибает. Между тем опыт показывает, что всякие таблицы и схемы расползаются по всем швам, как только попробовать вставить в них ф а к т ы ж и в о й д е й с т в и т е л ь н о с т и.

Влияние подобного мертвящего схематизма можно отметить на многих диалектологических работах последнего времени, как у нас, так и за границей.

Зачем же тогда фонетический алфавит вообще и его единообразие в особенности?

Мне представляется все-таки крайне желательным достижение единообразия в смысле устранения употребления одних и тех же знаков в совершенно противоположных значениях. Так, например, *y* у нас обыкновенно употребляется в смысле русского *ы*, а в большинстве западных фонетических руководств в смысле немецкого *ÿ*, а для нашего *ы* там принят знак *ï*. В некоторых алфавитах *ç* означает немецкий «ich-Laut», а в других — сербское *ћ*. Для этого последнего употребляется также *с*, которое у нас принято в смысле русского *ц*. Мы привыкли обозначать слогаобразующие кружочком внизу (*г*); в Западной Европе этот кружочек у некоторых обозначает глухое произношение. Таких примеров можно привести множество, особенно если принять во внимание все существующие фонетические алфавиты.

Подобные противоречия в существующих системах, а тем более совершенно индивидуальное употребление разных знаков в самых разнообразных смыслах, по-моему, действительно является существенным неудобством, а потому принятие какой-либо определенной системы, сперва хотя бы и небольшим кругом лиц, представляется мне крайне желательным. Само собой разумеется, что значение отдельных знаков при этом может быть установлено лишь приблизительно, так что каждый пользующийся ими должен всякий раз *ad hoc* вкладывать в них окончательный смысл, оставаясь, конечно, в известных рамках данного алфавита.

Какую же систему выбрать для подобного соглашения? Собственно все системы, составленные знающими фонетиками, сами по себе хороши, и, по-моему, самым важным качеством является лишь степень распространенности той или иной системы. С этой точки зрения, для России нужно прежде всего отметить «Русскую лингвистическую азбуку» нашей Академии наук, которая объединила большое число русских исследователей так называемых «восточных языков».

Но несмотря на ее большие заслуги перед наукой едва ли она имеет большие шансы на широкое распространение, благодаря ассоциациям кирилловского алфавита, положенным в ее основание. Из фонетических алфавитов, основанных на ассоциациях латинского, бесспорно первое место занимает алфавит Международной фонетической ассоциации.

Ассоциация эта насчитывала к январю 1911 г. 1226 членов во всех странах света и в их числе почти всех современных выдающихся фонетиков. Большинство из них пользуется ее алфавитом в своих сочинениях, как например многие авторы популярных руководств: Есперсен, Фиэтор, Пасси; один лишь Сиверс стоит в стороне. Что касается Суита, то его «*paagow gomis*» очень близок к международному фонетическому алфавиту.

Отдельных монографий, где применяется этот алфавит, настолько много, что я затрудняюсь определить число их даже приблизительно. Вообще можно сказать с уверенностью, что ни одна из существующих транскрипционных систем, — может быть, очень хороших по своим внутренним качествам, — не пользуется и десятой долей той популярности, какую имеет алфавит Международной фонетической ассоциации. Поэтому если искать готовые системы, то несомненно наиболее естественным является принятие именно этого алфавита.

Однако несмотря на свое название алфавит этот оказывается не вполне международным. Дело в том, что в настоящее время в лингвистике, особенно в немецкой, выработалось в этом отношении нечто действительно международное, всем понятное и известное. Я думаю, что этот «международный элемент» заключается в книгах Бругмана и через них распространяется решительно повсюду.* На этих элементах воспитаны и мы, славяне, так что большинство наших индивидуальных транскрипций на них основаны. Между тем «международный» фонетический алфавит [М. а.] решительно не считается с этими действительно «международными» фактами: *c*, которому мы все привыкли придавать значение русского *ц*, имеет в М. а. значение палатального смычного; *g*, которое мы привыкли вслед за Бругманом считать за глубокий заднеязычный, присвоено значение заднеязычного спиранта. Кружочек внизу, которым всегда обозначаются слогаобразующие звуки, в М. а. показывает глухость данного звука, и т. д.

Другой недостаток международного алфавита состоит в том, что он употребляет прописные буквы, которые крайне неудобны для письма, что, однако, нужно иметь в виду, так как фонетический алфавит должен ведь в первую голову служить для диалектологических фонетических записей. Этот недостаток сознается, кажется, и многими членами ассоциации.

Эти обстоятельства побудили меня, выбрав для личного употребления алфавит Международной фонетической ассоциации, как наиболее распространенный, тем не менее несколько изменить его, устранить указанные недостатки. При этом я не стеснялся вводить по два знака на выбор для одного и того же звука, имея в виду, что лучше их вводить в согласии с Международной фонетической ассоциацией.

Хотя сам я и не придаю особого значения своим «алфавитным упражнениям», однако позволяю себе все-таки опубликовать этот опыт «омеждународнения» международного фонетического алфавита* и делаю это ввиду того, что многие слависты, по-видимому, начинают сознавать необходимость упорядочения диалектологических знаний, причем взоры их невольно обращаются в сторону М. а.

ЗАМЕТКИ О ФОНЕТИЧЕСКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ

(По поводу предложений Копенгагенской конференции 1925 г.)

I. Совершенно естественно, что сразу же после окончания войны в научном мире возникла необходимость международного сотрудничества и взаимного понимания во всех областях знания. И, конечно, лингвисты всех стран с удовлетворением узнали о прекрасной инициативе Есперсена и Сальверда де Граве, которые снова подняли вопрос о транскрипции и транслитерации, назревший уже давно. Не говоря о хорошо известных работах Лепсиуса, Суита, Пасси, Ф. Вульфа, Есперсена, Лунделла и других ученых,¹ которые занимались вопросом о фонетическом алфавите, можно упомянуть несколько статей и сообщений, вышедших в предвоенные годы, как например: P.-G. Schmidt. Les sons du langage et leur représentation dans un alphabet linguistique général. [Salzburg,] 1907; H. Hirt. Zur Transcriptionsmishère. 1907 (I. F. XXI) и мою статью «К вопросу о транскрипции», 1911 (ИОРЯС, XVI, 4).

II. Мы должны поблагодарить Копенгагенскую конференцию за все усилия, которые она приложила, чтобы осуществить давнишнюю мечту об унификации фонетических алфавитов, и нужно согласиться, что усилие это явилось важным этапом на пути к этой цели. Действительно, я думаю, что все согласятся с рядом решений, принятых Конференцией. Однако в некоторых случаях эти решения вызывают возражения, которые не следует упускать из виду.

III. Можно с удовлетворением отметить, что члены Конференции стремились выразить единую точку зрения по данному вопросу (см. стр. 7 французского издания брошюры Конференции, которую я буду часто цитировать в этой статье),* и остается только пожелать, чтобы эта точка зрения подверглась как можно более широкому обсуждению, в результате которого пришли бы к еще более удовлетворительным предложениям. Я знаю, что «лучшее — враг хорошего», но вопрос о фонетическом алфавите, не являясь вопросом принципиальным, требует более, чем какой-нибудь другой, длительных обсуждений и взаимных уступок, для того чтобы его окончательное решение было бы принято если не всеми, то по крайней мере многими.

IV. Впрочем, Конференция все это приняла во внимание, когда руководствовалась (стр. 12) «эклектическим духом», считая (стр. 14) «неразумным слишком удаляться от знаков,

¹ Нельзя было бы здесь не упомянуть о «Русской лингвистической азбуке» русской Академии, оказавшей большие услуги при изучении восточных языков, принципы которой изложены в моей нижеупомянутой статье.

которые специалисты как по индоевропейским, так и по другим языкам привыкли видеть и употреблять сами», и «разрешая» (стр. 12) в некоторых случаях «употребление той и другой системы, чтобы предоставить, таким образом, каждому ученому возможность пользоваться транскрипцией, учитывая его личные склонности и возможности его издателя».

V. Я думаю, что это действительно те принципы, на которых можно было бы построить систему знаков, приемлемую для большинства ученых. При этом пришлось бы не столько создавать, сколько разумно выбирать, приспособив все то, что действительно широко распространено и вошло в жизнь. При этом не следовало бы выбирать что-нибудь одно там, где существуют конкурирующие знаки, каждый из которых имеет значительную область распространения. Их следует принять все — при условии, чтобы один и тот же знак не имел бы разных значений. Таким образом, все могли бы сохранить свои привычки, пожертвовав только немногими, и нужно постараться свести до минимума те жертвы, которые придется принести каждому. Это тем более необходимо потому, что целый ряд привычек прочно укоренился, так как многие знаки стали широко применяться благодаря популярным книгам и особенно благодаря многочисленным работам педагогического характера: мы не имеем никакого права пренебрегать тем, что стало уже в большей или меньшей степени международным.

Различные системы, объединенные таким образом, потеряют свой исключительный характер, а время, частое употребление и удобство сделают окончательный отбор среди допущенных вариантов там, где это покажется действительно необходимым.

VI. С другой стороны, я думаю, что не следует устанавливать употребление знаков во всех тех случаях, где не были еще сделаны удачные и убедительные предложения. Лучше будет подождать.

VII. Я получил большое личное удовлетворение от того, что Конференция благодаря активной деятельности Д. Джоунза полностью приняла различие «звуков» и «фонем», различие, идущее еще от Бодуэна де Куртене, теорию которого я изложил в моей книге «Русские гласные в качественном и количественном отношении», [СПб.,] 1912, и я думаю, что все согласятся с Конференцией по поводу «того, что нужно отмечать» (стр. 8—10). Тем не менее мне хотелось бы обратить внимание на некоторые следствия, вытекающие из теории фонемы. Действительно, из нее следует, что в тех случаях, когда в одном каком-либо языке употребляется одна фонема, в другом языке различают несколько фонем. Ввиду этого трудно предугадать количество знаков, которое потребовалось бы для каждого

фонетического типа. С другой стороны, фонема *a*, например, произнесенная в каком-либо языке строго определенным образом, может иметь совершенно иное произношение в другом языке, и один и тот же знак, употребленный в этих двух случаях, затемнил бы, таким образом, эти существенные различия. Все это заставляет меня признать вслед за многими другими, что всеобщий фонетический алфавит сам по себе невозможен. Тщетны были бы попытки установить систему постоянных звуковых единиц и соответственных знаков для их обозначения, строго определенных в своем употреблении. Это оказывается тем более невозможным еще и потому, что в вопросе о самой системе имеется много спорного. К счастью, мы будем заниматься здесь лишь рядом знаков, которые мы условимся употреблять без особых разногласий. Это окажется задачей гораздо более простой и, может быть, достижимой.

VIII. Остается только одна трудность, однако очень важная: это устранение совершенно противоположных употреблений некоторых знаков. Конференция считала, что она частично обошла эту трудность, упразднив попросту такие знаки. Я не думаю, что это было бы лучшее решение вопроса, так как речь идет именно о знаках наиболее обычных и употребительных и, следовательно, наиболее удобных для тех, кто ими пользуется. Мне кажется, что в этом вопросе нам придется договориться об известном отборе. Но прежде, чем переходить к нему, следует остановиться на нескольких общих соображениях.

IX. Я совершенно согласен с Конференцией в том, что принципы будущей транскрипции могли бы быть использованы при транслитерации текстов, оригиналы которых написаны не буквами латинского алфавита, но из этого вовсе не вытекает, по-моему, что нужно воспользоваться этими новыми принципами для транскрипции уже транскрибированных текстов. Неспециалистам редко придется пользоваться этими текстами, специалисты же без труда прочитают их такими, какие они есть.

Вообще говоря, в тех случаях, когда мы имеем дело с приемом транслитерации, имеющим давнюю традицию, на основе которой уже создана обширная литература, нет никаких оснований вводить новый способ транслитерации: ² такие трансли-

² Новые принципы транслитерации можно было бы использовать прежде всего в цитатах, а затем везде, где мы не имеем традиции. Вообще же я должен признаться, что отношусь довольно скептически к вопросу об области применения фонетической транскрипции и думаю, что она будет с трудом принята, например, в сравнительной грамматике индоевропейских и семитских языков, при изучении угро-финских языков, вообще говоря — везде, где уже давно имеется своя установленная и единая транскрипция, использованная в большом количестве важных

терированные тексты следует рассматривать как оригинальную литературу. Следовательно, не нужно считаться с привычками транскрипции, укоренившимися в ней. Так как транскрипция не предназначена для широкой публики, еще меньше следует считаться с привычками, берущими свое начало в национальных алфавитах европейских народов. Можно предположить, что ученым лингвистам будет нетрудно приписать в фонетике обычным знакам иной смысл, чем тот, который они соответственно несут в родных языках. Из этого следует, что не нужно изгонять такие знаки, как *s*, *y*, *j*, которые являются излишком привычными, чтобы можно было без них обойтись.

X. Наконец, последнее общее замечание. Совершенно очевидно, что система «Visible Speech» Бэлла и ей подобные не имеют практического применения, как это считает Конференция (стр. 10); но то же надо сказать и о «знаках, самой своей формой дающих представление о звуке или видоизменении звука, которые они должны изображать» (см. стр. 14). Знаки такого рода часто очень сложные и поэтому мало удобны.

XI. Зато можно только полностью присоединиться к следующим соображениям Конференции: «Важно, чтобы фонетические знаки запоминались как можно легче» (стр. 14). Один из способов удовлетворить это справедливое желание — это создать систему внутренне связанных знаков, как это полагает Конференция (там же). Но при этом забыт один очень простой прием — возможность заимствовать у существующих алфавитов некоторые знаки в их привычном и живом употреблении. Лингвисты смогут без труда ими пользоваться — при условии, что они будут предупреждены об этом употреблении. Кроме того, эти уже существующие знаки имеют то большое преимущество, что у них уже есть своя графическая привычная форма, между тем как для искусственно созданных знаков фонетисты еще только должны найти такую форму, что совсем не так легко, как это показывает практика. Поэтому я считаю, что, не отказываясь от придуманных знаков, надо по возможности попытаться свести до минимума их число, так как эти целиком придуманные знаки редко бывают удачны.

работ. Я думаю, что настоящая область фонетической транскрипции — это, прежде всего, сама фонетика во всех ее применениях, как теоретическом, так и практическом, общее языкознание и, наконец, диалектология, особенно диалектология народов, язык которых еще мало изучен. В дальнейшем надо особенно избегать увеличения числа индивидуальных транскрипционных систем там, где еще ничего не сделано. Для этой цели, по крайней мере, совершенно необходима взаимная договоренность, принимая во внимание, что современная лингвистика ведет свои исследования в направлении языков, мало или совсем не изученных.

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ РУССКИХ ФАМИЛИЙ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Развитие мировой торговли и прочих экономических отношений, а также связанный с этим рост культуры вызывают деятельный международный обмен культурными ценностями разного рода. Многие вещи и их названия, множество научных и технических понятий и выражающих их терминов стали более или менее международными: *рис*, *автомобиль*, *самовар*; *физика*, *энергия*, *философия* и т. п. дают об этом процессе вполне ясное представление. Однако все эти вещи и слова, будучи международными, вошли и в различные национальные системы вещей и слов и стали там претерпевать самостоятельные изменения: так, *рис* по-французски будет *ris* (с немым *s*), по-немецки — *Reis*, по-итальянски — *riso* и т. д.

Даже в собственных именах это часто дает себя чувствовать: франц. *Paris* (с немым *s*), нем. *Paris* (с произносимым *s*), итал. *Parigi*, рус. *Париж*; нем. *Wien*, франц. *Vienne*, чеш. *Víden*, рус. *Вена* и т. п.; рус. *Иван*, нем. *Johann*, франц. *Jean*, англ. *John*, польск. *Jan* и т. п. Зачастую переводы терминов затушевывают их единство: *dativus*=*дательный*, *accusativus*=*винительный* и т. п. Националистские тенденции даже сознательно иногда выкорчевывают всякие следы единства понятий: рус. *телефон*, франц. *téléphone*, нем. *Fernsprecher*; рус. *билет*, франц. *billet*, нем. *Fahrkarte* и т. п.

Тот или другой национальный разноречивый в единых в сущности по происхождению терминах не представляет, однако, пока особого бедствия; он неудобен только в науке и технике, где и сказывается несколько меньше. Зато он совершенно нетерпим в фамилиях и в географических названиях, где он решительно мешает международному общению.

Народы, пользующиеся для своей письменности латиницей, выходят из этого затруднения очень просто: они в фамилиях и в географических названиях сохраняют во всех языках правописание оригинала, совершенно не заботясь о том, как он будет произноситься на том или ином языке. Идентификация на глаз, а не на слух в громадном большинстве случаев удовлетворяет практическим потребностям, являясь недостаточной лишь при телефонных сношениях и при радиопередачах.

Народы, пользующиеся не латинским алфавитом, поставлены в таких случаях в крайне затруднительное положение: как, в самом деле, писать фамилию *Шубин* в международном масштабе — *Schubin* (по-немецки), или *Choubine* (по-французски), или *Shoobin* (по-английски), или *Šubin* (по-чешски), или *Szubin* (по-польски), или *Sciubin* (по-итальянски)? Совершенно очевидно, что нельзя пользоваться разными орфогра-

фиями в зависимости от народа, с которым общаешься: иначе при переезде из страны в страну рискуешь не получить денег по аккредитиву, не получить в срок нужного письма и т. п. Приходится выбирать ту или иную орфографию и ее всегда строго придерживаться. Так и поступает на практике большинство русских, имеющих заграничные сношения. Но какую орфографию выбрать? Очевидно, что здесь всякий выбор будет демонстрацией некоторых политических симпатий. В конце концов это довольно безразлично для отдельных лиц, но перестает быть таковым при коллективных выступлениях — в торговом деле, в мореплавании, при почтово-телеграфных сношениях, в иностранной картографии, в международной библиографии. Таким образом, вырастает целая проблема передачи русских фамилий и русских географических названий латинским алфавитом, проблема, имеющая не только чисто технический аспект, но и общекультурный, как увидим ниже, и даже отчасти политический.

Прежде всего встает вопрос, что передавать, звуки ли русских слов или их написание? Поскольку русское произношение нельзя считать абсолютно единым (говорят и *шчука*, и *шьшюка*, говорят и *несу* и *нису*, говорят и *памитник* и *паметник*, говорят и *возился* и *возилса* и т. д., и т. д.), постольку, конечно, приходится держаться орфографии, а не произношения. К тому же даже при современной технике написанное имеет несомненно более документальный характер, чем сказанное, и пока что, несмотря на всю важность возможности записывания речи на пленках или дисках, старинная поговорка «*verba volant, scripta manent*» сохраняет свою силу. Поэтому-то вопрос и ставится не о транскрипции (записи звуков) фамилий и географических названий, а об их транслитерации, как теперь говорится в языковедении, то есть о передаче букв соответственных слов.

Вопрос этот уже давно был поставлен жизнью перед русской культурой,¹ но решался по-разному: Академией наук в 1906 г. — в духе славянского единства, Географическим обществом в 1911 г. — в англофильском духе и с давних пор почтово-

¹ Пользуюсь данным контекстом, чтобы подчеркнуть все те случаи, когда единство транслитерации становится делом исключительной важности: 1) при идентификации личности (на суде, в банке, торговле, на почте и т. п.); 2) при идентификации судов дальнего плавания; 3) на географических картах и в разного рода международных списках населенных местностей, а по связи с этим в международных почтово-телеграфных сношениях; 4) в международных библиографиях, где при отсутствии единства транслитерации часто совершенно невозможно найти того или иного автора. Наша Академия вынуждена была в свое время заняться вопросами транслитерации именно в плане работ по международной библиографии.

телеграфным ведомством — в духе французского языка как традиционного международного языка. К этим трем транслитерациям прибавилось в новейшее время еще две — Внешторга и Всесоюзного комитета стандартизации (ОСТ 8483, 16 X 1935), обе в основном в плане транслитерации Географического общества, т. е. в англофильском духе.

Академия наук, подтвердившая в 1925 г. свою систему транслитерации 1906 г. (с адаптацией ее к новой орфографии), оказалась, таким образом, теперь лицом к лицу перед пятью разными системами передачи латинскими буквами русских фамилий и географических названий (см. прилагаемую сравнительную таблицу существующих в настоящее время русских транслитераций) и поэтому решила заново пересмотреть весь вопрос, тем более что на этом настаивали и некоторые отдельные лица (как например заслуженный деятель науки и техники инженер Л. С. Бобровский и многие другие), предлагая разнообразные его решения.

Не желая находиться в плену у тех или иных тенденций или чисто деляческих соображений, тем более что все они имеют более или менее преходящий характер, Академия наук постаралась встать на принципиальные позиции. При более внимательном рассмотрении всего вопроса в целом оказалось прежде всего, что сквозь национальные модусы латинского алфавита можно увидеть намечающиеся контуры интернационального латинского алфавита (само собой разумеется, что дело идет не о форме букв, а об их основных функциях). Хотя несомненно, как это и было указано выше, что при транслитерации произношение играет второстепенную роль и что буквы в ней приобретают несколько иероглифический характер, однако они не становятся до конца иероглифами, и нежелательно придавать им функции, противоречащие тем, которые они имеют в международном сознании. Конечно, неважно, что мы говорим *Дон Жуан*, *Жорж Занд*, хотя на самом деле они *Дон Хуан*, *Жорж Санд* и т. д.; однако едва ли правильно заниматься систематическим извращением произношения фамилий и географических названий в европейском масштабе, придавая латинским буквам те или другие произвольные значения: нельзя транслитерировать *Хватова* через *Xvatov*, так как для всего света это будет *Ксватов*, и нельзя *Шатова* транслитерировать через *Shatov*, так как для людей, родной язык которых не английский, это будет *Схатов*.

Из всего этого вытекает, что вопрос о транслитерации русских фамилий и географических названий перерастает в вопрос о строительстве интернационального латинского алфавита для международных сношений, и наша Академия не может подойти к подобному вопросу с узкопрактической точки зрения.

Сравнительная таблица существовавших до последнего времени русских транслитераций

Русский алфавит	Академическая 1906—1925 г.	Географического об-ва 1911 г.	Наркомата связи	Внеш- торга	ОСТ ВКС 8483 1935 г.
а	a	a	a	a	a
б	b	b	b	b	b
в	v	v	v	v	v
г	g	g	g	g	g
д	d	d	d	d	d
е	e/je (после ь и ъ)	e	e	e	e/je (после гласных и в начале слова)
ж	ž	zh	j	zh	zh
з	z	z	z	z	z
и	i/ji (после ь)	i	i	i	i
й	j	j	i	j	j
к	k	k	k	k	k
л	l	l	l	l	l
м	m	m	m	m	m
н	n	n	n	n	n
о	o	o	o	o	o
п	p	p	p	p	p
р	r	r	r	r	r
с	s	s	s	s	s
т	t	t	t	t	t
у	u	u	ou	u	u
ф	f	f	f	f	f
х	ch	ch	kh	kh	kh
ц	c	tz	ts, tz	z	c (ts)
ч	č	tsh	tch	ch	ch
ш	š	sh	ch	sh	sh
щ	šč	stsh	stch	sch	sch
ъ	пропускается	'	—	пропускается	j
ы	у	у	у	у	у
ь	й/пропускается (перед е, и, ю, я, ё)	j/j' (перед е, и, ю, я)	пропускается/i (только в середине слова)	j	j/может пропускаться (в конце слова и между 2 согласными)
э	е	é	е	е	е
ю	ju/ïu (после согласных)	ju	iou	ju	ju
я	ja/ïa (после согласных)	ja	ia	ja	ja
ё	jo/ïo (после согласных)	—	—	—	jo

Рассмотрим, что в латинском алфавите уже несомненно интернационально по функции. Сюда относятся следующие буквы: *ä, b, d, e, é, è, ê* (все три последние буквы более или менее как синонимы), *f, h, k, l, m, n, ö, p, q* (как синоним *k*), *r, t, ü, x* (в смысле *ks*).

Далее, буквы *a, e, i, o, u, v* хотя в национальных алфавитах и употребляются в разных смыслах, однако несомненно имеют рядом и общепризнанное интернациональное значение (то, которое они имеют хотя бы в итальянском). Сюда же, пожалуй, относится и буква *g* в смысле русского *г*, хотя в некоторых языках она и имеет разные функции перед гласными *e, i, y*. Буква *w* имеет две функции в национальных алфавитах — русского *в* и неслогового *у* (например, в английском); последнюю, конечно, надо считать интернациональной, поскольку в смысле русского *в* безусловно фигурирует буква *v*.

Хуже всего обстоит дело с буквами *c, j, y, s, z*. Если буквам *s* и *z* и может быть с большей или меньшей уверенностью приписано в качестве интернационального значение русских *с* и *з*, то для букв *c, j, y* это значение совершенно нельзя установить, а потому кажется, что можно поддерживать любое. Однако мы должны осознать, что всякое наше решение в этой области имеет какое-то значение в деле создания интернационального латинского алфавита в подлинном смысле этого слова (то есть не как единой графической системы, а как единой функциональной системы знаков). Не может быть сомнения в том, что это вопрос первостепенной важности как для настоящего, так особенно для будущего, и недопустимо, чтобы такие вопросы и в наше время решались стихийно.

Академия наук поддерживала до сих пор употребление букв *c, j, y* в смысле русских *ц, й, ы*. Я думаю, что с международной точки зрения это безусловно справедливо по отношению к букве *j*. Эта буква в одних национальных алфавитах обозначает русское *ж* (во французском), в других — аффрикату *дж* (в итальянском и в английском), в третьих — русское *х* (в испанском). Вся эта пестрота так убивает друг друга, что более первоначальное значение *j*, которое вытекает из позднего латинского и которое сохраняется в целом ряде языков (славянских, германских и многих других), естественно становится интернациональным.

Иначе обстоит с буквой *c*, которая собственно в латинском обозначала *к* и которая обозначает его и до сих пор во многих языках в тех случаях, когда она не стоит перед гласными *e, i, y*. В связи с этим на первый взгляд было бы естественно оставить за буквой *c* это ее основное значение (параллельно букве *g*). Однако с одной стороны это была бы уже третья буква для звука *к* (ср. *k* и *q*), а с другой — буква *c* имеет очень разные

значения в национальных алфавитах перед гласными *e, i, y*. Все это ослабляет ее интернациональное значение как знака для звука *k* и лишает ее вообще какого-либо ясного интернационального значения.

Точно так же неясно интернациональное значение и для буквы *y*: в некоторых национальных алфавитах она обозначает просто русское *u*, но чаще обозначает *йот*, то есть русское *й*, конкурируя таким образом с буквой *j*. В очень многих языках она обозначает то же, что немецкое *ÿ* (так в немецком, в скандинавских, в суоми). Так как для *йота* наиболее интернациональной буквой следует признать, как об этом говорилось выше, *j* и так как, с другой стороны, буква *j* несомненно является интернациональной, то *y* пока приходится считать лишней буквой.

Пересмотрев таким образом весь латинский алфавит с точки зрения степени интернациональности тех или иных функций отдельных его букв, перейдем теперь к подысканию наиболее подходящих знаков для тех русских букв, для которых в латинице нет очевидных эквивалентов. В области согласных это будут *ц, ч, ш, ж, щ* и *х*. Оставляя пока в стороне букву *х*, относительно буквы *щ* сразу скажем, что она теоретически (если не всегда в произношении, ср. выше, стр. 254) отвечает комбинации звуков *ш+ч*, а потому не требует особого латинского эквивалента. Далее, обратим внимание на то, что звуки, обозначаемые буквами *ч, ш, ж*, являются «шипящими» видоизменениями «свистящих» *ц, с, з* и могут быть обозначены каким-либо дополнительным значком при буквах для этих последних. Готовая система подобных знаков имеется в чешском, где *ц* обозначается через *s*, а *ч* — через *č*, *ш* — через *š* (при *c=s*), а *ж* — через *ž* (при *z=z*). Хотя несомненно, что аффриката *ц* могла бы быть обозначена через *ts*, а аффриката *ч* — через *t+* тот или другой знак для *ш*, однако готовая система знаков для аффрикат, с одной стороны, и для шипящих, с другой, в высшей степени удачно восполняет явный пробел латинского алфавита в этом отношении (особенно это важно по отношению к шипящим).

Знаки *s, č, š, ž* в указанных функциях свойственны следующим национальным алфавитам: хорватскому, словинскому, чешскому, словацкому, обоими лужицким, литовскому и латышскому. На современных английских и американских картах они уже употребляются в географических названиях соответственных стран, и если они не получили окончательного международного признания, то только потому, что их международная применимость крайне ограничена. Как только мы систематически будем применять их при транслитерировании наших фамилий и географических названий (на наших вывоз-

ных изделиях, в международных библиографиях, в почтовых сношениях и т. п.), они должны будут немедленно появиться в широком масштабе на географических картах и завоюют себе право гражданства в интернациональном латинском алфавите, ибо удобно восполняют его пробел. Таким образом, это практическое решение в области транслитерации русских фамилий и географических названий окажется и крупным шагом в деле создания интернационального латинского алфавита. Соображения типографского характера против букв с надстрочными знаками опровергаются реальным опытом целого ряда стран, где эти знаки употребляются (ср. также буквы *i, ä, ö, ÿ, è, é, ê* и т. п.). Соображения же о затрудненности письма этих букв, требующего отрыва руки, отстраняются прежде всего тем, что машинка рано или поздно почти окончательно вытеснит рукопись, а также и тем, что на практике и многие другие буквы не пишутся одним почерком (вообще все эти технические вопросы представляются всегда так или иначе разрешимыми на практике, причем никоим образом не следует забывать, что техника должна служить обществу, а не общество технике: узкое делячество и отсутствие более широких перспектив испортили «новый латинский алфавит», который мог бы быть очень интересным предприятием международного значения, и мы не должны повторять его ошибок).

Предлагаемые Географическим обществом, Комитетом стандартизации, Внешторгом и некоторыми отдельными лицами английские диграфы *ch, sh, zh* в качестве знаков для шипящих совершенно непонятны в международном масштабе, т. е. без предварительного условия, что пишется по-английски, *ch* просто многозначно (во французском=русскому *ш*, в немецком и западнославянских языках=*х*, в итальянском=*к* и т. д.); *sh* вне специально английского ключа, а тем более *zh* должны в международном масштабе читаться как русские *сх, зх*, как об этом говорилось выше. Принятие этих диграфов Академией наук было бы явным шагом назад в деле строительства интернационального латинского алфавита.

Кроме того, надо ясно себе представить, что отказ Академии от своей традиционной системы изображения шипящих явился бы отказом от национальной линии, что едва ли было бы целесообразно на данном этапе.

Перехожу теперь к транслитерации русской буквы *х*. Некоторые предлагают оставить русский знак, т. е., говоря в аспекте латинского алфавита, предлагают передавать его через латинскую букву *х*. Это, конечно, совершенно невозможно, так как эта последняя буква имеет несомненное интернациональное значение звуков *к+с*, как об этом было сказано выше. Традиционная передача буквы *х* через *ch*, по примеру не-

мецкого и западнославянских языков, так же плоха и по тем же причинам, что и передача буквы *ч* через английское *ch*. Несомненно довольно удачна англо-французская манера изображения русского звука *х* через *kh*: этот диграф, читаемый буквально, т. е. как два звука, напоминает акустическое впечатление от нашего *х*. Однако всякий диграф для одной буквы и одного соответственного звука противоречит основным принципам транслитерации, и поэтому следует искать другого способа транслитерации для *х*. Такой способ находим в латинском *h*, которое давно применяется в этих целях в хорватском и словинском алфавитах. На слух соответственные звуки очень близки, а поскольку звук *h* в русском отсутствует, постольку никаких недоразумений не может быть. Единственным возражением является тот факт, что украинское и белорусское *г* естественно транскрибируется через *h*. Однако так как дело идет о транслитерации, а не о транскрипции, то буква *г* в украинском и белорусском, как тождественная с соответственной русской буквой, правильнее всего должна транслитерироваться через *g*, согласно ее первоначальному звучанию, что нисколько не мешает в транскрипциях передавать ее иначе.

Вопрос о передаче твердости и мягкости согласных будет трактоваться ниже, в связи с передачей букв *ѣ* и *ь* как отдельных знаков, а сейчас перейдем к гласным. Насколько вопрос прост по отношению к буквам *а*, *о*, *у*, *э* и по отношению к букве *и* не после *ь*, настолько он не ясен по отношению к букве *ы*. В основе транслитерации этой буквы через латинское *y* лежит лишь польский, чешско-словацкий и лужицкий узус (причем надо иметь в виду, что в настоящее время этого звука собственно нет ни в чешском, ни в словацком). Было бы правильнее думать о сохранении русской буквы *ы*, но она состоит из двух знаков, а потому неприемлема. Если бы «новый латинский алфавит» принял в свое время *ѣ*, а не *ь* в смысле русского *ы*, то этот знак при поддержке русского и болгарского имел бы шансы понемногу стать интернациональным. Поэтому пока приходится поддерживать традиционное славянское *у* в смысле русского *ы*, имея в виду, что буква *у* не имеет в сущности никакого установившегося международного значения, как это было показано выше. В защиту этой транслитерации можно было бы привести то обстоятельство, что скандинавское значение буквы *у* — звук *й* — на слух для иностранцев сближается с русским звуком *ы*. Однако само собой разумеется, что этот аргумент порочен ввиду малой интернациональности скандинавского значения *у* и мог бы в конце концов скорее говорить о необходимости транслитерировать *ы* через *й*, на чем тоже едва ли можно настаивать ввиду интернационально известной специфичности русского звука.

Что касается передачи букв *ь, ъ, е, ю, я* и отчасти *и*, то надо признать академическую транслитерацию во всем безусловно правильной и последовательной (см. таблицу), кроме передачи русской буквы *е*: ее тоже следовало бы передавать через *je* после согласных и через *je* в остальных случаях (при желании этот принцип можно было бы распространить и на букву *ё* — *jo* и *jo*).

Однако нельзя не принять в расчет того обстоятельства, что знак *ї* абсолютно отсутствует и в международной и в какой-либо национальной традиции, а потому в практике будет всегда заменяться через *i*, что будет вызывать некоторые смещения, например *liju* (*Лию* и *лью*), *kiriju* (римскую *курую* и *курую* ножку) и т. п. Поэтому проще всего было бы принять как единый способ транслитерации для *ю* — *ju*, для *я* — *ja*, для *е* — *je* (при желании для *ё* — *jo*).

Создавая единство транслитерации букв *ё, ю, я* (о транслитерации букв *е* и *и* предстоит говорить особо), необходимо подумать о букве *ь* с ее отделительной функцией (об отделительной функции буквы *ь* будет сказано ниже), которую действующая академическая транслитерация могла игнорировать. Эту функцию можно передать в латинице только апострофом, который, символизируя пропуск буквы, косвенно намекает и на раздельность произношения. Таким образом, предлагаемое новшество состоит в том, чтобы сочетания, например *б'ья/бя*, которые до сих пор транслитерировались соответственно через *bja/b'ia*, теперь передавать через *b'ja/bja* (то же относится и к сочетаниям с другими согласными, а также к сочетаниям с буквами *ё, ю*). С точки зрения принципов транслитерации это точнее, так как ни одна буква не пропускается, а одинаковые буквы передаются во всех случаях одинаково. С точки зрения произношения и то и другое одинаково плохо, так как никакая латиница не в состоянии общепонятно выразить русские сочетания *бя, бё, бю, дя, дё, дю* и т. д.

Что касается передачи *ь*, выражающего в русском мягкость согласных, через *ї*, что, как выше было сказано, является весьма остроумным и гармонирующим в традиционной академической транслитерации с передачей *я, ю* после согласных через *ja, ju*, то отсутствие международного знака *ї* тоже поведет на практике к разного рода смещениям (*solı* будет означать и *соль* и *соли*). Поэтому более целесообразным является передавать *ь* через *j*, как это предлагают Географическое общество и Комитет стандартизации и как это делают хорватский и словенский алфавиты, изображающие мягкие (палатальные) *л* и *н* через *lj* и *nj*.

Об отделительной функции *ь* можно бы специально и не думать: написание вроде *солью* — *soliju*, *копья* — *korjja* четко

отличались бы от *солю* — *solju*, *копя* — *korja*. Однако надо признать, что написание с двумя йотами имеет мало вразумительный с интернациональной точки зрения вид, а потому едва ли не лучше, пренебрегши в этих случаях смягчающей функцией ъ, транслитерировать через апостроф только его отделительную функцию, то есть писать *солю* — *sol'ju*, *копя* — *kor'ja*. Таким образом перед йотом, т. е. перед русскими буквами *е, ё, ю, я*, в транслитерации сотрется различие твердости и мягкости согласных, т. е. слогов *дъя* и *дья*, *дью* и *дью* и т. п., что, однако, едва ли поведет к каким-либо смешениям; недаром при реформе русской орфографии в 1917 г. собирались даже совсем уничтожить букву ъ и ввести букву ь во всех этих случаях, т. е. писать *объявить*, *адъютант*, *подъезд* и т. д.

Наконец, обращаемся к транслитерации буквы *е* в разных положениях и буквы *и* после ъ.

Идя по пути всяческого упрощения и желания зрительного сближения с иностранными начертаниями, а также с укоренившейся практикой иностранных транскрипций русских собственных имен (*Ленин* — *Lenin*, а не *Ljenin*), можно решиться пренебречь на практике различием между *е* и *э* после согласных, которое все более и более утрачивается даже в русской орфографии, и передавать согласно академической традиции обе буквы через латинское *e* в этих случаях.

Передавать, однако, согласно академической традиции через *e* обе русские буквы в начале слов и после гласных является все же неправильным, так как это вызывает смешения вроде *ель* и *эль*, *ехать* и *эхать*, *поэт* и *поет* и т. п. Едва ли также правильно *Егорова* делать *Эгоровым*, *Енисей* (по-французски *Iénisséi*) — *Энисеем*, *Ейск* (по-французски *Iéisk* или *Yéisk*) — *Эйском*, *Елец* (по-французски *Iéletz* и *Eletz*) — *Эльцом* и т. д.

После ъ и ь букву *е* и букву *и* после ъ в согласии с академической традицией следует транслитерировать соответственно через *je* и *ji*, причем отделительные ъ и ь могли бы оставаться без передачи, так как написания *козье* — *kozje*, *подъезд* — *rodjezd*, *Аркадьин* — *Arkadjin* не вызывали бы никаких недоразумений. Однако, чтобы не усложнять правил, лучше и в этих случаях писать *koz'je*, *pod'jezd*, *Arkad'jin*, т. е. всегда передавать отделительные ъ и ь (иначе говоря, ъ и ь перед буквами *е, ё, и, ю, я*) через апостроф.

Таким образом, единственная неточность предлагаемых здесь правил транслитерации (она была свойственна и старым академическим правилам) состоит в неразличении твердости и мягкости согласных: а) перед гласным звуком *е* (т. е. в неразличении букв *е* и *э* после согласных) и б) перед

согласным звуком *j* (т. е. в неразличении букв *ъ* и *ь* перед буквами *е, ё, и, ю, я*). Эта неточность не может быть, однако, признана недостатком, так как отвечает тенденциям русской орфографии, как об этом было сказано выше.

На основании всего вышеизложенного Отделение литературы и языка АН СССР на заседании своем 27 X 1939 подтвердило в основном транслитерацию, принятую Академией наук в 1906 г. и 1925 г., — со следующими, однако, изменениями:

Русская буква	Транслитерация 1925 г.	Транслитерация 1939 г.
е	{ е je (после ь, ъ)	е (после согласных) je (в начале слов, после гласных и после ь, ъ)
ё	{ jo jo (после согласных)	jo
х	ch	h
ъ	пропускается	' (апостроф)
ь	{ ъ пропускается (перед е, ё, и, ю, я)	j' (апостроф перед е, ё, и, ю, я)
ю	ju/ju (после согласных)	ju
я	ja/ja (после согласных)	ja

В результате правила Академической транслитерации русских фамилий и географических названий приобрели следующий окончательный вид:

а — a		р — r
б — b		с — s
в — v		т — t
г — g		у — u
д — d		ф — f
е — { е (после согласных) je (в остальных случаях)		х — h
ё — { о (после ж, ч, ш, щ) jo (в остальных случаях)		ц — c
ж — ž		ч — č
з — z		ш — š
и — { ji (после ь) i (в остальных случаях)		щ — šč
й — j		ъ — ' (апостроф)
к — k		ы — y
л — l		ь { ' (апостроф перед е, ё, и, я, ю) j (в остальных случаях)
м — m		э — e
н — n		ю — ju
о — o		я — ja
п — p		

Примечание 1.² Фамилии и названия, в основе которых лежат иностранные написания, сохраняют их при транслитерации: *Гамбург* — транслитерируется как *Hamburg*, *Шмидт* как *Schmidt* и т. д.

Примечание 2. В библиографии транслитерации фамилий, которых издавна придерживаются сами авторы, могут быть даваемы в скобках.

Уже после того, как вышеизложенные правила транслитерации были приняты, в Москве был получен проект транслитерации кириллицы, составленный в Международной ассоциации по стандартизации (ISA). Этот проект, как оказалось, во всем существенном совпадает с вышеизложенными правилами: *ж* — *ž*, *й* — *j*, *х* — *h*, *ц* — *c*, *ч* — *č*, *ш* — *š*, *щ* — *šč*, *ы* — *y*, *ь* — или *j*, или апостроф, *э* — *é* или *e*, *ю* — *ju*, *я* — *ja*. Только *e* всегда транслитерируется через *e*, а русское отделительное *ъ*, по-видимому, не предусмотрено.

² Внесено Президиумом Академии наук СССР.

ОПЫТ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ЛЕКСИКОГРАФИИ

Хотя человечество очень давно начало заниматься составлением словарей разных типов, однако какой-либо лексикографической теории, по-видимому, не существует еще и до сих пор. Предлагаемый здесь опыт такой теории не рассчитывает целиком заполнить этот пробел,¹ а имеет в виду лишь наметить некоторые основы будущей теории, в связи с чем он, естественно, распадается на ряд отдельных этюдов.

Э т ю д I. О с н о в н ы е т и п ы с л о в а р е й ²

Одним из первых вопросов лексикографии является, конечно, вопрос о различных типах словарей. Он имеет непосредственное практическое значение и эмпирически всегда как-то решался и решается. Между тем в основе его лежит ряд теоретических противоположений, которые и необходимо вскрыть.

1. Противоположение первое: словарь академического типа — словарь-справочник

Прежде всего надо обратить внимание на противоположение академического, или нормативного, словаря и словаря-справочника. Термины эти несколько условны, и их ближайшее

¹ И это тем более, что автор настоящего опыта не знаком intimately с богатой лексикографией некоторых «восточных» языков.

² Дальнейшие этюды предполагается посвятить природе слова, его значению и употреблению; его связям с другими словами того же языка, благодаря которым лексика каждого языка в каждый данный момент времени представляет собою определенную систему; и, наконец, построению словарной статьи в связи с семантическим, грамматическим и стилистическим анализом слова. Данный этюд является развитием доклада, прочитанного на заседании Отделения литературы и языка АН СССР 27 сентября 1939 г.

содержание выяснится только из дальнейшего изложения. Однако и из них можно догадаться, что в первом случае мы имеем дело с такой книгой, где прежде всего спрашивается о том, можно ли в том или другом случае употреблять то или другое уже известное слово, а во втором — с книгой, куда заглядывают исключительно с целью узнать смысл того или другого слова.

К словарю-справочнику обращаются прежде всего, читая тексты на не вполне знакомых языках или тексты о незнакомых предметах и специально трудные на иностранных языках (или, что в сущности то же самое, древние тексты на родном языке), особенно с непривычным содержанием. К нормативному (или академическому) словарю обращаются для самопроверки, а иногда и для нахождения нужного в данном контексте слова. Вспомним по этому поводу Пушкина:

Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет,
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо меньше б мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический словарь.

Примером словаря первого рода может служить любое издание словаря Французской академии («Dictionnaire de l'Académie Française»); в качестве примера словаря второго рода можно указать на неоконченный «Словарь русского языка», издававшийся в Ленинграде нашей Академией наук под редакцией А. А. Шахматова и его преемников с 1897 по 1937 г., а также на «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» И. И. Срезневского.

На первый взгляд может показаться, что различие этих двух типов словарей покоится исключительно на их разном практическом назначении. Однако это было бы слишком одностороннее суждение. В основе словарей первого рода лежит единое (реальное) языковое сознание определенного человеческого коллектива в определенный момент времени; в основе словарей второго рода вовсе не лежит какого-либо единого языкового сознания: слова, в них собранные, могут принадлежать разным коллективам, разным эпохам и вовсе не образуют какой-либо системы. Все это легко можно иллюстрировать на двояком значении термина «русский язык»: с одной стороны, он обозначает современный русский литературный язык, который хотя и имеет весьма сложную структуру, однако все же является вполне единым (всякое ограничение последнего положения повело бы к нелепому выводу, что можно по-разному

понимать Горького, Маяковского, Шолохова и других современных писателей),³ а с другой — всю совокупность русских говоров не только в их настоящем, но и в их прошлом (я не хочу здесь останавливаться на трудности определения того, что следует подразумевать под словами «русские говоры»).

Чаще всего в основе словарей-справочников нашего времени лежит идея нации, более или менее сужаемая и расширяемая как географически, так и исторически. Так был задуман «Deutsches Wörterbuch» Гриммов (первый том которого вышел в 1854 г., но который не закончен еще и до сих пор): он основан на текстах начиная с XVI в., текстах зачастую плохо понятных для современного читателя. По этому же пути в общем пошел ряд больших многотомных словарей европейских языков нашего времени: недавно оконченный большой Оксфордский словарь английского языка («A new English Dictionary on historical Principles founded mainly on the materials collected by the Philological Society», edited by James A. H. Murray, в 20 громадных полутомах); огромный, но еще не оконченный словарь голландского языка («Woordenboek der Nederlandsche Taal»), начавший выходить с 1882 г., и не менее большой и также неоконченный словарь шведского языка («Ordbok ofver Svenska Språket ut gifven af Svenska Akademien» — I том в 1898 г.). В основе всех этих словарей лежат тексты также начиная с XVI в. В том же духе составлен «Ordbog over det Danske Sprog» grundlagt of Verner Dahlerup, основанный на текстах начиная с 1700 г. (вышло 19 томов, и он близок к окончанию).*

Однако не всегда идея нации является основой словаря-справочника: мы имеем замечательный, в свое время оказавший неоценимые услуги науке и практике, многотомный «Опыт

³ Единство понимания, о котором здесь говорится, подразумевает, конечно, прежде всего абсолютное владение данным литературным языком и нисколько не колеблется тем фактом, что произведения этих и других писателей встречают разный резонанс и разную оценку у разных групп читателей, а тем более у читателей разных классов. Единство это нисколько не колеблется тем фактом, что всякая система выразительных средств, образующая литературный язык, носит на себе тот или другой отпечаток идеологии господствующих классов и что она обыкновенно бывает приспособлена прежде всего для выражения именно этой идеологии: надо помнить, что Ленин при помощи и такой системы выразительных средств умел для всех понятно выразить совершенно другую идеологию. Наконец, это единство не колеблется и тем фактом, что на всяком литературном языке может быть о б щ е п о н я т н о изображено взаимонепонимание представителей разных классов, говорящих по-видимому на одном и том же языке (чему имеется много примеров хотя бы и в дореволюционной русской литературе). Эти кажущиеся противоречия проистекают от недостаточно четкого различения языка, т. е. системы выразительных средств, и использования этой системы в процессах коммуникации (к этим вопросам я надеюсь еще вернуться в другой связи).

словаря тюркских наречий» В. В. Радлова (том первый в 1893 г.), возможность которого базируется на большой близости турецких языков, могущих рассматриваться как диалекты единого, однако несуществующего языка. Приблизительно на подобной основе строятся часто этимологические словари: этимологические словари славянских языков (Miklošich'a, Verneker'a), этимологические словари романских языков (Dietz'a, Körtling'a, Meyer-Lübke).*

В конце концов возможны и другие принципы, по которым бы объединялись слова в словаре-справочнике. Так, к типу словарей-справочников надо отнести всевозможные технические словари, где объединены слова разных специальностей, представители которых зачастую друг друга не понимают. Наоборот, словари какой-нибудь одной определенной специальности, например медицинский словарь, словарь водников, военный словарь и т. п., могут быть словарями академического типа, если туда не собраны слова разных эпох или слова местного употребления, не известные всем специалистам: внутри системы такой лексики и происходит словотворчество в области данной специальности.

Энциклопедические словари являются по существу словарями-справочниками, так как, подобно общим техническим словарям, не имеют установки на лингвистическое единство своего словника.

Областные словари, если в них собраны просто слова данного языка, не употребляющиеся в литературном языке, конечно относятся к типу словарей-справочников. Таков «Опыт областного великорусского словаря», изданный Вторым отд. АН в 1852 г. До известной степени таков и совершенно замечательный «Glossaire des patois de la Suisse Romande. . .», rédigé par L. Gauchat, J. Jeanjaquet, E. Tappolet, I (не вся буква A), [Paris,] 1924—1933.

Но могут быть и другие областные словари, которые объединяют слова, свойственные определенному району. Таковы «Словарь областного олонецкого наречия» [Г. И.] Куликовского, [СПб.,] 1898 г., «Словарь областного архангельского наречия» [А.] Подвысоцкого, [СПб.,] 1885 г., и др.; таковы многочисленные и зачастую превосходные областные словари разных других языков.⁴ Подобные словари могли бы быть сло-

⁴ Новейшие и лучшие немецкие словари перечислены, правда совсем по другому поводу, в статье проф. В. М. Жирмунского «Методика социальной географии» в «Язык и мышление», т. VIII. [Л.,] 1932; французские диалектологические словари перечислены в книге: Albert Dauzat. Les patois. [Paris,] 1927, в особой библиографии, которою заканчивается книга; итальянские — в книге: K. Jaberg und J. Jud. Der Sprach-

варями академического типа, если бы представляли полную картину местной лексики, свойственной данному району в целом, не выключая слов, общих с литературным языком (эти слова ведь тоже входят в систему данного областного языка). Исследователю, конечно, бывает трудно отличить здесь сознаваемое заимствование из литературного языка от «искони» общего слова или от вполне укоренившегося заимствования; но эта трудность не меняет принципиальной стороны дела.⁵ Очень часто, однако, и такие словари просто регистрируют встречающиеся в данном районе местные слова, а потому остаются в общем словарями-справочниками (по-немецки они называются *Idiotikon*'ами).

Само собой разумеется, что словарь определенного говора, если он не дифференциальный (т. е. не регистрирует только отличия от литературного языка), будет принадлежать к нормативному, или академическому, типу.

Может показаться, что словарь языка того или другого писателя должен быть словарем академического типа. Действительно, надо думать, что действенный словарь того или другого писателя, вообще или в определенный период его творческой деятельности, представляет собой систему (хотя это как раз то, что показать и является очередной научной проблемой); но нельзя быть уверенным, что вся образующая систему лексика встречается в произведениях писателя. Как раз то, от чего писатель отталкивается и без чего нельзя понять смысла его творчества, могло и не попасть в его писания. Кое-что могло не попасть и совершенно случайно. Кроме того, во всяком произведении всегда много безразличного материала (который я назвал когда-то «упаковочным»), который, конечно, никак не входит в индивидуальную систему (в стиль) данного писателя. Таким образом, словарь языка писателя — который обязательно должен быть исчерпывающим — является принципиально словарем-справочником (между прочим, настолько важным для построения общего словаря, что многим филологам казалось невозможным построение этого последнего без предварительного создания исчерпывающих словарей к писателям)

atlas als Forschungsinstrument. [Halle a. Saale,] 1928, в особом приложении к V главе, которое озаглавлено «Auswahl von Wörterbüchern der Mundarten Italiens, der romanischen und italienischen Schweiz».

⁵ Тут надо заметить, что говорить о каком-либо определенном областном «языке», а следовательно — и о соответственном словаре академического типа, можно только тогда, когда этот язык сознается говорящими в той или другой мере отличным и от литературного языка и от местных говоров, т. е. когда он является в той или другой мере общим языком и когда есть какая-либо сознаваемая, хотя бы и очень неопределенная его норма (о понятии нормы см. подробнее в конце настоящего раздела).

и лишь может послужить материалом для выяснения «индивидуального словаря» данного писателя.⁶

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что словарь-справочник характеризуется тем, что его слова не образуют цельной, единой выразительной системы, или принадлежат к разным — хронологически или географически — человеческим коллективам, или представляя собою лишь часть слов, образующих эту систему. Слова в академическом, или нормативном, словаре — наоборот, служа для взаимопонимания членов определенного человеческого коллектива, составляют единую сложную ткань, единую систему, которая, к сожалению, бывает обыкновенно очень плохо отражена, а то и вовсе не отражена в существующих словарях этого типа. Вопросу о том, в чем выражается система, иначе говоря — единство лексики данного языка, будет посвящен один из следующих этюдов.

Обратим теперь внимание на некоторые затруднения при определении социальной основы в словарях академического типа. Они проистекают из того, что в понятие литературного языка входит не только разговорный язык, но прежде всего соответственный письменный (взаимоотношению их тоже будет посвящен специальный раздел одного из следующих этюдов, так как совсем не так просто разрешается вопрос о том, который из них является ведущим). Безусловно единым является, конечно, разговорный язык, определяемый исключительно единством коллектива в определенный момент времени. С письменным языком дело обстоит сложнее. Мы читаем и понимаем литературные произведения и предшествующих эпох. Однако многое из того, что мы прекрасно понимаем и что мы даже не воспринимаем как архаизм, мы уже не только не скажем, но даже и не напишем. Так, фраза из «Капитанской дочки» — *Все мои братья и сестры умерли во младенчестве* — никого, конечно, не шокирует, а между тем никто так не напишет: напишут попросту *умерли еще маленькими* или, немного в более строгом стиле, *умерли в раннем возрасте* (все это применительно к данному контексту: вне его могло бы быть множество и других способов выражения). Эти различия покрываются понятиями активного и пассивного запаса слов данного литературного языка⁷ (различение, которое, к сожалению, не делается ни

⁶ Само собой разумеется, что «индивидуальное» писателя базируется на социальном: иначе мы не могли бы понять это «индивидуальное», не могли бы оценить «стиль» писателя (считаю нужным предупредить, что со страхом употребляю слово «стиль» ввиду его многосмысленности, но полагаю, что тот скромный смысл, который я в него влагаю, ясен из контекста).

⁷ Само собою разумеется, что слово *младенчество* не стало вообще пассивным: оно стало менее обыденным, чем оно было, по-видимому, во времена Пушкина; круг употребления его сузился.

в каких случаях). Чем же определяется пассивный словарный запас данного литературного языка? — Начитанностью соответственного человеческого коллектива, тем кругом произведений, которые обязательно читаются в данном обществе. Вовсе не косностью тогдашних академиков объясняется то обстоятельство, что в 1847 г. «Второе отделение императорской Академии наук» составило «Словарь церковнославянского и русского языка»: оно не могло поступить иначе, поскольку старшее поколение того времени грамоте училось еще по часослову и псалтыри. Для него церковнославянские слова были пассивным словарным запасом, который как-то входил в систему лексики русского языка и в той или другой мере определял значение и оттенки разных русских слов.⁸

Но вот к концу столетия начитанность в церковнославянских текстах исчезает совершенно, и «Второе отделение императорской Академии наук» в 1895 г. выпускает под редакцией академика Я. К. Грота 1-й том уже «Словаря русского языка» «в том виде, как он образовался со времен Ломоносова» (стр. VI предисловия). И действительно, все мы, нынешнее старшее поколение, — если и не всегда с большим увлечением — читали и Ломоносова, и Державина, и Карамзина.

Наконец, в 1938 г. Академия наук СССР предполагает издавать «Словарь современного русского литературного языка», «начиная от пушкинской поры до наших дней» (стр. II «Проекта Словаря современного русского литературного языка», 1938). И это совершенно правильно, ибо едва ли наша молодежь читает и перечитывает каких-либо писателей допушкинского периода.

У французов период вполне актуальной литературы значительно больше: он начинается с XVII в. На Корнеле, Расине, Мольере, Лафонтене и других классиках воспитывается до сих пор всякий француз, приобщающийся к литературному языку (хотя для безусловного понимания классиков оказался необходим учебный словарь),⁹ и вся современная литература и ее язык могут быть до конца понятны только при каком-то сопоставлении их с литературой и языком XVII в., от которых они так или иначе отталкиваются.

⁸ Сказанное подтверждается рассуждениями Предисловия к словарю 1847 г. на стр. XI о неудобстве и преждевременности «решительного разделения русского языка с церковнославянским, потому что стихии того и другого доселе еще тесно связаны между собою».

⁹ Ср.: Gaston C a u r o u. *Le Français classique. Lexique de la langue du dix-septième siècle expliquant, d'après les dictionnaires du temps et les remarques des grammairiens le sens et l'usage des mots aujourd'hui vieillis ou différemment employés.* [Paris, 1923] (у меня под рукой IV издание 1937 г.),

При ближайшем рассмотрении оказывается, однако, что дело не исчерпывается одним различием активного и пассивного запаса слов в литературном языке (которое, конечно, обязательно должно быть отражено в словаре академического типа): в актуальной литературе встречаются слова со значениями, вовсе не свойственными современному литературному языку, а иногда и просто противоречащими современному употреблению (примеры см. ниже). Как поступать в этих случаях в словарях академического типа? Из того, что французам понадобился для этого даже особый словарь, что этим отличиям языка прошлого надо специально учить, вытекает с достаточной очевидностью, что в жизни они нормально не замечаются и что, следовательно, они не играют никакой определяющей роли в нашем языке: их как бы нет.¹⁰ А отсюда вытекает, что в словаре академического, нормативного, типа этим вещам вовсе нет места, что в таком словаре нельзя давать, например, всего Пушкина, а только то из Пушкина, что не противоречит сегодняшнему употреблению. И это потому, что эти противоречия никак не входят в систему современного языка, являясь с нашей точки зрения не архаизмами, а неправильностями, непонятными ошибками.

Несколько французских примеров, взятых из *Caugou* (см. выше). *Embonpoint* в XVII в. значит 'конституция человека, находящегося в добром здоровье', и говорится чаще, хотя и не обязательно, о толстых людях:

. . . Il a votre air, votre âge
Vos yeux, votre action, votre maigre embonpoint.

Cornelle. La suite du Menteur, v. 277

В VIII изд. «Словаря Французской академии» (1932 г.) это слово объясняется как 'конституция более или менее толстого человека'. В «*Larousse Universel*» хотя и объясняется как 'состояние тела, особенно у толстых людей' (т. е. дается некоторый выход для оттенка, имевшего место в XVII в.), однако в виде антонима дается *xudoba* (*maigreur, émaciation*). «*Dictionnaire général*» выходит из затруднения, давая своим определением возможность подвести под него и старое употребление, но примеров на него не дает.

Émouvoir в XVII в. значит прежде всего 'двигать': *A force de leviers, on arrachera bientôt ce pieu, il commence à s'émouvoir* (Furetière, *Dictionnaire universel*, 1690).

В современном «Словаре Французской академии» нет ни малейшего упоминания об этом значении. Но оно дано без ого-

¹⁰ Т. е., говоря практически, с увлечением читая наших классиков, мы скользим по местам, не совсем для нас по языку ясным.

ворок в «Larousse Universel» и в «Dictionnaire général» (в последнем с примерами из XVII в.).

Hoquet в XVII в. имеет значение 'толчок, причина, его вызывающая':

Mes gens s'en vont à trois pieds,
Clopin-clopant comme ils peuvent,
L'un contre l'autre jetés
Au moindre hoquet qu'ils trouvent.

La Fontaine. Fables, v. 2

Ни в современном «Словаре Французской академии», ни в «Larousse Universel» этого не находим. В «Dictionnaire général» дано с пометкой у с т а р.

Подобные примеры можно множить без конца. Вот несколько примеров из русского. Достаточно собственно привести следующие стихи Пушкина:

Счастлив, кто близь тебя, *любовник упоенный*,
Без томной робости твой ловит светлый взор,
Движенья милые, *игривый* разговор,
И след улыбки незабвенной.

Черновые наброски (1820)

Совершенно очевидно, что неискушенный читатель в наше время может воспринять их совершенно превратно в целом. Обращаясь к частностям, видим, что слово *любовник* в наше время потеряло свой общий смысл, какой имело раньше и французское слово *amant* и который сейчас и по-французски и по-русски трудно выразить просто и точно ('человек, любящий определенную женщину'). Далее видим, что сейчас *упоенный* неупотребительно в абсолютном смысле: можно сказать только *упоенный успехами* и что-нибудь в этом роде. Наконец, вопрос о том, что бы мы сейчас сказали в данном контексте вместо *игривый разговор*, требует особого исследования. Может быть — *оживленный*, может быть — просто *веселый*.¹¹

¹¹ Вообще некоторые значения слова *игривый* в начале прошлого столетия зачастую очень трудно поддаются определению; ср. кроме указанных стихов еще и такие контексты:

Как нам (=старцам), о мира гость *игривый*,
Тебе постынет белый свет.

Пушкин. Гроб юноши (1821)

... И наконец
Глубок он (=Байрон), но единообразен!
А ты глубок, *игрив* и разен.

Пушкин. Ода Хвостову (1824)

Ниночка моя (=жена) не жалуется, всем довольна, и *игрива*, весела (Грибоедов. Письмо к Миклашевич).

Чуть не смеясь от избытка приятных и игривых чувств (после встречи с Асей), я нырнула в постель (Тургенев. Ася, гл. II).

Наконец, нельзя не указать на то, что в русском литературном языке сегодняшнего дня благодаря коренному перевороту в нашей идеологии, происшедшему в результате Октябрьской революции, оказались гораздо более глубокие противоречия с вполне актуальной еще литературой. Примеры встречаются на каждом шагу; укажу несколько разительных с той или иной точки зрения.

Фраза *это воспитывает материалистов* до революции и сейчас имеет совершенно разные значения: до революции это могло значить 'это воспитывает людей, признающих только личную выгоду' (=«шкурников»), особенно при прибавке слова *грубый* — *грубых материалистов*; теперь она может значить только 'это воспитывает людей с материалистическим (философским) мировоззрением'. Не меньший сдвиг произошел со словами *идеалист, идеалистический*.

Слово *гражданин* всегда имело ореол чего-то возвышенного, однако сейчас мы скажем *гражданин Иванов, извольте выйти вон*, и отнюдь не *товарищ Иванов*: слово *гражданин* в смысле титула приобрело что-то официальное.

В лингвистической терминологии приходится термин *диалектический* заменить словами *диалектный, диалектальный* ввиду большой распространенности философского значения слова *диалектический*.

Все это должно быть учитываемо при построении академического, нормативного, словаря: в него не следует брать фактов хотя бы и актуальной литературы, но противоречащих современному употреблению. Однако последовательное проведение этого принципа приводит к тому, что при посредстве такого нормативного словаря нельзя будет понимать не только старой литературы, но зачастую даже и актуальной. Это затруднение всегда существовало и как-то смутно ощущалось лексикографами; но принципиальное противоречие, лежащее в основе всего дела, никем, кажется, не было еще вскрыто с полной четкостью.

В этом смысле очень характерны колебания между нормативным словарем и словарем-справочником в истории нашей лексикографии.

В 1789 г. Российская Академия в предисловии к своему словарю (стр. IX) говорила: (выбор слов Академия) «следующими изъятиями облегчить предположила: . . . 4) (исключить) все слова старинные, вышедшие из употребления; . . .».

В 1847 г. Второе отделение Академии наук писало на стр. XI своего предисловия к «Словарю церковнославянского и русского языка»: «. . . Словарь должен . . . быть сокровищницей языка на протяжении многих веков, от первых письменных памятников до позднейших произведений нашей словесности»; и дальше,

на стр. XII: «Отделение русского языка и словесности. . . приняло в руководство следующие правила: 1) помещать в Словаре вообще слова, составляющие принадлежность языка в разные эпохи его существования, потому что Словарь не есть выбор, но и полное систематическое собрание слов, сохранившихся как в памятниках письменности, так и в устах народа».

Замечательный для своего времени словарь Даля является, конечно, словарем-справочником, а в высшей степени полезный современный «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова — более или менее компромиссным словарем.

Нечто аналогичное мы видим и в современной французской лексикографии. Наиболее последовательно проводит нормативную точку зрения «Словарь Французской академии», как это было видно из приводившихся выше примеров: он не дает значений, противоречащих сегодняшнему употреблению слов.¹² «Dictionnaire général» (Hatzfeld, Darmesteter, Thomas), как это тоже видим из примеров, подходит ближе к типу словаря-справочника, будучи прежде всего словарем языка литературы (начиная с XVII в.). То же можно сказать и о словарях Ларусса, которые, конечно, являются прежде всего словарями-справочниками.¹³

Может быть, ближе к типу нормативного словаря подходит еще не окончанный, но превосходный словарь чешского языка, издаваемый Чешской академией под редакцией Oldřich Hujer, Emil Smetánka, Miloš Weingart (являющийся сокращением тоже подготовляемого к печати большого словаря): «Příruční Slovník jazyka českého», Díl. I, A-J. v Praze, 1935—1937. Во всяком случае в его основе лежат тексты, начиная лишь с 1880 г. По-видимому, в таком же духе издается тоже превосходный нормативный словарь норвежского языка, по текстам с 1870 г.: «Norsk riksmåls-ordbok», utarbeidet av T. Knudsen og Alf Sommerfelt (вышло уже два объемистых тома, что составит половину словаря).

На вопрос, как же надо поступать, я не задумываясь отвечаю: надо делать два словаря, один — нормативный, а дру-

¹² На заседаниях Комиссии Французской академии, подготовлявшей новое (VIII) издание Словаря, одним из основных вопросов, которым интересовались академики, был вопрос о том, насколько то или другое слово в том или другом значении является общепонятным во всей Франции.

¹³ «Larousse Universel» хочет дать, между прочим, все слова, «которые относятся к старому французскому языку и не абсолютно устарели (qui ne sont pas absolument tombés en désuétude)», как об этом говорится в предисловии. Нельзя не усмотреть в этих словах наличия известного компромисса между двумя точками зрения.

гой — справочник,¹⁴ определяя *terminus a quo* последнего историческими, но прежде всего практическими — ведь справочник! — соображениями (для русской лексикографии, думается, с послепетровской эпохи). Если нельзя сделать двух словарей, надо вступить на путь компромиссов, четко их оговаривая.

В заключение этого раздела хотелось бы подчеркнуть, что с чисто лингвистической точки зрения «научным» надо считать словарь академического, или нормативного, типа, ибо такой словарь имеет своим предметом реальную лингвистическую действительность — единую лексическую систему данного языка. Словарь-справочник в конечном счете всегда будет собранием слов, так или иначе отобранных, которое само по себе никогда не является каким-то единым фактом реальной лингвистической действительности, а лишь более или менее произвольным вырезом из нее.

На практике мы видим как раз обратное: в большинстве случаев словари, составленные по типу академических, не стоят на большой высоте (прежде всего уже потому, что не дают никакого представления о той системе, которая лежит в их основе). Между тем среди словарей-справочников есть много таких, которые надо считать совершенными, как в смысле научном, так и в смысле практическом.

Некоторые думают, что нормативный словарь не может быть научным, и готовы противопоставлять нормативный словарь описательному. Это недоразумение: хороший нормативный словарь не придумывает нормы, а описывает ту, которая существует в языке, и уж ни в коем случае не должен ломать эту последнюю. Может быть, норму трудно иногда подметить; но это уж несчастье исследователя и не имеет никакого отношения к принципиальной стороне дела.

Здесь следует заметить, что очень часто, говоря о нормах, люди забывают о стилистических нормах, которые не менее, если не более, важны, чем всякие другие, и которые по су-

¹⁴ Вместо словаря-справочника можно сделать дифференциальный словарь всех тех особенностей текстов, которые противоречат современному употреблению, и в сущности для лиц, абсолютно владеющих русским литературным языком, такой словарь только и нужен. Для людей, активно не вполне владеющих русским литературным языком, но стремящихся к тому, — русских и нерусских, — нужен нормативный словарь. Для большинства же нерусских, стремящихся прежде всего пользоваться русской литературой, нужен больше всего толковый словарь-справочник типа Ларусса (см. о нем ниже, в конце 3-го раздела и в сноске в конце 5-го раздела). Он полезен будет многим и русским, недостаточно начитанным в русской литературе, и особенно нашей учащейся молодежи в процессе приобретения ею этой начитанности. Пользуюсь случаем, чтобы подчеркнуть необходимость заботы о нерусских, желающих обучиться русскому языку: их теперь десятки миллионов, а мы не привыкли об этом думать.

ществу вещей меньше всего зависят от произвола писателя, если только этот последний желает быть правильно понятым. Игорь Северянин вполне мог употребить в своих стихах такие выдуманные им слова и словосочетания, как *каблучком молоточить паркет, сенокосить твой спелый июль* и т. п. Это может нравиться или не нравиться, но никого не будет особенно шокировать как неуместное — в лирике допустимы неологизмы и вообще разные непривычные вещи. Но если какой-либо директор кино, желая обновить русский язык, сделает аншлаг на дверях своего театра *местов на сегодня больше нет*, то реакция на это будет одна: «Как это вы позволяете неграмотным людям писать аншлаг в вашем театре?». И это, несмотря на то, что формы *местов, делов* имеют, по всей вероятности, шансы на успех в будущем.

Очень часто норма допускает два способа выражения, считая оба правильными. Нормативный словарь поступил бы в высшей степени неосторожно, если бы забраковал одну из них, руководствуясь чистейшим произволом или личным вкусом редактора: не надо забывать, что синонимика является богатством языка, которое позволяет ему развиваться, предоставляя говорящему и пишущему широкие возможности для более тонкой нюансировки их мыслей (то же относится, конечно, и к складывающимся литературным языкам, где на первый взгляд иногда даже кажется, что нормы вовсе нет, а при ближайшем рассмотрении оказывается, что она просто очень широка).

Не менее нужно опасаться и произвольной дифференциации синонимических форм: на этих путях легко можно сделать литературный язык без надобности затрудненным. Примером этому, по-моему, служит французский литературный язык, который не только позволяет нам, но и заставляет нас исключительно тонко нюансировать свою мысль, а вместе с тем и абсолютно четко ее выражать (по этим-то причинам нам в первую голову и надо изучать французский язык, язык мирового литературного мастерства), но в котором имеется, как мне кажется, чересчур много запрещений, затрудняющих владение им.¹⁵

В чем же должна состоять нормализаторская роль нормативного словаря? В поддержании всех живых норм языка, особенно стилистических (без этих последних литературный язык становится шарманкой, неспособной выражать какие-либо оттенки мысли); далее, в ниспровержении традиции там, где она мешает выражению новой идеологии; далее, в поддержании

¹⁵ Для преодоления этих трудностей издаются даже особые книжечки, которые так и называются: «*Ne dites pas. . . , mais dites. . .*».

новых созревших норм там, где проявлению их мешает бессмысленная косность. Все это происходит помимо всяких нормативных словарей; однако эти последние могут помогать естественному ходу вещей, а могут и мешать ему, направляя развитие языка по ложным путям.

2. Противоположение второе: энциклопедический словарь — общий словарь

Противоположение это, на первый взгляд вполне очевидное и не требующее особых пояснений, на самом деле скрывает в себе довольно большие трудности.

Прежде всего — вопрос о собственных именах в самом широком смысле этого слова. Многим кажется, что собственным именам нет места в общем словаре, что они составляют основное содержание только энциклопедического словаря. С последним положением, конечно, надо согласиться; но с первым как будто можно и должно спорить. Поскольку собственные имена, будучи употребляемы в речи, не могут не иметь никакого смысла, постольку мы должны их считать словами, хотя бы и глубоко отличными от имен нарицательных; поскольку же они являются словами, постольку нет никаких оснований исключать их из словаря. Весь вопрос состоит в определении того, что в языке является «значением» собственных имен.

Оставляя в стороне философию собственного имени вообще, можно все же констатировать, что те сведения, которые даются в энциклопедиях, никоим образом не входят в это «значение»: эти сведения по существу вещей вовсе не должны быть общеизвестны (иначе не надо было бы и энциклопедий!). Следовательно, задача состоит в том, чтобы определить тот общеобязательный минимум, без которого невозможно было бы общепонятно оперировать с данным собственным именем в речи. Как мне кажется, этим минимумом является понятие, под которое подводится данный предмет, с общим указанием, что это не всякий подводимый под данное понятие предмет, а один определенный.

Когда я говорю *философ*, то это может значить 'какой-нибудь философ' (*хотелось бы напечатать статью и философа* = *on voudrait publier un article d'un philosophe aussi*), или 'всякий философ' (*философ привык ценить форму* = *le philosophe est habitué à apprécier la forme*), или 'данный философ' (*философ подошел к собеседнику* = *le philosophe s'approcha de son interlocuteur*).¹⁶

¹⁶ Здесь не дано анализа всех аспектов имени существительного в русском, а выхвачены лишь те, которые отвечают главнейшим функциям французских артиклей.

Последнее значение по функции в речи более или менее синонимично собственному имени, вместо которого и сказано в последнем примере *философ*. Таким образом, — с большими, конечно, упрощениями, но все же с некоторым приближением к истине — можно сказать, что собственное имя относится к соответственному нарицательному, как французское нарицательное с определенным членом (в одном из его значений) к нарицательному с неопределенным членом. *Империалистическая война* с маленькой буквы — нарицательное, а если мы напишем это слово с большой буквы, то будем иметь в виду одну определенную империалистическую войну (по-французски *la Grande Guerre*). Вот несколько примеров определений собственных имен для общего словаря: *Австралия* — ‘одна из стран света’; *Людовик XIV* — ‘один из французских королей’; *Хлестаков* — ‘один из персонажей комедии Гоголя «Ревизор»’. Однако некоторые характерные черты того или другого предмета могут иногда входить в значение соответственного собственного имени, приближая его к нарицательному. Так, *Хлестаков* со своими чертами беспардонного вруна и хлыща становится нарицательным и дает производное слово *хлестаковщина*. Слово *Австралия* едва ли способно приобретать какие-либо характерные признаки (нельзя, конечно, считать таковыми кенгуру и не дающие тени эвкалипты); но слово *Европа* несомненно имеет в нашем языке (совершенно независимо от того, насколько или в каком отношении это соответствует действительности) характерный признак — ‘страна передовой цивилизации’, откуда возможность таких словосочетаний, как *европейские манеры*, *европейская вежливость* и т. п.¹⁷ Дело хорошего общего словаря — определить вторые, «нарицательные» значения собственных имен, и надо сказать, что дело это очень деликатное.

Самым трудным делом для лексикографии будет выбор того понятия, под которое следует подводить то или другое собственное имя. Само собой разумеется, что это не может быть делом личного усмотрения или вкуса: надо подметить, как дело обстоит в языке данного общества, и в этом-то и заключается трудность. В самом деле, как определяется *Ньютон* для русского литературного языка? ‘Ученый’, ‘ученый мыслитель’, ‘английский ученый’, ‘основоположник современной механики’ и т. д.? Вот провизорное определение, которое требует еще, конечно, проверки: ‘один из гениальнейших умов человечества, заложивший основы современного знания в области точных наук’.

¹⁷ Может показаться, что это значение устарело и сейчас даже звучит иронически, но в данном случае это не играет роли.

Само собой разумеется, что не все собственные имена должны входить в общий словарь, если он относится к академическому типу, а лишь те, которые общеизвестны в данном языковом коллективе.

Совершенно особую группу собственных имен составляют личные имена и клички, которые, конечно, не могут иметь иного определения, кроме того, что это 'одно из личных имен' или 'одна из кличек'.¹⁸ Но и они являются факультативными словами, поскольку они постоянно входят в ткань речи с очевидным в каждой определенной среде смыслом. Некоторые из них делаются даже нарицательными именами в том или другом отношении, хотя в общем это бывает довольно редко.

Другую трудность в плане противопоставления «энциклопедический словарь — общий словарь» представляют собой термины. Очень многие специальные термины вовсе не входят в общелитературный язык и относятся к специальным жаргонам. Они подробно объясняются или в общей, или в разных технических энциклопедиях, где даваемые о них сведения могут сильно варьироваться по объему. Но много есть и таких терминов, которые входят и в литературный язык. Однако очень часто они будут иметь разные значения в общелитературном и в специальных языках. Слово *золотник* (в машине) всем хорошо известно, но кто из нас, не получивших элементарного технического образования, знает как следует, в чем тут дело? Кто может сказать, что вот это *золотник*, а это нет? Поэтому в общем словаре приходится так определять слово *золотник*: 'одна из частей паровой машины'. *Прямая* (линия) определяется в геометрии как 'кратчайшее расстояние между двумя точками'. Но в литературном языке это, очевидно, не так. Я думаю, что *прямой* мы называем в быту 'линию, которая не уклоняется ни вправо, ни влево (а также ни вверх, ни вниз)'.¹⁹ В ботанике разные растения определяются по установленной системе (то же относится и к зоологии, и к минералогии, и к другим отделам природы). В быту, а следовательно — и в литературном языке они определяются совершенно иначе, и зачастую очень трудно отыскать те признаки, которые заставляют нас узнать то или другое растение.²⁰ Я не говорю уже о тех случаях, когда про тот или другой предмет приходится говорить, что это

¹⁸ Иногда с добавкой «презрительная кличка», «насмешливая кличка» и т. п.

¹⁹ Не следует думать, что здесь скрыт *circulus vitiosus*: в основе наших обывательских понятий *прямо*, *направо*, *налево* лежит, я думаю, линия нашего взгляда, когда мы смотрим перед собой.

²⁰ *Иван-да-Марья*, например, определяется в ботанике как вид марьянника *Melampyrum nemorosum* L. из сем. норичниковых. В быту для нас это — если мы не смешиваем его с аютиными глазками — 'лесное травянистое растение с желто-лиловыми цветами'.

‘род кустарника’ или что это ‘один из видов небольших лесных птиц’ и т. п. Во всяком случае нужно помнить, что нет никаких оснований навязывать общему языку понятия, которые ему вовсе не свойственны и которые — главное и решающее — не являются какими-либо факторами в процессе речевого общения.

3. Противоположение третье: thesaurus — обычный (толковый или переводный) словарь

Следующим капитальным противоположением в области лексикографии надо считать противоположение словарей типа thesaurus и обычных толковых или переводных словарей.

Когда говорят thesaurus, то нынче у нас чаще всего имеют при этом в виду «Thesaurus linguae latinae», предприятие пяти немецких академий, начатое еще в 1900 г. и до сих пор доведенное с пропусками лишь до буквы *M*. Характерная особенность этого типа словарей состоит в том, что в них приводятся все решительно слова, встретившиеся в данном языке хотя бы один раз (т. е. и все так называемые *hарах’ы*), и что под каждым словом приводятся решительно все цитаты из имеющихся на данном языке текстов (в «Thesaurus linguae latinae» — до 600 г.). В основе вышеуказанного противоположения лежит противоположение «языкового материала» и «языковой системы» — понятия, которые я пытался обосновать в своей статье «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» (Изв., Отд., 1931, № 1).*

В основе всякого языка лежит все сказанное, услышанное и понятое на этом языке. Для простоты в дальнейшем будем говорить о письменном языке, так как в устном языке процессы представляются более сложными. Тогда можно сказать, что в основе всякого письменного языка лежат опубликованные на этом языке тексты, которые и представляют собою то, что я называю «языковым материалом». Для того чтобы понимать тексты и создавать новые, надо владеть всем «языковым материалом», т. е. знать все наличные тексты этого языка, но не в сыром, а в синтезированном, обобщенном виде. Синтез языкового материала я и называю «языковой системой», которая раскрывается в правилах грамматики и в правилах словаря, иначе — в правилах применения слов-понятий к реальной действительности. Правила словаря даются обыкновенно в виде «значений слов». Всем, однако, известно, как трудно формулировать эти значения в толковых словарях: это издавна составляло самое слабое их место, и издавна ведутся споры о наилучших методах определения значений. Герман Пауль дошел

В этом отношении до такого скепсиса (ср. его статью «Ueber die Aufgaben der wissenschaftlichen Lexicographie mit besonderer Rücksicht auf das deutsche Wörterbuch» в «Sitzungsberichte d. philos.-phil. und hist. Classe d. K.-B. Akademie d. Wissenschaften zu München», Jahrgang 1894), что старается в своем все же прекрасном словаре немецкого языка («Deutsches Wörterbuch», у меня 3-е изд., 1921 г.) в основном избегать определений, исходя из того предположения, что человеку, знающему немецкий язык, обычные значения немецких слов и так известны (все внимание его обращено на разные тонкие оттенки значений и на их историю). Оставляя теоретическую сторону этого вопроса до специального этюда, посвященного понятиям «значения и употребления слов», здесь можно пока констатировать только то, что со словарем Пауля человек, плохо знающий немецкий язык, не сможет читать немецких текстов и что, следовательно, если не прибегать к переводам на другой язык (о чем речь будет идти ниже), то вопрос об определении значений остается в силе, тем более что реальность самих значений не отрицал, конечно, и Пауль.

На почве этих затруднений и вырастает противоположение словаря, дающего весь «языковой материал» к каждому слову и до известной степени предоставляющего читателю самому выводить из него значения, и словаря, так или иначе — путем толкования или путем перевода — пытающегося дать все значения каждого слова и приводящего примеры лишь для иллюстрации своих определений.

Но, конечно, дело не только в трудности формулировать определения значений, а больше всего и прежде всего в исключительной трудности отыскания всех отдельных значений слова. Сравнительно легко наметить основные группы значений; но установление так называемых оттенков представляет уже большие трудности и иным кажется неважным, а иным субъективным. Не может быть сомнения в том, что такие ведущие к своего рода словарному агностицизму суждения глубоко неверны: трудность отыскания чего-либо не доказывает еще отсутствия искомого. Словарь все же является не простым, хотя бы и полным собранием примеров на отдельные фонетические слова, а собранием сгруппированных под отдельными словами общих понятий, под которые подводятся в данном языке единичные явления действительности. Поэтому в словаре под каждым фонетическим словом обязательно должен быть дан исчерпывающий и точный перечень понятий, с ним соединенных. Однако вполне справедливо, что дело это весьма деликатное и требует исключительно обостренного языкового восприятия. Проанализируем для примера такое простое на первый взгляд слово, как *игла*. Совершенно очевидные понятия, выражаемые

этим словом, будут, во-первых, 'швейная игла'; во-вторых, 'вязальная игла, или спица'; в-третьих, 'филейная игла';²¹ в-четвертых, 'лист хвойного дерева'; в-пятых, 'колючка растения'; в-шестых, 'колючка животного'; в-седьмых, 'граммофонная игла' (хотя в сущности в этом смысле употребляется скорее слово *иголка*, а не *игла*).²² Однако и здесь можно спорить, насколько отдифференцировались пятое и шестое значения: во фразе *я с трудом прокладывал себе дорогу сквозь густую заросль неведомых мне растений: иглы колючих кустарников то и дело впивались в меня* слово *игла* с современной точки зрения мне кажется скорее употребленным хоть и метафорически, но в своем обычном значении. Однако в литературе есть ряд примеров, как будто противоречащих такому утверждению; например у Вяземского (Старая зап. книжка, Собр. соч., [СПб.,] 1884, т. IX [стр.] 59): *В саду редкое дерево: род акации с острыми и твердыми иглами*. Я склонен думать, что это устаревшее значение слова *игла*, которое, по-видимому, заменяется словом *колючка* (слову *шип* несколько мешает, по-видимому, плотницкое его значение, тем более что в смысле 'колючка' он является скорее возвышенным словом). Что касается значения 'колючка животного', то тоже предполагаю, что оно мертвое и осталось лишь пережиточно в таких сочетаниях (однако не в «речениях», т. е. не в застывших выражениях), как *иглы ежа*, *иглы дикобраза*. Нормальным словом было бы здесь тоже *колючка*. Предполагаю, что первоначальное значение славянской *иглы* вовсе не 'швейная игла' (ср. словарь Даля) и что вышеприведенные 5-е и 6-е значения слова *игла* являются пережитками прежнего, более широкого значения²³ (впрочем, в развитии значений слова *игла* несомненно большую роль играли кальки).

²¹ Можно и даже в сущности должно в литературном языке считать единым словом сочетание *филейная игла*, а употребление одного слова *игла* в этом значении считать «неполным словом». То же надо сказать про *вязальную иглу*, с учетом того, что это технический, фабричный термин: в литературном языке про вязальные иглы в их бытовом употреблении как будто говорят только *спицы*. Но *швейная игла* и просто *игла* употребляются как синонимы (*швейная игла* является, конечно, тоже простым словом), причем первый из них употребляется вместо второго (а не наоборот) как уточняющий термин.

²² Я оставляю в стороне восьмое очень важное значение 'небольшой более или менее заостренный стерженек с теми или другими техническими функциями', откуда в разных технических жаргонах самые разнообразные специальные значения, о которых я не буду здесь распространяться.

²³ Любопытно отметить, что с современным немецким *Nadel* дело обстоит как раз наоборот: оно имеет довольно общее значение 'небольшого тоненького заостренного приспособления', употребляясь и в смысле *иголки*, и в смысле *булавки*, и [в смысле *шпильки* и т. п.];⁴ этимологически же оно, по-видимому, связано со словом *nāhen* — 'шить'.

Но все это надо признать исключительно тонкими вопросами; имеются вопросы гораздо более элементарные и тем не менее трудные. Так, надо ли считать особым значением в системе слова *игла* следующие употребления: *зеленеет ячмень с острыми иглами своими* (Карамзин); *тонкие, нежные, молодые иглы травы* (Л. Толстой) и многие другие подобные? Иначе говоря, имеет ли слово *игла* значение 'росток'? Далее, имеет ли слово *игла* значение 'шпиль' (*адмиралтейская игла* Пушкина)? Имеет ли *игла* значение 'иглоподобный кристалл' (*ледяные иглы*)? И т. д. Я думаю, что для современного языка это хотя и особые значения, однако тоже более пережиточного характера. Зато я никак не могу согласиться с 4-м значением слова *игла* в Словаре Д. Н. Ушакова — 'тонкий заостренный конец чего-нибудь'. Приводимый пример — (Автомобили) *туго набиты солдатами, матросами и оцетинились стальными иглами штыков* (Горький) — иллюстрирует, по-моему, лишь образное употребление слова *игла* в его основном значении. С этим связан, между прочим, один глубокий вопрос: не раздваивается ли первое значение слова *игла* на два понятия — а) 'собственно швейная игла' и б) переносно, 'нечто подобное швейной игле'. Разница между ними была бы лишь в отсутствии швейной функции во втором случае и в связи с этим в отсутствии в этом же случае ушка (или чего-либо играющего его роль, например у *хирургической иглы*), — по-видимому, существенного признака первого понятия. Под это второе понятие подошел бы и вышеприведенный пример из Горького и соответственные примеры из Тургенева, Л. Толстого и др. (сравнение штыков — но не штыка — с иглами является в сущности литературным штампом, хотя еще и живым). Но главное — сюда бы подошли многие образные употребления слова *игла*: *Иглы ресниц* (Фет). *Какая тоненькая. Игла* (о молоденькой девушке. Горький). (Взгляд), *из которого не только не прорезывались иглы, лучи света, но даже искры не было* (Гончаров). *Блуждают солнечные иглы по колесу от очага* (Клюев). (Дождь) *иглы залезил* (Пастернак). *Тонкий огонь пробежал по мне жгучими иглами; я нагнулся и приник к ее руке* (Тургенев). *Острый, пронизывающий озноб мгновенно разбегаются жгучими иглами. . .* (Серафимович). *Слова мудрых остры, как иглы* (Куприн). В выражениях: *иглы сатиры, остроумия* и т. п., *быть, сидеть, лежать* и под. (как) *на иглах* и т. д., и т. д.

Суть вопроса во всех этих случаях состоит в том, сохраняется ли в них образ именно *швейной иглы*. В составленном мною в 1935 г. первом выпуске IX тома «Словаря русского языка АН (откуда заимствовано большинство вышеприведенных примеров) я решал этот вопрос в утвердительном смысле, считая, что во всех случаях в основе лежит образ *швейной*

иглы, но что при этом, как это всегда бывает при образных употреблениях, выпячивается один какой-либо признак, а все остальные в той или другой мере затушевываются. Иначе говоря, я считал, что значения б) — см. выше — не существует в русском литературном языке; но с этим, может быть, можно и спорить.

Все сказанное целиком объясняет практическое требование к составителям словарей: не мудрствуй лукаво, а давай как можно больше разнообразных примеров. Я слышал такие суждения от первоклассных филологов. И действительно, каждое мало-мальски сложное слово в сущности должно быть предметом научной монографии, а следовательно — трудно ожидать скорого окончания какого-либо хорошего словаря. А словари нужны, и надо находить какой-то компромисс. Надобность в таком компромиссе еще более становится очевидной, если мы обратим внимание на все вышеприведенные случаи образного употребления слова *игла*. Как бы мы ни решали вопроса о значении этого слова, остается все же вопрос о том, в каких случаях слово *игла* может быть употреблено образно. Можно ли, например, сказать о гвоздях, натыканных для затруднения воров поперек забора, что они *торчат как иглы*? Мне кажется, что нельзя;²⁴ это хотя и неважно само по себе, однако показывает, что в словаре должны быть исчислены все традиционные случаи образного применения данного слова. И если для людей, вполне владеющих активно данным языком, возможен эксперимент (т. е. проба составления разных контекстов данного слова), то по отношению к мертвым языкам этот прием отпадает по существу вещей. Поэтому в словарях мертвых языков исчерпывающее обилие цитат является единственным выходом из положения. Однако то же надо сказать и о словарях нормативного типа живых языков: ведь там справляются, существует ли в данном языке такое словоупотребление или нет, а поэтому все существующие должны быть безусловно перечислены. Самой собой разумеется, что нет надобности приводить однообразные цитаты; но исчерпать их разнообразие совершенно необходимо.

В связи с этим понятно, почему хорошими считаются те словари, которые дают много примеров (таковы например «Словарь Французской академии» с многочисленными примерами из разговорного языка и французский словарь Литтре с еще более многочисленными литературными цитатами). Все это объясняет, почему стремление в той или иной мере приблизиться к типу *thesaurus* является естественным в лексикогра-

²⁴ Этому нисколько не противоречило бы то, что тот или другой писатель все же в каком-то специальном контексте использовал подобный образ.

фии, хотя степень этого приближения остается совершенно неопределенной.²⁵

Но есть мотивы, которые в известных случаях делают тип *thesaurus* в чистом виде идеалом словаря вообще. Значения слов эмпирически выводятся из языкового материала (об этом «выведении» будет сказано в особом этюде, посвященном значению и употреблению слов). Но в живых языках этот материал может быть множим без конца, и в идеале значения определяются с абсолютной достоверностью; в мертвых же языках он ограничен наличной традицией. При этом для одних значений его более чем достаточно, для других его мало, и каждый случай употребления данного слова может оказаться в той или другой степени ценным для разных выводов. И далее, в живых языках каждый, произвольно множа случаи употребления данного слова, может проверить выводы составителя словаря относительно значения данного слова; в мертвых языках для проверки нужно знать все наличные случаи употребления. Вывод отсюда тот, что всякий научный словарь мертвого языка в принципе должен быть *thesaurus*'ом, т. е. давать весь наличный языковой материал для данного языка.²⁶ Практически от этого могут быть, конечно, те или другие отступления: нет надобности, например, приводить повторяющиеся случаи, а также случаи очень близкие по контексту и т. п.;²⁷ но это не нарушает основного принципа.

Другой мотив, приводящий составителя словаря к типу *thesaurus*, лежит в чисто научно-лингвистических интересах. В обычных словарях отражается только «языковая система» данного языка. Но эта система целиком покоится, как было сказано выше, на «языковом материале», а «языковой материал» есть не что иное, как объективированная «речевая деятельность» данного коллектива (которая является единственной данной в опыте языковой реальностью). Эта речевая деятельность, хотя зачастую и протекает целиком по готовым шаблонам, однако в принципе является речетворчеством, обусловленным правилами «языковой системы» данного языка (см. об этом мою вышецитированную статью «О тройном аспекте. . .»). Несомненно, что в задачи лингвистики входит изучение процессов

²⁵ Я не говорю здесь о том, что словари писателей должны быть сделаны по типу *thesaurus*, так как в этом едва ли кто-нибудь сомневается: только располагая всей полнотой цитации, можно строить какие-либо предположения и выводы.

²⁶ Само собой разумеется, что это относится и к древним периодам живых языков, с теми ограничениями, что абсолютно очевидные вещи не требуют полной цитации.

²⁷ Иногда их можно совсем пропускать, заменяя словами *и т. п.*, иногда давать их число, иногда давать только ссылки.

речетворчества вообще, и в частности в области словоупотребления. И многим представляется (полагаю, не вполне основательно), что материалы для этого должны найти себе место в полном научном словаре, — отсюда необходимость опять-таки приведения под каждым словом всего языкового материала, относящегося к данному слову.

В той или другой мере под знаком всех этих идей, вероятно, составлялся «Словарь русского языка», издававшийся нашей Академией наук под редакцией А. А. Шахматова, начиная с 1897 г., и оставшийся неоконченным. Он, конечно, не должен был быть настоящим thesaurus'ом, но максимум цитат был его основным принципом, а поскольку дело шло об «областном языке», постольку абсолютно все имевшиеся материалы обязательно входили в его ткань.

Более последовательно принцип thesaurus'a проводится в современном продолжении «Немецкого словаря» Гриммов (начиная, кажется, с 1908 г.). Во всяком случае в картотеке этого словаря стремятся иметь исчерпывающие выписки из максимального числа авторов, и последние выпуски самого словаря дают хорошие объемистые статьи, богато иллюстрированные интереснейшим материалом.²⁸

Однако само собой разумеется, что для богатого живого литературного языка принцип thesaurus'a практически не может быть проведен до конца: нельзя перепечатать в словаре всю библиотеку актуальных авторов (если говорить только о нормативном словаре). Нелепость такого предприятия становится сразу очевидной, если мы будем иметь в виду не только письменный, но и устный, хотя бы и не областной язык.

Здесь обнаруживаются, однако, не только практические, но и теоретические противоречия в самом принципе thesaurus'a. В самом деле, наше устное речетворчество очень и очень часто нарушает в том или другом отношении, в той или другой мере существующие языковые нормы. Это хорошо известно всякому вдумчивому лингвисту; но в этом каждый может убедиться, прочитав стенограмму своего неподготовленного устного выступления (я имею в виду, конечно, не профессионалов-ораторов, а обыкновенных образованных людей, вполне владеющих литературным языком). Но не только в устном, но и в письменном языке постоянно встречаются разного рода неправильности и неловкости. Даже лучшие авторы грешат такими вещами. Не подлежит сомнению, что с точки зрения речетворческих процессов (т. е. нашей речевой деятельности) ошибки речи особенно показательны: они-то и раскрывают механизм

²⁸ Лет 10 тому назад в самой редакции одним из образцов своих достижений считали статью *Volk* объемом в 61 столбец.

этих процессов; они зачастую дают ключ к пониманию причин исторических изменений в языке. Для настоящего лингвиста-теоретика, для которого вопросы «как» и «почему» являются самыми важными, ошибки речи оказываются драгоценным материалом. Тем не менее даже в словарях мертвых языков, где принципы thesaurus'a должны быть руководящими, ошибки речи скорее надо считать *malum necessarium* — *necessarium*, ибо для мертвых языков у нас нет непосредственных критериев ошибочности, — с которым борются филологи-стилисты в меру своих сил. В словарях живого языка даже и ненормативного типа, особенно в словарях с малочисленными примерами, они безусловно недопустимы. Зато в словарях писателей ошибки могут быть очень интересны и с разных точек зрения показательны.

Тут возникает вопрос о том, почему ошибки речи, являясь по существу тоже «языковым материалом», участвуя в формировании «языковой системы» данного языка (ср. выше) и будучи таким образом «неопасными» в жизни, оказываются опасными в словаре. Ответ на это простой: поскольку эти ошибки признаются как таковые, постольку они неопасны, образуя то, что я называю «отрицательным языковым материалом»: это языковой материал как бы с особой пометкой «так не говорят», которая реализуется в замечаниях старших — для ребенка, в насмешках среды — для взрослых. В подлинной языковой жизни он не только не опасен, но играет огромную роль в выработке «языковой системы» у членов данного языкового коллектива.²⁹

«Отрицательный языковой материал», искусно подобранный и снабженный соответственным знаком, мог бы быть очень полезным в нормативном словаре (особенно для борьбы с естественными, но неупотребительными словосочетаниями).

В плане противопоставления thesaurus'a и обычного словаря надо затронуть один практический вопрос, очень волнующий словарные издательства, — это вопрос словника, т. е. вопрос о том, какие слова надо брать в словарь того или другого типа, а какие нет. Как было сказано в начале этого раздела, thesaurus характеризуется именно тем, что в его словник включаются все слова, какие только кем-либо были употреблены, хотя бы это и имело место всего один раз (*haraх legomena*). В словарях иного типа возможны бесконечные варьации: в последовательном полном нормативном словаре того или иного литературного

²⁹ Впервые об «отрицательном языковом материале» я говорю в вышеупомянутой моей статье «О тройном аспекте. . .». Осознание его роли в естественном процессе усвоения языка очень важно между прочим и для теории методики преподавания иностранных языков.

языка, конечно, должны быть даны все слова, имеющие безусловное хождение в данном языке. И это не представляет собою никаких особых затруднений в смысле объема: большинство специальных терминов ведь не входит в литературный язык (см. 2-й раздел); что касается разных новообразований, то их возможность должна быть безусловно предусмотрена, но попасть в словарь должны лишь те, которые приобрели, так сказать, некоторую индивидуальность (подробнее этот вопрос будет разобран в одном из следующих этюдов). Конечно, провести правильную демаркационную линию и в первом и во втором случае дело исключительной трудности; но вообще словарная работа, как основанная исключительно на семантике, требует особо тонкого восприятия языка, требует, я сказал бы, совершенно особого дарования, которое по какой-то линии, вероятно, родственно писательскому дарованию (только последнее является активным, а дарование словарника — пассивным и обязательно сознательным).

Что касается разных типов словарей-справочников (я имею в виду в первую голову иностранные словари, в том числе и русские для нерусских), то словник их зависит от того потребителя, для которого словарь предназначен: одно дело, если этот потребитель хочет читать книги по технике; другое дело, если он хочет читать стихи, и опять-таки другое дело, если он просто турист, и так далее до бесконечности. Число типов неограниченно, и устанавливаются они чисто эмпирически.

Мой педагогический опыт подсказывает мне одно: всякий краткий словарь вызывает у серьезных людей в конце концов раздражение, так как он всегда оказывается недостаточным во всех тех случаях, когда словарь действительно нужен. Поэтому студентов я бы всегда сразу снабжал иностранными словарями типа «Nouveau petit Larousse illustré» — это проверенный многолетним опытом тип, который, между прочим, одобрял и В. И. Ленин.

Это не значит, чтобы я вовсе отрицал разные небольшие словари для начинающих, для туристов и для других категорий людей, которые не собираются серьезно пользоваться иностранной литературой, но я считаю, что этими типами словарей — ценою подешевле — не следует увлекаться.

В самом деле, каждому серьезному технику-специалисту правильнее всего сразу купить себе том Шломана (см. конец следующего раздела), соответствующий его специальности, и быть надолго обеспеченным серьезным техническим дифференциальным словарем с шестью языками. Маленькие же технические словари годятся разве для начинающих студентов, приступающих читать тексты по специальности на том или другом языке. Специалисту, читающему более или менее свободно

На данном языке, такие словарики вообще не нужны, так как термины он в большинстве случаев понимает из контекста, а в серьезных случаях ему все равно придется обращаться к настоящему полному техническому словарю. Пользуюсь случаем, чтобы подчеркнуть ошибочность обывательского мнения, будто технические термины составляют главную трудность при чтении специальных иностранных текстов: незнание с предметом для одних и плохое знание данного общего языка для других — вот истинные причины трудности специальных технических текстов.

В заключение хочу сказать, что один небольшой по словнику словарь мне кажется все же совершенно необходимым для каждого иностранного языка: это учебный словарь для начинающих. Он должен объединить все те основные слова, без знания которых нельзя делать быстрых успехов в свободном чтении текстов на данном иностранном языке, и представить их как элементы некой единой системы. Однако тип такого словаря надо еще выработать, и весь вопрос является прежде всего методическим.

4. Противоположение четвертое: обычный (толковый или переводный) словарь — идеологический словарь

Поскольку мы можем в каждом слове различить его фонетическую форму (фонетическое слово) и его значение, постольку словарь каждого языка можно организовать, исходя из фонетических форм слов (обычный словарь), располагая их или в алфавитном порядке (алфавитный словарь), или по гнездам (гнездовой словарь),³⁰ а можно организовать его и исходя от значений, т. е. от понятий, выражаемых фонетической формой слов (идеологический словарь). Может показаться, что в последнем случае слова собственно будут разрушены, так как одно и то же слово, имея несколько значений, будет фигурировать в разных местах, и что это будет уже не словарь, т. е. не список слов, а список понятий. Однако это неверно. Неправильно думать, что слова имеют по несколько значений: это в сущности говоря формальная и даже просто типографская точка зрения. На самом деле мы имеем всегда столько слов, сколько данное

³⁰ При последовательном проведении принципа живых словообразовательных гнезд могут получаться очень интересные словари, выявляющие часть той системы, которую образует лексика каждого языка. Такие словари неудобны только для наведения в них быстрых справок. В числе гнездовых словарей можно назвать «Словарь русского языка» Российской Академии конца XVIII в. и современный словарь немецкого языка «Pinloche'a — Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache», где «этимологический» надо понимать скорее как «гнездовой».

фонетическое слово имеет значений (так и печаталось, между прочим, в старых словарях: заглавное слово повторялось столько раз, сколько у него было значений). Это вытекает логически из признания единства формы и содержания, и мы должны были бы говорить не о словах просто, а о словах-понятиях.³¹ В нашем повседневном употреблении мы скатываемся на формальную точку зрения, придавая слову *слово* значение «фонетического слова». Таким образом, точнее всего было бы говорить, что обычный словарь является списком слов-понятий с их синонимами.³²

Несмотря на очевидность принципа идеологических словарей и несмотря на то, что практическая надобность в них очень велика (о чем будет еще сказано несколько ниже), словари этого типа не в ходу, если не считать нескольких единичных попыток в этом направлении.

Причина этого лежит в трудности дела и в полной неразработанности словарной теории вообще: словарным делом занимались лишь единичные крупные люди, а в основном оно было почти целиком предоставлено рынку. Лингвистика XIX в., увлеченная открытиями Боппа, Гримма, Раска и др., как правило, вовсе не интересовалась вопросами теории лексикографии.

Для создания настоящего идеологического словаря прежде всего необходимо иметь полный и очень точный список слов-понятий данного языка, а чтобы составить такой список слов-понятий, надо четко описать все значения слов в словарях обычного типа. Но мы видели в 3-м разделе, как это трудно и как на это склонны безнадежно махать рукой даже крупные филологи. На самом деле хоть это и трудно, но, конечно, не невозможно. Но преодоление всякой научной трудности требует работы поколений. Ведь лингвистика XIX в. достигла поразительных результатов именно благодаря концентрации работы ряда поколений на вопросах сравнительной и исторической грамматики индоевропейских языков.

Другая трудность создания настоящего идеологического словаря лежит в классификации слов-понятий, которая обнаружила бы их живую взаимосвязь (она необходима, конечно, и для легкого их разыскания в словаре). Дело в том, что при

³¹ Само собою разумеется, что слова-понятия, выражаемые одним фонетическим комплексом, в большинстве случаев (кроме так называемых омонимов) образуют более или менее сложные системы, что и выражают обычно в словарях тем, что они помещаются под одним заглавным словом, но под разными цифрами, буквами и т. п.

³² С этой точки зрения можно сказать, что синонимические словари являются отчасти одним из видов идеологических словарей, где только синонимы прикреплены не к слову-понятию, а к фонетическому слову (хотя и с учетом его многозначности).

классификации идей очень легко впасть в априорность и в субъективизм. Между тем система слов-понятий (мышление) в конечном счете является функцией производственных отношений (в самом широком смысле) данного коллектива и условий его жизни, а потому оказывается величиной переменной. Отсюда необходимость чисто эмпирической классификации слов-понятий для каждого языка в каждый определенный момент времени. Если принимать еще во внимание, что система слов-понятий каждой эпохи является компромиссом между системой понятий предшествующей эпохи и требованиями нового времени, а с другой стороны, если вспомнить, что в наших словарях до сих пор еще царит смешение разных хронологических планов, то трудности подлинной, т. е. отвечающей действительности, классификации станут очевидными.³³

Вот классификация — в аспекте английского языка — одного из старейших идеологических словарей Roget'a, о котором будет сказано еще ниже:

I. Абстрактные отношения	{	I. Бытие II. Отношения III. Количество IV. Порядок V. Число VI. Время VII. Изменение VIII. Причинность
II. Пространство	{	I. Пространство вообще II. Мера III. Форма IV. Движение
III. Материя	{	I. Материя вообще II. Неорганическая материя III. Органическая материя
IV. Разум	{	I. Образование понятий II. Сообщение понятий
V. Воля	{	I. Индивидуальная воля II. Общественная воля
VI. Чувства	{	I. Чувства вообще II. Индивидуальные чувства III. Общественные чувства IV. Моральные чувства V. Религиозные чувства

³³ При этом нужно и здесь опасаться смешения принципов энциклопедического и обычного словаря: взаимосвязи слов-понятий, на которых и должна строиться их классификация, в обычном словаре должны быть представлены не такими, какими они должны были бы быть, а такими, как они конкретно существуют в данном коллективе, определяя его речевую деятельность (коммуникацию). Сказанное не противоречит, конечно, тому, что историческое развитие языка в этой области в конечном счете определяется через развитие общественного сознания, объективной истиною.

Эти категории подразделяются, конечно, еще дальше, и в конце концов получается 1000 категорий, которые здесь не могут быть приведены.

Новейшую классификацию понятий в аспекте французского языка дает Балли во втором томе своего замечательного «*Traité de stylistique française*». Вот его основные категории:

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| I. Априорное | { | А. Бытие
Б. Отношение
В. Причинность
Г. Порядок
Д. Время
Е. Количество, число, интенсивность
Ж. Пространство. Положение в пространстве.
З. Изменение
И. Движение |
| II. Материя.
Чувственный мир | { | А. Созидание (<i>création</i>): жизнь и смерть
Б. Мир, природа, существа
В. Свойства материи
Г. Восприятие чувственных объектов |
| III. Мышление и его выражение | { | А. Свойства мышления
Б. Операция мышления
В. Выражение и коммуникация мышления |
| IV. Воля | { | А. Свойства воли
Б. Операция воли
В. Воля по отношению к другому
Г. Воля взаимная или внешне ограниченная |
| V. Действие | { | А. Необходимые действия; потребности, источники, средства
Б. Свойства объекта действия; ценность, полезность
В. Состояния и качества, относящиеся к результату действия
Г. Свойства предмета действующего
Д. Мотивы действия
Е. Подготовка действия
Ж. Модусы действия
З. Взаимодействие или действие внешне ограниченное |
| VI. Собственность | { | А. Приобретение и владение
Б. Пользование, передача, мена |
| VII. Чувства | { | А. Чувства вообще
Б. Чувство удовольствия и неудовольствия
В. Инстинктивные чувства
Г. Чувства эгоцентрические
Д. Эстетические чувства
Е. Чувства и действия альтруистические |
| VIII. Общество | { | А. Общественная жизнь
Б. Место индивида в обществе
В. Права и обязанности; закон; суд |
| IX. Нравственность | { | А. Форма долга; поведение
Б. Оценка поведения, Репутация |
| X. Религия | | |

При дальнейшем подразделении у Балли получается 297 категорий, например: *louange / blâme; flatterie / calomnie; respect / mépris; passé / présent / avenir; passé récent / avenir prochain; ancienneté / nouveauté* и т. д. Надо отметить, что классификация Балли — конечно, не исчерпывающая — имеет в виду «*termes d'identification*» синонимов; но я полагаю, что, идя другим путем, Балли приходит в сущности к тому же, о чем говорилось выше, т. е. к словам-понятиям.

Само собой разумеется, что хотя категории Балли в какой-то мере и подходят к словам-понятиям, однако до идеологического словаря, как я его себе мыслю, этой классификации еще далеко, не говоря уже о том, что для русского языка все дело надо начинать сначала.³⁴

Практическая надобность в идеологических словарях явствует из заглавий первых попыток подобного рода. Самой первой является, по-видимому, «*Thesaurus of English Words and Phrases classified and arranged so as to facilitate the expression of ideas and to assist in literary composition*» (для облегчения нахождения способов выражения понятий и для помощи при составлении сочинений) by Peter Mark Roget, M. D., F. R. S., 1852. Книга эта переиздавалась 76 раз сыном и внуком автора, — в последний раз, кажется, в 1935 г.

Французский pendant к книге Роджета составлен в 1859 г. Т. Robertson'ом под заглавием «*Dictionnaire idéologique, Recueil des mots, des phrases, des idiotismes et des proverbes de la langue française, classés selon l'ordre des idées*»;³⁵ немецкий pendant сделан Schlessing'ом в 1881 г. под заглавием «*Der passende Ausdruck*», в 1927 г. вышла переработка этой книги (Schlessing - Wehrle. *Deutscher Wortschatz. Ein Hilfs- und Nachschlagebuch der sinnverwandten Wörter u. Ausdrücke d. deutschen Sprache*).

Другая книга в этом роде, внушенная идеями Роджета, принадлежит перу известного немецкого лексикографа Daniel Sanders'a и вышла в двух томах под заглавием «*Deutscher Sprachschatz geordnet nach Begriffen zur leichten Auffindung und Auswahl des passenden Ausdrucks*» (для легкого нахождения и выбора подходящего выражения) и с подзаголовком «*Ein stilistisches Hülfsbuch für jeden Deutsch schreibenden*» (Стилистическое пособие для каждого пишущего по-немецки), Hamburg, 1873—1877.

Совсем недавно вышла интересная, более самостоятельная, хотя в основном и продолжающая Роджета книга: Franz

³⁴ Не следует забывать и того, что всякая идеологическая классификация подразумевает определенное мировоззрение и что с этой точки зрения все старые классификации для нас неприемлемы.

³⁵ Книга выдержала несколько изданий, последнее в 1894 г.

D o r n s e i f f. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen, [Berlin—Leipzig,] 1934.

Действительно, если потребность припомнить наиболее подходящее слово для выражения той или другой мысли не так часто обнаруживается в применении к родному языку (это справедливо, конечно, лишь по отношению к людям, абсолютно владеющим соответственным литературным языком), то в применении к иностранному языку она встречается на каждом шагу.³⁶ То же надо, конечно, сказать и о русском языке в тех случаях, когда его употребляют нерусские: я имею в виду наших националов, для которых вопрос безусловного владения русским языком становится все более и более актуальным.

Но еще более обещают дать идеологические словари в теоретическом отношении. В самом деле, мы всегда подходим к языку с его формальной стороны и уже от нее переходим к идеям, и в этом нет ничего порочного. Но прав Н. Я. Марр, когда подчеркивает примат мышления и зовет нас подойти к явлениям языка именно со стороны мышления. Брюно в своей книге «La pensée et la langue» попробовал перевернуть грамматику французского языка и изложить ее, исходя из идей, а не от форм. Идеологические словари делают то же самое в применении к словам и в конце концов должны дать материал для построения истории мышления, отраженного в языке. Я полагаю, что тогда-то и вскроются многие причины языковых изменений, которые для нас сейчас совсем не видны. Я полагаю, между прочим, что на базе хороших этимологических и исторических словарей можно будет тогда написать новые захватывающие книги, которые, исходя из понятий, будут рассказывать, почему то или другое понятие получало новую форму выражения, как рождались новые понятия и как разлагались старые и т. п.

Разных типов словарей, преследующих те же практические цели, что и идеологические словари, довольно много. Во главе их можно, пожалуй, назвать: P. B o i s s i è r e. Dictionnaire analogique de la langue française. Répertoire complet des mots par les idées, des idées par les mots, — впервые вышедший в 1862 г. и выдержавший не менее девяти изданий. Его наследником является словарь Ch. Maquet с почти тождественным заголовком: «Dictionnaire analogique. Répertoire moderne des mots par les idées, des idées par les mots», 1936 г. Эти словари дают группы слов, связанных по смыслу (par analogie) с определенными словами-центрами. Эти слова-центры, расположенные в алфавитном порядке, и составляют основу словаря, который

³⁶ Об опасностях переводных словарей, к которым обыкновенно в этих случаях прибегают, будет сказано в следующем разделе.

снабжен, кроме того, алфавитным указателем всех слов, находящихся в группах, с соответствующими ссылками.

По сути то же самое представляет собою словарь: Paul R o u a i x. Dictionnaire-manuel illustré des idées suggérées par les mots contenant tous les mots de la langue française groupés d'après le sens, 1911.

Как было сказано выше, до известной степени те же практические цели преследуют бесчисленные словари синонимов на разных языках. Пользуюсь случаем, чтобы отметить недурной, недавно вышедший французский словарик антонимов: M. R a m e a u et H. Y v o n. Dictionnaire des Antonymes ou Contraires avec indication des synonymes, 1933.

К типу идеологических словарей, пожалуй, надо отнести «vocabulaires par l'image». Мне известен, к сожалению, только один такой словарь (который я считаю в общем очень удачным): A. P i n l o c h e. Vocabulaire par l'image de la langue française comprenant 193 planches avec 6000 figures accompagnées de leurs légendes explicatives et un vocabulaire idéologique. Paris, Larousse, 1923. Он разделен, как и все идеологические словари, на отделы: в первой части (Человек) имеется 13 отделов (человеческий род, питание, полеводство и садоводство, одежда и т. д.); во второй (Вселенная) — 6 отделов (изучение природы, небо и земля, время и т. д.). Каждый из отделов состоит из таблиц, наглядно иллюстрирующих относящиеся к данному отделу понятия, с легендами и комментарием, и из списков понятий (les idées), относящихся к данному отделу, но не поддающихся иллюстрации. И те и другие, конечно, классифицированы, и каждый отдел имеет свое оглавление. Каждая таблица по сходству или по смежности удобно объединяет целый ряд взаимно связанных между собой предметов. Подобный словарь, если он хорошо сделан, оказывает часто неоценимые услуги при поисках того или другого нужного слова на иностранном языке. Будучи снабжен алфавитным указателем, он может быть использован и как иллюстрированный толковый словарь.

Отчасти на тех же основаниях построен «Иллюстрированный технический словарь на шести языках» — немецком, английском, французском, русском, итальянском и испанском — при участии издательства Р. Ольденбурга, обработанный инженером А. Шломаном (Издание Бюро иностранной науки и техники ВСНХ в Берлине).* Я полагаю, что серьезные технические дифференциальные (т. е. служащие для перевода с одного языка на другой) словари в общем так и должны делаться. Розыск слова, перевод которого на тот или другой язык хотят узнать в них, вполне обеспечивается алфавитными указателями, помещенными в конце каждого тома, и с этой стороны

в словарях Шломана все обстоит благополучно. Однако было бы желательно облегчить розыск слов в тех случаях, когда по тем или другим причинам приходится отправляться от соответствующего понятия, а не от слова. Для этого надо отделы сделать более дробными, увеличить число иллюстраций и в нужных случаях прибавить кое-какие объяснения. В технической терминологии дело вовсе не обстоит так блестяще, чтобы если знать название какого-либо предмета на одном из шести языков, то у Шломана обязательно можно было бы найти его перевод на пять других языков. Прежде всего, данного названия может и не оказаться в указателях, особенно если оно имеет более употребительные синонимы или если оно просто ускользнуло из поля зрения редактора (что случается гораздо чаще, чем это себе представляют специалисты). С другой стороны — и это самое главное — перевод может оказаться не тот, который нужен, поскольку самые понятия дифференцированы зачастую по-разному в разных областях техники и в разных языках (ср. сказанное в следующем разделе по поводу ошибочности обывательского мнения, будто системы понятий в разных языках адекватны).

В заключение надо подчеркнуть, что с теорией технических словарей дело обстоит ничуть не лучше, чем с теорией других словарей, а может быть даже хуже, поскольку все думают, что здесь и не надо никакой теории и что достаточно быть инженером, чтобы разбираться в этих вопросах.

5. Противоположение пятое: толковый словарь — переводный словарь

Толковые словари возникают обыкновенно в применении к тому или другому литературному языку либо в целях его установления, его нормализации («Словарь Французской академии»), либо в целях пояснения тех или других его элементов, являющихся по каким-либо причинам не вполне понятными, — в конечном счете, следовательно, тоже в целях установления литературного языка, но скорее в смысле его обогащения, а главное — лучшего освоения его богатств. Толковые словари в первую очередь предназначаются для носителей данного языка.

Переводный словарь возникает из потребности понимать тексты на чужом языке. С удовлетворением этой потребности, однако, часто связывается и процесс становления национального языка путем перевода богатств чужого литературного языка.

При этом, совершенно независимо от метода нахождения нужного эквивалента (простое заимствование, калька, переносное употребление какого-либо своего слова или закрепление

за своим словом с общим и более или менее подходящим значением точного значения иностранного слова),³⁷ прежде всего всегда происходит заимствование самого главного — понятия. Здесь любопытно отметить, что поскольку большинство литературных языков Европы возникли под влиянием латинского, а в дальнейшем все время влияли друг на друга, постольку в основе большинства европейских литературных языков лежит более или менее одна и та же система понятий. Поэтому-то перевод с одного европейского языка на другой гораздо легче, чем, например, с китайского или с санскритского на любой европейский.³⁸

О трудностях, стоящих перед толковыми словарями, достаточно сказано в разделе 3-м. Что касается переводных словарей, то их принципиальная ошибка состоит в предположении адекватности систем понятий любой пары языков. Я старался уже показать ошибочность этого предположения в предисловии к своему «Русско-французскому словарю», где указывал также на те печальные практические последствия, которые вытекают из недооценки этого обстоятельства.

Я не буду приводить здесь тех бесчисленных и очевидных фактов, когда фонетические слова, абсолютно равнозначные в одном из своих значений, имеют разные другие значения. Так, слова *table* и *стол* переводят друг друга в ряде значений; но по-французски *table* значит также 'доска (для надписи)', 'таблица', а по-русски *стол* значит и 'отделение канцелярии'; слова *verre* и *стекло* также переводят друг друга; но *verre* значит и 'стакан', а *стекло* значит и 'оконное стекло' (по-французски *vitre*), и т. п., и т. п. Я попробую дать здесь сравнительный анализ ряда слов-понятий русского и французского языков, чтобы показать, что в большинстве случаев они не покрывают друг друга. Начну с более грубых случаев: французскому *bleu* соответствуют по-русски и *синий* и *голубой*; по-французски и *рюмка* и *стакан* будет *verre*; по-русски и *poil* (в одном из своих значений), и *cheveu*, и *crin* будет *волос*. Русскому *борода* не вполне соответствует французское *barbe*, которое обозначает всю растительность на лице мужчины; хотя французские *laineux*, *duveteux*, *peluché* и не совпадают друг с другом, однако все их приходится переводить русским *пушистый*. Далее французское *guéridon* определяется в словаре Академии как 'sorte de meuble qui n'a qu'un pied et qui sert à supporter des objets légers': по-русски мы назвали бы это

³⁷ К сожалению, работ по становлению лексики русского литературного языка до сих пор почти никаких не имеется, хотя эти работы и должны были бы быть первоочередными.

³⁸ В этом плане вполне можно говорить о «системе европейских языков» (этот последний термин, конечно, неточен).

‘столик для. . .’. Отсюда следует, что по-французски *guéridon* не подводится под понятие *table* и что это последнее несколько уже русского *стол*. Французское *flacon* переводится в словаре Ганшиной ‘флакон, пузырек, склянка’. Очевидно, что он ни то, ни другое, ни третье. *Кипяток* не то же, что *eau bouillante*, так как мы говорим даже *холодный кипяток* и так как во всяком случае он не обязательно должен кипеть. Французское *eau* как будто вполне равно русской *воде*; однако образное употребление слова *вода* в смысле ‘нечто лишенное содержания’ совершенно чуждо французскому слову, а зато последнее имеет значение, которое более или менее можно передать русским ‘отвар’ (*eau de ris, eau d’orge*). Из этого и других мелких фактов вытекает, что русское понятие *воды* подчеркивает ее пищевую бесполезность, тогда как французскому *eau* этот признак совершенно чужд. Русские *суровый, строгий* по отношению к человеку являются четко разными понятиями (антоним первого — *нежный*, антоним второго — *слабый*). Но для того, чтобы выяснить отношение этих понятий к французским *austère, sévère, rude*, которые встречаются в качестве переводов указанных русских слов, нужно написать целое исследование. Примеры можно множить без конца, но и приведенных достаточно для того, чтобы сказать, что громадное большинство слов-понятий любого языка несоизмеримо со словами-понятиями всякого другого языка. Безусловные исключения составляют только термины: русская *вода* как химический термин (H_2O), конечно, абсолютно тождественна французскому *eau*, но как бытовые понятия они не совпадают.

Вот несколько примеров, подтверждающих сказанное, из сопоставления немецкого и русского языков: *Fabel*, конечно, значит ‘басня’ в нашем смысле; но *Fabel* значит и ‘фабула’ — значение, которого наша *басня* не имеет. У нас *басня* нечто правоучительное; по-немецки *Fabel* — прежде всего нечто сказочное. С другой стороны, по-русски можно сказать *все это басни*, а по-немецки нужно сказать *das ist Fabelei*, и т. д. Наше *фабриковать* имеет неодобрительный оттенок; немецкое *fabrizieren* его не имеет. Немецкое слово *Fach* так многообразно по своим хотя и связанным между собой значениям, что невозможно указать ему никакой, даже отдаленной параллели в русском, а переводы отдельных его значений совершенно уничтожают их внутреннюю форму. *Blass* и *fahl* переводятся по-русски словом *бледный*, не будучи, однако, полными синонимами; но *бледная надпись* нельзя перевести ни ‘*blasse Aufschrift*’, ни ‘*fahle Aufschrift*’. *Fahne*, конечно, ‘знамя’; но по-русски акцент понятия лежит в идеологии, и русскому человеку трудно понять, что переносно *Fahne* может значить ‘гранка’ (типографский термин), что обусловлено, однако, чисто материальным представлением

слова-понятия *знамени* в немецком. *Fahren* переводится всегда 'ехать, ездить, поехать'; на самом деле значение его гораздо шире — '(быстро) передвигаться вперед'. *Farbe* отвечает по-русски двум разным понятиям — 'краска' и 'цвет', причем по-русски говорится, конечно, *цвет лица*, но также и *она потеряла краски*, т. е. побледнела, и т. д., и т. д. Примеры можно множить без конца: я беру их из словаря подряд на букву *F*.

Не могу удержаться от того, чтобы не привести еще обычного сопоставления русской *иглы* и немецкого *Nadel*. Как было уже разъяснено выше в 3-м разделе, эти слова вовсе не совпадают: русское *игла* — прежде всего 'швейная игла', немецкое *Nadel* — 'всякое тоненькое заостренное приспособление' (в том числе и 'игла', и 'булавка', и 'шпилька', и 'листок хвои' и т. п.). Между тем в громадном большинстве словарей славянских языков, включая и этимологический словарь Бернекера, соответствия слова *игла* переводятся немецким *Nadel*, что ставит исследователя, не владеющего всеми славянскими языками как родным, в безвыходное положение, если он хочет отыскать первоначальное значение славянской *иглы*, так как остается совершенно неясным, что обозначает в каждом отдельном случае немецкий перевод.

Из всего сказанного вытекает, что обычные переводные словари не дают настоящего знания иностранных слов, а лишь помогают догадываться об их смысле в контексте. В самом деле, когда и *austère* и *sévère* даются в словаре как 'строгий, суровый', то только из контекста можно догадаться, о чем именно идет речь. При этом по большей части догадки приводят даже в лучшем случае к неточному пониманию. Кроме того, переводные словари, переводя иностранное слово тем или другим своим словом, совершенно не заботятся о многозначности этого последнего; а потому человек, добросовестно выписывающий слова из такого словаря и их заучивающий, сплошь и рядом будет попадать впросак. Так, прочитав, что *brasser* значит 'мешать', он легко может подумать, что это синоним 'препятствовать', а если и нет, то конечно решит, что можно сказать *brasser son thé*, *brasser les cartes* и т. п.; прочитав в словаре, что второе значение *brider* будет 'крепко завязывать', читатель будет уверен, что можно сказать *brider sa malle avec une corde*; прочитав, что *laboratoire* значит и 'мастерская', читатель такого словаря легко может прийти к мысли, что можно сказать *j'ai porté cette clef au laboratoire chez le serrurier*; прочитав, что *lacté* значит 'молочный', — что можно сказать *la nourriture lactée*. Примеры беру наудачу, раскрывая хороший переводный словарь: их можно приводить тысячи.

Ввиду всего этого всякий настоящий педагог советует своим ученикам как можно скорее бросать переводные словари и пере-

ходить на толковый словарь данного иностранного языка. Таким образом, переводный словарь оказывается полезным разве только для начинающих изучать иностранный язык. Можно разными примечаниями и примерами частично устранить недостатки переводных словарей. Одним из излюбленных приемов передачи слов в тех случаях, когда они не имеют точного перевода, является приведение ряда quasi-синонимов, условно разделяемых в этих случаях запятой (точкой с запятой разделяются особые оттенки значения переводимого слова). Примеры см. выше: *sévère* — 'строгий, суровый'; *flacon* — 'флакон, пузырек, склянка' и т. д. Это, конечно, какой-то выход из положения в том смысле, что сигнализируется своеобразие значения переводимого слова (хотя формально этот случай оказывается ничем не отличенным от приведения ряда настоящих синонимов).

Радикальным решением вопроса явилось бы, по-моему, как я это указывал в предисловии к моему «Русско-французскому словарю» еще в конце 1936 г., создание толковых иностранных словарей на родном языке учащихся, где, конечно, могли бы фигурировать и переводы слов во всех тех случаях, когда это упрощает толкование и нисколько не вредит полному познанию настоящей природы иностранного слова. Что такой толковый словарь несомненно значительно увеличился бы в объеме по сравнению с обыкновенным переводным, меня, откровенно говоря, не пугает; в самом деле, нет никаких причин, чтобы ходовой иностранный словарь обязательно имел 100 авторских листов, а не 150, если это последнее требуется существом дела. Но этот тип словаря надо еще выработать, и это тем труднее, что и толковые словари, как я старался показать в разделе 3-м, находятся еще далеко не на должной высоте.³⁹

Поэтому переводные словари впредь до создания нового типа словаря остаются все же нашим *malum necessarium*, недостатки которого надо стараться смягчить разными паллиативами, что может в конце концов окольными путями привести к созданию того типа иностранного словаря, который мне рисуется как идеал.

Многие, познакомившись с французским Ларуссом, считают его идеалом и предлагают просто переиздать его. Я тоже считаю его прекрасным словарем и достойным всяческого подражания в качестве образца для русского толкового словаря, как об

³⁹ Поскольку это моя идея и поскольку я давно ясно вижу пути ее осуществления, я должен был бы взять на себя почин в этом деле. К сожалению, другие, не менее неотложные научные задачи мешают мне пока приступить к нему.

этом говорил еще В. И. Ленин; но в качестве словаря иностранного языка он не годится для людей, еще плохо знающих французский.⁴⁰

Поэтому, всячески поддерживая мысль об его переиздании — потому что это просто сделать — для старших курсов наших языковых вузов (конечно, с надлежащими идеологическими поправками), я тем не менее полагаю, что его, кроме того, надо перевести на русский язык и вообще сблизиться с ним на разных путях, т. е. создать новый тип толкового французского словаря на русском языке.

Однако особый тип переводного словаря все же должен остаться для людей, не очень хорошо знающих иностранный язык, которым тем не менее приходится время от времени что-либо переводить на этот язык. Вообще говоря, основное правило грамотной методики преподавания иностранных языков состоит в том, что не следует даже умственно переводить с родного языка, а стараться думать на иностранном языке в меру своих познаний, прибегая в случае надобности к идеологическим или синонимическим словарям, а также к хорошим толковым иностранным словарям, но отнюдь не к переводным. Однако в применении к практической жизни это предполагает довольно высокий уровень навыков владения иностранным языком. Поэтому все же нужен словарь, который позволил бы человеку, знающему основы грамматики данного языка в ее активном аспекте (опыт именно такого аспекта грамматики дан мною в приложении к моему «Русско-французскому словарю»), переводить на иностранный язык нехудожественные тексты без грубых ошибок. Такой словарь, будучи предназначен для русских, вовсе не должен давать иностранцу полного понимания значения русских слов, а должен дать русскому человеку точные указания, как он должен переводить русские слова в разных контекстах, чтобы быть не только понятным, но и не смешным. Этим тоже никогда не занимались переводные словари, и мой столько раз упоминавшийся «Русско-французский словарь» является первым сознательным опытом переводного словаря указанного типа. Опыт этот, конечно, может быть значительно улучшен при более последовательном проведении основной целеустановки, чему мешала невозможность откровенной установки — русско-французский словарь для русских,

⁴⁰ Пользуюсь случаем, чтобы обратить внимание на мало известный у нас, но также превосходный толковый словарь немецкого языка Pinloche'a, вышедший также в издательстве Ларусс, и на замечательные словари английского языка: Webster. New International Dictionary of the English Language. [Springfield, Massachusetts,] 1934; Funk and Wagnalls. New Standard Dictionary of the English Language, [New York—London,] 1939 (последний с американским уклоном).

а также невозможность чрезмерного расширения грамматического и стилистического аппарата.

Резюмируя настоящий раздел, я повторяю то, что уже сказал в предисловии к моему словарю: для всякой пары языков нужно четыре словаря — безусловно два толковых иностранных словаря с объяснениями на родном языке пользующегося данным словарем и, в зависимости от реальных потребностей, два переводных словаря с родного языка на иностранный специальный (в вышеуказанном смысле) типа.

6. Противоположение шестое: неисторический словарь — исторический словарь

Несмотря на кажущуюся четкость этого противоположения, оно при ближайшем рассмотрении оказывается не вполне ясным в применении к существующим словарям. В самом деле, чистый тип академического, или нормативного, словаря (см. раздел 1-й) представляется как будто неисторическим словарем. Спрашивается, становится ли он историческим, если в него включаются факты языка Пушкина, находящиеся в противоречии с современным употреблением, а тем более факты, нам непосредственно не совсем даже понятные? Далее, следует ли считать словарь Литтре и «*Dictionnaire général de la langue française*» историческими, поскольку они дают довольно обширные сведения по этимологии⁴¹ и даже по истории слов?

С другой стороны, следует ли считать историческим словарем Материалы к словарю древнерусского языка до XIV столетия Срезневского? Как будто нет, и как будто так было и в мыслях автора этого капитального труда. Но что же тогда считать историческим словарем? Словарь Гриммов, «Большой оксфордский» и другие аналогичные предприятия? При всей их историчности установка их, на мой взгляд, вовсе не историческая: их цель — дать все значения всех слов, принадлежащих и принадлежавших к данному национальному языку за все время его существования.

Историческим в полном смысле этого термина был бы такой словарь, который давал бы историю всех слов на протяжении определенного отрезка времени, начиная с той или иной определенной даты или эпохи, причем указывалось бы не только возникновение новых слов и новых значений, но и их отмирание, а также их видоизменение. Насколько мне известно, такого словаря до сих пор еще нет,⁴² и самый тип его еще должен быть выработан.

⁴¹ Сами этимологические словари хотя и содержат некоторый материал по истории слов, однако вовсе не представляются мне историческими.

⁴² Мне кажется наиболее «историчным» словарь немецкого языка Пауля, хотя он и отправляется от современного языка, а потому не может

Вопрос осложняется еще тем, что слова каждого языка образуют систему, как об этом говорилось в 1-м разделе, и изменения их значений вполне понятны только внутри такой системы; следовательно, исторический словарь должен отражать последовательные изменения системы в целом. Как это сделать, однако, — неизвестно, так как самый вопрос как будто еще не ставился во весь рост. Дальнейшее осложнение он получает еще в связи с тем, о чем говорилось в разделе 4-м, т. е. в связи с тем, будем ли мы создавать историю фонетических слов и их значений, или историю слов-понятий, или, наконец, свяжем все это в одно целое, как теоретически казалось бы более правильным. Все это, однако, только вопросы для будущего, так как материала для их разрешения еще не накоплено.

ПРЕДИСЛОВИЕ ¹

[к Русско-французскому словарю]

Всякое слово так многозначно, так диалектично и так способно в контексте выражать все новые и новые смысловые оттенки, что надо большое искусство, чтобы правильно и точно выражать свою мысль, не вызывая никаких кривотолков. Желаящих конкретно убедиться в этой многогранности слова отсылаю к сделанным мною в IX томе, вып. 1, 1935 г., седьмого издания академического словаря русского языка статьям: союз «и» и глагол «играть».

Эта многогранность слова особенно ярко выступает при сравнении разных языков друг с другом, так как благодаря различиям исторических условий их развития она никогда в них не совпадает. Возьмем для примера ряд русских прилагательных *хороший, хорошенький, красивый, прекрасный, превосходный* и соответственный ряд французских прилагательных *bon, joli, beau, excellent* и сравним их употребление. По-русски мы скажем с небольшими оттенками *хороший человек, прекрасный человек*, по-французски только *un excellent homme* (*un*

быть назван «историческим» (сам Пауль его так и не называет). В высшей степени «историческим» представляется мне также упоминавшийся выше, в разделе 1-м, «Glossaire des patois de la Suisse Romande. . .» rédigé par L. Gauchat, J. Jeanjaquet, E. Tappolet, I, 1924—1933. Наконец, вполне историческим является замечательный «Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots par A. Ernout et A. Meillet», [Paris,] 1932, вышедший недавно вторым изданием.

¹ Предисловие, может быть, вышло несколько длиннее, чем это обыкновенно бывает, но оно вкратце заключает в себе научные выводы из всей моей лексикографической работы, выводы, смею думать, бесполезные как для авторов словарей, так и для учащихся в лингвистических вузах, которые в первую голову будут пользоваться этим словарем,

homme bon будет добрый человек); *хороший мальчик* будет или *un excellent garçon* или *un garçon bien sage* (в смысле 'пайнька'), но *хороший ученик* будет *un bon élève*; по-русски мы скажем *хорошенькая женщина, красивая женщина* (конечно, с оттенками), по-французски — *une jolie femme* и в том и в другом случае, так как *une belle femme* будет соответствовать совершенно особому оттенку сочетания *красивая женщина*; по-русски мы скажем *красивая картина, красивое дерево*, а по-французски — *un joli tableau*, но *un bel arbre*; по-русски — *прекрасное яблоко*, а по-французски — *une belle pomme*, если оно красивое, *une pomme excellente*, если оно превосходное, вкусное, но и *cette pomme est bonne*, если оно вкусное; по-русски — *хорошая погода, прекрасная погода*, по-французски — *un temps superbe, un temps excellent (un bon temps pour la chasse* значит *благоприятная погода для охоты)*. Примеры можно умножать до бесконечности, но и приведенных достаточно для того, чтобы наглядно показать тот факт, что слова одного языка в большинстве случаев не просто соответствуют словам другого языка, а находятся с ними в весьма сложных или многообразных отношениях. Это обстоятельство делает «составление» дифференциальных (т. е. двуязычных) словарей делом исключительно трудным, что как-то до сих пор не дошло не только до сознания широких масс, но даже и до сознания самих «составителей» словарей.

Дело в том, что история русской лексикографии, по крайней мере русско-французской лексикографии, сложилась так, что дело началось с подбора русских слов к французским толкованиям французского академического словаря. Так создались первые большие французско-русские словари (самый старейший, в двух томах, насколько мне известно, относится к 1786 г.). Они были сделаны постольку удачно, поскольку вообще можно было придумать, особенно в те времена, действительно вполне подходящие слова для каждого отдельного значения иностранного слова: мы сейчас видели, что это предприятие в значительной степени трудное, если не безнадежное. Работа эта и легла в основу всех последующих больших и малых французско-русских словарей. Таким образом, словарь, так или иначе объясняющий слова, их значение и употребление (т. е. словарь толкований), был заменен словарем переводным, где давались русские слова, более или менее удачно переводящие отдельные значения иностранных слов; но так как русские слова имеют и свои значения и оттенки, которых может и не быть в соответственных иностранных словах, то подлинная физиономия этих последних остается в словаре такого типа совершенно неопределенной. Такой словарь годится для чтения и перевода иностранной книги, но он дает совершенно

фальшивое понятие о словах данного языка. Несколько примеров из безусловно хорошего, грамотного переводного словаря (и притом примеров не подобранных, а взятых подряд с начала буквы *F*) наглядно покажут, в чем дело: *fâché* переведено *сердитый*, и правильно: *он сердит* надо сказать *il est fâché*, но нельзя перевести *у нас сердитый отец* — *nous avons un père fâché*; *fâcher* — *огорчать, сердить, раздражать*, что будет справедливо в целом ряде случаев и обратно; но *мой отъезд огорчил его* нельзя перевести *mon départ l'a fâché*; *facile* — первое значение *легкий*; однако бессмысленно сказать *легкий ящик* — *une caisse facile*, *легкий туман* — *un brouillard facile* и т. д.; второе значение *доступный*, но невозможно сказать *доступные цены* — *des prix faciles*; третье значение *покладистый, податливый, уживчивый, сговорчивый, обходительный*, но нельзя перевести *наверное он даст нам рублей 100: он такой сговорчивый* — *il va sûrement nous donner une centaine de roubles: il est si facile*, и т. д., и т. д.

Поэтому становится вполне понятным, почему всякий опытный педагог советует своим ученикам как можно скорее переходить к одноязычным толковым словарям. Удивительным образом, однако, до сих пор никто не догадался, что, искусно комбинируя объяснения и переводы, можно создать хороший толковый французский словарь и на русском языке.

Что касается русско-иностранных словарей, то они делались очень просто: соответственный иностранно-русский словарь выворачивался, так сказать, наизнанку и располагался в алфавитном порядке русских переводов. Совершенно очевидно, что сложные отношения между иностранными и русскими словами запутывались при этом еще больше и получались словари, от пользования которыми еще больше приходилось предостерегать учащихся. Чтобы опять-таки не быть голословным, возьмем ряд примеров. По небольшому русско-французскому переводному словарю *небрежная работа* придется перевести *un travail négligeant*, *сердитый дядюшка* — *un oncle fâché*, *un oncle courroucé*, *ловить бабочек сеткой* — *attraper des papillons avec un réseau* (или правильно *avec un filet*), а *тарифная сетка* — *réseau* (или *filet*) *de tarif* (или *tarifaire*), и т. д., и т. д. При этом надо заметить, что я беру хоть и первые попавшиеся, но лишь грубые случаи. Что касается неточностей перевода, то о них и говорить нечего: сделать сколько-нибудь точный перевод посредством таких словарей абсолютно невозможно. Совершенно то же в сущности мы имеем и в большом словаре Макарова [Н. П. Макаров. Полный французско-русский словарь. СПб., 1884]. Только что в нем, благодаря большому количеству примеров, иногда, хоть и с большим трудом, можно найти кое-какие косвенные намеки на нужное

в данном контексте слово. Однако в этой фразеологии безнадежно спутаны и переводы русских выражений, и особые французские переводы целых контекстов, и примеры, иллюстрирующие употребление данных в начале статьи французских слов. Такими словарями, за неимением других, пользовались иностранцы для понимания русских текстов, хотя это понимание, благодаря вышеуказанным методам составления таких словарей, и было зачастую крайне трудным делом. Ими пользовались в элементарных случаях, конечно, и русские. Знающие язык в общем избегали обращаться к этим словарям, но иногда и они заглядывали в большие словари в надежде, не всегда оправдывавшейся, что он им подскажет случайно забытое слово, которое они уже сумеют употребить.

Какие же нам, в конце концов, нужны словари?

Прежде всего совершенно очевидно, что для каждой пары языков нужно два объяснительных (толковых) иностранно-национальных словаря — для русских с объяснениями на русском языке, а для иностранцев — на их соответственных языках. Такие словари дадут возможность читать и понимать иностранные книги (а поняв книгу, всякий сумеет сам подобрать и слова для перевода, если он ему нужен), а также познакомиться с истинной физиономией иностранных слов. Мы, конечно, должны для себя составить такой французский толковый словарь с русским пояснительным текстом, а французы, немцы, англичане, узбеки, буряты и т. д. уже должны сами составлять аналогичные русские словари со своим пояснительным текстом, поскольку, конечно, в них нуждаются.

Нуждаемся ли мы, русские, в каком-либо русско-иностранном словаре? Теоретически говоря, не нуждаемся, так как основное правило методики преподавания иностранных языков состоит в том, чтобы никогда не переводить с родного языка, а стараться в меру своего знания иностранного языка думать на нем. В случае надобности следует прибегать к большим иностранным толковым словарям с большой фразеологией: там всегда найдешь образцы для своей иностранной речи. Для облегчения можно составить для таких словарей предметные указатели или пособия вроде немецких «Der passende Ausdruck» или, наконец, даже целые идеологические словари (т. е. расположенные не от слов к значению, а от значений, от идей к словам). Но все это хорошо и правильно для людей, уже несколько знающих иностранный язык, или для людей, регулярно ему обучающихся по хорошим методам. В практической же жизни мы видим другое. Большинство людей или очень плохо знает язык, или знает его крайне неравномерно и во всяком случае обучалось ему нерационально; перевести же несколько фраз на иностранный язык очень часто бывает нужно

всякому. Пользоваться вышеуказанными методами они совсем не умеют, и единственным способом остается для них русско-иностраный переводный словарь. Однако пользование существующими словарями в силу всего вышесказанного может привести только к анекдоту. Поэтому эти переводные русско-иностраные словари должны быть переделаны совершенно заново с ясно осознанной целью дать возможность русскому человеку делать правильные переводы его русских фраз.

Когда в 1930 г. мне предложили взять на себя составление русско-французского словаря, то мне уже в общем ясна была нарисованная выше картина, благодаря моей лексикографической работе над русским языком, с одной стороны, и многолетним занятиям методикой преподавания иностранных языков — с другой, и я соблазнился перспективой сказать свое новое слово в русской дифференциальной лексикографии. Помимо личных теоретических интересов, меня к этому склоняли два мотива; во-первых, я нахожу, что наша культура очень нуждается в хороших и целесообразных словарях, так как нам необходимо уметь широко пользоваться иностранной литературой, а подчас в той или другой мере владеть тем или другим иностранным языком; во-вторых, я считаю крайне неправильным то пренебрежительное отношение наших квалифицированных лингвистов к словарной работе, благодаря которому почти никто из них никогда ею не занимался (в старые времена это за гроши делали случайные любители, не имевшие решительно никакой специальной подготовки) и благодаря которому она получила даже такое нелепое название — «составление» словарей. И действительно, и наши лингвисты, и тем более наши «составители» словарей просмотрели, что эта работа должна иметь научный характер и никак не состоять в механическом сопоставлении каких-то готовых элементов.

Я, конечно, с большим удовольствием взял бы на себя работу по французско-русскому толковому словарю, так как предвидел все трудности работы над русско-французским переводным словарем в полном отрыве от современной французской жизни. Однако французско-русский переводный словарь Ганшиной существовал и существует, и так как это очень хорошо и тщательно сделанный словарь (хотя и вовсе не отвечающий моим идеалам в этой области), то пришлось согласиться на русско-французский словарь.

Одним из основных источников для настоящего словаря явился, конечно, «Русско-французский словарь» 1936 г., составленный Дуссом, Матусевич и Щербой, где и рассказано подробно, как шла наша словарная работа. Здесь достаточно подчеркнуть, во-первых, что нами, т. е. Матусевич и мной, была впервые в русской литературе произведена семантиче-

ская разработка современного русского словника — словарь Ушакова тогда еще не начинал выходить, — и во-вторых, что переводы русских слов не списаны у предшественников, а сделаны нами совершенно заново. Далее будет уместно повторить те принципы, которым мы руководились при этом.

1. Перевод не должен быть объяснением, а реальным переводом, который в соответственной грамматической форме непосредственно годился бы в правильную французскую фразу, являющуюся переводом конкретной русской фразы (мы всегда исходили из фраз, а не из слов); для этого мы старались перебрать в уме всевозможные русские контексты данного значения, и если найденный перевод не подходил ко всем случаям, то в общем мы ему предпочитали такой, который годился бы всегда, хотя бы и был в отдельных случаях менее удачен. Если такого приемлемого общего перевода не находилось, то мы давали несколько переводов, всячески стараясь указать, когда какой из них следует употреблять.

2. Мы принципиально отбрасывали все «чересчур французские» и образные переводы (а тем более арготические), так как их употреблять надо умеючи и к месту; иностранец же, чтобы не быть смешным, должен выражаться самым простым, обыкновенным языком (если у нас есть случаи, этому принципу противоречащие, то только по недосмотру).

3. Мы принципиально отметали все неточные переводы, переводы приблизительные, дающие якобы полноту словарной статьи, богатую синонимику (тут может быть еще больше недосмотров, так как мне приходилось выдерживать борьбу с рядом товарищей, которые держались другого мнения). Я считал и считаю, что синонимика важна и даже очень нужна, но для людей, хорошо знающих язык и желающих это знание углублять. Она решительно вредна в переводном словаре, так как ведет зачастую к анекдотическим переводам.

4. Если мы не находили точного перевода, то давали несколько приблизительных, снабжая их по возможности соответственными объяснениями; иногда мы даже вводим приблизительный перевод особым знаком \cong . Когда нам казалось, что нет ничего подходящего, мы обозначали это значение как непереводимое и в скобках давали или объяснение, или какие-либо частичные переводы; наконец, в тех случаях, когда для получения удовлетворительного перевода приходилось переделывать всю фразу, мы давали переводы целых контекстов; но это, конечно, не могло быть чересчур часто ввиду скромных размеров словаря.

5. Особое внимание было обращено на управление слов и на точный перевод этого управления, для того чтобы поль-

зующийся словарем всегда знал, в какой форме ему надлежит поставить слова, зависящие от переводимого слова (здесь не место опровергать общераспространенный предрассудок, будто управление слов определяется грамматикой: на самом деле оно чаще всего оказывается принадлежностью каждого отдельного слова, а потому является фактом словаря).

В результате всей этой работы получился переводный русско-французский словарь в подлинном смысле этого слова, ибо он действительно помогает людям, знающим русский язык, переводить с этого последнего языка на французский. Но он ничего общего не имеет с прежними русско-французскими словарями, которые хотя и давали переводы русских слов, но не показывали, когда и как их надо употреблять. Однако он разделяет с обычными переводными словарями все их недостатки при пользовании им не для перевода русских текстов, а для их понимания, так как мало что говорит о различиях данных в нем французских эквивалентов с русскими словами, которые они переводят: семантическая разработка этих последних рассчитана на знающих русский язык и по существу недоступна иностранцу, который нуждается для всестороннего понимания истинной физиономии русских слов в русско-французском толковом словаре. К сожалению, такого словаря еще нет.

Один из очень мучительных вопросов был вопрос о словнике. В самом деле, что включать в него, а что нет? Единственным научным разрешением вопроса было бы обследование языка советской прессы в самом широком смысле слова: коэффициент употребляемости отдельных значений слов и выражений решал бы вопрос. Эта громадная работа была нам, конечно, совершенно не под силу (она требует большой организации, много квалифицированных работников и больших денег); но в конце концов и она не решала бы вопрос окончательно, так как в переводном словаре дело вовсе не в употребительности слов вообще, а в потребности в них при переводах с русского, т. е. при совершенно специфических условиях. Вообще мы старались не включать в словарь отжившие слова и понятия. Однако мы оставили все же кое-какие термины, абсолютно мертвые сегодня, но хорошо известные в классической литературе XIX в. Особенно затрудняли элементы разговорного языка: их несомненно дано гораздо больше, чем надо было бы для переводного словаря. Они уместны главным образом в толковом словаре, предназначенном для французов, но так как такого словаря не предвидится, то я сохранил в конце концов большое количество разговорных элементов в нашем словаре. Единственное, в чем я был последователен, — это в абсолютном недопущении в наш словник арготизмов.

В конце концов, хотя я и уверен, что у нас объективно много лишнего,² но не считаю это, откровенно говоря, за большое зло; гораздо хуже будут пропуски, если их много найдется. Во всяком случае считаю нужным подчеркнуть крайнюю субъективность обычных суждений о том, что важно и что неважно.

Другой трудный вопрос словаря — это его идеология. Ясно, что словарь должен отражать советскую идеологию, но в чем? В составе слов-понятий? Но ведь мы говорим и о советских, и о не советских вещах и не можем не говорить о не советских вещах, поскольку мы живем в буржуазном окружении и буржуазный мир является не каким-то мифом, а реальностью, и поэтому мы должны уметь и говорить о нем.

В конце концов идеология должна сказаться не только в составе словника, но и в переводах, и это, конечно, самый важный, но и самый трудный вопрос. В самом деле, множество понятий изменилось у нас в своем содержании, но как отразить это просто и понятно в переводе? Совершенно очевидно, например, что наш *прокурор* не то же самое, что в буржуазных странах, но тем не менее мы переводим его словом *procureur*, и так в бесконечном ряде случаев.

Вопрос о хороших, вообще, переводах является, конечно, основным для всякого словаря, и я позволяю себе думать, что не одну тысячу удачных переводов, не имевших до сих пор хождения в русско-французской лексикографии, мы пускаем в оборот. Я, к сожалению, их в свое время не регистрировал, а теперь глупо было бы на это тратить время, но мне вспоминаются химические переводы, потребовавшие от меня затраты громадной энергии, или с величайшим трудом найденный перевод слова *груздь*, или переводы слова *валять* (*войлок* и т. п.), которое во всех словарях переводилось неверно, и множество других.

Я горжусь своими переводами предлогов и союзов, в сущности впервые сделанными по-настоящему. Однако я не скрываю от себя и того, что в словаре имеются и неудовлетворительные переводы. Во-первых, смешно думать, чтобы два филолога

² Лишними, конечно, являются русские поговорки и разные специфические русские обороты и выражения. Однако обилие их по недоразумению считается украшением всякого словаря. Они исключительно важны и нужны только в русском толковом словаре для иностранцев. Принимая во внимание интересы этих последних, я, по просьбе редакции, не выкидывал русских идиоматизмов, хотя принципиально и считаю, что русский человек, желая что-нибудь перевести на иностранный язык, должен прежде всего очистить свой стиль от всяких специфических русских выражений и оборотов; иначе он будет нестерпимо смешон (я не имею в виду, конечно, литературных переводчиков, которые должны знать во много раз больше, чем настоящий словарь; такой словарь им просто не нужен).

могли быть специалистами во всех отраслях человеческого знания и жизни. Ведь никакая самая краткая энциклопедия не пишется одним человеком. Во-вторых, не менее смешно думать, что два русских, в полном отрыве от французской среды, могли сделать идеальный русско-французский переводный словарь.

Как раз на работе над словарем я понял, что «знать язык» — это значит активно участвовать во всем многообразии его жизни, и сделать хороший русско-французский переводный (подчеркиваю это последнее слово) словарь может лишь отличный русский словарник (условие само собой разумеющееся) и лишь живя в Париже, так как уже французская провинция не дает нужного материала для всех переводов.

Хорошие переводы не «составляются», а «творяются», и творятся хорошими писателями, делающими переводы иностранной литературы на свой родной язык. Для того чтобы сделать хороший русско-французский словарь, надо прежде всего расписать на карточки целый ряд образцовых переводов русской литературы (не могу не вспомнить в этой связи превосходнейшего современного перевода «Мертвых душ» Henri Mongault) и целый ряд классических французских сочинений о современной советской жизни. Я говорю «классических», так как газета создает множество однодневок и просто неудачных слов и оборотов, оценить и разобраться в которых русский человек, сидя у себя дома, не в состоянии. Однако для всего этого опять-таки нужен большой, очень квалифицированный аппарат.

В заключение не могу не подчеркнуть, что словарное дело — исключительно трудное дело; это прекрасно понимали и творцы западноевропейской филологической науки XVI в., и зачинатели нашего современного литературного языка в начале XVIII столетия, как об этом свидетельствует следующий замечательный перевод Феофана Прокоповича интереснейшего стихотворения Скалигера (на которое обратил мое внимание И. Н. Розанов):

Если в мучительские осужден кто руки,
Ждет бедная голова печали и муки,
Не вели томить его делом кузниц трудных,
Не посылать в тяжкие работы мест рудных:
Пусть лексикон делает — то одно довлеет,
Всех мук роды сей один труд в себе имеет,

К ВОПРОСУ О ДВУЯЗЫЧИИ

Лозунг «иностранные языки в массы» поставил на очередь для всего Союза [ССР] вопрос, который для национальных республик, входящих в состав Союза, был всегда актуальным, — это вопрос о двуязычии. Поэтому, может быть, явилось бы нелишним осветить его с научной точки зрения, тем более что в западноевропейской литературе появились течения, ставящие вопрос на неправильный, с моей точки зрения, путь.

Прежде всего надо отдать себе отчет в том, что такое «двуязычие» и каковы его основные виды. Под двуязычием подразумевается способность тех или других групп населения объясняться на двух языках. Так как язык является функцией социальных группировок, то быть двуязычным значит принадлежать одновременно к двум таким различным группировкам. В старом Петербурге имелось довольно много людей, у которых «семейным» языком, а зачастую и обычным языком интимного круга знакомых, являлся немецкий язык, тогда как вся их общественная деятельность связана была теснейшим образом с русским языком. Аналогичные случаи часты также, например, в Узбекистане, — с той, однако, разницей, что здесь случаи часто бывают более запутанные в том смысле, что сфера применения русского языка в общественной жизни сужена. Еще более сложные отношения бывают при смешанных браках. В таких обстоятельствах нередко возникает два семейных языка: с отцом дети говорят на одном языке, а с матерью — на другом. Бывает и так, что хотя семейный язык один, однако люди вынуждены общаться с кругом родных жены на одном языке, а с кругом родных мужа — на другом. Любопытен случай, который широко распространен у славян, живущих в немецком окружении: у себя в деревне, на крестьянской работе они говорят по-славянски, а на фабрике — по-немецки, и это тем более разительно, что многие из них одновременно занимаются и крестьянством, и фабричной работой, меняя,

Таким образом, свою языковую шкуру два раза в день. Думается, что аналогичные примеры можно найти и в Узбекистане, особенно если расширить несколько вопрос и под языком подразумевать и диалекты, как географические, так и социальные. Так, крестьяне, говорящие в кишлаке на своем местном наречии, приходя в город, стараются говорить по-городскому и таким образом тоже становятся двуязычными.

Проф. Б. А. Ларин в своей статье «Язык города» * справедливо приводит в качестве примера многоязычия матросов из Архангельской губы, членов ВКП(б): со своими земляками они разговаривают на архангельском наречии; в качестве матросов им свойственен особый профессиональный жаргон, и, наконец, в партийной среде они говорят на интеллигентском языке со специальной окраской, характеризующей определенную идеологическую устремленность. Аналогичных примеров можно найти множество.

Познакомившись с тем, что такое двуязычие, посмотрим, каким оно может быть. Два крайних случая при этом совершенно очевидны: или социальные группы, лежащие в основе того или другого двуязычия, взаимно друг друга исключают, или они в той или другой мере друг друга покрывают. В первом случае два языка никогда не встречаются: член двух взаимно исключających друг друга групп никогда не имеет случая употреблять два языка попеременно. Оба языка совершенно изолированы друг от друга. Так, например, бывает у детей, которые учатся в школе на одном языке, употребляя его и при общении с товарищами, но которые говорят дома с родителями на другом, так как эти последние не понимают первого языка. Аналогичный случай может быть также у человека, у которого на работе употребляется один и только один язык и который дома употребляет только другой язык. Во всех этих случаях и подобных им двуязычие можно назвать «чистым».

Во втором случае, т. е. когда две социальные группы в той или другой мере друг друга покрывают, люди постоянно переходят от одного языка к другому и употребляют то один, то другой язык, сами не замечая того, какой язык они в каждом данном случае употребляют. Так бывает, например, когда все члены семьи, принадлежа вместе со своими родными и знакомыми к одной группе населения, тем не менее входят и в другую по своей работе. Встречаясь друг с другом в разных окружениях, они перестают отличать групповые границы и начинают употреблять оба языка попеременно. Такое двуязычие можно назвать «смешанным», так как действительно при нем нормально происходит в той или другой степени смешение двух языков, их взаимопроникновение. В наиболее выражен-

ных случаях этого рода, когда люди в общем свободно говорят на обоих языках, у них создается своеобразная форма языка, при которой каждая идея имеет два способа выражения, так что получается в сущности единый язык, но с двумя формами. Люди при этом не испытывают никаких затруднений при переходе от одного языка к другому: обе системы соотнесены у них друг ко другу до последних мелочей. При этом обыкновенно происходит иногда взаимное, иногда одностороннее приспособление двух языков друг к другу. Какое оно будет, зависит от сравнительной культурной значимости обоих языков, а также от наличия или отсутствия среды, употребляющей только один из данных языков, а потому не испытывающей влияния другого языка. Эта среда, если носители двуязычия являются ее членами, поддерживает один из языков двуязычия. Варьящий тут может быть множество, и в детали можно сейчас не вдаваться, хотя они и представляются крайне важными с разных точек зрения.

Тип такого двуязычия нарисован мною в моей книге «Востоchnолужицкое наречие» (1915), а теория двуязычия дана в статье «*Sur la notion de mélange des langues*» в «Яфетическом сборнике», IV.*

Прежде чем перейти к практической оценке обоих типов двуязычия, между которыми в жизни встречается бесконечное число переходных случаев, нужно остановиться на том факте, что знание языка может быть сознательным и бессознательным. На родном языке мы говорим обыкновенно совершенно бессознательно, т. е. мы говорим, не думая, как говорим, что и вполне естественно: мы разговариваем для сообщения наших мыслей и чувств собеседнику и думаем, конечно, об этих последних, а не о языке, который является лишь орудием общения. Однако уже когда мы употребляем собственный литературный язык, мы вынуждены думать об этом орудии, выбирая наиболее подходящие слова и обороты для выражения наших мыслей. Когда же мы обучаемся этому литературному языку, то сознательность совершенно необходима: мы должны выучиться писать и говорить не совсем так (а иногда и очень не так), как говорили детьми в семейном кругу. Литературный язык всех времен и народов никогда не совпадал с обыденным разговорным языком и всегда является в той или другой мере «иностранном» языком, как это признал относительно русского языка и А. В. Луначарский на одной московской конференции преподавателей русского языка.

Итак, знание родного литературного языка обыкновенно бывает сознательным. Чем же эта сознательность обуславливается? Сравнением двух языков — родного разговорного и родного литературного, подлежащего усвоению. Всякое познание

возможно лишь при столкновении противоположностей — это основной закон диалектики, который находит себе полное применение и в языке. В каком же типе двуязычия мы имеем условия, благоприятствующие сравнению, а следовательно и сознательности? Очевидно, лишь в смешанном типе двуязычия, где самый факт постоянного чередования двух языковых форм все время побуждает к сравнению, а следовательно и к большему осознанию их значения.

Этот тип двуязычия и является, таким образом, типом, имеющим громадное образовательное значение, так как при чистом двуязычии человек, говорящий на двух, трех или более языках, как на родных, не будет от одного этого более культурным, чем говорящий на одном родном языке: у него нет поводов к их сравнению. А почему сравнение языков имеет такое большое значение? Во-первых, через сравнение, как было уже указано, повышается сознательность: сравнивая разные формы выражения, мы отделяем мысль от знака, ее выражающего, и приучаемся лучше распознавать таким образом разные оттенки этой мысли. Во-вторых, и это самое главное, надо иметь в виду, что языки отражают мировоззрение той или другой социальной группы, т. е. систему понятий, ее характеризующую, а система понятий, как нас учит диалектика, не есть нечто раз навсегда данное, а является функцией от производственных отношений со всеми их идеологическими надстройками.

Поэтому системы понятий от языка к языку могут быть разными. Несколько примеров покажут это яснее: по-немецки *Baum* означает *растущее дерево*, а *Holz* — *дерево как материал*, причем безразлично, служит ли этот материал для топлива или для поделок. По-узбекски *jaqas* будет обозначать и *растущее дерево* и *дерево как материал*, однако *дерево как топливо* имеет особое слово *otun*, как и в русском (*дрова*). По-русски имеется одно слово и одно понятие *ссадина*, безразлично — будет ли это у человека или у животного. В казахском, как мне сообщил проф. Юдахин, различаются понятия *ссадина у человека* и *ссадина у лошади*, что, конечно, вполне гармонирует с их производственными отношениями. По-русски в сущности нет даже установленного термина для понятия *сдирать, снимать кожу, шкуру*. В узбекском имеется целый ряд терминов, отмечающих различные оттенки этого понятия: *julmaq, sylmaq, topataq, sojmaq*, — что опять-таки отвечает разнице в производственных отношениях. Примеры можно умножать без конца, особенно если перейти к области надстроечных понятий.

Сравнивая детально разные языки, мы разрушаем ту иллюзию, к которой нас приучает знание лишь одного языка, — иллюзию, будто существуют неизблемые понятия, которые одинаковы для всех времен и для всех народов. В результате

получается освобождение мысли из плена слова, из плена языка и придание ей истинной диалектической научности.

Таково, по-моему, колоссальное образовательное значение двуязычия, и можно, мне кажется, лишь завидовать тем народам, которые силою вещей осуждены на двуязычие. Другим народам его приходится создавать искусственно, обучая своих школьников иностранным языкам.

В свете этих преимуществ двуязычия, и специально смешанного двуязычия, меркнут те некоторые соображения по поводу него, которые высказывались в последнее время.

Дело в том, что в деле овладения иностранными языками для практических целей выгоднее создавать себе чистое двуязычие, ибо в таком случае при прочих равных условиях второй язык оказывается, с одной стороны, более автоматизованным и, следовательно, более успешно выполняющим свою непосредственную задачу, а с другой стороны, менее подверженным деформирующему влиянию первого языка. Если я могу говорить на иностранном языке, не думая, не выбирая слов, то очевидно, что практически это выгодно. Однако искусственное создание такого двуязычия требует больших усилий и возможно лишь путем организации с детских лет искусственного иностранного окружения, т. е. путем приглашения в дом на много лет гувернантки по методу нашего старого барства. Совершенно очевидно, что этот метод, доступный лишь верхам буржуазного общества, не годится для масс и что надо искать других путей.

Однако так как чистое двуязычие теоретически (и, по-моему, по недоразумению) продолжает оставаться каким-то идеалом в методике преподавания иностранных языков и так как, с другой стороны, чистое двуязычие лишено образовательного значения, как это было выше выяснено, то время от времени раздаются голоса о бесполезности, а потому и вредности с точки зрения общеобразовательной двуязычия вообще.

Ошибка этих — правда, крайне немногочисленных — голосов очевидна, так как их суждение относится лишь к чистому двуязычию, и единственный вывод, который надо отсюда сделать, сводится к тому, чтобы, исходя из смешанного двуязычия, являющегося как раз особо ценным с образовательной точки зрения, найти способы, устраняющие его недостатки.

Основной его практический недостаток, как это было выяснено выше, состоит во взаимном искажении обоих языков, на практике, при изучении иностранного языка, в искажении именно этого иностранного языка под влиянием родного. Пользуясь тем, что самый способ сосуществования языков при смешанном двуязычии естественным образом ведет к сравнению их друг с другом, нужно только рационализировать это сравне-

ние, поставить его на научных основаниях, а не предоставлять его на волю стихий. На такой рационализации этого сравнения и поставлено современное фонетическое практическое обучение языкам, дающее прекрасные результаты в области произношения. Такое же систематическое сравнительное изучение двух грамматик, например узбекской и русской, а также сравнительное изучение словоупотребления в обоих языках предупредит нежелательные искажения, например, русского языка узбеками и узбекского русскими. К сожалению, методика эта еще плохо разработана, ибо прежде всего нет ни хороших грамматик, ни хороших словарей, ни русских, ни узбекских. Прибавлю при этом еще, во избежание недоразумений, что сравнение двух систем не значит еще, что они должны быть одинаково построенными; наоборот — грамматики разных национальных языков в пределах Союза [СССР] должны прежде всего сбросить с себя иго русской грамматики. Грамматика и словарь каждого языка должны быть составлены совершенно независимо от других языков и вовсе не должны представлять из себя сколка с латинской, немецкой, русской грамматики или словаря. Каждый язык должно рассматривать как нечто вполне самодовлеющее, и лишь затем в целях методических, для облегчения взаимного обучения можно проводить сравнение двух языковых систем.

Далее, недавно было высказано мнение о взаимном торможении языков при двуязычии. Теоретически отрицать этого нельзя; но едва ли это справедливо по отношению к родному, если он не забыт и продолжает постоянно употребляться. Некоторое торможение по отношению к иностранному со стороны родного неизбежно и не представляет ничего страшного: это есть естественная трудность при изучении иностранного языка. Если оба языка хорошо изучены и постоянно употребляются, то никакого взаимного торможения не наблюдается; некоторые явления в этом смысле появляются лишь в тех случаях, когда один из языков перестает постоянно употребляться.

Советский гражданин не может баррикадироваться от технических и культурных достижений Европы: он должен пристально следить за всем тем, что там делается, и заимствовать все, что может служить на пользу социалистическому строительству. С этим в связи и стоит лозунг нынешнего дня: иностранные языки в массы. Поэтому и перед гражданами наших союзных республик стоит важный вопрос о серьезном и основательном изучении второго языка. Он никак не будет в ущерб первому, национальному, как я старался показать на протяжении всей этой статьи. А чтобы первый не был в ущерб второму, об этом следует позаботиться: для этого нужно достаточное время и целесообразная программа.

ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
[Извлечения из книги]

Общие вопросы методики

1. Методика преподавания
иностраных языков как наука

Всякая методика преподавания хотя и является наукой, но отнюдь не теоретической; она не занимается вопросом, как и почему именно так протекает то или другое явление, как это имеет место, например, в истории, в астрономии, в сопротивлении материалов, и еще менее вопросом, каковы законы, по которым протекает данный ряд явлений, как это имеет место, например, в механике, в химии, в психологии. Ведущим в методике является вопрос, как надо поступать для достижения того или иного определенного результата. Поэтому всякую методику преподавания, конечно, следует считать практической — иначе технической — дисциплиной, и если не считать вообще технические дисциплины за науки, то методика, конечно, не наука. Однако такой ответ мало подвигает нас вперед, так как едва ли кто откажет в научности таким несомненно техническим дисциплинам, как кораблестроение, техническая химия, архитектура и т. п. Из этого вытекает, что признак научности надо искать где-то на других путях.

Чем дальше мы будем отходить от грубой, элементарной эмпирии, чем больше мы будем расчленять конкретные явления, входящие в круг данной технической дисциплины, и чем больше мы будем применять данные теоретических дисциплин, сюда относящихся, тем научнее будет наша техническая дисциплина. С этой точки зрения большинство существующих методик преподавания действительно имеет еще довольно мало научный характер, так как основаны по большей части на грубой эмпирии согласно формуле: поступали так — и получалось плохо; стали поступать по-другому — и стало получаться лучше. Весь процесс обучения той или другой науке, процесс изучения данного цикла сведений еще очень мало расчленяется, что не дает возможности изучать его составные элементы в изолированном виде; очень мало привлекаются теоретические положения тех наук, с которыми связана методика преподавания.

В новейшее время пытаются эту элементарную эмпирию несколько рационализировать, внося в нее принцип эксперимента. Пробуют, например, систематически провести два разных приема преподавания в двух одинаковых группах уча-

щихся, сохраняя в остальном тот же метод, и сравнивают получающиеся при этом результаты. Такие попытки, конечно, надо всячески приветствовать и поощрять. Но и такому виду эмпирии свойственны недостатки, присущие практической эмпирии вообще. Уже неоднократно указывалось, что создать одинаковые условия для проверки двух тонко отличающихся друг от друга приемов (а в проверке того, что изучение, например, складов в русском языке медленнее ведет к цели, чем современные звуковые методы обучения грамоте, никто ведь не нуждается) на практике чрезвычайно сложно.

Грубый эмпиризм выдается часто за серьезное научное достижение. Американские методисты вслед за немецкой экспериментальной педагогикой ввели в моду «экспериментальную методику», между прочим, и в области преподавания языков. Не отрицая, конечно, целого ряда достижений американской школы, особенно, например, по психологии чтения (труды Бусвела (Buswell) и др.), можно все же утверждать, что так называемое «экспериментальное» доказательство преимущества одного приема преподавания перед другим является самой элементарной формой эмпирии. Оно может что-то подсказать, может наталкивать на какую-либо мысль, но, конечно, ничего не может доказывать или обосновывать.

Кроме того, проверка результатов, которые в силу только что сказанного не могут быть разительными, тоже зачастую оказывается сомнительной, так как, например, применявшийся американскими педагогами метод тестов скрывает индивидуальности учеников и всякие случайности в состоянии их восприимчивости (только метод больших чисел мог бы устранить эти недостатки, но он по существу неприменим в данном случае). Вся методика «экспериментальной методики» в неосторожных и особенно малоопытных руках легко может привести к совершенно ложным умозаключениям. Но самое главное зло так называемой «экспериментальной методики» лежит в нерасчленении явлений, с которыми она имеет дело. Ведь всякий отдельный методический прием складывается из целого ряда моментов: одни — могут быть благоприятными, другие — нет, и окончательный результат, даже если бы он был убедителен сам по себе, не дает возможности разобраться, к чему, собственно, относится эта его убедительность. Слово «экспериментальная» не делает еще методику научной.

Итак лишь у исключительно опытных и критически настроенных специалистов своего дела эксперименты могут иметь значение, но лишь в связи с другими данными. Думать же, что «экспериментальная методика» является своего рода талисманом, дающим ключ к истине рядовому педагогу, или хотя бы и специалисту-психологу, но не преподающему данного пред-

мета, является опасным заблуждением. За примером недалеко ходить: американские методисты, получив интересные данные по психологии чтения на родном языке, без дальних разговоров применили их и к чтению на иностранном языке. Поскольку они не лингвисты, это простительно, но наукой этого считать нельзя. А между тем отчасти отсюда в наши методики и даже в официальные программы проникло совершенно нелепое по существу предложение обучать выразительному чтению на иностранном языке до того, как учащиеся отдали себе полный отчет в грамматической структуре каждой данной фразы, и до полного понимания всех нюансов ее смысла. Всякому грамотному лингвисту ясно прежде всего, что выразительность произношения (т. е. интонация и ритм фразы) является функцией смысла данной фразы, далее, что выразительность эта по форме отличается от языка к языку и что поэтому ей-то и приходится больше всего учиться, так что выразительность произношения на иностранном языке является почти что недостижимым идеалом для изучающего этот язык в школе.

Резюмируя, следует признать, что методики преподавания, в смысле расчленения изучаемых ими явлений, стоят на довольно низкой ступени научности по сравнению с другими техническими дисциплинами.

Мне кажется, что несколько лучше обстоит дело с другим признаком научности: с привлечением теоретических данных других наук, приложением к которым как бы является всякая методика преподавания. К таким наукам относится прежде всего дидактика (точнее общая дидактика), сама являющаяся, впрочем, тоже практической дисциплиной, и далее — психология. Несомненно, что положения той и другой науки широко привлекаются представителями методики преподавания разных предметов. Поскольку, однако, сама дидактика не является глубоко разработанной наукой и поскольку не так блестяще обстоит дело даже и с психологией, постольку и методика преподавания не всегда может в своих изысканиях опереться на положительные данные этих наук.

В результате следует подчеркнуть, что методика преподавания не потому стоит на сравнительно низкой ступени научности, что она является практической дисциплиной, а потому, что в ней сравнительно мало того, что делает практические дисциплины научными. Элементарный эмпиризм, который так тяготеет над методикой преподавания, сам по себе еще не является антинаучным, так как все науки возникали на основе грубой эмпирии (ср., например, алхимию), а зачастую и в дальнейшем двигаются ею вперед (ср., например, пробы разных лекарств); однако несомненно, что чем более развита данная наука, тем больше формула «попробуем» уступает место созна-

тельно построенному эксперименту над искусственно изолированным явлением.

Если вдуматься хорошенько в отношения между методикой преподавания того или иного предмета и дидактикой, то приходится признать, что в сущности и не существует никакой методики преподавания как особой дисциплины: это та же дидактика, но примененная специально к тому или другому материалу. Действительно, нельзя представить себе никакой особой задачи для методики, которая бы не уходила целиком в дидактику. Можно говорить лишь об общей дидактике и о частной дидактике, и всякая методика преподавания является в сущности лишь отделом частной дидактики. Недаром один из крупнейших представителей современной научной методики преподавания живых языков Э. Отто (Ernst Otto) назвал свою книгу «*Methodik und Didaktik des neusprachlichen Unterrichts*». Дело, конечно, не в названии, и мы в дальнейшем будем говорить все-таки о методике преподавания иностранных языков, но осознание этого факта упрочивает положение методики преподавания как научной дисциплины. Яснее тогда обнаруживается и ее связь с психологией как с ближайшей теоретической дисциплиной.

По своим связям с другими научными дисциплинами методика преподавания иностранных языков занимает совершенно особое место среди остальных методик. Связь, например, методики преподавания физики и самой науки физики совершенно другая, чем связь методики преподавания иностранных языков с этими языками и с языком вообще. В самом деле, в большинстве методик речь идет об усвоении научного знания тех или иных явлений, тех или иных законов, управляющих этими явлениями; в методике преподавания иностранных языков речь идет вовсе не о научном знании этих языков и еще менее о самой науке о языке, а о приобщении к некоторому социальному явлению совершенно независимо от знания законов этого явления. В результате изучения физики человек становится физиком. В результате же изучения, например, английского языка человек не только не становится лингвистом вообще, но не становится даже и англистом. Чтобы стать англистом, конечно, надо в какой-то мере практически овладеть языком, но этого мало: надо во всяком случае понять механизм этого владения, что невозможно без некоторого исторического подхода и без некоторого знакомства с теоретической лингвистикой.

Законы, управляющие языковыми явлениями, существуют не менее объективно, чем законы, управляющие физическими явлениями. Знание этих законов и является предметом изучения в физике, в химии и в большинстве других школьных предметов; но вовсе не знание этих законов, а практическое

овладение языком, т. е. некоей деятельностью, являющейся функцией того или другого человеческого коллектива, составляет цель преподавания лингвистических предметов в школе. Отсюда вытекает большое различие между методистом-физиком, химиком и т. д., с одной стороны, и методистом-языковедом — с другой; первый, кроме дидактики, должен знать только свой предмет; второй должен, конечно, знать и то, и другое, но кроме того он, если действительно хочет быть методистом, должен хорошо понимать законы, управляющие той общественной функцией, к которой он приобщает своих учеников. Иначе говоря, он не только должен хорошо знать тот язык, которому обучает, но кроме того быть лингвистом-теоретиком в полном смысле этого слова. К сожалению, у нас многие до сих пор не могут до конца понять этого, и не только в широких общественных кругах, но даже и в более узком кругу специалистов: у нас часто считается, что, например, природный француз или немец является уже готовым преподавателем французского или немецкого языка, если только он имеет хотя бы некоторое общее образование. Это мнение — пережиток той эпохи, когда языкам обучались у гувернанток.¹ На самом деле образованного лингвиста (всячески подчеркиваю это последнее слово) даже с относительно несовершенным владением данным языком следует предпочитать в качестве школьного преподавателя человеку, только владеющему этим языком как родным (само собой разумеется, что из сказанного вовсе не следует, что преподаватели иностранных языков в школе могут плохо знать преподаваемый ими язык: все это надо понимать лишь относительно). В самом деле, обучая какой-то деятельности, надо не только самому уметь ее проявлять, но и понимать ее механизм. При обучении, например, игре на музыкальных инструментах мало, чтобы учитель сам умел хорошо играть на данном инструменте: он должен также знать, как надо поступать для получения того или другого эффекта и почему надо поступать именно так, а не иначе; виртуозы очень часто бывают плохими преподавателями, а хорошие преподаватели очень часто не бывают крупными виртуозами. К сожалению, в области психосоциальной деятельности человечество по большей части не умеет еще этого делать, и только в области языка — и то не в области его выразительной стороны — мы можем сказать немного больше, чем в других областях. Это возможно лишь благодаря тому, что лингвистика является одной из наиболее развитых гуманитарных наук.

Таким образом, мы приходим к очень важному выводу, а именно, что методика преподавания иностранных языков

¹ Об этом подробнее см. в следующей статье.

(или, что то же, — частная дидактика в применении к иностранным языкам) опирается, в отличие от прочих методик, не только на данные психологии, но и на данные общего или теоретического языкознания. Это сильно повышает, с одной стороны, научный уровень этой методики, а с другой стороны, приводит к тому, что эта последняя в какой-то мере изъёмается из дидактики и становится прикладной отраслью, техническим приложением общего языкознания. В науке о языке мы рассматриваем вопрос о том, как происходят языковые явления и каковы действующие при этом факторы. В методике, опираясь на это знание, мы рассматриваем вопросы о том, что надо сделать, чтобы вызвать к жизни потребные нам языковые явления.

Объективным показателем того, что методика [преподавания] иностранного языка является техническим приложением общего языкознания, служит то обстоятельство, что среди обширной методической литературы, исходящей в большинстве случаев от педагогов, лучшие и наиболее яркие книги написаны лингвистами. Любопытно отметить при этом, что книги эти написаны не случайными людьми, а корифеями лингвистической мысли Западной Европы. Этот интерес к методике преподавания иностранных языков проявился, конечно, в первую очередь среди нефилологов и находится в связи с постепенным перемещением центра тяжести лингвистических штудий с мертвых языков на живые, с чем, в свою очередь, связано также повышение интереса к произносительной стороне языка, т. е. к фонетике. Неудивительно поэтому среди авторов-методистов из языковедов найти такие имена, как Суит (H. S w e e t. *Practical Study of Languages*. London, 1899), один из крупнейших фонетистов конца XIX в. и безусловно самый крупный мыслитель-языковед в Англии, и Есперсен (O. J e s p e r s e n. *How to teach a foreign Language*. London, 1904), самый оригинальный фонетист и теоретик-языковед конца XIX—начала XX в. Во Франции мы встречаем имена Брюно (F. B r u n o t. *L'enseignement de la langue française*. Paris, 1926) и Бреая (M. B r é a l. *De l'enseignement des langues vivantes*. Paris, 1914), самых видных французских лингвистов конца XIX—начала XX в. Интересно отметить, что среди многих широко известных лингвистов Германии не было людей, интересовавшихся методикой. Это едва ли случайно: некоторая косность и научное высокомерие свойственны официальной немецкой науке. Только видный англист и известный фонетик Фиэттор (Viëtor), многолетний редактор журнала «*Neuere Sprachen*», оставил по себе видный след, между прочим, известной брошюрой «*Das Sprachunterricht muss umkehren*».² В самое новое

² Ср. также его «*Die Methodik des neusprachlichen Unterrichts*», Лейпциг, 1902.

время можно назвать уже упоминавшегося Отто, который специализировался по методике, занимая кафедру общего языковедения.

У нас в старой России лингвисты вовсе не занимались методикой преподавания, что вполне понятно, так как нефилологии у нас, можно сказать, не было, а те немногие, хотя и крупные нефилологи, вроде академика Веселовского, которые ее насаждали, были в сущности литературоведами. Внимание же немногочисленных настоящих лингвистов было устремлено либо на сравнительную грамматику, либо на славянские языки.

Автор настоящей статьи, вероятно, первый из русских лингвистов, которого жизнь натолкнула на занятия, между прочим, и методикой преподавания языков. Впрочем, он продолжает в этом отношении традиции своего учителя, профессора Бодуэна де Куртенэ, который хотя и не оставил после себя ничего специально относящегося к методике преподавания иностранных языков, однако был абсолютно чужд научного высокомерия и всячески поощрял у своих учеников занятия тем или другим видом приложения своей науки к практике. Не занимаясь методикой, Бодуэн всю жизнь, однако, насаждал интерес к живому языку и к практической фонетике, что и является одной из характерных черт его школы.

Надо сказать, что практический интерес к методике у лингвиста-теоретика бывает вполне вознагражден, так как зачастую наталкивает его на такие мысли, которые иначе могли бы и не зародиться: как всегда и везде, практика стимулирует теорию. Однако в плане данной книги надо всячески подчеркнуть справедливость и обратного: развитая лингвистическая теория не только обосновывает дерзания отдельных практиков, но и оплодотворяет их мысль, открывая им новые горизонты. Блестящие примеры подобного содружества можно привести из истории так называемого движения «реформы» (Reformbewegung) 80-х годов прошлого столетия — движения в области методики преподавания иностранных языков, с которым связаны имена Фиэтора, Суита и многих других второстепенных деятелей.

В качестве лингвиста-теоретика я трактую методику преподавания иностранных языков как прикладную отрасль общего языковедения и предполагаю вывести все построение обучения иностранному языку из анализа понятия «язык» в его разных аспектах (специально этому вопросу посвящена одна из последующих статей).

Соответственный курс неоднократно читался мною в бывшей Ленинградской фонетической школе, а также на филологическом факультете Ленинградского университета.

7. Грамматика и ее взаимоотношение с лексикой с методической точки зрения

Несмотря на видимую четкость противоположения грамматики и лексики, их области так тесно переплетаются друг с другом, что термины «грамматическое» и «лексическое» могут в известных случаях даже походить один на другой. Для построения правильной методики преподавания языков необходимо осознать эти разные противоположения и сделать из них соответственные методические выводы.

В основе лексики как некоей системы лежит понятие отдельного слова, которое играет, в конце концов, не менее важную роль и в грамматике, а потому требует некоторых разъяснений, ибо наряду с предложением является одним из самых спорных понятий в языковедении. Само собой разумеется, что понятие отдельного слова связано прежде всего с понятием отдельного предмета, которое появляется в результате анализа действительности под влиянием нашего активного к ней отношения.

Оставляя в стороне вопрос о том, как качества, состояния, действия и т. п. могут оказаться в роли отдельных предметов и стать содержанием отдельных слов, надо прежде всего подчеркнуть, что отдельные слова отнюдь не даны нам в речи. Кратчайшими отрезками этой последней являются группы слов (могущие, конечно, состоять и из одного слова), выражающие в процессе речи-мысли единые отдельные предметы, в данной ситуации далее неделимые.

В самом деле, *читать книгу, читать интересную книгу, весело посвистывать, большая собака, большая черная собака* — все это, конечно, единые предметы, единые действия и т. п., которые только обозначены несколькими словами. Подобные группы слов я называю с и н т а г м а м и. Вот дальнейшие примеры делимости нашей речи на синтагмы: *Виноград | еще зелен. Какой виноград? Вот этот. Соседняя собака | забежала к нам на двор. Маленькая собачка | весело прыгала вокруг нас. Чья это была собачка? Соседская. Вокруг нас | все цвело, | благоухало | и радовало взор. Приятно | сидеть в уютной комнате | и слушать хорошую музыку. Приятно вас слышать. Ежеминутно раздавались короткие отрывистые свистки. Ежеминутно | короткие отрывистые свистки | раздавались | то справа, | то слева. Вы пьете чай с сахаром | или без? Без, | пожалуйста.* Кратчайшие отрезки синтагм, которые в том или другом контексте, в той или другой ситуации могут без всякого изменения своего значения играть роль самостоятельных синтагм, а то и целых, хотя бы и неполных предложений, мы называем отдельными словами.

Таким образом, кратчайший отрезок речи, который мы можем выделять, несколько ее не разрушая, и который в данном контексте и в данной ситуации соответствует единому понятию, есть синтагма; кратчайший элемент языка, который сам по себе имеет то или другое значение и соответствует отдельному понятию, выработанному в данном коллективе, есть слово. Иначе говоря, синтагме процесса речи-мысли отвечает слово в языке как системе лексики и грамматики.

Обратимся теперь к определению грамматики и лексики в их взаимоотношениях.

Наша лексика представляет собою систему слов, из которых по правилам грамматики и самой лексики и строится наша речь с ее синтагмами. При этом вполне мыслимы языки, где все слова выражали бы самостоятельные предметы мысли, как говорят в языковедении, где бы все слова были «знаменательными», отношения же между ними выражались бы особыми, специально-грамматическими средствами (которые употреблялись бы и для образования новых слов). Из известных языков более всего приближается к такому типу язык латинский. С другой стороны, возможны и такие языки, где отношения между самостоятельными предметами мысли выражаются исключительно словами же (и где посредством особых слов образуются и новые слова). В этих языках известная часть слов, как говорят «грамматикализована» и называется «служебными словами». Наиболее приближается к такому типу языков язык китайский, особенно на его древнейших стадиях, отразившихся в иероглифике. Из ближе нам известных языков более всего подходит к этому типу язык английский. Язык русский ближе стоит с этой точки зрения к латинскому, французский — к английскому; немецкий занимает промежуточное положение. Однако в лексике всех этих языков имеются и знаменательные и служебные, т. е. грамматические, слова.

Грамматика представляет собой репертуар средств, посредством которых, во-первых, по определенным правилам выражаются отношения между самостоятельными предметами мысли и посредством которых, во-вторых, по не менее определенным правилам образуются новые слова. Подобными специально-грамматическими средствами являются, во-первых, фонетические видоизменения слова, т. е. звуковые чередования; во-вторых, их удлинение посредством префиксов, суффиксов, окончаний и т. п., т. е. формы слов; в-третьих, порядок слов; в-четвертых, ритмика и интонация в самом широком значении этих слов. Однако в той же роли употребляются, как мы видели, и отдельные слова.³

³ Языки, в которых отношения между предметами мысли выражаются по преимуществу звуковыми чередованиями и специальными морфемами

Посмотрим теперь на противоположение лексики и грамматики с другой стороны. Противопоставляя грамматические элементы языка, выражающие отношения между самостоятельными предметами мысли или образующие новые слова и их оттенки, тем лексическим элементам, которые выражают самостоятельные предметы мысли, мы получаем понятия, не совпадающие с понятием лексических элементов языка (отдельные слова) и грамматических (звуковое чередование, морфологические части слов, ритмика с интонацией и порядок слов) элементов языка. Назовем их строевыми и знаменательными элементами языка.

Поскольку в грамматиках всегда есть главы, посвященные предлогам и союзам, постольку может показаться, что в традиционной грамматике это противоположение вполне учтено. Однако приходится все же констатировать, что понятие строевых элементов трактуется обычно слишком ограничено. Прежде всего порядку слов не отводится надлежащего места; его помещают обычно в синтаксис (что с конструктивной точки зрения является, конечно, оправданным), где он не ставится ясным образом в ряд с морфологическими категориями, хотя он выражает те же идеи, что и эти последние, но в более общей форме. Так, в немецких грамматиках, например, обыкновенно точно не сообщается о том, что нормальное место винительного падежа прямого дополнения будет рядом со знаменательной частью глагола: *Ich kaufe dieses Buch meinem Sohne* и *Ich habe meinem Sohne dieses Buch gekauft*.

и в которых так же образуются и новые слова, называются, как известно, «синтетическими», поскольку в них и знаменательные, и служебные элементы соединены в едином слове, являющемся, таким образом, самодовлеющей основой речи. Языки, в которых для тех же целей служат отдельные слова, их порядок, а также ритмика и интонация, называются «аналитическими», поскольку знаменательные и служебные элементы разъединены.

Различение это с методической стороны не имеет большой цены, ибо с точки зрения изучающего язык довольно безразлично, будет ли выражаться дополнение, обозначающее орудие действия, окончанием *-om* (*per-om*) или предлогом: *avec* — по-французски (*avec une plume*), *mit* — по-немецки (*mit der Feder*), *with* — по-английски (*with a pen*).

С методической стороны следует всячески подчеркивать равноценность этих разных способов выражения одной и той же цели. Точно так же следует, например, выдвигать равнозначность русского и немецкого родительных падежей, французского оборота с *de*, немецкого с *von*, английского с *of*, немецкого и английского первого члена сложных слов и т. п., не забывая, конечно, и о различиях в значении и употреблении этих элементов там, где они имеются.

На что, однако, надо обратить серьезное внимание — это на громадное значение порядка слов в аналитических языках. Сравнение латинского и английского языков в этом смысле особенно поучительно: в первом порядок слов с грамматической точки зрения совершенно безразличен; во втором порядок слов предопределен их грамматической функцией — иначе говоря, эта последняя выражается именно порядком слов.

Между тем, это важно не только для построения правильных фраз, но и для понимания сложных и запутанных предложений.

Но самое главное — это то, что далеко не исчерпываются случаи употребления отдельных слов в роли строевых элементов. В самом деле, в роли предлогов, например, очень часто выступают слова и группы слов, которые обыкновенно не фигурируют ни в грамматиках, ни в словарях в качестве предлогов. Таковы, например, в русском: *посредством чего-либо, в отличие от чего-либо, по поводу чего-либо*.

То же наблюдается и в других современных европейских языках. При этом совершенно очевидно, что подобные предлоги, так же как и все предлоги вообще, должны подробно изучаться во всех их типовых функциях не в словарном порядке, а как элементы грамматики (однако см. ниже, стр. 337).

Но не только предлоги, союзы и связки являются строевыми элементами: роль строевых элементов может в сущности играть любая часть речи. Особенно склонен к этому глагол, и недаром в немецком языке личные его формы часто теряют во фразе словесное ударение. В самом деле, не говоря уже о так называемых знаменательных связках,⁴ такие глаголы, как *я могу, я привык, я умею* и т. п., и такие выражения, как *я должен, я готов, я рад* и т. д., в сочетании с зависящим от них инфинитивом могут вполне рассматриваться как сложные формы соответственных глаголов (употребляемых в данном случае в инфинитиве). То же имеет место и в других европейских языках. В немецкой грамматике некоторые глаголы этого типа оформлены в виде особой группы так называемых модальных глаголов.⁵ По-французски выражения *Je vais*+инфинитив и *Je viens de*+инфинитив нашли себе уже место в грамматике под названием *Futur immédiat* и *Passé immédiat*.

Но и более того: в сущности все переходные (в широком смысле слова) глаголы могут до известной степени трактоваться как строевые слова; во фразе *мальчик читает книгу* глагол *читает* выражает отношение между *мальчиком* и *книгой*. И только непереходные глаголы являются подлинно знаменательными словами.

Русское прилагательное *полный*, управляя родительным падежом, несомненно играет роль служебного слова: *ведро полное мусора* означает приблизительно то же, что *ведро с мусором*; однако во фразе *она принесла полные ведра* мы имеем дело со знаменательным словом.

По-французски в словосочетаниях *petits yeux, petite mère*

⁴ *Он кажется здоровым, он мыслится исполнителем, он лежит больной* и т. п. (творительный падеж не меняет дела).

⁵ Самое название показывает уже, что глаголы эти выражают в сущности формы наклонения.

слово *petit* вовсе не обозначает 'маленький', а является своего рода ласкательным префиксом и первое надо перевести 'глазки', а второе — 'мамочка'.

К сожалению, до сих пор строевые элементы лексики полностью не выявлены еще ни для одного языка, и это является одной из очередных задач работы над грамматиками европейских языков. Это необходимо как в плане теоретическом, так и в плане чисто методическом, так как можно показать, что при изучении иностранных языков знание строевых элементов важнее знания знаменательных. И это понятно даже а priori: число строевых элементов в каждом языке ограничено, а число знаменательных, можно сказать, бесконечно. Первые нужны всегда и везде, а встречаемость вторых зависит от интересов изучающего язык, а еще больше от случая (об этом ниже будет сказано подробнее). Кроме того, первые надо выучить и знать, а в области вторых о многом можно догадываться при пассивном владении языком и многое можно обходить при активном.

Для подтверждения сказанного попробуем взять текст и уничтожить в нем знаменательные его элементы, оставив только строевые. Он, конечно, перестает быть непосредственно понятным, однако строй его фраз при внимательном рассмотрении будет совершенно прозрачен и стоит подсказать несколько его знаменательных элементов, как общий смысл текста станет ясен.

___ - ь ___ - ался, ___ - е ___ - ело. Над ___ - истой ___ - ой ___ - а ___ - и
была ___ - ава и ___ - на. Где-то ___ - его ___ - ел ___ -. На ___ - ах
за- ___ - ались ___ - ки ___ - ов: ___ - овицки ___ - или себе ___ - .

Примечание. Основы слов текста заменены чертами. Эти последние отделены дефисами от префиксов, суффиксов и окончаний; дефис, стоящий в конце слова, показывает, что в данном случае имеется нулевое окончание.

Попробуем теперь из другого текста изъять все его строевые элементы и сохранить только знаменательные, дав их в начальных формах.

Молодой, баба, работать, легкий, веселый, ловкий, крупный, слезаться, сено, братья, сразу, вилы, она, сначала, расправлять, он, всовывать, вилы, упругий, быстрый, движение, налегать, он, весь, тяжесть, свой, тело, тотчас, перегибать, перетянуть, красный, кушак, спина, выпрямляться, выставять, полный, грудь, белый, занавеска, ловкий, ухватка, перехватывать, руки, вилы, скидывать, навалина, высокий, воз.

В этой абракадабре, конечно, кое-где можно уловить отдельные элементы мысли, однако общий смысл текста едва ли возможно схватить.⁶

⁶ Вот этот текст: «Молодая баба работала легко, весело и ловко. Крупное слезавшееся сено не бралось сразу на вилы. . . Она сначала расправ-

Пародируя знаменитое изречение Суворова: «пуля — дура, штык — молодец», можно было бы сказать, что «лексика — дура, грамматика — молодец». Действительно, если принять еще во внимание, что многие слова, конечно, не будут знакомы иностранцу, то станет очевидным, что при желании овладеть тем или другим иностранным языком изучение в первую голову его слов никак не может привести к цели. Я не говорю уже о том, что точность понимания при этом совершенно недостижима. Все это известно каждому преподавателю, которому, конечно, не раз доводилось слышать от взрослых прилежных, но плохо обучаемых учеников такую фразу: кажется, и все слова знаю, а смысла фразы не понимаю.

Посмотрим на противоположение лексики и грамматики еще и с третьей точки зрения.

Принимая во внимание единичность лексических элементов, т. е. слов, и применимость правил грамматики о словообразовании и словоизменении ко многим словам, можно противопоставить лексическое грамматическому как е д и н и ч н о е — т и п о в о м у. В этом смысле я предлагаю говорить о явлениях словарных и типовых. Так, в русском языке спряжение глагола *дать* в форме настоящего—будущего времени оказывается явлением единичным, не находящим себе аналогов в русском глаголе, а потому его можно бы называть словарным фактом.

Спряжение же глагола *варить* в том же времени оказывается типовым, поскольку по этому типу спрягается бесконечное число глаголов русского языка. Поэтому этот факт можно бы так и называть типовым. Это различие тоже имеет и теоретическое, и методическое значение. В самом деле, спряжение глаголов — *пилить, морить, курить, варить, валить, солить* и т. д. — не надо изучать каждое в отдельности: достаточно выучить спряжение одного типового глагола — и будешь спрягать все глаголы, сюда относящиеся. Спряжение же глагола *дать* надо специально выучить, как специфическое свойство этого слова. Первое — дело грамматики, второе — дело словаря и его статьи о слове *дать*.

Все наши грамматики настолько переполнены словарными материалами, что многим кажется, будто исключения и являются специально предметом грамматики. Между тем, сущ-

ляла его, совывала вилы, потом упругим и быстрым движением налегала на них всей тяжестью своего тела и тотчас же, перегибая перетянутую красным кушаком спину, выпрямлялась и, выставляя полную грудь из-под белой занавески, с ловкой ухваткой перехватывала руками вилы и вскидывала навилину высоко на воз» (Л. Толстой. Анна Каренина).

ность грамматики состоит только в общих правилах, все же исключения относятся к лексике.⁷

Дальнейшие примеры: столь любимые в немецких грамматиках сильные глаголы, вернее их коренные формы, должны изучаться в словарном порядке, — в грамматике о них нужно упомянуть в том смысле, что глаголы, имеющие такие чередования гласных корня, спрягаются особым образом в имперфекте и имеют специальную форму второго причастия. Правила французского языка об образовании множественного числа от существительных на *al* относятся, конечно, к грамматике, но то, что *bal, chacal, festival, idéal, régal* и некоторые другие во множественном числе будут *bals, chacals, festivals, idéals, régals* и т. д., — это целиком относится к словарю.

Предмет, на который непосредственно переходит действие глагола, выражается винительным падежом — это правило русской грамматики; но то, что глаголы *добиваться, бояться, избегать* и некоторые другие сочиняются с родительным падежом, что глагол *верить* сочиняется с дательным падежом, а глагол *владеть* — с творительным падежом, — все это дело русского словаря.

В этом смысле все наши грамматики требуют серьезной ревизии и освобождения их от не относящегося к ним материала.⁸

Но особенно требуют ревизии наши словари, где, конечно, должны быть указаны все слова, в каком-нибудь отношении не подчиняющиеся правилам грамматики, и где особенно важно указывать управление слов, не следующее правилам синтаксиса данного языка.

В заключение, для того чтобы ярче подчеркнуть смысл всех этих терминов — знаменательные, строевые, словарные и типовые, — разберем ряд примеров с разными формами слова *быть*, которое во всех случаях остается, конечно, лексическим элементом.

1. *Есть* (=имеются) *такие люди, что...*

Здесь слово *есть* является знаменательным словарным элементом, поскольку оно, с одной стороны, имеет самостоятельное значение, с другой, не образуется по какому-либо правилу от формы *быть*.

2. *Были* (=имелись) *такие люди, которые...*

⁷ Конечно, кроме тех случаев, когда сами исключения формулируются в виде некоего правила, ограничивающего действие другого, более общего.

⁸ Может быть, иногда с чисто методической точки зрения и стоит выучить исключения рядом с правилом, особенно если их немного. Но учить ряды важных и неважных исключений как грамматическое правило — просто бессмысленно.

Здесь слово *были* оказывается знаменательным типовым элементом, поскольку оно является правильной формой прошедшего времени от глагола *быть*.

3. *Это есть наш последний и решительный бой.*

Здесь слово *есть* оказывается уже строевым словарным элементом, поскольку оно является здесь связкой.

4. *Это были крепкие колхозники.*

Здесь слово *были* является строевым типовым грамматическим элементом.

Однако во фразе *мы было собрались гулять, как вдруг хлынул дождь* «словечко» *было*, которое несомненно находится в этимологической связи с глаголом *быть*, отнюдь не является отдельным словом, а своего рода подвижной морфемой, образующей особую форму глаголов. Поэтому *было* в этой и аналогичных фразах следует считать не лексическим элементом, а грамматическим и, конечно, строевым. То же справедливо по отношению к «словечкам» *бывало, бы, же* и т. п. Подобные же элементы мы имеем во французских *je, tu, il* и др., являющихся своего рода личными префиксами, а также *es* в немецком языке в безличных формах и т. п.

Еще одно очень важное с методической точки зрения различие надо сделать в грамматике.

В лексике мы с давних пор различаем словари, исходящие из звуковой формы слов, и словари, исходящие из значения слов, — так называемые «идеологические» словари (на практике вместо последних, к сожалению, употребляются обыкновенно национально-иностранные словари). Первые обслуживают пассивное изучение языка, а вторые — активное. В соответствии с этим можно и должно отличать и грамматику пассивную и активную. Пассивная грамматика изучает функции, значения строевых элементов данного языка, исходя из их формы, т. е. из внешней их стороны. Активная грамматика учит употреблению этих форм.

В самом деле, взаимоотношение форм, т. е. внешней стороны, строевых элементов данного языка и их значений может быть изложено двумя способами, в зависимости от того, какую практическую пользу мы желаем получить от грамматики. Для пассивного знания языка, т. е. для его понимания, факты следует излагать так, как это показано на нижеследующем ряде примеров.

1) Окончания *-ам, -ами, -ах* имеют соответственно значения дательного, творительного и предложного падежей множественного числа имен существительных: *стол-ам, стол-ами, (о) стол-ах, кольцо-ам, кольцо-ами, (о) кольцо-ах; звер-ям* (т. е. [zv'er'-am]), *звер-ями* (т. е. [zv'er'-am'i]), *(о) звер-ях* (т. е. [zv'er'-ax]) и т. д.

2) Окончание *-а* имеет ряд значений:

а) Родительного падежа единственного числа имен существительных мужского и среднего рода (дополнительный признак — относящееся к данному слову прилагательное оканчивается на *-ого, -его*): *добр-ого (мальчик-а), дальн-его (окн-а), больш-ого (счасть-я, т. е. [šč'as't'j-a])*.

б) Именительного падежа множественного числа имен существительных среднего и мужского рода (дополнительный признак — относящееся к данному слову прилагательное оканчивается или на *-ые / -ие* или на *-и*): *дальн-ие (окн-а), красив-ые (город-а), чь-и (дом-а)* и т. п.

в) Именительного падежа единственного числа женского рода (дополнительный признак — относящееся к данному слову прилагательное оканчивается или на *-ая / -яя* или на *-я*): *бел-ая (стен-а), дальн-яя (дорог-а), чь-я (книга)*.

г) Предикативной (краткой) формы женского рода имен прилагательных: *(бумага) хорош-а, она вполне искренн-я* (т. е. [is-kr'en'n'-a]).

д) Именительного падежа единственного числа женского рода имен прилагательных, притяжательных и местоименных: *отцов-а, мамин-а, лись-я* (т. е. [l'is'j-a]), *мо-я* (т. е. [maj-a]), *наш-а, сам-а, чь-я* (т. е. [č'j-a]).

е) Деепричастия настоящего времени: *нес-я* (т. е. [n'es'-a]), *нос-я* (т. е. [nas'a]), *жужж-а*.

3) Окончание *-ов* имеет значение родительного падежа множественного числа имен существительных мужского рода (*стол-ов, купц-ов* и т. д.), окончание *-ей*⁹ — значение родительного падежа множественного числа существительных мужского и женского рода (*гост-ей, тен-ей*), нулевое окончание — значение родительного падежа множественного числа существительных женского и среднего рода (*книг-, земель-, колей-; колец-, имений-, времен-*).

4) Суффиксы *-ов / -ев* — характеризуют отыменные прилагательные, прежде всего притяжательные, а потом и относительные и далее качественные, показывающие принадлежность или отношение к лицам или предметам мужского и среднего рода: *отц-ов, тест-ев, дед-ов, купц-ов-а (дочка), стол-ов-ый, дом-ов-ый, дым-ов-ой, курс-ов-ой, колыц-ев-ой, бель-ев-ой, куск-ов-ой* и т. д.

5) Суффикс *-ова / -ева (-у / -ю)* — характеризует отыменные глаголы: *бед-ова-ть (бед-у-ю), колес-ова-ть (коле-су-ю), зим-ова-ть (зим-у-ю), ноч-ева-ть (ноч-у-ю), гор-ева-ть (гор-ю-ю)* и т. д.

⁹ В *соловей* и т. п. *-ей* — не окончание, а суффикс с беглым *е*, а в *ней, лей* и т. д. относится к корню.

6) Суффикс *-тель* — характеризует имя лица действующего: *воспита-тель, писа-тель*.

7) Постановка формы именительного падежа существительного после относящейся к ней личной формы глагола характеризует данное существительное как психологическое сказуемое: *поощрение любит всякий человек; это приобретение сделал я и т. п.*

8) Повышающаяся интонация обозначает вопрос (примеры общеизвестны).

9) Слово *путем* с родительным падежом следующего за ним существительного характеризует это последнее как действие, посредством которого что-либо осуществляется: *путем переписки, анализа, простого разговора и т. п.*

Таков способ изложения грамматического материала, который лежит в основе пассивной грамматики. Само собой разумеется, что материал этот должен быть систематизирован и расположен так, чтобы было удобно разыскивать нужное.¹⁰ Кроме всего указанного, пассивная грамматика должна содержать в себе еще семантический анализ всех упоминаемых в материале грамматических категорий, как например родительный падеж, множественное число, деепричастие, настоящее время и т. д., ибо было бы непростительной ошибкой думать, что все эти категории одинаковы во всех языках. Несостоятельность такого предположения явствует хотя бы из того, что в русском языке в изъявительном наклонении различается два прошедших времени (прошедшее совершенного вида и прошедшее несовершенного вида: *распилил и распиливал*), в немецком — три (Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt); во французском — пять (Passé composé, Passé simple, Imparfait, Plus-que-parfait, Passé antérieur); в английском — пять (Present Perfect, Past Indefinite, Past Perfect, Past Continuous, Past Perfect Continuous); в латинском — три (Imperfectum, Perfectum, Plusquamperfectum). При этом надо всячески подчеркнуть, что, вопреки обывательскому мнению, ни одна из всех поименованных форм не имеет себе точного соответствия ни в каком другом языке, — кроме, может быть, соответствия русского прошедшего совершенного латинскому перфекту и русского прошедшего несовершенного латинскому имперфекту.

В активной грамматике необходимо исходить из потребностей, ищущих себе выражения мыслей, приказаний, желаний

¹⁰ Надо сказать, что формы изложения пассивной грамматики еще не найдены, ибо до сих пор нельзя указать ни одной грамматики, выдержанной в этом стиле. Грамматика немецкого языка — Н. Г. Гадд и Л. Я. Браве, — вышедшая под моей редакцией, представляет собою сознательный компромисс между двумя типами грамматик, на который пришлось пойти по техническим соображениям.

и т. п. Прежде всего надо выяснить общий характер предложения, в которое должно отлиться высказываемое, — в частности, будет ли это сообщение, вопрос, восклицание, пожелание, просьба и т. п. Для каждого из этих случаев в грамматике должны быть указаны схемы соответственных предложений.

К сожалению, все это не очень разработано в грамматической литературе, хотя некоторый материал для подобного построения и имеется.

Разберем для примера выражение приказания, просьбы и т. п. Для этого служит, во-первых, особая форма так называемого повелительного наклонения, куда, конечно, должны быть отнесены и формы с *пусть* (*пускай, да*), с различными интонациями, выражающими разные оттенки;¹¹ во-вторых формы 1-го лица множественного числа настоящего и будущего времени и редко прошедшего времени, но лишь от глаголов совершенного вида с начинательным значением, причем отличительной чертой всех этих форм является отсутствие личного местоимения: *едем-(те)*, *сядем-(те)*, *будем читать, поехали!*, *засели за работу* и т. д.; в-третьих, формы с *давай, давайте* + инфинитив; и, в-четвертых, — разные обороты: *приказываю* (кому-либо) + инфинитив, *требую, чтобы* (кто-либо) + форма прошедшего времени, *прошу* (кого-либо) + инфинитив и некоторые другие, где *приказываю, требую, прошу* и т. п. являются, конечно, строевыми элементами. Само собою разумеется, что специфическое значение каждого из этих оборотов должно быть разъяснено в грамматике. При этом надо помнить, что исходить придется из мыслей, подлежащих выражению, а не из оборотов, что будет, впрочем, совершенно естественно, поскольку на практике дело будет всегда идти об оборотах иностранного языка, о мыслях же придется говорить на родном языке учащихся.

Далее надо говорить о способах выражений утвердительного и отрицательного характера высказываний, далее — о способах выражения одночленности и двучленности высказываний (т. е. высказывания, просто констатирующего действительность, и высказывания, где нечто про что-то утверждается). При этом по-немецки одночленность выражается особым оборотом с грамматическим *es* (*es ist ein Knabe gekommen*, противопоставляется *ein Knabe ist gekommen*); по-французски оба типа различаются делимостью и специфической интонацией двучленности (*un garçon est venu* противопоставляется *un garçon — est venu*); то же и по-русски, где, впрочем, может играть роль и порядок слов

¹¹ К сожалению, при настоящем состоянии грамматической науки ни о типологии этих оттенков, ни о типологии соответственных интонаций еще не может быть и речи.

(*пришел мальчик* без логического ударения на последнем слове вовсе не значит, что *пришел мальчик*, а не *девочка*, а является просто одночленом).

Минуя многое дальнейшее, перехожу к очень важному от-делу грамматики — к правилам построения синтагм и групп синтагм. В центре их стоит обыкновенно то или другое слово, и правила построения синтагм сводятся к правилам распро-странения существительных, прилагательных, наречий и гла-голов другими словами. Возьмем правила распространения глагола. Ближайшая характеристика его выражается наре-чиями меры и степени, а также наречиями образа действия. Последние, если образованы от прилагательных посредством суффикса *-о/-е*, всегда ставятся перед глаголом; наречия об-раза действия, образованные иначе, а также наречные обороты ставятся после глагола: *много гулять, очень торопиться, быстро бегать, прилежно учиться, спокойно лежать; писать по-фран-цузски, ездить верхом*.¹² Место и время действия определяются наречиями и существительными с предлогами, которые поме-щаются после глагола, но перед наречием образа действия, если это последнее стоит тоже после глагола. Слова, распростра-няющие глагол, всегда замыкаются прямым дополнением (в са-мом широком смысле этого термина); косвенные дополнения стоят перед прямым: *читать по вечерам книгу, ежедневно играть у соседей в карты, ехать по полю верхом на лошади в город (верхом не является здесь, конечно, строевым элементом); написать сыну письмо, чистить скребком дорожку*. В связи со всем этим следует излагать употребление предлогов и падежей при глаголах, исходя, как всегда это должно делаться в актив-ной грамматике, из потребностей выражаемой мысли; выра-жение предмета, на который переходит действие глагола, выра-жение лица или предмета, для которого что-то делается, выра-жение орудия действия, выражение лица, действующего при страдательном обороте, выражение направления действия, его места, его времени и т. д. и т. д.

При этом надо иметь в виду, что все эти категории могут отличаться от языка к языку не только по способу выражения, но и по содержанию: во французском языке, например, катего-рии направления и местонахождения никак не различаются.

Далее должны излагаться способы образования форм паде-жей. В соответствии с тем, что выше, в плане пассивной грам-матики, говорилось об окончаниях *-ов, -ей* и о нулевом окон-чании, как о признаках родительного падежа множественного числа, и чего было более чем достаточно для человека, обучаю-

¹² Иной порядок слов здесь и в других случаях воспринимается как инверсия, что имеет свою функцию.

щегося лишь пассивному владению языком, — здесь, в плане активной грамматики, придется изложить правила образования форм родительного падежа множественного числа приблизительно в следующем виде: родительный падеж множественного числа образуется посредством нулевого окончания от существительных, имеющих в именительном падеже единственного числа какое-либо окончание (*книг-а — книг-, земл-я — земель-, кольц-о — колец-, имени-е — имений-*). Он образуется посредством окончаний *-ов* или *-ей* от существительных, имеющих нулевое окончание в именительном падеже единственного числа: посредством первого — от основ на твердую согласную и на *ј* и посредством второго — от основ на мягкую согласную и на *ш, ж* (*стол — стол-ов, купец — купц-ов, край — краев* (т. е. «кгај-оf»), *тень — тен-ей, гость — гост-ей, шалаш — шалаш-ей, нож — нож-ей*). Эти правила имеют довольно много исключений (*полей, морей, долей* вместо ожидаемых, *поль, морь, доль; сапог, чулок, носок*, вместо ожидаемых *сапогов, чулков, носков* и др.). Все эти исключения должны быть изучаемы в словарном порядке.

Так же, как и пассивная грамматика, активная грамматика еще никем не сделана, а потому сослаться здесь на какой-либо образец я не могу. Более или менее в этом направлении сделан мной краткий очерк французской грамматики, приложенный к моему (совместно с М. И. Матусевич) «Русско-французскому словарю».

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РОДНОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ

Никто никогда не сомневался в необходимости изучения родного языка в школе; но эта необходимость мотивировалась чаще всего практическими соображениями: дети должны овладеть литературным языком, должны научиться хорошо писать на своем родном языке, к чему последнее время прибавляется — и хорошо говорить на нем. Это тот аспект родного языка как школьного предмета, который вылился у нас в виде «развития устной и письменной речи». Гораздо меньше говорилось об общеобразовательном значении изучения родного языка, хотя, конечно, развитие формы речи «не могло идти без развития ее содержания, т. е. без умственного развития ребенка».

Общеобразовательное значение присваивалось обыкновенно прежде всего изучению литературы и особенно истории литературы. Нисколько не отрицая справедливости этого последнего положения, я не могу не подчеркнуть, однако, той громадной роли, которую имеет именно изучение родного языка в созда-

нии образованного человека. В самом деле, язык и мышление образуют неразрывное единство, и наблюдения над языком являются наблюдениями над мышлением, так как это последнее нельзя и наблюдать вне языковых форм. А что может быть поучительнее наблюдений над нашим мышлением, через которое мы познаем весь объективный мир! Мы можем, конечно, не задерживаться на этой стороне нашего познавательного процесса и сосредоточиваться исключительно на объективных отношениях вещей, однако при чересчур наивном подходе к познавательному процессу, при недостаточном внимании к мышлению как к таковому мы рискуем впасть в грубейшие ошибки. Поэтому наблюдение и изучение самого мышления является необходимой предпосылкой всякого дальнейшего развития. Изучение языка, хотя бы в аспекте «развития речи», и выполняет эту предпосылку, заставляя человека останавливаться на потоке своей речи, а следовательно и мышления, заставляя членить его на части, вдумываться в соотношения этих частей, сравнивать их друг с другом и углублять этим их понимание. Таким образом, «развитие речи», ставящее себе в сущности узкопрактическую задачу, на самом деле выполняет важнейшую функцию подготовки научно мыслящего человека, и учителя, учащие своих учеников попросту правильно излагать свои мысли, вполне уподобляются мольеровскому герою, не знавшему, что он всегда говорит прозой, так как, к сожалению, обыкновенно и не подозревают той важной миссии, которая лежит на их скромных плечах. Говорю «к сожалению», так как полагаю, что если бы они знали об этом, то они бы и лучше это делали. Несколько примеров для конкретизации сказанного. Возьмем три фразы, которые в общем могут быть сказаны при одинаковой обстановке: *хозяева здесь запрещают курить, здесь запрещают курить, здесь курить запрещается*. На первый взгляд может показаться, что содержание всех этих трех фраз — одно и то же. Но это, конечно, неверно: в первом случае указывается, что есть определенные лица, которые запрещают курить в этом месте (личная конструкция); во втором — что хотя и есть кто-то, кто это запрещает, но вопрос о лице, запрещающем курить, неважен, что важен лишь самый факт запрещения (неопределенно-личная конструкция); и в третьем — что запрещение курить в этом месте является своего рода законом, не зависящим от воли каких-либо лиц (так называемая безличная конструкция).

Кажется, что в Костроме или Ярославле живут и здравствуют его родители; его родители живут, кажется, в Костроме или в Ярославле. Из этих двух фраз в первой говорится, что чьи-то родители еще живы, место же их жительства представляется несущественным (*ка-*

жется, в Костроме или в Ярославле — так называемое обстоя-
тельство выражение; *живут* употреблено в абсолютном
значении); во второй — что чьи-то родители живут именно
либо в Костроме, либо в Ярославле, а где точно, говорящему
неизвестно (*кажется, в Костроме или в Ярославле* — так назы-
ваемое дополнение; *живут* употреблено в «переходном», в ши-
роком смысле слова, значении).

Итак, не может быть сомнений в том, что наблюдения над
родным языком учащихся, хотя бы они делались в самых
скромных размерах, являются наблюдениями над мышлением.
Но могут ли они дать полную эффективность, если дело огра-
ничивается одним родным языком? Конечно, нет, и именно
в силу того, что язык и мышление составляют одно неразрыв-
ное целое, расчленив которое у человека, владеющего только
своим родным языком, нет никаких поводов. Только когда
появляется термин для сравнения, иностранный язык, — начи-
нает делаться возможным освобождение мысли из плена слова;
только тогда мы начинаем понимать мысль как таковую, только
тогда мы можем возвыситься до подлинной абстракции, только
тогда мы можем преодолеть все те пережитки в языке, которые
сковывают по рукам и по ногам и самую нашу мысль. В самом
деле, человеку, совсем не знающему иностранных языков, всегда
кажется, что, например, *дом* есть, по существу, слово муж-
ского рода, а *стена*, по существу, — женского. И только столк-
новение с тем фактом, что по-французски *дом* женского рода
(*la maison*) и *стена* — мужского (*le mur*), заставляет его понять,
что вещам не свойственны родовые категории и что эти послед-
ние не что иное, как пережитки каких-то древних языковых
состояний. Многим моим ученикам, учителям немецкого языка,
приходилось не раз наблюдать то впечатление, которое произ-
водило это открытие на не тронутые языковой культурой умы:
было очевидно, что это целый переворот в их мышлении. Не
таким разительным, конечно, но все же открытием является
и момент, когда учащиеся начинают понимать, что, например,
французское *emporter* соответствует русскому *унести* и *уно-
сить*, т. е. лишено видového оттенка, и что, следовательно, гла-
гольность можно мыслить себе вне вида.

Кажется, что может быть очевиднее двух противоположаю-
щихся в русском языке понятий: *варить* и *печь*? Между тем
по-французски им отвечает одно слово *cuire*, которое выражает
более общее понятие, покрывающее оба русских. Зато русским
жарить отвечают и *rôtir* и *frîre*, не считая такого глагола, как
griller, являющегося частным по отношению к *rôtir*. К этому
надо прибавить, что *rôtir* до известной степени покрывает и
наше *тушить*. Нашим *сыпать* и *лить* отвечает по-французски
единое понятие *verser*, которое, очевидно, по содержанию будет

отличаться от *лечь*. Нашим *привести* и *привезти* отвечает французское *amener*. Нашему *есть*, конечно, отвечает немецкое *essen*, но по содержанию это последнее будет, конечно, отличным от первого так как *essen* могут только люди: о животных и в целом ряде переносных употреблений говорится *fressen*.

Наблюдения над внутренней формой, т. е. над тем, как разные народы представляют себе одни и те же, на первый взгляд, вещи, оказываются тоже не менее поучительным морем открытий: русскому *подкидыви* во французском соответствует *enfant trouvé* ('найденный ребенок', но не 'найденыш'): русскому *полуживой* — французское *demi-mort* ('полумертвый'); русскому *расхоложивать* — французское *attiédir* ('делать тепловатым'); русскому *садиться в вагон* — немецкое *in den Wagen steigen* и французское *monter en voiture* и т. д., и т. д.

Все эти наблюдения не являются ли наилучшей практической школой для развития диалектической мысли, которая сковывается кажущейся неподвижностью форм родного языка?

Даже там, где и родной язык заставляет нас дифференцировать мысль, иностранный язык сплошь и рядом ярко выявляет это различием соответственных форм. Так, в вышеприведенном примере *запрещают курить* двоякий его перевод — *ils défendent de fumer* и *on défend de fumer*; *sie verbieten das Rauchen* и *man verbietet das Rauchen* — конкретно подчеркивает различие значений, выводимое из русского. Двоякое значение слова *слог* опять-таки конкретно выявляется в двояком переводе: *Silbe* и *Stil, syllabe* и *style*. Примеров можно приводить без конца. Напомню здесь лишь то много раз делавшееся констатирование, что «свой язык только тогда начинаешь понимать, когда начинаешь его преподавать иностранцам».

Надеюсь, что все сказанное показывает с достаточной убедительностью, что изучение иностранного языка является, с одной стороны, наилучшим средством для познания родного языка, а с другой — для философского его преодоления и для развития диалектического мышления.¹

Но если велико значение иностранного языка для родного, то справедливо громадное значение родного языка для изучения иностранного. Действительно, при школьном обучении иностранному языку (как ребят, так и взрослых) трудно обойтись без помощи родного языка, особенно при недостаточном числе часов.

¹ Само собой разумеется, что ни интуитивное изучение языка через среду (гувернантку и т. п.), ни изучение его по прямому методу не дает этих общеобразовательных эффектов, а так как «прямой метод» считался в последнее время единственным научным методом, то немудрено, что в педагогике усумнились в общеобразовательной ценности иностранного языка.

Действительно, в школьном преподавании иностранного языка мы абсолютно не можем обойтись без грамматики, но как, например, обучать страдательному залогу в иностранных языках, если это понятие не выяснено на родном языке учащихся. Тут кстати будет заметить, что в последнее время распространилось мнение, будто русский язык не знает страдательного залога. Не может быть ничего более неосновательного, как это странное мнение, основанное на не вполне переваренных высказываниях Фортунатова. Повод к нему дан в том, что морфологически одной из форм страдательного залога в русском является форма на *ся*, общая возвратному и среднему залогам. Не говоря о том, что в русском имеются и другие формы страдательного залога, как например *он любим этой женщиной* (Praesens), *он убит своими сторонниками* (своего рода Perfectum) и т. п., страдательный залог вполне определяется творительным падежом лица действующего и своим обязательным соотношением с действительным залогом: и в самом деле, не возвратными же будут *умерщвляться, разрисовываться, растаптываться* и т. п. Глаголы же *убиваться, рисоваться* и т. п. имеют два залога, подобно тому, как какое-нибудь *сводить* имеет два вида.

Итак, конечно, идею страдательного залога надо выяснить сначала на русском, и тогда абсолютно легко будет объяснить ее и на европейских языках. Далее, выяснив идею связи и ее замен в русском (*становиться, стать, делаться, сделаться* и т. п.), будет легко научить ее употреблению и в европейских языках; только следует помнить, что в русском надо брать для этого примеры в прошедшем или в будущем временах. Выяснив в русском разницу между связкой и вспомогательным глаголом (*он будет герой, он будет побеждать*), нетрудно научить и двоякому значению глагола *werden* (*er wird krank, er wird siegen*), а когда это будет понятно, то не так уже невозможно заставить почувствовать в связи с русскими примерами (*он сделался могуч, это сделалось само собой*) и третье значение *werden* — как знаменательного глагола (*er ist kraftvoll geworden, es ist von selbst geworden*). И наконец, когда уже человек на своем родном материале постиг многообразие смыслов глагола *werden*, ему легче будет понять полное своеобразие особого употребления *werden* как вспомогательного глагола в формах страдательного залога, — своеобразие, не имеющее себе аналогии в русском.

Примеров важности родного языка при изучении иностранного можно приводить, конечно, без конца; но размеры статьи не позволяют мне этого сделать, да, может быть, это и не так нужно, так как хороший учитель и сам их знает.

Однако нельзя не признать, что родной язык является все же нашим врагом при изучении иностранного языка, так как это он заставляет нас делать те бесчисленные ошибки, которые известны под названием всяких -измов, в нашем случае в виде руссизмов или русизмов.

Но мы должны понять, что в школьных условиях нельзя изолироваться от родного языка так, как это делали в старых дворянских семьях, запирая детей вместе с гувернерами и гувернантками в особый этаж дома; мы должны понять, что это абсолютно невозможно и что в школе, на курсах, в вузе мы не можем создавать условий для естественного образования «чистого двуязычия»,² о котором я писал в своих статьях («Яфетический сборник», IV и «Об общеобразовательном значении иностранных языков», «Вопросы педагогики» [1926, вып. I]), и мы должны признать раз навсегда, что родной язык учащих участвует в наших уроках иностранного языка, как бы мы ни хотели его изгнать. А потому мы должны из врага превратить его в друга. И это очень легко сделать: надо только осознать все те случаи, когда он вводит нас в искушение, и создать правила не только английские, французские, немецкие и т. п., но и русско-английские, русско-французские, русско-немецкие и т. п.

Вот несколько примеров: по-русски говорят: *я люблю, ты любишь, мы любим* и т. д. *своих детей*; на европейских языках надо говорить: *я люблю моих детей, ты любишь твоих детей, мы любим наших детей* и т. д. По-русски говорят: *2, 3 ученика, 5, 10 учеников*; на европейских языках следует говорить: *2, 3, 5, 10 ученики* (им. пад). По-русски говорится: *я привык работать*, а по-немецки говорится *ich bin gewöhnt zu arbeiten*, по-французски *je suis habitué de travailler* и т. д., и т. д. Эти и подобные вещи давно известны преподавателю, но есть множество правил, никому еще не известных, и притом своеобразных для каждого данного иностранного языка. Выявление всех этих правил и является, между прочим, одной из очередных задач методики преподавания иностранных языков.

² При этом подчеркиваю, что не «к сожалению, не можем», а «к счастью», потому что, как я разъяснял выше и в цитируемых тут статьях, «чистое двуязычие» лишено всякого общеобразовательного значения: образовательным становится язык лишь в процессе сознательного сравнения двух языков как двух способов выражения нашей мысли.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕСТО ИХ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

«Он (Дюринг) хочет уничтожить и те два рычага, которые в современном мире дают хотя бы некоторую возможность стать выше ограниченной национальной точки зрения. Он хочет упразднить знание древних языков, открывающее, по крайней мере для получивших классическое образование людей различных национальностей, общий им, более широкий горизонт. Одновременно с этим он хочет упразднить также и знание новых языков, при помощи которого люди различных наций только и могут объясняться друг с другом и знакомиться с тем, что происходит за их собственным рубежом» (Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. [М., 1970, стр. 326]).

Беру на себя смелость писать по вопросу, требующему, между прочим, и основательных знаний по истории педагогики вообще и по истории школы в частности, хотя и не являюсь специалистом по этим дисциплинам. Однако важность вопроса заставляет меня взяться за перо. Мне кажется, что я могу сказать в этой области новое слово — именно в силу того, что во мне сочетался теоретик-лингвист с методистом-практиком. Специалисты по педагогике дополняют меня, где это надо, и поправят там, где я ошибаюсь. Подобная кооперация совершенно необходима во всех тех случаях, когда проблема находится на рубеже нескольких специальностей.

Во всяком случае вопрос, который я выдвигаю, представляется мне очень важным для всего нашего культурного строительства.

Он настолько сложен, настолько тесно связан с целым рядом других вопросов, которые никак нельзя обойти молчанием, и так мало пользовался и пользуется у нас вниманием широких кругов образованных людей, что всестороннее освещение его в журнальной статье представляется крайне трудным делом, чтобы не сказать невозможным. Поэтому статья моя вышла чересчур насыщенной и недостаточно сконцентрированной.

I. Прежде всего надо вспомнить о том, что список школьных предметов отнюдь не может быть случайным или просто традиционным. Должна быть строго продуманная система учебных предметов. Мне кажется, что у нас немного забыли об этом и что сейчас просто все существующие науки стремятся проникнуть в школу и притом каждая хочет занять в ней побольше места. Поэтому давно пора заново продумать существующую школьную систему учебных предметов и теоретически обосновать ее в целом, а также каждый предмет в ней, его цель, содержание и объем.

Тема эта настолько обширна, что я не могу трактовать ее в настоящей статье в развернутом виде; однако ниже мне придется частично коснуться ее.

В связи со всем сказанным уже сейчас надо подчеркнуть ту простую истину, что наука и соответственный учебный предмет не одно и то же. В университетах преподаются науки,¹ а в средней школе существуют учебные предметы. Эти последние отличаются от соответственных наук прежде всего, конечно, по объему; зачастую, однако, они заключают в себе сведения из разных наук (ср., например, начальный курс географии); кроме того, они часто наполняются разными сведениями практического характера, не входящими собственно ни в какую науку (это имеет место, например, в начальной арифметике; львиная доля грамматики родного языка посвящена орфографии, хотя никакой науки «орфографии» не существует); наконец, учебные предметы всегда представляют дело в упрощенном виде, а трудные вопросы если не обходятся, то представляются как бы окончательно решенными. В самом содержании бывали — да и теперь встречаются — противоречия. Особенно много их и сейчас в начальном обучении родному языку и вообще в грамматике.

Таким образом, некоторые отличия традиционных учебных предметов от соответственных наук являются вредными пережитками и частью изжиты, частью понемногу изживаются, но со многими здесь приходится мириться по соображениям возрастным, педагогическим или общекультурным. Основным является, как было сказано, вопрос объема. Он всегда стоял остро; но в наше время колоссального развития наук и громадного роста человеческого знания вообще вопрос этот стал во весь рост. Требуется тщательный отбор того, что должно войти в школьные учебные предметы, и надо всячески бороться с наивным стремлением многих специалистов внести туда все, что они сами знают, вплоть до научных теорий сегодняшнего дня. Отбор надо производить как самих наук, так и сведений, в них сообщаемых. Критериями же отбора должны быть практическая общепольность и общеобразовательная ценность.

II. Не подлежит сомнению, что практическая полезность играла и играет едва ли не основную роль в развитии наук. Содержание учебных предметов тоже, конечно, определялось исключительно практическими соображениями. Однако в дальнейшем дело осложнилось, и учебные предметы далеко не всегда являлись практически полезными. Например, курс геометрии в программах наших бывших высших начальных училищ едва ли мог иметь ка-

¹ Впрочем, некоторые «Введения», «Пропедевтические курсы» и т. п. приближаются к учебным предметам.

кое-либо практическое значение и удерживался исключительно по соображениям общеобразовательного характера. То же можно сказать о курсе космографии в старых гимназиях, о курсе природоведения (если не считать анатомии и физиологии человека) и, в сущности говоря, о всех гуманитарных предметах.

Самый критерий практической полезности, несмотря на свою очевидность, оказывается довольно неопределенным. В самом деле, что может быть определеннее отделов высшей математики, на которых покоится вся современная техника. И, однако, для представителей гуманитарных наук, для географов и даже для биологов они не нужны. В практической полезности географии не может быть никаких сомнений. . . и, однако, Простакова не так уж неправа; роль ее извозчика для большинства рядовых западноевропейцев играют агенты Кука. Из сказанного, конечно, не вытекает, что я против географии как учебного предмета; я только имею в виду, что в географии практическая полезность не может играть решающей роли и что в ней не менее важна и общеобразовательная точка зрения. (Эта последняя, само собой разумеется, не исключает основательного знания карты в ее наиболее существенных чертах).

Далее, казалось бы, что может быть очевиднее полезности свободного владения иностранными языками, особенно в условиях нашей сравнительно молодой культуры и небогатой специальной литературы. И тем не менее опыт показывает, что сознание этого вовсе не проникает в толщу учащейся молодежи не только средней, но и высшей школы. Действительно, люди на практике в большинстве случаев обходятся без знания языков. Нельзя же назвать знанием иностранного языка то, с чем кончают вузы наша молодежь; с этими знаниями невозможно свободно читать нужную специальную литературу, т. е. именно практической пользы и не получается. Только в отдельных случаях, и притом слишком поздно, кое-кто из молодежи осознает свою неполноценность с этой точки зрения, что, к сожалению, является обычной историей многих молодых научных работников. Отсюда вытекает, что практическая полезность вообще не является еще достаточным стимулом для успеха предмета в школе: для этого необходимо ощущение непосредственной полезности, чего по отношению к иностранным языкам трудно ожидать в школьном возрасте, если не считать специальных школ. Поэтому и там, где практическая полезность очевидна, очень важна все же общеобразовательная ценность предмета: математика в прежнее время для большинства учащихся (кроме тех, которые шли в технические вузы) не имела никакого практического смысла, но она имела общеобразовательный ореол, требуя не памяти, а большой сообра-

зительности, и поэтому ею занимались, хотя в программах ничего не было сделано для того, чтобы показать значение математики как метода мышления.

III. Хотя вопрос о практическом значении иностранных языков и выпадает из рамок моей теоретической статьи, однако он настолько важен, что я считаю необходимым посвятить ему специальный раздел.

В старой России знание иностранных языков в верхних слоях общества было очень распространено и обеспечивалось главным образом через гувернанток; даже разорявшиеся дворяне из последних сил старались пригласить их к своим детям. Для поднимающихся слоев интеллигенции возможность в той или другой мере пользоваться иностранными языками давалась в гимназиях, несмотря на все недостатки постановки преподавания этого предмета. Поэтому ни государство, ни общество в целом не ощущало недостатка в контингентах лиц, знающих языки.

В последнее время, перед первой империалистической войной, стало ощущаться недостаточное знание английского языка, который все более и более завоевывал лингвистический рынок, особенно в связи с ростом Америки, ее индустрии и культуры.

В наше время советская интеллигенция росла и растет без знания языков: гувернантки, естественно, отпали, а в школах преподавание языков настолько сократилось (по причинам, которые будут разъяснены ниже, в X разделе), что не обеспечивало и не обеспечивает самого элементарного их знания. Партия и правительство учли создавшееся положение, что отразилось в двух знаменательных постановлениях относительно преподавания иностранных языков в школе и в вузах.*

Однако для того, чтобы постановления были реализованы, необходимо, чтобы все общество осознало потребность в знании языков. Дело вовсе не в том, чтобы подготовить то или другое количество специалистов по иностранным языкам, — это тоже, конечно, необходимо, — а дело в том, чтобы каждый советский интеллигент мог в случае надобности обратиться к нужной специальной литературе и, более того, чтобы каждый советский интеллигент не мог обходиться без чтения еще какой-либо литературы, кроме своей национальной. Объяснить, почему это важно, — цель всего дальнейшего изложения. Здесь я хочу сказать лишь о практической стороне этого дела: мы должны знать, что пишут и думают не только наши заграничные друзья, но и наши враги. После первой империалистической войны в Германии делали ответственными за ее провал, между прочим, и учителей иностранных языков, которые-де не научили как следует знать и правильно оценивать возможных противников (у немцев царило убеждение, что англичане вообще не способны

воевать, а французов они считали за развращенный, вырождающийся народ).

У нас на многих заводах выписывают всю нужную иностранную литературу, которая, однако, остается неразрезанной, так как инженеры не знают языков, а имеющиеся по штату переводчики не знают, что именно надо переводить, а если и переводят, то, не имея технического образования, так переводят, что никто не хочет читать их работы.² В Америке на заводах и предприятиях переводчиков нет, а немногочисленные библиотекари распределяют всю приходящую иностранную литературу между инженерами соответственно их узкой специальности, и с этой литературой они обязаны ознакомиться.

Наша сравнительно молодая культура и небогатая специальная литература решительно требуют того, чтобы каждый специалист читал нужную ему специальную литературу не только на своем родном языке, но хотя бы еще на одном европейском языке. Даже в странах со старой культурой, например в Голландии, вся интеллигенция изучает новые языки, дающие доступ к мировой культуре.

Мы должны сделать большие усилия, чтобы восстановить у нас широкое знание иностранных языков.

IV. Понятие «общеобразовательное» очень сложно и многообразно, а главное — изменяется во времени, и я не буду его здесь анализировать, так как это потребовало бы целого исследования. Однако некоторые его черты настолько несомненны и очевидны, что я смогу ниже свободно говорить об общеобразовательном значении иностранных языков, и не производя подобного исследования.

V. Прежде чем непосредственно перейти к этой моей основной теме, придется, однако, обратиться к истории. Прежде всего надо подчеркнуть, что «иностраные языки» являются в сущности новым учебным предметом в школьной системе, без традиционного, так сказать, места в ней. Они появились тогда, когда латынь фактически перестала быть языком жизни, науки и особенно техники и когда, с другой стороны, национальные литературы передовых народов так выросли, что их нельзя было игнорировать сравнительно широким массам людей, обучавшимся в средней школе (в «народной школе» иностранных языков не было до самого последнего времени). Введение новых языков было явной уступкой практическим требованиям жизни

² Пользуюсь случаем, чтобы подчеркнуть, что дело вовсе не в терминологии, как это всем кажется, а в общем образовании: для того чтобы переводить то, чего не понимаешь, надо быть исключительно образованным филологом, — не могу здесь этого доказывать из-за недостатка места.

со стороны традиционной школьной системы — уступкой, которая в большинстве случаев давала, впрочем, очень плохие результаты, так что новый предмет не пользовался популярностью ни у нас, ни в Западной Европе. Однако лингвистическая подготовка, получавшаяся в результате длительного обучения латыни, обуславливала все же возможность всем желающим использовать наличное обучение иностранным языкам для того, чтобы научиться свободно читать на них нужную литературу.

Во второй половине XIX в. стремление к завоеванию рынков дало иностранным языкам как учебному предмету новый могучий стимул. Ответом на это было создание коммерческих школ с громадным числом часов иностранных языков при так называемом «прямом методе» обучения. Это движение, обоснованное научно-лингвистически и известное под именем «реформы», имело большой резонанс во всем мире, в том числе и в старой России: до сих пор «прямистская методика» в той или другой форме и в той или другой мере отождествляется у нас с «новыми методами» и противопоставляется «дореформенным».

Надо подчеркнуть, что как при первоначальном введении иностранных языков в систему школьных предметов, так и позднее, при «реформе», вопрос об общеобразовательном значении новых иностранных языков вовсе не затрагивался. Латынь занимала господствующее место, новые же языки были либо лишь придатком к другим предметам, либо преподавались в специальных профессиональных учебных заведениях.

VI. Другое, на что надо обратить внимание, — это на парадоксальный для нашего сознания факт, что «родной язык» является в сущности также сравнительно новым учебным предметом. Роль нашего «родного языка» в школе играла раньше латынь, и лишь в результате многовековой борьбы родной язык в связи с ростом национального самосознания и национальных языков и литератур стал во главе школьных предметов. Процесс этот протекал по-разному в разных странах и до сих пор еще не изучен до конца. У нас, по счастью,³ роль латыни играл так называемый «церковнославянский», или просто, как говорили, «славянский» язык, бывший литературным языком Восточной Европы (в том числе и нынешней Чехии).

³ Говорю «по счастью», так как это был язык в основном всем понятный, а если и непонятный, то лишь в силу отвлеченности литературных произведений, на нем написанных. Кроме того, именно взаимодействием двух стихий — русской и высококультурной в свое время церковнославянской — наш современный национальный русский язык обязан своим богатством и гибкостью; позднее к этим двум стихиям присоединилась и третья — западноевропейская.

В конце концов, впрочем, нас не должна чересчур поражать латынь в роли родного языка. По функции она целиком совпала с нынешними национальными языками, имея лишь более широкую социальную базу. С другой стороны, ведь ни один современный национальный язык не совпадает с родным языком в буквальном смысле этого слова. Особенно это заметно, например, в Италии, Германии, Норвегии, где большинство населения двуязычно: оно говорит на местном и на литературном языках. В русском языке подобное положение вещей не дает себя так резко чувствовать: интеллигенция и вообще горожане не знают крестьянских диалектов, а сельское население вместо литературного языка говорит на смешанном языке разных оттенков с совершенно неопределенными нормами (в результате этого мы и не можем до конца понять языковых отношений в Западной Европе, где очень и очень многие отчетливо сознают свое двуязычие, говоря на двух четко разных языках с определенно разными нормами).

VII. Предшествующий раздел имел целью показать, что латынь вовсе не была «иностранном языком» в нашем смысле слова, поэтому нет ничего удивительного в том, что на ее основе могло строиться все образование. При этом надо иметь в виду — и это надо всячески подчеркнуть, — что для каждого латынь была вторым языком и языком так же хорошо известным, как первый (т. е. тот, который употреблялся в повседневной жизни в данной местности). Таким образом, в старые времена обучение прежде всего создавало двуязычных людей, хорошо владевших двумя языками — своим родным и латынью (у нас в свое время «церковнославянским»), — и в этом, как я надеюсь показать дальше, и лежит суть лингвистического (или, точнее, филологического) образования. Я покажу также, что создание двуязычия — условие хотя и совершенно необходимое, но еще недостаточное для благих результатов лингвистического образования. Нужно, чтобы это двуязычие вело к сравнению двух языковых систем. Без соблюдения этого второго условия лингвистическое обучение лишено всякой общеобразовательной ценности. Наконец, я постараюсь показать, что правильно поставленное лингвистическое образование является единственным путем к созданию более высокой культуры. В этом нас убеждает опыт всего человечества на протяжении всей его истории (надо помнить, что роль второго языка часто играл и играет литературный язык данного народа).

Появление родного языка наряду с латинским в семье школьных предметов улучшило положение вещей, поскольку родной язык стал предметом школьного внимания. И так дело продолжалось все время, пока латынь была в силе. Что касается по-

ВЫХ иностранных языков, то они никогда не входили в образовательную систему, оставаясь чисто практическим предметом.

VIII. Но когда, начиная со второй половины прошлого столетия, латынь в качестве базы школьного образования стала подвергаться нападкам как практически бесполезный предмет,⁴ когда она стала исчезать из целого ряда школьных учебных планов, положение вещей оказалось трагическим, так как новые иностранные языки ни в теории, ни на практике не были готовы к восприятию общеобразовательной роли латыни. Более того, собственная их новейшая методика, имевшая в виду, конечно, лишь чисто практические задачи, выработала принципы как раз обратные тому, что обуславливало общеобразовательную ценность латыни; этой методикой всячески запрещалось сопоставление иностранного языка с родным.

IX. На западе теперь уже осознали необходимость передачи образовательных функций латыни новым иностранным языкам. Однако надлежащей теории еще и до сих пор не сделано, ибо по вопросу об образовательной силе самой латыни далеко не было сказано последнего слова: с одной стороны, мы имеем еще и теперь отголоски старинных споров между защитниками латыни и сторонниками национального языка, а с другой — современные споры между приверженцами классической и реальной систем образования.

Так, сравнительно еще недавно серьезно доказывалось исключительное совершенство латыни, между прочим, ссылкой на замечательную якобы логику системы ее падежей. В настоящее время подобное утверждение невозможно, ибо ясно прежде всего, что, например, английский язык, не имеющий падежей, не менее совершенно умеет выражать самые тонкие изгибы философской мысли. Теперь уже никто не сомневается в том, что современные развитые литературные языки ничем не хуже древних классических.

Доказывалось также, что перевод трудной греческой фразы требует совершенно аналогичных умственных операций, как и решение какой-нибудь физической проблемы. Этим обосновывалось право наук о природе на такое же место в системе школьных предметов, как и классические языки (и, с моей точки зрения, вполне успешно). Однако даже не был затронут самый главный для нас вопрос об общеобразовательной специфике разных предметов и, в частности, латыни: это значение латыни

⁴ Практически он нужен и важен только для филологов, историков, философов и юристов (нельзя серьезно говорить о значении латыни в медицине или в естественных науках).

было непререкаемо, и анализировать его никому даже не приходило в голову.

Х. У нас дело обстояло и обстоит гораздо хуже. Передовая педагогика была давно против латыни, отчасти потому, что латынь, отрывая молодежь от реальной действительности, была одним из орудий реакционной политики,⁵ но главное потому, что она была явно практически бесполезна, требуя к тому же много времени и сил.

Общеобразовательная ценность латыни, как сказано, была неясна в своей сути даже для самих сторонников классицизма. Тем менее могла быть ясна возможность специфического общеобразовательного значения новых иностранных языков: все видели в них лишь практически полезные предметы. При этом надо иметь в виду, что не менее половины учащихся досоветской средней школы приносили знание языков из дома, другая половина, обучаясь латыни, т. е. получая серьезную лингвистическую школу, при большом желании самостоятельно научалась свободному чтению нужной литературы на том или другом языке. Отсюда делались выводы о ненужности новых языков в средней школе вообще, так как им-де легко научиться самому (таковы были высказывания на совещании по реформе средней школы в 1915 г.).

В результате всего этого латынь оказалась за бортом нашего школьного корабля; вместо двух новых языков был оставлен лишь один с сильно сокращенным количеством часов. Таким образом, наша школа была совершенно «обезъязычена», если можно так выразиться, что иллюстрируется следующими цифрами: в досоветских реальных училищах (я не говорю уже о гимназиях), а также в реальных типах западноевропейской средней школы число часов, которое отводилось на языки, составляло в среднем $\frac{1}{4}$ общего числа часов, а у нас оно составляет $\frac{1}{9}$.

XI. Теперь я попробую ответить на вопрос, почему акт «обезъязычения» школы должен вести к снижению культурного уровня, почему сопоставление двух языковых систем совершенно необходимо для воспитания высококультурных людей (мы увидим дальше, что это имеет и чисто практическое значение).

Единство языка и мышления сводится в конце концов к тому, что средства выражения, начиная от простого звучания и кон-

⁵ В действительности дело обстоит, конечно, не так просто: и на классицизме можно воспитывать настоящих общественников, прогрессивные и революционные умы, а с другой стороны, и на науках о природе и на технике часто воспитываются своекорыстные антиобщественные элементы. Тому и другому можно привести много примеров и из близкого и из далекого прошлого.

чая самыми тонкими синтаксическими и иными формами, абсолютно неотделимы от соответственных понятий: слова перестают быть словами, если отнять у них их значение.

Картина совершенно меняется при правильном (всячески подчеркиваю это слово) обучении иностранным языкам. Обучаясь им, мы очень скоро убеждаемся, что каждое новое иностранное слово заставляет нас вдумываться в то, что кроется за ним и за соответственными словами родного языка, заставляет нас вдумываться в самое существо человеческой мысли. Конечно, это имеет место главным образом на старших ступенях обучения, при чтении литературных текстов, при переводах,⁶ особенно трудных. Но уже и самые простые факты заставляют учащихся даже на начальной стадии обучения понемногу расширять круг представлений в области языка. В самом деле, несовпадение, например, грамматического рода в изучаемом языке и в родном является своего рода открытием (я был свидетелем, как взрослый учащийся сердился и недоумевал, как может быть *table* женского рода, когда *стол* по-русски мужского рода). Еще бóльшим открытием — и открытием оздоровляющим — является констатирование, что в английском языке (а также и в большинстве неиндоевропейских языков) вовсе не различается грамматический род и что, следовательно, тот нелепый факт, что *стол* мы причисляем к классу мужчин, а *скамью* — к классу женщин, есть языковой мираж (исторический пережиток с очень сложной историей), вовсе не обоснованный в самых понятиях (по крайней мере современных). Разумное изучение иностранных языков приводит к тому, что мы перестаем считать грамматическую категорию вида обязательным атрибутом действия — глагола, как это внушается нам русским языком. Вообще соотношение видов и времен в разных языках является тонким и сложным делом, требующим большой вдумчивости, но играющим очень важную практическую роль для точного понимания текста, а иногда даже и просто для улавливания его общего смысла. Значение занятий подобными вещами состоит, конечно, не в философском их освещении (это не дело средней школы), а в том, что учащиеся понемногу, всем ходом занятий приучаются не скользить по привычным им явлениям родного языка, а подмечать разные оттенки мысли, до сих пор не замеченные ими в родном языке. Это можно назвать преодолением родного языка, выходом из его магического круга. В родном языке нечего подме

⁶ Следует подчеркнуть, что переводы для этого должны быть «точными», причем нужно иметь в виду, что самое понятие «точности» вовсе не такое простое, как это может показаться на первый взгляд: оно не совпадает ни с дословностью, ни с литературностью. Более детальное обсуждение этого понятия завело бы меня, однако, слишком далеко.

чать — в нем все просто и привычно и чаще всего не возбуждает никаких сомнений. На уроках развития речи приходится проявлять большую виртуозность, чтобы остановить внимание детей на узких — либо самых простых — языковых явлениях. Уроки перевода с иностранного языка (даже без выработки окончательного литературного текста) по существу заставляют вникать в самые тонкие оттенки значений. Я бы сказал, вовсе не считая это парадоксом, что вполне овладеть родным языком (я, конечно, имею тут в виду литературный язык), — т. е. оценить все его богатство, все его выразительные средства, понять все его возможности, — можно, только изучая какой-нибудь иностранный язык. Ничего нельзя познать без сравнения, а единство языка и мышления не дает нам возможности отделять мысль от способов ее выражения. Иностранный язык дает нам эту возможность, выражая ту же мысль другими терминами, помогает вскрывать разнообразные средства выражения и в родном языке и отучает смешивать способы выражения с существом вещей: *погаси свет, погаси электричество, поверни выключатель* могут выражать одну и ту же мысль.

XII. Перейдем к примерам, простым и сложным, которые должны пояснить сказанное в начале предшествующего раздела. Кажется простое слово в русском языке *булка*, а как его перевести на французский или немецкий языки? *Pain blanc, Weissbrot*? Но ведь это наш *белый хлеб*. Очевидно, в понятии *булка* имеются некоторые признаки, которые лишь описательно можно выразить в других языках.

Наш *кипяток*, который ведь может и не кипеть, тоже не имеет соответствий ни во французском, ни в немецком языках, ибо *eau bouillante, kochendes Wasser* значит *кипящая вода*. *Холодный кипяток* — нечто совсем непере译имое. Французское *chaud* более широкое, чем русское *теплый* и *горячий*, каждое в отдельности, а французское *tiède* не *теплый*, а только *тепловатый*. Между прочим, русскому выражению *он отнесся* (к чему-либо) *прохладно* соответствует французское: *il resta tiède*. Образ оказывается совершенно другой: по-французски подчеркивается отсутствие «горячести» (*chaleur*), а русское выражение (которое, вероятно, все же возникло под влиянием французского) исходит из понятия «холодного». Это показывает, что слово *tiède* имеет в своем значении элементы, которых нет в русском *тепловатый*, — оттенок некоторой нейтральности, безразличия.

По-французски *homme* прежде всего *мужчина*, а потом уже — в более отвлеченном языке — может употребляться и в смысле *человек*.⁷

⁷ Ср. украинское *чоловік* — 'взрослый мужчина, муж'.

По-русски и люди и животные *едят*; по-немецки *die Menschen essen, die Tiere fressen*, и переводить *fressen* через *жрать*, как это часто делают, может быть правильно лишь в некоторых контекстах.

По-русски *дерево* — растение и материал; кроме того, имеется особое слово — *дрова*; по-французски в первом случае говорится *arbre* (по-немецки *Baum*); во втором и третьем случае безразлично употребляется слово *bois* (по-немецки *Holz*), которое значит и *лес* (по-немецки *Wald*). По-русски *лес* может значить и *строительный лес*, в каком смысле, однако, немецкое *Wald* никак не может быть употреблено, а по-французски говорится *bois de construction*.

Понятие *серый* во французском и немецком языках обозначает и наше *седой*, очевидно, однако, ему вовсе не соответствуя, так как в соответственных случаях употребляется понятие *белый*.

По-немецки *dick* и *dünn* не только *толстый* и *тонкий*, но и *густой* и *негустой* (однако *жидкий* будет *текущий*). По-французски *тонкий* (в обхвате) будет *fin*, а *тонкий* в одном измерении будет *mince*. Первое имеет также значение *стройный*, *изящный*, *острый* (об игле и т. п.), *проницательный*; второе — *незначительный*, *малый*.

Примеров можно приводить без конца: каждое слово в сущности дает повод к целой диссертации, особенно если обратиться к словам отвлеченным. Но в школе, конечно, не требуется диссертаций, а все дело сводится к наиболее полному и глубокому пониманию текста. Больше всего материала дают, конечно, хорошие литературные тексты, на чтении и толковании которых и должно строиться преподавание иностранных языков, особенно в старших классах, когда основы этих языков уже заложены в более юном возрасте.

ХIII. В результате правильно поставленного обучения иностранным языкам — при достаточном количестве часов и при большом количестве прочитанного и истолкованного художественного материала — будет достигнуто следующее:

1. Учащиеся приучатся внимательно читать книги — навык драгоценный, ибо чтение только на одном родном языке создает привычку интуитивно схватывать лишь общий смысл. Навык же внимательного чтения совершенно необходим для всех лиц, имеющих дело с книгами или даже просто с газетами, и наличие его должно быть абсолютным условием допущения в вуз или втуз.

2. На основе этого навыка учащиеся поймут механизм грамотного (стилистически) письма, поймут его важность и необходимость в практической жизни, в учрежденческой пере-

писке, в текстах распоряжений, приказов, а тем более законов и т. п., а раз поймут все это, то и будут стремиться к сознательному овладению стилем.

3. Освободясь из плена родного языка, учащиеся привыкнут видеть вещи так, как они есть в действительности, и во всяком случае получают основательную зарядку критического отношения к окружающему и к читаемому. С философской точки зрения они получают практическую школу диалектики, так как будет разрушено — и окончательно разрушено — представление о незыблемости понятий, которое внушается родным языком, если его детально не сопоставлять с каким-либо иностранным, т. е. практически — если не переводить большого количества трудных текстов.

4. Получится навык к самостоятельному изучению иностранных языков вообще, по крайней мере к овладению их книжной формой. Мы видим, как наша вузовская молодежь испытывает затруднения в работе над отдельными вопросами, не получив настоящей лингвистической прививки в школе. Старая латынь и ее серьезное изучение открывали двери ко всем языкам.

5. Наконец, учащиеся приобретут умение самостоятельно читать любой текст любой трудности на изучавшемся языке. Скорость чтения (основное мерило практической полезности этого умения — мерило, которое как-то недостаточно учитывается нашей методикой) будет зависеть от числа часов, отведенных в школе на язык, но она всегда с легкостью может быть доведена до практически нужной степени путем самостоятельного чтения, раз в школе дано соответственное направление. Овладение разговорными навыками целиком будет зависеть от числа часов в школе.

Общеобразовательным в строгом смысле слова является, конечно, пункт 3. Пункты 1 и 2, хотя и говорят о практически полезных вещах, не могут, однако, быть признаны общеобразовательными.

Общеобразовательное значение изучения второго языка, здесь вкратце очерченное, было причиной того, что латынь так упорно держалась и еще держится в школьных системах.

XIV. В результате всего сказанного, я думаю, становится очевидным, что иным путем, т. е. вне правильно поставленного изучения иностранных языков — будь то латынь, будь то новые языки, — нельзя готовить людей, владеющих пером (в самом широком смысле слова), на каком бы специальном поприще они ни подвизались. Никакие писатели, журналисты, критики, репортеры, литературоведы, юристы, авторы проектов, докладных записок и т. п. немислимы вне подобной школы.

Наконец, иным путем нельзя подготовить просто хорошего читателя, иначе его поле зрения будет ограничено современной литературой на родном языке. Всякая развитая литература связана с прошлым — своим и чужим — и недоступна в сущности для понимания при незнании этого прошлого.

В заключение повторяю то, что говорил выше: человеку, не изучавшему языков, очень трудно выйти из довольно ограниченного круга понятий, мыслей и вкусов; ему трудно сделаться человеком с широким кругозором.

XVI.* Теперь естественно, возникает вопрос о выборе языка. Нет ли в латыни с той или иной точки зрения каких-либо преимуществ перед другими языками? Выше уже было сказано, что в строе культурных языков не бывает ничего такого, что бы делало тот или другой язык сам по себе лучше других. Все дело в литературной обработке языка, т. е. в богатстве написанного на нем, и потому нет никаких принципиальных оснований, почему для общеобразовательных целей латынь надо предпочитать, например, французскому или английскому языку. Казалось бы, наоборот: эти последние надо предпочитать практически бесполезной латыни.⁸ Я так и смотрю на дело и считаю, что новые языки с их разнообразнейшей литературой, органы живых развивающихся культур с богатой традицией, обязательно должны взять на себя в качестве учебного предмета общеобразовательную роль латыни. Однако надо признать, что у нас и сейчас еще новые языки как учебный предмет абсолютно чужды общеобразовательных задач. Они развивались у нас исключительно под знаком практической полезности и в значительной мере усвоили себе идеалы «прямыстской» методики, ставящей себе целью, как это сказано было выше, практическое владение языком. Идеалом же практического владения языком является чисто интуитивное владение им; в конце концов иностранный язык для этого

⁸ Когда я называю латынь «практически бесполезной», то говорю это, конечно, с очень узкой точки зрения, т. е. в том смысле, что никто сейчас не говорит и не пишет по-латыни. Но само собой разумеется, что латынь, как отправная база всей современной европейской культуры, не может быть для нас бесполезной: без нее нельзя понять наших современных языков в их историческом развитии, так как они все (в том числе и русский) пропитаны латынью. Научный язык и, в частности, терминологии плохо понятны без знания латыни. Особенно это чувствительно для нас, русских, так как в нашем повседневном языке латинских элементов сравнительно меньше, чем в западноевропейских языках. Для нас, русских, имел бы историческое значение греческий язык, через церковнославянский оказавший в свое время решительное и благодетельное влияние на формирование нашего литературного языка, но его изучение в широком масштабе очень затруднительно, и это дело надо уже предоставить специалистам-русистам.

должен стать как бы вторым родным языком учащихся, и при этом вне какой бы то ни было связи с первым родным языком. В противном случае два языка будут влиять друг на друга, и легко может получиться некий смешанный язык, известный под шутливым названием «нижегородско-французского» и т. п., поэтому-то все усилия домашнего обучения языкам, а также прямистской школьной методики направлены к изоляции иностранного языка от родного, что абсолютно, как мы видели, лишает изучение иностранного языка всякого общеобразовательного значения. В самом деле, можно свободно владеть несколькими иностранными языками и быть малокультурным человеком. Старшему поколению памятно свободно «болтающие» по-французски и по-немецки молодые девушки, которые, как правило, никоим образом не могли считаться высокообразованными. Вообще надо иметь в виду, что полиглот вовсе не то же, что филолог.

Единственным преимуществом латыни — и вообще мертвых языков — можно бы считать отсутствие соблазна к активному овладению ею: в наши дни действительно смешно обучать кого-либо говорить и писать по-латыни, а следовательно и смешно применять в данном случае прямистскую методику.⁹ Преподавание латыни неминуемо сводится к чтению текстов и тем самым получает общеобразовательное значение.

XVII. Какой же выход из создавшегося положения? Очевидно, надо пересмотреть методику новых иностранных языков в связи с необходимостью придать им общеобразовательные задачи. В частности не менее очевидно, что надо решительно отказаться от традиционной изоляции изучаемого языка от родного и пытаться получать нужные результаты иными способами. Практика отчасти уже вступила на этот путь, так как в условиях школьного обучения фактически нельзя было осуществить то, что вполне удавалось дома с гувернанткой. Однако теоретическая методика не пошла на прямой разрыв с традицией и не углубила вопроса до конца. Между тем если на практике в школе невозможно совсем оторвать иностранный язык от родного, а с точки зрения новых общеобразовательных задач предмета должно иметь место как раз обратное, то вполне естественно попытаться сделать из родного языка не врага, а друга и помощника. И это вполне возможно, если иностранный язык начинается с четвертого, пятого года обучения, т. е. когда дети начинают уже более или менее сознательно относиться к явлениям родного языка. При обучении иностран-

⁹ Попытки применить ее как «прогрессивную» к латыни были, однако, сделаны со стороны некоторых педагогов-классиков, хотевших этим спасти умирающую латынь.

ному языку в этих условиях можно и надо всегда отталкиваться от родного языка: по-русски так, а в иностранном языке это совсем иначе. Таким образом, все своеобразие иностранного языка не должно усваиваться бессознательно, практически, а должно быть, наоборот, сознательно противопоставляемо явлениям родного языка. В дальнейшем, при закреплении проходимого материала путем соответственных упражнений, сознательное станет бессознательным, как это бывает и во всех других областях нашего знания.

«Реформа» стремилась сразу создать бессознательное владение иностранным языком, идя от заучивания готовых фраз и целых разговоров (конечно, в какой-то последовательности, начиная с простейших). Осознание практически изученных норм отодвигалось на второе место и во всяком случае не ставилось ни в какую связь с нормами родного языка, а следовательно, даже самые очевидные противоречия между двумя языками оставались обыкновенно в тени. Более же тонкие противоречия, примеры которых приводились выше, принципиально не вскрывались, а так как в общеобразовательной школе количество часов все же недостаточно для полного и твердого овладения чужим языком по прямому методу, то неосознанные расхождения между родным языком и данным иностранным приводили на практике к тому, чего так боялась «реформа», т. е. к смешению языков и к разным своеобразным воляшкам, о которых было говорено выше. Надо откровенно это признать и в этом пункте¹⁰ перевернуть традиционную методику, а именно идти от сознательного владения языком к бессознательному. Я думаю, что в условиях преподавания иностранного языка в общеобразовательной школе этот метод даст в конце концов лучшие результаты даже и в чисто практическом смысле: если он не обеспечит вполне беглого разговора (традиционная методика добивалась этого лишь по отношению к определенному количеству тем, разученных в классе), то он может обеспечить хоть и затрудненный, но более или менее правильный разговор на любые темы и особенно — более или менее правильное письменное изложение мыслей. Он безусловно даст хорошее понимание текста любой трудности и по самой своей природе не может не обеспечить преподаванию языка общеобразовательного значения, как это было сформулировано выше.

Так, мне кажется, целиком разрешается противоречие между практическим и общеобразовательным значением новых иностранных языков как учебного предмета.

¹⁰ Говорю «в этом пункте», так как во многих других прямистская методика выработала много правильных и ценных приемов.

XVIII. Выше неоднократно говорилось, что с общеобразовательной точки зрения особо важным является чтение трудных — лучше всего художественных — текстов, что очевидно, может иметь место на старшей ступени. Однако само собой разумеется, что подобное чтение возможно лишь тогда, когда уже заложены основы данного языка. В этой связи надо сказать несколько слов о преподавании языков в младших классах. Дело в том, что в обучении языкам на начальной ступени многое должно быть взято памятью; это легче и проще всего сделать именно в младших классах, начиная с четвертого, пятого года обучения, когда дети еще охотно учат то, что в старшем возрасте им кажется скучным и бессмысленным. Но это надо сделать при достаточном числе часов — никак не менее одного часа каждый день, для того чтобы сразу сдвинуть дело с мертвой точки и чтобы дети уже с третьего года обучения иностранному языку могли самостоятельно читать что-либо для себя интересное, иначе получается бесконечное повторение одного и того же из года в год, топтанье на месте, что разочаровывает детей и делает уроки языка ненавистными.

Методика начального обучения в младших классах (начиная с четвертого года обучения) прекрасно разработана (и это ценное наследие «реформы») и основана на освоении разговорных навыков. Необходимо только развить в ней момент самостоятельного чтения учащихся (на это в «реформе» обращалось мало внимания), и за два года при 12 недельных часах это можно сделать. Само собой разумеется, что момент сравнения с родным языком не должен упускаться из виду с самого начала обучения вопреки традиционной прямистской методике.¹¹

Можно, конечно, начинать преподавание языков и раньше, но при том же условии — большого числа часов — и по тем же причинам. Начинать их придется, вероятно, по бессознательной, имитативной методике; но с IV класса обязательно следует переходить на другие рельсы и осмыслить все пройденное.

XIX. Остается осветить еще один вопрос, который легко может возникнуть в тот момент, когда всем предметам придется немного потесниться для того, чтобы вернуть в учебный план нашей общеобразовательной школы лингвистику, или, как я предпочитаю говорить, филологию, понимая под этой

¹¹ Это, конечно, не значит, что на уроках иностранного языка может царить русский язык: учащиеся как можно больше должны слышать правильную иностранную речь учителя.

последней искусство сознательно читать трудные тексты. В самом деле, надо смотреть, не будет ли она дублировать с общеобразовательной точки зрения каких-либо других учебных предметов.

Пересмотрим для этого основные учебные предметы.

1. Начнем с математики. Традиционно говорится, что математика служит для развития отвлеченного мышления. Мне кажется, что это не совсем правильно, так как слишком обобщено: математическое мышление чересчур специфично, чтобы приучать к отвлеченному мышлению вообще. Я полагаю, что значение математики как школьного предмета (помимо его очевидного практического значения) состоит в том, что она учит строгости и точности мышления, и считаю это очень важным общеобразовательным моментом.¹² Во всяком случае совершенно ясно, что математика — не конкурент филологии по общеобразовательной линии.

2. Физика и химия, помимо комплекса сведений, необходимых в багаже современного образованного человека, имеют, как мне кажется, две общеобразовательные задачи:

а) приучать ставить вопрос «почему» по отношению к миру физическому и находить на него ответ;

б) показать эксперименты как одну из основ научного познания и всякого прогресса вообще.

В тесной связи с этими общими задачами на физике и химии должна, конечно, развиваться и техническая находчивость, игравшая и играющая едва ли не первенствующую роль в нашей жизни. Совершенно очевидно, что ни физика, ни химия абсолютно ничего не дают в том направлении, в котором находится общеобразовательное значение филологии.

3. Переходим к естествознанию в узком смысле слова. Его общеобразовательное значение, по-моему, лежит в воспитании наблюдательности. Оно должно, так сказать, раскрыть учащемуся глаза на природу (для этого, конечно, предмет не должен быть перегружен сведениями и номенклатурой). Филология тоже развивает наблюдательность, но на вещах совершенно иного порядка, и можно смело сказать, что мы имеем здесь дело с двумя совершенно разными, чтобы не сказать — противоположными навыками.

Есть, кроме того, одна очень важная идея, развития которой можно было бы ожидать от естествознания в школе, — это «человек в цепи прочих организмов» (идея эволюции).

¹² Я хотел бы, кроме того, чтобы оканчивающие школу чувствовали математику как метод представления действительности в ее количественных взаимосвязях, но кажется, что это дело высшей школы и подлинный смысл математики невозможно вполне раскрыть в общеобразовательной школе.

Эту идею, конечно, можно и должно преподнести в свое время, но, вероятно, скорее догматически (само собой разумеется, с богатыми иллюстрациями), и едва ли можно сделать ее одним из органических стержней естествознания в школе без совершенно ненужной и даже вредной гипертрофии предмета. Поскольку я говорю об общеобразовательном значении предметов, постольку я не касаюсь разных общепользных сведений по естествознанию (например, по анатомии и физиологии человека), а также приложений естествознания к агротехнике.

4. Переходим к истории, общеобразовательное значение которой совершенно очевидно: идея преемственности, идея развития постепенного и скачкообразного. На этом предмете, одним словом, воспитывается историческое миросозерцание. Трудным является только вопрос о том, на каких материалах все это преподносить. Очевидно, что тут надо бояться перегрузки, но это уже вопрос, выходящий за пределы моей темы. И здесь, конечно, общеобразовательные задачи никак не совпадают с задачами филологии, хотя, конечно, знакомство с иными учреждениями, с иным бытом и т. п. и внушает здравую мысль о разном содержании в разные эпохи якобы одних и тех же слов.

5. Переходим к географии. Основное ее значение лежит, конечно, в цикле общепользных сведений, без которых не может обходиться современный образованный человек; сюда относится прежде всего знание карты. Однако, как я уже говорил об этом раньше, разумное преподавание географии путем постоянного сравнения может содействовать разрушению закостенелых, узких понятий и если и не вырывает мысль из плена слова, то все же подготавливает для этого почву, и в этом смысле география может быть помощницей филологии. Так я понимаю основное общеобразовательное значение географии и независимо от филологии. Конечно, можно многое и другое общеобразовательное увидеть в географии, но все это мне не кажется абсолютно специфичным. Интересного много в разных науках, но нельзя все интересное вносить в школу: надо помнить, что науки и учебные предметы не совпадают.

6. Переходим к родному языку и литературе. Здесь не место доказывать, что это один учебный предмет; к сожалению, даже не все филологи хотят это понять. Практическая полезность и важность предмета так очевидна, что на ней останавливаться не буду. Общеобразовательное же значение состоит в том, что здесь дети научаются наблюдать слово, а через него и самую мысль: изучая средства выражения, мы изучаем и выражаемое, и таким образом изучение языка переходит в изучение литературных произведений. С этим

связано воспитание эстетического восприятия, где тоже литература не может быть отделена от языка. Наконец, с изучением литературы — и на этот раз действительно только литературы — тесно связано формирование мировоззрения. Как я показал, надеюсь, достижение первой и второй общеобразовательной задачи родного языка и литературы немислимо без термина для сравнения, т. е. без изучения иностранного (второго) языка. Таким образом, родной язык и иностранный язык образуют тесно связанную пару предметов, являясь филологической основой всего образования, и немислимы один без другого.

XX. Позволю себе привести ряд примеров, показывающих суть и смысл филологической работы, как я ее понимаю.

1. Во фразе из «Орленка» Ростана: *Oh! toi, qui que tu sois, ami, c'est à mains jointes Que je te remercie* — выражение *à mains jointes* очень удачно, казалось бы, перевести *сложив руки*. Однако это было бы абсолютно фальшиво. По-французски *main* — не 'рука', а только 'кисть руки'. Следовательно, скорее можно было бы сказать *стиснув руки*. Это несколько лучше передавало бы материальную сущность дела. Однако все же и жест и смысл его другие: у нас *стиснуть руки* можно в отчаянии, в затруднительном положении и т. п. По-французски — это специально молитвенный или просительный жест или, наконец, жест умиления, который обязательно к кому-то адресуется и русского обозначения, по-моему, не имеет, так как и самый жест, пожалуй, нам несвойственен. Он известен собственно только в литературе и является, конечно, заимствованным. Неуклюжий, но довольно точный перевод мог бы быть: *молитвенно протягивая к тебе руки*.

2. В другой фразе оттуда же: *Nous qui par tous les temps n'avons cessé d'aller Suant sans avoir peur, grelottant sans trembler* — неискушенный переводчик может легко понять выражение *par tous les temps* в смысле 'всегда' (по-русски в данном контексте было бы *никогда*). Однако его должен остановить предлог *par* (а не *dans, en* или *à*), который, употребляясь в выражениях *par cette chaleur* ('в такую жару'), *par ce froid* ('в такой холод'), показывает, что *temps* здесь значит *погода*. На это указывают и дальнейшие *suant* ('потая') и *grelottant* ('дрожа от холода'). Обращаю, кстати, внимание на красивый трюк: *grelottant sans trembler* ('дрожа без того, чтобы дрожать'), где *grelotter* значит только 'дрожать от холода', а *trembler* *дрожать* (вообще) и, в частности, *дрожать* (от страха).

3. Во фразе оттуда же: *Mais ils vous ont, tonnerre, Un louis-quinze ici*, где идет речь о меблировке, неопытного человека легко может сбить *vous*, которое ему захочется считать

за прямое дополнение, между тем здесь это так называемый *dativus ethicus*, в данном тексте плохо переводимый на русский язык, но аналогично которому можно найти и у нас, например во фразе *они вам латынь отлично знают*, где *вам* вовсе не значит *для вас*.

4. Фраза из известного стихотворения Гейне:

Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Höh'

передана, как известно, у Лермонтова так:

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна.

В статье [помещенной в сборнике] «Советское языкознание»,* посвященной сравнительному анализу соответственных стихотворений Гейне и Лермонтова (которая, кстати сказать, является сплошной иллюстрацией моих основных положений), я показываю, что перевод (независимо от неудачной передачи слова *Fichtenbaum* через *сосна*) совершенно искажает мысль. Дело в том, что многое зависит от взаиморасположения так называемых грамматических подлежащих и сказуемых: если я скажу — *мой брат приехал*, с нормальным фразовым ударением на последнем слове, то я этим говорю о моем брате, что он приехал; если же я скажу — *приехал мой брат* (тоже с фразовым ударением на последнем слове), то я этим или просто сообщаю о факте приезда моего брата, или говорю (при ударении и на *приехал*), что приехавший оказался моим братом. У Гейне говорится о сосне, что она там-то находится, и сосна получает некоторую активность, являясь героем пьесы. У Лермонтова же говорится о факте нахождения в известной местности сосны, которая, таким образом, лишается активности. Это, в связи с целым рядом других отступлений от гейновского текста, как я стараюсь показать в своей статье, создает стихотворение совсем другой направленности, несмотря на видимую близость текстов.

5. В том же стихотворении у Гейне говорится о сосне: *Er (Fichtenbaum) träumt von einer Palme*, — что Лермонтов перевел: *И снится ей (сосне) все, что . . .* Между тем *träumen* значит и *мечтать*; но главная неточность состоит в замене личного (активного) оборота безличным (пассивным), что гармонирует с лермонтовским замыслом, но находится в вопиющем противоречии со стихотворением Гейне.

6. Наконец, у Гейне говорится о пальме, что она (*trauert auf brennender Felsenwand*). Не говоря о том, что лермонтовский перевод — *на утесе горючем* (растет) — не годится, с точки зрения гейновского текста, укажу только на трудность

точного перевода. Во-первых, *ymtes* вовсе не то, что *Felsenwand*, что значит *отвесная скала* и что имеет большое значение для образа, так как подчеркивает неприступность скалы, а следовательно изолированность пальмы, ее как бы тюремное заключение. Далее, *brennen* значит 'гореть, жечь', поэтому можно было бы перевести *горящий*, но слово это решительно слабее немецкого *brennend*, и последнее, вероятно, надо перевести, хотя все же не совсем точно, *пылающий*.

7. Во фразе из рассказа В. Бределя «Des königlichen Verwalters letztes Geschäft» в сборнике «Der Kommissar am Rhein»: *...bewegte sich durch die lärmenden Gassen der Faubourg Saint-Antoine ein Trauerzug. . .* — в общем понятное слово *lärmenden* (Gassen) представляет серьезные затруднения для точного перевода: перевести дословно *шумящие* (улицы), конечно, невозможно, да будет и неверно, и придется перевести просто *шумные*, но при этом совершенно исчезает глагольный оттенок немецкого слова, который превосходно рисует парижскую улицу с ее шумным подвижным населением.

8. Во фразе оттуда же: *Schliesslich hatte niemand mehr öffentlich an seiner Erscheinung Anstoss zu äussern gewagt* — неопытный русский переводчик поймет *Erscheinung* как 'появление', что будет абсолютно неверно: здесь *Erscheinung* значит 'явление', но только по-немецки этот термин может быть применен и к людям.

Прибавлю еще несколько примеров просто из русского.

9. Во фразе из романа «На горах» Мельникова-Печерского: *Воспитание давалось ей обыкновенное для того времени — няня была француженка, немка, учительница музыки, учительница пения, а русский язык, русскую историю и закон божий велели учить уволенному за пьянство из соседнего села дьякону* — слово *обыкновенный* имеет значение «обычный, привычный», хотя само по себе это слово имеет значение «ничего особенного не представляющий».

10. В следующей фразе оттуда же: *В степной глуши, по верховьям Тихого Дона, вдали от больших дорог, городов и людных селений стоит село Луповицы. Село большое, но строенье плохое в нем, как зачастую бывает в степных малолесных местах. . .* — слово *степной*, употребленное дважды, имеет разные значения: в первом случае сочетание в *степной глуши* имеет смысл «в глуши степей», и даже я сказал бы «в степях, в глуши», во втором случае (*в степных малолесных местах*) слово *степной* имеет качественное значение и никак не может быть заменено через существительное.

11. Фраза из монолога Пимена в «Борисе Годунове» Пушкина: *Младая кровь играет* — не представляет собой, на первый взгляд, ничего особенного, между тем ее мудрено пере-

вести на иностранные языки: *кровь* не может ни *jouer*, ни *spielen*, даже *jeune sang* и *junges Blut*, по-моему, не передают вполне идеи Пушкина.

Некоторое число дальнейших хороших примеров можно найти в моей статье «О практическом и общеобразовательном значении иностранных языков», совершенно затерянной в малоизвестном издании «Вопросы педагогики», вып. I, Л., 1930.

Я оставляю в стороне прочие предметы, как старую космографию, философскую пропедевтику и др., а также такие дисциплины, как черчение, рисование, чистописание, музыка, пение и т. п. Эти предметы, очевидно, не являются конкурентами иностранных языков по своему общеобразовательному значению, и ни один из них не может быть базой общего образования.

Из этого краткого обзора общеобразовательного значения отдельных предметов вытекает, что ни один из них никоим образом не может заменить в этом отношении филологию и что, таким образом, школа, лишенная филологического элемента, является школой однобокой, не могущей, как я старался показать, воспитывать людей высокой культуры.

ТРУДНОСТИ СИНТАКСИСА РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ РУССКИХ УЧАЩИХСЯ¹

Было время, и не такое давнее, когда утверждали, что «грамматика учит правильно говорить и писать». Большие усилия были употреблены на критику этого положения в области обучения языкам вообще и родному языку в частности (между прочим см. статью Л. В. Щербы «О служебном и самостоятельном значении грамматики, как учебного предмета» в «Трудах первого съезда преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях», [СПб.,] 1904). В результате критики пришли к положению, что грамматика в школе может лишь учить осознавать факты уже усвоенного языка, а потому значение ее в школе, по крайней мере в области родного языка, по преимуществу образовательное, а не практическое. При этом, конечно, предполагалось, что дети, приходящие в школу, уже владеют своим родным языком. Но надо признать, что тогда как-то не учитывалось то обстоятельство, что всякий литературный язык, а тем более литературный мирового зна-

¹ Из работ грамматического кружка при Кабинете родного и иностранных языков Государственного института научной педагогики в Ленинграде. Написано в соавторстве с Е. В. Герке, О. И. Козелюкиной, Н. Н. Роде, В. В. Трубицыным.

чения,² не может быть вполне родным языком детей, к какому бы классу они ни принадлежали, и что таким образом всякому литературному языку приходится обучать в известной степени, как иностранному. Это дало себя чувствовать особенно в последнее время, когда революция широко раскрыла двери средней и высшей школы и когда мы благодаря этому имеем дело в лице учащихся с представителями самых разнообразных диалектов. Все это заставляет нас теперь, синтезируя противоречащие положения, высказывавшиеся в прошлом, признать за грамматикой и практическое значение; критическое же отношение к этому последнему должно быть отнесено главным образом за счет методов ее преподавания, а также за счет ее содержания.

Действительно, наша русская школьная грамматика, особенно в современном своем виде, менее всего может учить языку. В этом приходится особенно наглядно убеждаться при обучении русскому языку иностранцев и представителей наших националов, когда со стыдом бываешь вынужден признать, что у нас в сущности нет разработанной русской грамматики.

Как же помочь горю? Ждать, пока ученые сделают настоящее полное описание русского литературного языка, — долго. Надо действовать практически, а для этого надо посмотреть, что нашим учащимся трудно в русском литературном языке, в чем они особенно часто ошибаются, и соответственно ориентировать наши школьные учебники русского языка. Настоящая статья имеет целью на основе анализа ошибок учащихся³ в области синтаксиса найти в русском синтаксисе то, на что должно быть обращено наибольшее внимание при его прохождении, найти те его правила, которые чаще всего нарушаются учащимися. Поэтому в основе статьи лежит просто некий фактический материал в виде реальных ошибок учащихся. Этот материал был нами проанализирован и расположен в таком порядке, чтобы он сам собой дал нужные выводы. Надеемся, что и в таком виде наша работа будет полезна для методистов, для авторов учебников, а как некое *memento* и для всех вдумчивых педагогов. Цифры ошибок каждого раздела не имеют, конечно, большого значения, так как они слишком малы, однако иногда и они наталкивают на некоторые соображения.

² Русский язык несомненно должен быть отнесен к таким языкам: достаточно взглянуть на карту и сообразить то обстоятельство, что в СССР зарегистрировано наукой 169 народностей (см.: Труды Комиссии по изучению племенного состава СССР и сопредельных стран, вып. XIII. Л., Изд-во АН СССР, 1927).

³ Материалом, в значительной мере случайным, послужили 193 сочинения учащихся разной подготовки, державших в 1926 г. вступительные экзамены в вузы. Подробнее об этом см. нашу статью «Классификация ошибок в сочинениях учащихся» (Вопросы педагогики, 1929, вып. V—VI).

І. Ошибки в согласовании

1. Единственное число согласующегося слова вместо множественного при нескольких именах, к которым оно относится, — 8.

«Новый *быт* и новая *деревня* *нашла* свое отражение. . .»⁴

В этих случаях мы имеем, стало быть, дело с неумением согласовать по совокупности.

2. Множественное число вместо единственного при именах существительных в единственном числе со значением совокупности — 15.

«. . . *проходят* целый ряд *типов* . . .»; «Окованное тяжкими цепями крепостничества *крестьянство* 50—60 годы *были* рабами своих помещиков . . .».

Здесь, следовательно, мы встречаемся с тенденцией согласовать по смыслу, а не по форме. Надо отметить, что ошибки этого типа некоторыми из учащихся делаются с полным сознанием своей правоты. На попытку привлечь к ним внимание один из учащихся ответил: «Крестьянство — так ведь же множество, а не единство». Возможно, что мы имеем здесь дело с проявлением непривычки к отвлеченному мышлению. Впрочем, при таких словах, как *ряд*, *множество*, *несколько* и т. п., множественное число особенно склонно появляться в русском языке, и все эти случаи требуют особых и повторных упражнений в школе.

3. Ошибки в согласовании слова «который» в так называемом «придаточном предложении» — 8.

«. . . отозвалось на ее культурном *развитии*, *который* был низок».

Согласование этого слова требует особого внимания со стороны преподавателя (ср. ниже раздел II, п. 8).

4. Ошибки согласования при выделительном обороте с «из» — 5.

«Самодурство — как *одно* из *черт* прошлой русской действительности»; «*Лучшим* из общественно-бытовых *комедий* является «Горе от ума» Грибоедова».

Затруднительность этого оборота в том, что при нем происходит двойное уподобление: в числе подлежащему, в роде управляемому слову. Этот оборот также требует особых упражнений.

5. Ошибки в согласовании в силу смешения двух конструкций — личной и безличной — 10.

«. . . *выведено* ряд *типов*».

⁴ Количество примеров в данном издании сокращено, — *Ред.*

Со сказывающейся, по-видимому, здесь склонностью учащихся к употреблению безличного оборота преподаватели должны усиленно бороться.

6. Ошибки в согласовании обособленных прилагательных и причастий — 20.

а) При непосредственном следовании за определяемым словом — 9.

«До 1861 года крестьяне являлись *крепостными, находящиеся* под властью помещиков».

б) При некоторой запутанности конструкции — 11.

«Первое — старое течение, преобладающее в тогдашнем чиновничестве, наиболее ярко выступает в лице *Фамусова, идеализирующего* прошлое и *живущее* только им».

На двух первых примерах видно, как по мере удаления от определяемого слова синтаксическая связь с ним ослабевает.

Большое число ошибок показывает, что этот специально-книжный оборот представляет особые затруднения (ср. раздел V, п. 5 и 5-а).

7. Ошибки в согласовании приложений — 1.

«... превратил ее из женщины-раба в женщину-товарищ».

По-видимому, в очень тесных сочетаниях существует тенденция не склонять одно из слов (ср. «с Николай Ивановичем»).

8. Ошибки, носящие случайный характер, аналогичные «оговоркам» в устной речи, — 16.

«... является руководительницей, *главой своей класса*».

В большинстве случаев эти ошибки объясняются тем, что согласование было сделано не с тем словом, с каким надо. Поэтому они, как впрочем и весь отдел, говорят лишь о необходимости многочисленных упражнений в синтаксическом разборе (ср. раздел II, п. 11).

Всего по разделу — 83 ошибки.

II. Ошибки в управлении

1. Родительный, примененный вместо другого падежа, — 10.

«... участвовать в *управлении государства*».

В большинстве случаев это будут ошибки на употребление *genetivus objectivus* в неподходящих условиях (при существительных, образованных от глаголов, не управляющих винительным падежом).

1. Винительный приглагольный вместо другого падежа — 15.

«... развитие промышленности *потребовало рабочие руки*...».

Ошибки этого и предшествующего пунктов показывают, что все не абсолютно обыденные приименные и глагольные конструкции должны быть изучаемы, так как довольно ясно

выступает тенденция употреблять в первом случае всегда родительный падеж, а во втором — всегда винительный.

3. Разные случаи неправильного управления, основанные большей частью на незнании традиционного употребления и на применении управления по смыслу, — 23.

«. . . касаясь о роли банков XX столетия. . .»; «. . . льстит перед людьми. . .».

Большое число ошибок показывает на то же, что и предшествующие два параграфа, т. е. на необходимость разучивать конструкции отдельных слов так же, как это делалось когда-то при изучении латинского языка.

4. Винительный падеж вместо родительного при отрицании — 2.

«. . . но делать ничто не мог»; «. . . он не получит себе насущный кусок хлеба».

5. Неправильное употребление родительного частичного — 1.

«. . . идет получить счастья».

Хотя имеется только одна ошибка, но, по-видимому, это случайность; на самом деле употребление родительного частичного — один из очень опасных пунктов нашего синтаксиса.

6. Именительный предикативный вместо творительного предикативного — 4.

«Представитель старого поколения является Фамусов».

7. Утрата управления при обороте с «как» — 4.

«В „Грозе“ он дает нам купеческий быт, как угнетатель и эксплуататор женщин».

8. Неправильный падеж слова «который» в так называемом «придаточном предложении» (ср. раздел I, п. 3).

«. . . достигаем то время, которое ждали с давних пор».

9. Одно общее дополнение при двух глаголах, требующих разных падежей, — 2.

«Религия есть один из оплотов для купечества, на которое оно опирается, и оправдывает все проявления своего самодурства».

10. Ошибки при хронологических датах — 1.⁵

«Освобождение крестьян в 1861 году».

Пункты 4—10 указывают отдельные опасные места в области управления, требующие внимания педагога, и говорят сами за себя, не нуждаясь ни в каких дополнительных пояснениях.

11. Ошибки, носящие случайный характер, аналогичные «оговоркам» в устной речи, — 10.

⁵ Цифра случайная, так как, по свидетельству практиков, это весьма распространенный тип ошибок.

«Чтением докладов на собраниях и частных бесед ветеринар может заинтересовать крестьянина»; «В лице Чацкий изображен человек. . .».

Некоторые из этих ошибок, как например первая, объясняются уподоблением ближайшему слову, ударному по смыслу; другие — диссимиляцией и т. д.; но все они, как и ошибки первого раздела (ср. особенно его п. 8), говорят о необходимости усиления синтаксического разбора.

Всего по отделу — 72 ошибки.

III. Ошибки в употреблении предлогов

1. Ошибки в употреблении предлогов по смыслу — 24.

«. . . проливать кровь и делаться жертвами *из интереса* капиталистов»; «. . . крестьянство улучшает свое хозяйство, но *через чего* улучшает»; «Диктатура государства — диктаторство того класса, который находится *во власти*» (вм. *у власти*).

Едва ли могут встречаться ошибки, основанные на незнании основных значений предлогов. В данном отделе мы имеем дело главным образом с незнанием разных установившихся сочетаний вроде «*в интересах* кого-либо» (а не *для* или *из* интересов), «*посредством* чего-либо» (а не *через* чего-либо) и т. п. и с неумением различать такие выражения, как «*быть во власти*» и «*быть у власти*», «*допустить до себя*» и «*допустить у себя*» и т. п. Собственно говоря, многие подобные ошибки относятся скорее к ошибкам словаря, так как в большинстве случаев эти сочетания не являются свободными; они должны быть выучены. Но их значительное число заставляет нас выделить их особо, чтобы указать на громадное поле необходимых упражнений в области употребления предлогов. Все эти и им подобные сочетания — а их множество — должны разучиваться в классе на примерах (ср. раздел II, п. 2, 3 и 7).

2. Ненужное повторение предлогов — 4.

«. . . иногда *в* очень *в* искаженном виде».

3. Пропуск предлога — 7.

а) При однозвучности предлога с началом следующего слова или концом предшествующего — 2.

«. . . ветеринария. . . имеет тесную связь (?) с/х» (вм. с сельским хозяйством); «. . . ненависть к помещикам — как (?) своим угнетателям стала расти».

Как показывают наблюдения над другим материалом, этот тип ошибок широко распространен и основывается на полном отсутствии привычки к морфологическому и синтаксическому анализу.⁶

⁶ При союзе «как» (2-й пример) пропуск предлога представляется нам в известных случаях допустимым, например «рассуждение о войне как причине разрухи», — *Ред. жур.*

б) При однородных членах в слитном сочетании — 5.

«... закрепощается трудностью добычи куска хлеба для детей и (?) себя».

Здесь видим нарушение важного правила русского синтаксиса (в других языках будет иначе), которого нет в учебниках.⁷

Всего по отделу — 35 ошибок.

IV. Ошибки в употреблении союзов и союзных слов

1. Пропуск одного из союзов при стечении их — 2.

«Мы знаем (?), где крестьянство убедилось, что без ветеринарии оно ни на шаг не двинется вперед, то оно крепко связывается с ветеринарией».

2. Лишние «что» и «то» — 3.

«... где ветеринария поставлена на должной высоте, то там можно заметить что... крестьянство улучшает свое хозяйство».

Ошибок немного, но нужно отметить, что эти «что» и «то» характерны. Как знает из практики каждый педагог, «что» является универсальным подчинительным союзом и часто попадает туда, где его не должно быть (ср. раздел VI, п. 4 и 5), а «то» — универсальным вспомогательным средством для разваливающейся конструкции.⁸

3. Незнание соотносительных союзных наречий вроде «как — так», «не только — но», «постольку — поскольку» и т. п. или неумелое их употребление — 15.

«Еще задолго до октября рисует нам А. Неверов... смелую женщину Марьяну, подзадорившую Аксиныю для (?) решительного шага, как уход от мужа».

4. Неправильное по смыслу употребление союзов и относительных слов — 9.

«... основная задача, сущность которой сводится к тому, что (вм. чтобы) СССР превратить из аграрной страны в страну промышленную».

Всего по отделу — 29 ошибок.

V. Ошибки в употреблении форм

Ошибки этого отдела говорят сами за себя и не требуют особых объяснений.

1. Местоимения — 25.

⁷ Однако у классиков в этом случае пропуск предлога в известных условиях вполне обычен (см.: А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. М.—Л., 1928, стр. 513), — *Ред. жур.*

⁸ Эти ошибки, конечно, относятся целиком и в раздел IX.

а) Введение в речь местоимения без называния имени существительного, вместо которого оно употреблено, — 10.

«В буржуазной Европе несмотря на *их* высокую культуру. . . все-таки много можно встретить старого».

б) Несогласованность местоимений — 6.

«С животным надо умело обращаться, а не как-нибудь, как и человек *он* так же требует уход».

Источники этих ошибок, по-видимому, различны. В одних случаях они являются результатом конкретного мышления, а в других представляют собою механическое уподобление ближайшему слову.

в) Неясность заместительной роли местоимения, благодаря наличию двух существительных одного и того же рода, к которым оно равно может быть отнесено, — 9.

«*Молчалин* это секретарь *Фамусова*, которого как *он* выражается вывел в люди».

Значительное число ошибок во всей этой группе указывает на новую область специального изучения — синтаксис местоимений.

2. Виды — 9.

Совершенный вид вместо несовершенного при обозначении неопределенно длительного действия.

«При чем не нужно *забыть*, что при современном сельском хозяйстве. . .».

3. Наклонения — 3.

а) Затруднения в употреблении сослагательного наклонения — 2.

«В других *бы* условиях, Катерина была *бы*. . .».

б) Неправильное употребление условного повелительного наклонения — 1.

«Не будь помощи ветеринарии, то наше с/хозяйство не *улучшится*» (вм. *не улучшилось бы*).

4. Залоги — 17.

а) Смешение форм с *-ся* и без *-ся* (в том числе в причастиях) — 4 (ср. следующий п. 5).

«И вот для того, чтобы успокоить *волнующие* массы крестьян и был вынесен манифест Александром II».

б) Недоразумения со страдательными причастиями — 3.

«. . . и в 1905 году *была вспыхнута* революция».

Значительность числа ошибок этой группы указывает на необходимость тщательнейшего изучения залоговых оттенков, что теперь большинством грамматик совершенно игнорируется.

5. Причастия и деепричастия — 12.

Причастия уже дважды встречались нам (ср. предшествующий пункт, а также раздел I), и теперь уже можно считать

достаточно выяснившимся, что это один из очень трудных моментов русского синтаксиса (ср. также раздел IX, п. 1).

а) Употребление действительного причастия в сказуемом сочетании — 1.

«... он был один, да к тому же *не имевший* определенных целей».

Несмотря на то, что можно привести только один случай, он интересен тем, что вскрывает большой и трудный вопрос об употреблении причастий действительного залога в сказуемом сочетании.

б) Смещение причастий и деепричастий — 3.

«Марья-большевичка... представляет забитую женщину слепо *повинуясь* прихотям мужа».

в) Употребление деепричастия вместо глагола в личной форме — 5.

«Службу и дело *считая* простым времяпровождением и *занимаясь* им только потому, что это необходимо для поддержания материальной стороны жизни».

г) Употребление обособленной деепричастной группы при разных лицах у деепричастия и глагола, к которому это деепричастие относится, — 3.

«*Обращая* внимание на эту отрасль деятельности, роль врача приобретает общественное значение».

Всего по отделу — 59 ошибок.

VI. Ошибки в употреблении и конструкциях некоторых слов и выражений

1. «Наоборот» — 2.

«... от таких поездок состояние крестьянина не улучшится, а *наоборот*».

2. «Так» в смысле «например» — 1.

«... она активный работник, несет общественную работу в своей деревне, *так*, принимая участие в постановке спектаклей».

3. «Не только» вместо «не только не» — 1.

«... а женщина *не только* раскрепощается, а наоборот более закрепощается».

4. «Как видно» — 2.

«*Как видно*, что существование таких личностей не долговременно, и что такие лица должны уступить место более деятельным лицам».

5. «Следующий» — 2.

«... здесь вывод *следующий*, что поскольку крестьянин име-

ет пониженный процент земли, постольку у него и недоимок и скота».

6. «Кто как мог» — 1.

«Задачами старого общества были накопление состояния, что производилось *кто как мог*».

7. Связка «это» — 1.

«. . . для начинающего ветеринарного работника стоит задача *это широкое ознакомление* окружающих масс».

8. «С одной стороны» и «с другой стороны» — 1.

«Правительство 1861 г. находилось *с одной стороны под влиянием капиталистов*, требующих реформы освобождения, *с другой стороны дворяне-помещики*, не имевшие капитала, но имевшие обширные поместья, обрабатываемые даровыми крепостными, для них освобождение было невыгодно. . .».

9. «Больше того» при противительном союзе — 1.

«. . . здесь то и важно, чтобы кооперация не разрывала эту смычку, а *больше того укрепляла*».

Приводимые примеры показывают, в чем возможны ошибки и почему все эти слова и выражения (а конечно, и очень многие другие, не попавшие в поле нашего зрения) должны стать особыми параграфами будущих учебников русского языка.

Всего по отделу — 11 ошибок.

VII. Неполнота предложения

1. Пропуск местоимения в именительном падеже — 11.

«Значение дооктябрьской кооперации слишком мало, этому благоприятствовала сама обстановка, в которой находилась (?) восемь лет тому назад».

2. Пропуск местоимения в косвенном падеже — 8.

«Они не понимали значения в жизни просвещения и образования, считая (?) за лишнее или же понимали по своему».

3. Недоговоренность, абсолютное употребление слов — 14.

«*Желающие* женщины всегда могут освободиться от домашних привязанностей, т. е. от кухни и детей».

Всего по отделу — 33 ошибки.

Здесь, в этом отделе, сказывается влияние разговорной речи, где многое ясно из ситуации. Громадное количество относящихся сюда ошибок показывает, что с внесением принципов разговорной речи в письменную приходится особенно упорно бороться. Преподаватели иногда сами виноваты в чрезмерном увлечении живой речью. Мы должны, однако, помнить, что живая речь и письменная — две стихии, совершенно разные по их выразительным средствам.

VIII. Ошибки в расстановке слов⁹

1. Определяющее слово отделено от определяемого вставкой такого слова, которое по своим синтаксическим связям не принадлежит данной группе, — 3.

«... где ветеринария поставлена на должной высоте, то там можно заметить что *все* постепенно *крестьянство* улучшает свое хозяйство».

2. Удаленность приложения от существительного, к которому оно должно быть отнесено по смыслу, — 2.

«Противоположность Фамусову из заграницы приезжает Чацкий. . .».

3. Отдаленность подчиняющего слова от относительного «который» — 2.

«Есть еще одна цель. . . кооперации, а именно как средство раскрепощения бедняка от кулака, *который* часто находится в материальной зависимости у зажиточного крестьянина».

4. Удаленность управляемого слова от управляющего (создается иное управление) — 3.

«... где муж *заставляет* вымести в избе *жену*. . .».

5. Неправильный порядок управляемых слов — 1.

«В лице *выделенных лиц Грибоедовым*, определяющих старое общество, является Фамусов. . .».

6. Примыкающее слово удалено от слова, к которому оно относится, — 2.

«*Не обращая внимания* на образование и умственное развитие *иногда* тех людей, которые стараются выдвинуться».

7. Обособленное деепричастное сочетание разбито вставкой подлежащего — 2.

«Но теперь *уходя* крестьянка в поле может снести своего ребенка в ясли».

Всего по отделу — 18 ошибок.

Все ошибки этого отдела говорят о важности обучения порядку слов, который, вопреки общераспространенному мнению, регулируется целым рядом правил, к сожалению еще не разработанных. Вышеперечисленные пункты намечают кое-что в этом отношении.

IX. Ошибки в конструировании больших синтаксических единств

1. Непоследовательность в употреблении времен глаголов — 21.

«Чацкий *высмеивает* всю жизнь барства, благодаря чему *поднял* переполох среди последних».

⁹ Мы различаем синтаксически недопустимую расстановку от стилистически неумелой. Здесь говорится лишь о первой.

Подобные ошибки указывают на отсутствие привычки вдумываться в написанное и на необходимость приучения к вдумчивому анализу текстов. Наличие среди них восьми примеров с причастиями подтверждает мысль, высказанную выше, о необходимости специально и настойчиво заниматься обучением употреблению этой категории.

2. Однородные члены, относящиеся к одному и тому же слову, выражены разными способами — 9.

«Кооперация *есть путь* к улучшению экономического положения всего населения и *как средство* восстановления всего народного хозяйства СССР».

Это, конечно, ошибки не только от небрежности (такowymi они являются у выученных людей), но прежде всего от недостаточной выучки. Надо показать учащимся принцип нашего синтаксиса, довольно строгого в этом отношении, и систематически упражнять в разнообразных соответственных конструкциях. Что эта ошибка очень распространена и среди более квалифицированной публики (что, впрочем, нисколько не делает ошибку более терпимой), доказывается следующим примером, извлеченным из сочинения студента старшего курса: «Нужно провести некоторую границу между тем, что та или иная группировка принимала участие в общем литературном движении, и тем, что она внесла своего характерного в это движение» (разные «что»).

3. Ошибки в строении цепи подчиненных предложений — 3.

«В таком же положении находятся дети, *которые* являются собственностью отца, и *который* располагает ими как хочет».

4. Неуместное повторение слова в целях его освежения — 6.

«И вот *для того*, чтобы все перечисленные животные включая домашнюю птицу приносили пользу крестьянству, *для этого* необходимо чтобы все животные были здоровы».

5. Наличие частей, совершенно не связанных со всей грамматической конструкцией, — 7.

«Империалистическая и гражданская война привели нашу страну и без того стоящую на низшей ступени своего развития, по сравнению с другими странами, к окончательному упадку; *как индустриальную также и сельскохозяйственную промышленность*».

6. Переход от одного построения к другому или контаминация различных построений — 16.

«. . . но борьба между новым и старым еще далеко нельзя считать законченной»; «. . . на ветеринарию *возлагается* охрана живого сельскохозяйственного инвентаря от всякого рода вредителей, а также и *охрану* народного здоровья».

7. Отсутствие ясной грамматической перспективы — 18.

«Еще задолго до октября рисует нам А. Неверов в своей драме „Бабы“ смелую женщину Марьяну, подзадорившую Аксиныю для решительного шага как уход от мужа уже доказывает пробуждение женщины»; «Даровитая писательница „Сейфуллина“ в своем романе „Виринея“ рисует смелую женщину, не щадящую самолюбия, завоевывает свою независимость, служит пропагандисткой для всей деревни».

Всего по отделу — 80 ошибок.

К ошибкам этого отдела можно было бы отнести случаи многих рубрик из разных других разделов, как например ошибки в местоимениях, в причастиях и деепричастиях и т. д., так как они являются в большинстве случаев ошибками, уничтожающими грамматическую перспективу в предложении. Все они указывают на необходимость развивать у учащихся привычку к охватыванию больших комплексов и упражнять их как в грамматическом анализе, так и в конструировании больших сложных предложений и периодов, которые, к сожалению, давно забыты в нашей школьной грамматике, несмотря на их важную роль в деловом языке.

* * *

Хотя уже целый ряд авторов¹⁰ выступал с указаниями типов ошибок, встречающихся в ученических сочинениях, однако нам думается, что наша работа двигает это дело вперед. Думается также, что она может и должна быть продолжена с привлечением большего материала. Впрочем, дело, конечно, не столько в объеме материала, сколько в его разнообразии, а главное в его анализе, так как вся трудность работы состоит в том, чтобы, имея карточку с выписанной на ней неправильной фразой, определить, как возникли все неправильности этой последней, что в них зависит от разных случайных ассоциаций, что от недостаточно твердого знания того или другого правила синтаксиса русского литературного языка, что, наконец, от тех или иных тенденций, заложенных в системе русского языка и обнаруживающихся особенно легко при смешении различных его диалектов (в широком смысле этого слова). Нам кажется, что дальнейший вдумчивый анализ вскроет много неписанных

¹⁰ Н. С. Р о ж д е с т в е н с к и й. К вопросу о развитии письменной речи учащихся школ II ступени и школ взрослых. — Родной язык и литература в трудовой школе, 1928, № 3—4—5; М. Г р и г о р ь е в. Заметки о приемных испытаниях в вуз по русскому языку. — Родной язык в школе, 1927, № 6; Н. Н и к о л ь с к и й. Впечатления от нового приема в вуз. — Там же; П. Ш а б л и о в с к и й. Работа в школе над основными стилистическими процессами и формами речи. — Родной язык в школе, 1927, № 1; А. М и р т о в. Исправление речи учащихся. — Там же; и др.

правил русского синтаксиса, которым надо будет обучить детей, а также много бессознательных тенденций живой речи, с некоторыми из которых придется сознательно бороться.¹¹

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИКАХ И ОБЛАСТЯХ

Тезисы доклада

1. Изучение любого языка как родного отличается от изучения того же языка как неродного тем, что в первом случае задачей является главным образом осознание некоторых существующих у учащихся грамматических и лексических категорий и главнейших средств их выражения, а во втором — привитие учащимся целого ряда чуждых им грамматических и лексических категорий и всех правил несвойственного им речевого поведения вообще.

2. Отсюда вытекает глубокое различие методики преподавания родного языка и методики преподавания неродного языка. Методика преподавания русского языка как родного прекрасно развита в трудах целого ряда выдающихся русских педагогов-лингвистов. Методики преподавания русского языка как неродного, можно сказать, не существует, и ее надо строить, используя опыт методики преподавания западных иностранных языков.

3. Зависимость методики преподавания неродного языка от:

- а) целей преподавания,
- б) возраста и культурного уровня учащихся,
- в) роли изучаемого языка в жизни учащихся,
- г) строя родного языка учащихся.

4. Основным источником затруднений при изучении неродного языка являются различия в строе родного и изучаемого языка. Два метода преодоления этих затруднений.

5. Два аспекта владения языком — активный и пассивный — и методические выводы отсюда как для словаря, так и для грамматики.

¹¹ Следует всячески подчеркнуть, что мы намеренно были крайне строги в наших нормальных требованиях именно для того, чтобы лучше вскрыть эти тенденции. Несомненно, что кое-какие ошибки из грамматических можно будет перечислить в стилистические, а кое-что при дальнейшей эволюции языка, особенно в связи с переживаемым социальным переворотом, просто перестанет ощущаться как ошибочное, станет нормой языка будущего.

6. Основные виды работы над неродным языком и их трудности:

а) работа над произношением,

б) работа по усвоению грамматических категорий и правил образования форм (в широком смысле), их выражающих,

в) работа по усвоению правил образования синтагм и предложений,

г) работа по усвоению словаря и правил применения отдельных слов,

д) работа по усвоению правил живого словообразования (в широком смысле) и по изучению словообразующих морфем,

е) работа по усвоению материала: заучивание наизусть и курсорное (классное и домашнее) чтение,

ж) устные и особенно письменные упражнения для применения правил на практике,

з) работа по пониманию текстов, особенно трудных (чтение старое или объяснительное).

И. А. БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ

Некролог

I

Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ (Jan Baudoin de Courtenay) родился 13 марта 1845 г. в местечке Радзымин близ Варшавы. Сын землемера, первоначальное образование получил дома. В 1857 г. поступил в Варшавскую реальную гимназию, а в 1861 г. перешел на «Приготовительные курсы к Варшавской главной школе» с намерением идти в дальнейшем на физико-математический факультет. Но под влиянием лекций профессора «методологии и энциклопедии академических наук» Плебанского в 1862 г. поступил на историко-филологический факультет Варшавского университета (т. е. вышеупомянутой Главной школы) на отделение славянской филологии, которое окончил в 1866 г. и где слушал лекции Квета, Пшиборовского и Хорошевского. В следующем году был командирован за границу и провел три семестра в Праге, в Иене у Шлейхера и в Берлине, где целый семестр занимался исключительно ведийским санскритом, слушая лекции у Вебера. Любопытно отметить, что сам Б. впоследствии считал этот семестр счастливейшим периодом своей жизни и больше всего любил читать на своих «privatissima» гимны Ригведы, на них изъясняя свое понимание языковых явлений. В 1868 г. был командирован на два года в Петербург, где его официальным руководителем был И. И. Срезневский. В 1870 г. получил в Лейпциге степень доктора философии, защитил в Петербурге магистерскую диссертацию и был допущен факультетом Петербургского университета к чтению лекций по сравнительной грамматике в качестве приват-доцента, явившись, таким образом, первым преподавателем данного предмета в этом университете. В 1872 г. Б. был снова командирован за границу, где пробыл три года, занимаясь главным образом исследованием южнославянских говоров в юго-западной Австрии и в северной Италии. Кроме того, был в Милане и в Лейпциге, познакомился с Асколи и слушал лекции у Лескина. В 1875 г. защитил в Петербурге

диссертацию на степень доктора сравнительного языковедения. С 1874 г. доцент, а с 1875 по 1883 г. профессор Казанского университета по кафедре сравнительного языкознания (1881/82 учебный год провел в заграничной командировке: Венеция, Париж,¹ Лейпциг). В 1883 г. перешел в Дерпт на вновь открытую там кафедру сравнительной грамматики славянских языков. В 1893 г. переехал в Краков, где с 1894 по 1899 г. читал лекции в тамошнем университете по сравнительному языковедению и санскриту в качестве титулярного ординарного профессора.

«Благодаря дружному действию, с одной стороны, венгерских „патриотов“, отождествляющих диалектические исследования в области словацких говоров с политической агитацией и смешивающих слависта с „панславистом“, с другой же стороны, представителей некоторых галицко-польских партий, не допускающих вовсе независимости взглядов и самостоятельного отношения к окружающей среде, венское Министерство народного просвещения не захотело возобновить с Б. пятилетний контракт и затем отклонило также предложение филологического факультета Краковского университета поручить ему чтение лекций по вакантной кафедре славянской филологии».²

Поэтому в 1900 г. Б. переехал в Петербург, где стал читать лекции в качестве приват-доцента университета, а в 1901 г., согласно предложению историко-филологического факультета, был назначен ординарным профессором по кафедре сравнительного языковедения и санскритского языка, каким и оставался до 1918 г., но с двухлетним перерывом, обусловленным судебнополитическим преследованием за брошюру «Национальный и территориальный признак в автономии» с эпиграфом «Посвящается всем „патриотам“», изданную в 1913 г.

В 1918 г. Б. переселился с семьей в Варшаву, где, если не ошибаюсь, до самой смерти числился заслуженным ординарным профессором Варшавского университета. Скончался 4 ноября 1929 г. на 85-м году жизни, сохранив при этом до самого конца ясную голову и полную дееспособность, как научную, так и житейскую. В 1887 г. Б. был избран действительным членом Краковской Академии наук, в 1897 г., членом-кор-

¹ Он познакомился там, вероятно, с Бреалем (следы этого знакомства можно найти в его трудах) и, может быть, с Соссюром, который только что начинал тогда свою преподавательскую деятельность в *École pratique de hautes études*. Хотя Б. всегда с большим уважением отзывался о Соссюре, чувствуя в нем себе подобного «отщепенца», и настоятельно рекомендовал чтение его «*Mémoire*» всем своим ученикам, однако о влиянии Соссюра на Бодуэна говорить трудно. Термин *фонема* действительно заимствован у Соссюра, но не самое понятие, как об этом совершенно определенно говорит сам Б. в «Некоторых отделах сравнительной грамматики славянских языков» (РФВ, 1881, т. V).

² Заимствовано из печатных автобиографических материалов.

респондентом Академии наук в Петербурге, выдвигался историко-филологическим ее отделением и в действительные члены, но был отклонен по политическим соображениям. Кроме того, Б. состоял почетным членом Казанского университета и Финно-угорского общества в Гельсингфорсе.

II

Уже из этого сухого перечня внешних биографических данных можно сделать некоторые выводы. Прежде всего эта сложная для тех времен канва жизни свидетельствует о крайней живости и подвижности духа и полном отсутствии даже возрастного консерватизма: и в 50, и в 60, и в 70 лет Б. не боялся ломки внешних форм своей жизни — настолько, очевидно, было сильно ее внутреннее содержание. Это сопоставляется и с некоторыми особенностями научной физиономии покойного: он не был ничьим учеником, не принадлежал ни к какой школе, сам себя называл автодидактом (он осознавал в молодости лишь влияние чтения сочинений Штейнталя, а через них идей Гумбольдта); надо полагать, что он духовно был выше большинства своих учителей, а многие, как Шлейхер и Срезневский, действовали на него лишь отталкивающе или своей догматичностью, или своим равнодушием к общим идеям; всю свою жизнь по всем решительно вопросам Б. занимал — и вовсе не старался занимать — собственную, нетрафаретную позицию. Это предполагает громадный избыток духовных сил вообще и творческих в частности.³

Далее, из фактов внешней биографии можно вывести и другую черту духовного облика Б., стоящую, конечно, в связи с предшествующей. Он был всегда и везде в неладах с «властями предрержащими». Лицемерие, ложь и насилие были для него органически невыносимы. И в своих выступлениях на защиту угнетенных — будь то народность,⁴ будь то личность, будь то мысль — он не считался ни с чем, зачастую доходя при этом до донкихотства, и казался одним смешным и неудобным чудаком, а другим опасным и злобным маньяком. Для ближе знавших его он был «рыцарем правды» в самом лучшем и высоком смысле. В науке это выражалось в самой

³ Небольшая книга «Об отношении русского письма к русскому языку», СПб., 1912, которая предназначена была для учителей русского языка и которую поэтому едва ли внимательно читали высококвалифицированные лингвисты, показывает очень наглядно, что и банальные вещи могут стать источником для глубоких научных размышлений под взглядом высокого и пытливого ума.

⁴ В царской России он защищал евреев, литовцев, латышей, эстонцев и поляков от господствовавшей национальности; в новой Польше он не с меньшим, если не с большим жаром защищал тех же евреев, белорусов, украинцев от польского шовинизма.

отчаянной борьбе с дутыми авторитетами, с косностью и рутинной, с «жречеством», с «кастовостью», с «научным чванством» и, конечно, прежде всего с фальсификацией науки. Зато как внимателен он был ко всем начинающим, у которых он предполагал наличие хотя бы самого скромного научного интереса, и как сочувствовал он всякой смелой, самостоятельной мысли, откуда бы она ни исходила!

Наконец, из тех же данных внешней биографии вытекает и его интернационализм, который был одной из существеннейших черт его мирозерцания (ср. его антивоенные настроения во время мировой войны, которые нашли себе отражение, благодаря цензурным условиям того времени, лишь в частной переписке). Действительно, нельзя сказать, науке какого народа принадлежит его деятельность. Он работал среди русских, поляков, немцев (в Дерпте), писал по-польски, по-русски, по-словински, по-чешски, по-немецки, по-французски, по-итальянски, по-литовски. С равным успехом он мог бы действовать и среди японцев, и среди американцев, и среди евреев.

Однако жизнь его сложилась фактически так, что как профессор он больше всего действовал в России. Надо сказать, что русская молодежь оценила его, — у него всегда было много учеников, и он являлся весьма популярной фигурой среди довольно широких кругов студенчества. Я думаю, что это не случайно. К нему привлекали, с одной стороны, его научные качества: безусловная и на каждом шагу сказывающаяся оригинальность и самостоятельность мысли, о чем уже говорилось; его склонность к обобщениям, никогда не позволявшая теряться в мелочах и довольствоваться лишь констатированием фактов; и, наконец, его отношение к ученикам, для которых он не жалел ни времени, ни труда, ни идей, щедро осыпая ими из своей богатой сокровищницы всех приближавшихся к нему. С другой стороны, к нему влекла его общественная физиономия типа благородного радикала, *libre penseur*'а, борца за правду, в стиле Ромэна Роллана. Наконец, играли роль и большая отзывчивость и бесконечная доброта его сердца, скрывавшиеся под якобы суровой внешностью, и абсолютное уважение к человеческой личности, и широчайшая терпимость к чужому мнению, уживавшаяся с тем полемическим задором, который так был для него характерен. Все эти качества как нельзя больше отвечали настроениям, очень распространенным в русском студенчестве того времени.

III

Переходя к литературному наследию Б., нужно прежде всего различить в нем две струи (я разумею, конечно, только его научные труды): работы, которые его делали хорошим

ученым, крупным славистом и т. п., и работы, а чаще элементы работ, которые, вместе с устным преподаванием, делали его вождем, прокладывавшим новые пути в языковедении. Далее следует иметь в виду то обстоятельство, что, простираясь на 64 года, эта литературная деятельность не может быть охвачена единой формулой. «Психологизм», который проходит красной нитью через все научно-литературное творчество Б. и который он сам был склонен считать его существенной чертой, с одной стороны, был способом уйти от наивного овеществления языка (выражавшегося между прочим в смешении звуков с буквами), а с другой, — реакцией против механического натурализма в языкознании. Поэтому, как это ни кажется странным на первый взгляд, но психологизм Б. вовсе не является философской основой его лингвистического мировоззрения. Во всяком случае это был психологизм *sui generis*; сам Б. подчеркивал, что он прибегает к психологической терминологии за невозможностью при современном состоянии науки дать другую, и особенно настаивал на необходимости признания бессознательных процессов. Мне кажется, что психологизм Б. легко вынуть из его лингвистических теорий — и все в них останется на месте. Заслуги Б. не в психологизме, а в гениальном анализе языковых явлений и в не менее гениальной прозорливости, с которой он усматривал причины их изменений.

IV

Сначала — и подробнее — в настоящем очерке мы займемся той частью литературного наследия Б., которая отражает его общелингвистическое мирозерцание. Б. начинает свою научно-литературную деятельность в 1868 г. (первые печатные работы его относятся даже к 1865 г.) статьей, явившейся одним из поворотных пунктов в истории языкознания: «*Einige Fälle der Wirkung der Analogie in der polnischen Declination*» в «*Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung*», VI, где он впервые, и во всяком случае совершенно независимо от других ученых, в широкой мере применил метод аналогии к объяснению языковых явлений. Таким образом, его следует признать одним из основоположников нового направления в языкознании, господствовавшего в последнюю четверть XIX и в начале XX в. и известного под названием «младogramматического» (ср. автобиографию Б. в «Критико-биографическом словаре» Венгерова, т. V, 1897 г.).⁵

⁵ Б. вспоминает там между прочим, что в 1874 г. он совместно с Паулем, Брауне и Мазингом слушал в Лейпциге курс сравнительной грамматики славянских языков у Лескина. «Названный курс, говорит он, был

Начало этой статьи — об изменяемости основ склонения — показалось тогдашнему редактору «Beiträge» Шлейхеру таким революционным, что он его выпустил. С нашей современной точки зрения это совершенно простая мысль; однако и до сих пор еще не все практические выводы из нее сделаны.

Далее в полном единодушии с младограмматиками он придает большое значение познанию диалектов и с жаром отдается их изучению (по преимуществу он изучает словинские и хорватские диалекты, но занимается и польскими, и словацкими, и литовскими, и некоторыми другими), результатом которого является целый ряд монографий: «Опыт фонетики резьянских говоров» (Варшава—Петербург, 1875), «Бохинско-посавский говор» в «Отчетах командированного Мин. нар. просв. за границу о занятиях по языковедению в течение 1872/73 гг.» («Изв. Казанск. ун-та, 1876 и 1877), «Der Dialekt von Cirkno (Kirchenheim)» (A. S. Ph., VII, 1844 и VIII, 1885) и несколько томов материалов (надо подчеркнуть, что большая часть разновременных собранных Б. материалов все же осталась ненапечатанной, что всегда крайне удручало покойного).

Вместе с младограмматиками он считает важным делать точные фонетические записи и достигает в вышеупомянутых монографиях большой виртуозности в этом отношении. И надо подчеркнуть, что он был один из первых филологов, который основательно занялся фонетикой (он заинтересовался ею, по видимому, еще студентом). Если не считать Эллиса и египтолога Лепсиуса, то фонетические работы лингвистов стали появляться именно с середины 70-х годов (1-е изд. Сиверса относится к 1876 г.; тем же годом помечено и исследование Винтелера (J. W i n t e l e r. Die Kereuzer Mundart), считающееся первым полным фонетическим описанием определенного говора).⁶

Если прибавить ко всему этому, во-первых, оригинальную идею о смешанном характере языков, четко высказанную в вышеупомянутом «Опыте фонетики резьянских говоров», стр. 120, 124 и 125 (ср. позднюю статью «О смешанном характере всех языков», ЖМНП, 1901) и почти что не нашедшую отклика в тогдашнем языковедении, во-вторых, идею социальной дифференцированности языка (ср. «Некоторые общие замечания о языковедении и языке», ЖМНП, 1871, стр. 20 отд. оттиска)⁷ и, наконец, борьбу с органической теорией общества

вообще крайне интересным, но он не представлял для меня ничего существенно нового».

⁶ В вышеупомянутых «Отчетах командированного» имеется помеченная 1873 г. интереснейшая программа курса фонетики, который был читан в Казани в 1875 г. и который в переработанном виде я слушал в 1903 г., но который, к сожалению, остался ненапечатанным.

⁷ Вопросы социальной дифференциации языка интересовали Б. всю жизнь (ср. хотя бы послесловие к 3-му изд. Словаря Даля).

(а следовательно и языка), то это и будет основным содержанием идей Б. 70-х годов. Конечно, и многое другое интересовало его, но в остальном он следовал, может быть, больше за другими, подходя, конечно, все же ко всему критически и индивидуально, тогда как здесь он был самостоятелен и шел лишь в ногу с вождями европейского языкознания последней четверти прошлого столетия, а иногда оставаясь совершенно одиноким среди них и подготавливая лишь будущее. Программным этюдом этого времени следует признать вышеупомянутые «Некоторые общие замечания», которые теперь, конечно, уже устарели, однако содержат «in pace» многое, что нашло себе развитие в дальнейшей деятельности Б.⁸

В центре следующего периода — 80-е и 90-е годы — стоят, по-моему, три пункта. Я имею в виду прежде всего обоснование «психофонетики» (так по Бодуэновской терминологии; «фонологии», как ее теперь называют на Западе; «теории фонем», как мы говорим в Ленинграде⁹) и теорию фонетических альтернатив. Программным сочинением для того и для другого является «Próba teorji alternacyi fonetycznych» (Kraków, 1894) = «Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen. Ein Capitel aus der Psychophonetik» (Strassburg, 1895).¹⁰

«Психофонетика» только теперь вполне оценена на Западе и начинает находить всеобщее признание за пределами Бодуэновской школы. Теория альтернатив частично давно воспринята, однако вполне понятна лишь в свете первой.

О психофонетике надо сказать, что психологическая формулировка, которую подчеркивал Б. (а за ним и я), особенно в XX в., совершенно несущественна для всей теории: недаром еще в «Некоторых общих замечаниях» Б. говорит о звуках с «морфологической, словообразовательной» точки зрения в отличие от физиологической, а в 1910 г. он называет психофонетику «этимологической фонетикой». Литература новейшего времени избавляет меня от необходимости говорить подробнее обо всем этом — сошлюсь на последнее, что мне известно здесь: Vilém Mathesius. Ziele und Aufgaben der vergleichenden Phonologie — в «Xenia Pragensia», 1929.¹¹ Несомненно, что мы

⁸ Кстати сказать, различие «langue» и «parole» Соссюра нашло себе уже здесь совершенно четкое выражение (см. стр. 37 отд. оттиска).

⁹ Я думаю, что надо будет принять термин «фонология», как ничего не говорящий сам по себе.

¹⁰ Обилие формул, к которым Бодуэн всегда чувствовал большую слабость, отпугивает от этих работ многих, а для некоторых затемняет суть дела.

¹¹ Теоретическое обоснование психофонетических (фонологических) идей Б. в свете вундтовской психологии дано мною в книге «Русские гласные в качественном и количественном отношении», СПб., 1912, ср. также «О разных стилях произношения» в Записках Неофилологического общества при СПб. университете, ([вып.] VIII, СПб., 1915).

имеем дело здесь с вполне живой и действенной научной идеей.

Другой вопрос этого периода — это вопрос о «родословном дереве» и о «праязыках», восстанавливаемых сравнительной грамматикой. Впервые, по-моему, четко поставлены они были во вступительной лекции в Дерптском университете: «Übersicht der slavischen Sprachenwelt im Zusammenhange mit den anderen arioeuropäischen (indogermanischen) Sprachen», Leipzig, 1884. К этой легкости, с которой до самого последнего времени устанавливались «родословные» родственных языков на основании сходств между ними, Б. относился уже тогда крайне отрицательно, вовсе не стоя при этом специально на точке зрения Шмидта. Также сомневался он уже тогда в реальности восстанавливаемых «праязыков».

Третьим моментом этого периода было дальнейшее развитие и обоснование взглядов Б. на язык (ср. «Некоторые общие замечания» в первом периоде и «О „prawach“ glosowuch» — в третьем). В центре стоят две весьма интересные статьи: «O zadaniach językoznawstwa», Prace filologiczne, t. III, 1889; «O ogólnych przyczynach zmian językowych», Prace filologiczne, t. III, 1890 (обе перепечатаны в «Szkice językoznawcze», 1904, 1). Нам особенно интересны теперь старания Б. построить мост между психической и социальной природой языка.

Третий период (XX в.) характеризуется, по-моему, прежде всего усиленной дальнейшей разработкой фонологических идей, сказавшейся между прочим в установлении понятий «морфологизация» и «семасиологизация» и нашедшей себе выражение в целом ряде статей этого периода и в углублении в вопросы соотношения между языком и письмом. Этот последний вопрос в отрицательном виде, т. е. в виде борьбы против «смещения буквы со звуком», красной нитью проходит через всю деятельность Б., как преподавательскую, так и рецензентскую, причем, обвиняя в своих рецензиях разных авторов в этом первородном лингвистическом грехе, Б. бывал часто крайне резок, создавая себе таким образом множество личных врагов; но он считал это своим гражданским долгом. И я не думаю, чтобы пост борца «против смещения буквы со звуком», который с таким мужеством столько десятков лет занимал Б., должен был бы быть теперь упразднен за ненужностью. В центре углубления в эти вопросы должна быть поставлена книга «Об отношении русского письма к русскому языку», о которой было сказано уже выше.

Хотя звуковые законы и были с самого начала предметом размышления Б., однако едва ли не в этот последний период мысли его по этому вопросу настолько прецизируются, что могут отлиться в большую статью «О „prawach“ glosowuch»

в «Rocznik Slawistyczny», 1910, III (с французским резюме), явным образом направленную против господствующего младограмматического направления.

Глубокое принципиальное расхождение во взглядах на сущность языковых явлений между бывшими соратниками (каковыми они в сущности и не были) ярко выразилось в полемике по поводу искусственного интернационального языка, с чем был связан важный принципиальный вопрос — о возможности организованной сознательной политики в области языка: 1) Karl Brugmann und August Leskien. Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen. Strassburg, 1907; 2) J. Baudouin de Courtenay. Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen. — Ostwald's Annalen der Natur-Philosophie, VI, [б/г]; 3) K. Brugmann u. A. Leskien. Zur Einführung einer künstlichen internationalen Hilfssprache. — J. F., 1907 — 1908, XXII. Б. был, как известно, защитником идеи такого языка.

Теоретическая суть разногласий между Б. и младограмматиками состоит в следующем: во-первых, сводя в сущности язык («langue») на языковые процессы («parole»),¹² Б. указывал на множественность, а зачастую и противоречивость факторов каждого данного языкового изменения, а «звуковые законы» считал лишь результатом скрещенного действия этих факторов, отказывая им поэтому в праве называться «законами»; во-вторых, он возражал против механистического объяснения языковых изменений; и в-третьих, он восставал против понимания языка как организма, которое шло от Шлейхера и которое еще существовало у Бругмана, считавшего вслед за Г. Мейером искусственный международный язык «гомункулусом» (см. первую из вышеупомянутых брошюр Бругмана).

Наконец, следует еще раз подчеркнуть, что уже сказалось в вычеркнутом Шлейхером в 1868 г. абзаце «Об изменяемости основ склонения» и что было развито Б. в особой статье под этим заглавием (Сборник статей, посвященных учениками и почитателями Ф. Ф. Фортунатову, Варшава, 1902), а именно являющееся в сущности едва ли не самым характерным для Б. и для всей его деятельности требование рассматривать языковые явления так, как они даны в живой действительности, а не в аспекте прежних языковых состояний. До сих пор еще большинство «научных грамматик» составляется так, что прослеживается судьба прошлого, а не генезис настоящего, которое иногда и вовсе ускользает от внимания исследователя. Б., вовсе не отрицая интереса таких исследований, настаивал на возможности научного изучения живого настоящего, раз-

¹² Б. пытался примирить противоречие, создавая понятие собирательно-индивидуального в языке, о чем подробнее см. в вышеупомянутой статье «O „prawach“ glosowuch».

личая в этом настоящем слое прошлого и зародыши будущего. Этим диалектический синхронизм Б. отличается от чересчур статистического синхронизма Соссюра.

V

Позиции Б. в том или другом вопросе напоминают иногда позиции Шухардта, иногда Есперсена, иногда Соссюра, а иногда — в новейшее время — и Жильерона. Я думаю, что все они независимо друг от друга приходили к своим мыслям, но несомненно, что все они друг другу симпатизировали. Подобно указанным ученым, Б. стоял вне господствовавшего направления — и потому, подобно им, он имел в свое время сравнительно мало влияния вне круга своих непосредственных учеников¹³ (чему, конечно, особенно способствовала малодоступность языков, на которых он большей частью писал). Зато для лиц, непосредственно с ним общавшихся, он был духовным вождем, от которого они получали в большей или меньшей мере смелость мысли, большой заряд критического отношения ко всяким пережиткам в науке (в частности и прежде всего к гипостазированию языка), безусловное уважение к живому языку и описательному языкознанию, строгое различие письменного и произносимого языка в связи с тем или иным знанием фонетики, твердо усвоенные фонологические идеи и, наконец, понимание тесной связи языковых явлений с социальной жизнью их носителей.

Подобно тому, как влияние Шухардта стало распространяться лишь в XX в., так лишь в самое последнее время некоторые идеи Бодуэна, особенно фонологические, начинают распространяться за пределы его школы и находить себе всеобщее признание. Поэтому можно особенно приветствовать мысль Р. Якобсона (в «*Slavische Rundschau*», Jahrgang, I, № 10)¹⁴ об издании «*Baudouin-Brevier*» наподобие «*Schuchardt-*

¹³ К их числу можно отнести профессоров Н. В. Крушевского, В. А. Богородицкого, С. К. Булича, А. И. Александрова и отчасти акад. В. В. Радлова — представителей «казанской» лингвистической школы, нашедшей себе продолжение в Петербурге в лице профессоров Л. В. Щербы, М. Р. Фасмера, рано погибшего К. К. Буги, А. Д. Руднева, акад. Б. Я. Владимирцова и более молодых — Е. Д. Поливанова, Э. Я. Блессе, А. П. Абель, Л. П. Якубинского, недавно скончавшегося В. Б. Томашевского, П. В. Ернштедта, С. И. Бернштейна, Б. А. Ларина, А. П. Баранникова, В. В. Виноградова и др., не говоря о многих лингвистах-филологах, прошедших школу Б. Затрудняюсь назвать польских учеников Б., кроме К. Аппеля. Мне кажется, что проф. Г. Улашин тоже считает себя учеником Б., про некоторых других боюсь сказать это с такой определенностью.

¹⁴ Об этом уже говорили и издатели польского сборника в честь Б.: «*Prace lingwistyczne ofiarowane Janowi Baudouinowi de Courtenay dla uczczenia jego działalności naukowej*», Kraków, 1921, str. X.

Brevier»: * в наследии Б. очень и очень много такого, что является вполне актуальным и что будет еще долго возбуждать творческую мысль новых поколений лингвистов. И такая книга тем более необходима, что Б., обладая совершенно исключительной способностью к обобщениям и выводам, никогда не скупился на них, но свои идеи в большинстве случаев высказывал мимоходом, в бесчисленных рецензиях и мелких статьях, зачастую совершенно на другие темы.¹⁵

В этой связи может быть уместно сказать несколько слов об особенностях творческого таланта Б. Я ее усматриваю именно в той гениальной интуиции, с которой он на основании уже самого небольшого числа фактов умел делать правильные умозаключения. Б. сознавал это свойство; но не знаю, осознавал ли его механизм. Я полагаю, что здесь играли большую роль дедуктивные процессы: его колоссальный лингвистический опыт дал ему большое число частных и общих готовых обобщений, зачастую вероятно бессознательных, которые и помогали ему видеть *ratio* явлений уже на нескольких примерах. Это проявлялось между прочим в удивительной способности сразу схватывать грамматические черты изучаемого языка: уже через несколько часов беседы на новом диалекте для Б. выяснялась его грамматика. В Б. счастливым образом соединялись талантливый полиглот (тип интуитивный) и глубокий, вдумчивый лингвист (тип сознательный).

VI

Переходя ко второму отделу литературного наследия Б., к его отдельным достижениям в той или другой области, а также к связным изложениям тех или иных отделов науки, мы упомянем лишь кое-что, субъективно кажущееся нам сейчас наиболее существенным, так как это наследие слишком велико, чтобы быть исчерпану на нескольких страницах. Не претендую, однако, на исчерпанность и при этом ограничении: так, ничего не будет сказано о таких важных понятиях, как «факультативные фонемы» (ср. «Fakultative Sprachlaute» в «Donum natalicum J. Schrijnen» 1929), «фонетический и морфологический нуль», «психический акцент» и т. д.; не будет упомянуто о трудах Б. по патологии языка, по языку детей (громадные материалы, собранные Б. в этой области, остались

¹⁵ Ср., например, также такие статьи, как «Лингвистические заметки и афоризмы. По поводу новейших лингвистических трудов В. А. Богородицкого» (ЖМНП, 1903, № 4 и 5) или «Заметки на полях сочинения В. В. Радлова: Einleitende Gedanken zur Darstellung der Morphologie der Türksprachen» (Живая старина, 1909, вып. II—III, стр. 191—206), которые насыщены подобными «высказываниями мимоходом».

неопубликованными), об издании польских, литовских, белорусских материалов, об образцовом издании памятников, свидетельствующем о бесконечной филологической акрибии Б., о редактировании 3-го изд. словаря Даля, об этимологических сопоставлениях большого польского словаря и т. д., и т. д. В связи с этим мы полагаем, что является совершенно необходимым составить нечто вроде «bibliographie raisonnée» трудов Б. в качестве приложения к проектируемому «Baudouin-Grévier», о котором было упомянуто выше.

Больше всего, конечно, Б. сделал для истории польского языка. Здесь, кроме упомянутой выше работы 1868 г., следует прежде всего назвать большую работу «О древнепольском языке до XIV столетия» (Лейпциг, 1870), до сих пор не утратившую своего научного значения; далее «Rozbiór Grammatyki polskiej księdza Malinowskiego», [Warszawa, «Niva», t. VI], 1875 (повторено в «Szkice językoznawcze», Warszawa, 1904, I) и длинный ряд статей (иногда очень важных), относящихся к польскому языку, кончая небольшой книжкой «Zarys historji języka polskiego» (Warszawa, без года). Дело специалистов выяснить, что в современном построении истории польского языка восходит к Б., — я имею основания думать, что очень и очень многое.

Далее следует назвать очень важные работы по Кашубскому вопросу в ЖМНП, 1897 и в А. S. Ph., 1904, заключающие в себе между прочим и ряд ценных общих высказываний (в частности, по вопросу о смешении языков).

Основные работы по южнославянской диалектологии были названы выше. Они все вполне актуальны и теперь, и их продолжает длинный ряд статей, которые было бы трудно здесь перечислять.

В области сравнительной грамматики следует указать на объяснение «евфонического *n*» в местоименных формах 3-го лица («Глоттологические лингвистические заметки», ФЗ, 1876—1877 г.): на установление смягчения *k*, *g*, *x* после мягких сонантов («Einiges über Palatalisierung (Palatalisation) und Entpalatalisierung (Dispalatalisation)», I. F., IV, 1894)); на понимание вопроса о сонантах (Zur «Sonanten-Frage», I. F., XXV, 1909); на закон Liden'a о судьбах и.-е. *цг-*, по-видимому открытый независимо от Liden'a и Б., и на многие частности и этимологии, которые здесь неуместно было бы исчислять.

В области русского и церковнославянского языков нужно указать на две «Подробные программы лекций» 1876/77 г. и 1877/78 г. (Изв. Казанск. ун-та 1877—1881), которые скрывают в себе в самой неудобоваримой форме, кроме того, целую энциклопедию языкознания того времени, конечно в боду-

эновском аспекте, и на «Отрывки из лекций по фонетике и морфологии русского языка» (ФЗ, 1882).

Отдельно стоят: 1) «Из лекций по латинской фонетике» (ФЗ, 1884—1892). Сейчас это, конечно, устаревшая книга; однако она содержит в себе целый ряд и теперь ценных мыслей и особенно любопытна применением своеобразной «аналфавитной» системы, совершенно независимой от есперсеновской и отличающейся от нее тем, что целиком относится к фонологии, а не к фонетике.

2) «Z fonetyki międzywyrazowej (äussere Sandhi) sanskrytu i języka polskiego», «Sprawozdania z posiedzeń» Akademji umiejętności w Krakowie, 1894 (перепечатано в «Szkice językoznawcze», 1904, I), — конспект содержания очень важной не напечатанной работы.

3) «Zarys historii językoznawstwa czyli lingwistyki», Poradnik dla samouków, seria III, t. 2, Warszawa, 1909 — в высшей степени оригинальная история языкознания, читающаяся с большим интересом и сейчас.

4) «Charakterystyka psychologiczna języka polskiego», Encyklopedia polska, t. II, 1915, str. 154—226, — представляющая отчасти дальнейшую разработку фонологических идей, а отчасти попытку установить связь между языком и мышлением. Этому последнему вопросу посвящена и только что перед смертью вышедшая большая и очень интересная статья.

5) «Einfluss der Sprache auf Weltanschauung und Stimmung», Prace filologiczne, t. XIV, 1929. — Вопросы эти, по-видимому, очень интересовали Б., так как эта книга является развитием краткой статьи «Лингвистические заметки. I» (ЖМНП, 1900).

6) Ряд статей, посвященных вопросу постепенного очеловечивания языка, в связи с некоторым лингвистическим обобщением, сделанным Б., из которых первая относится к 1893[г.] («Vermenschlichung der Sprache», Hamburg), а последняя к 1904 [г.] («Об одной из сторон постепенного очеловечения языка в области произношения в связи с антропологией»).

7) Статья в I. F. Anz., XXVI, 1910 — «Über die Klassifikation der Sprachen». Это небольшая заметка, подводящая итоги вопросу морфологической классификации языков, всю жизнь интересовавшему Б.

Из университетских пособий следует отметить:

1) Подробная программа лекций в 1876/77 уч. г. (Изв. Казанск. ун-та, 1877—1878).

2) Подробная программа лекций в 1877/78 уч. г. (Изв. Казанск. ун-та, 1879—1881).

3) Введение в языковедение. Литографированный курс лекций в СПб. университете, во многих изданиях (последнее в 1917 г.).

4) Сборник задач по «введению в языковедение», по преимуществу применительно к русскому языку (СПб., 1912).

5) Польский язык сравнительно с русским и древнецерковнославянским (СПб., 1912).

6) Сравнительная грамматика славянских языков в связи с другими индоевропейскими языками (литографированный курс, СПб., 1901—1902 г.).

Библиографию трудов Б. можно найти: до 1895 г. в «Критико-биографическом словаре» С. А. Венгерова, т. V, 1897; дальнейшую — до 1904 г. в «Księga pamiątkowa Zjazdu b. wychowanców b. Szkoły Głównej Warszawskiej w 40-tą rocznicę jej założenia», Warszawa, 1905; до 1914 г. — во второй такой же книге «Księga pamiątkowa . . . w 50-tą rocznicę jej założenia», Warszawa, 1914, и дальше в «Sprawozdania Tow. Naukowego we Lwowie», I, 1921.

Кроме того, позволю себе сослаться на мой краткий очерк в VI книге «Русского языка в советской школе» за 1929 г. «И. А. Бодуэн де Куртенэ и его значение в науке о языке», который сделан был еще при его жизни и который, не совпадая с настоящей статьей, кое в чем ее повторяет, но в другом аспекте, а кое в чем и дополняет.

VII

В заключение считаю бесполезным привести перечень того, что в конце прошлого столетия сам Б. считал основными чертами своего лингвистического мирозерцания, заимствуя этот перечень из Критико-биографического словаря Венгерова, т. V, 1897.*

МЕТОДЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ РАБОТ А. А. ШАХМАТОВА

Едва ли в настоящем собрании было бы уместно говорить об отдельных методах лингвистических работ Алексея Александровича: это была бы чересчур специальная тема, интересная лишь для немногих. Я хотел бы скорее обратить ваше внимание на одну общую черту лингвистических работ покойного, черту, которая кажется мне для них в высшей степени характерною, и которая может быть, знакома многим и по нелингвистическим трудам Алексея Александровича. Черта, которую я имею здесь в виду, — это поразительно виртуозное владение фактами. Я говорю, конечно, не о знании фактов — этим похвастаться могут, пожалуй, многие ученые, — а именно об умении ими владеть, об умении заставить их го-

ворить. Если вы согласитесь в течение пяти минут уделить мне несколько большее внимание, чем то, на которое я мог бы рассчитывать, то конкретный пример из области, всем вам вполне доступной, пояснит мою мысль.

Вы все знаете, что имена муж. р. в русском языке образуют им. мн. ч. или на *-ы/-и*, или на *-а*: *столы, доходы, кони, верхи*, с одной стороны, и *дома, города, паруса, учителя, профессора* — с другой. И, может быть, некоторые из вас даже спрашивали себя: когда же бывает *-а*, а когда *-ы/-и*. И, вероятно, вопрос оставался без ответа. Серая масса слов, данных в опыте, безмолвствовала; *ratio* явления безнадежно ускользало от взоров вопрошателей. И вот Алексей Александрович, в одной из своих пробных лекций в Московском университете, отыскивает это *ratio*, заставляет заговорить эту массу слов.

Прежде всего он констатирует, что слова с неподвижным ударением, т. е. имеющие ударение в косвенных падежах или всегда на основе, или всегда на окончании, как например *стол, труп* и т. п., никогда не образуют множественного на *-а*, за исключением слова *рукав—рукава*. Но множественное число этого слова очевидно представляет из себя продолжение старого двойственного, так как оно обозначает парный предмет (справка из украинского подтверждает догадку). Отсюда легко сделать предположение, что вообще множественное на *-а* есть старая форма двойственного, которая потеряла свое первоначальное значение и приобрела значение множественного, тем более что при таком предположении становится ясным, почему слова с неподвижным ударением не имеют мн. ч. на *-а*: в них форма двойств. ч. вполне совпала с формой род. п. ед. ч. не только по окончанию, но и по ударению — *столá, трѹпа*, являются не только формами род. п. ед. ч., но продолжали бы и им. п. двойств. ч. Только в словах с подвижным ударением, как например *дом / к дѡму / на домѹ*, форма двойственного числа сохранялась как отличная от родительного (*дѡма / домá*), а потому могла предложить свои услуги в качестве множественного. Теперь ясно, откуда все эти *домá, городá, парусá, учителя, профессорá* — это старые формы двойственного числа. Но почему же эта форма не овладела окончательно и не вытеснила форм на *-ы/-и* во всех словах с подвижным ударением? Откуда же все эти *валы, верхы, жиры, слѡги, рѡды* и т. п.?

Шахматов различает две категории таких сопротивляющихся слов: одни перетягивают ударение на окончание в им. мн. (*вал / вáла / на валѹ — валы́*); другие не перетягивают (*дух / дѹха / на духѹ — дѹхи*).

Слова первой категории — *балы́, боры́, бой, валы́, верхы́, весы́, дары́, долги́, дубы́, духи́, жары́, жиры́, зады́, зобы́, квасы́, круги́,*

лады, мѣды, меды, мозги, мехи, носы, низы, паны, пукѣ, пупы, полы, пары, пуды, переды, рай, рои, ряды, разы, сады, склады, слои, сыры, торги, фунты, хлевы, цветы, часы, чаны, чай, шагѣ, шелкѣ, шкапы.

Среди них Шахматов усматривает:

1) Слова, не употребляющиеся при счете, как вещественные *меды, чай, жиры* и т. д., а потому никогда не употреблявшиеся в двойственном числе.

2) *Pluralia tantum*, как например *весы, духи* и т. п., у которых двойственное число очевидно тоже никогда не существовало.

3) Слова новые, как например *шкапы, балы, поны*, вошедшие в русский язык уже после исчезновения двойственного числа.

4) Слова книжные, церковнославянские или находящиеся под его влиянием, как например *дары, рай* и т. д. А, как известно, в церковнославянском мн. ч. на *-а* от имен муж. р. не употребляется.

5) Слова, как *сады, чаны*, и т. д., в которых Шахматов видит старые основы на *-ъ*, в формах мн. ч. которых — правильные старые формы двойств. ч. этих основ.

В словах второй категории, т. е. в словах, не перетягивающих ударения на окончание, Шахматов видит:

1) Слова книжные, как например *дблы, грббы, слбги* и т. д., т. е. слова, сопротивляющиеся влиянию форм на *-а* в силу своего церковнославянского характера.

2) Слова, означающие одушевленные предметы, как например, *вблки, ббги, дбхи* и т. д. Эти именительные падежи Шахматов признает потомками иной падежной формы, чем та, которая дала формы на *-ы/-и* в прочих случаях.

3) Слова *вблосы, зббы, рбги, хлббы, ббки*, в которых эти формы имеют особый, индивидуализирующий оттенок значения по сравнению с их дублетами — *волоса* (и *волбсья*), *зббья, рогá, хлебá, бокá*.¹

На этом примере, мне кажется, хорошо видно, как серая однообразная масса фактов под напряженным, одухотворенным взором Алексея Александровича приходит в движение, начинает группироваться, становится в определенные ряды и наконец выдает свои тайны. Пусть система, таким образом вырастающая, не всегда и не во всем верна — в частности, едва ли только что приведенное объяснение форм им. п. мн. ч. может считаться во всех своих частях вполне приемлемым, — однако раз пришедшие в движение факты уже не могут вер-

¹ Изложено с небольшими упрощениями по «Очерку современного русского литературного языка» (Курс, читанный в СПб.-бургском университете в 1911/12 уч. году и изданный Студенческим издательским комитетом при Историко-филологическом факультете СПб. университета).

нутья в свое первобытное состояние; их одухотворила уже мысль человеческая, и будущему исследователю придется, может быть, лишь перестроить их ряды, внести другие предпосылки; но он уже не будет стоять перед той непроницаемой серой стеной, о которую тщетно разбиваются самые добросовестные усилия людей хотя бы и талантливых, но не одаренных гениальной интуицией.

И надо заметить, что приведенный пример является одним из простейших случаев проявления этой интуиции у Алексея Александровича. В любом фонетическом и особенно акцентологическом вопросе число фактов бесконечно больше, а главное — отношения между ними являются гораздо более запутанными; и тем не менее они покорно строятся у Алексея Александровича в правильные ряды и все находят себе свое место в системе, из них же вырастающей. И система эта бывает подчас настолько сложной, а фактов так много, что нам, обыкновенным смертным, являющимся лишь читателями трудов Шахматова, зачастую бывает не под силу охватить все это море фактов и самое систему одним взором, понять как следует всю конструкцию.

Тут вырисовывается нам и условие этого выразительного умения владеть фактами, а именно то, что, может быть не совсем точно, я позволил бы себе назвать исключительно большим «объемом сознания». Это не то же, что большая память, которую тоже обладал покойный, — это поразительная способность держать одновременно в сознании или в сферах к нему близких громадное количество представлений.

В связи с этим огромным «объемом сознания» находится следующая особенность, которая выделяет, как мне кажется, Алексея Александровича среди прочих больших ученых. Само собой разумеется, во всех эмпирических науках исследовательская интуиция направлена на приведение фактов в систему, на нахождение идей, их связующих. Но у большинства крупных ученых, которых я имел счастье наблюдать, системы, ими создаваемые, покрывают лишь часть фактов, и в большинстве случаев остается некоторый большой или меньший *residuum*, который ими сознательно или бессознательно игнорируется. Они интуитивно угадывают сущность явления на основании зачастую ничтожного числа фактов, предоставляя времени и другим объяснять так называемые «исключения», или по крайней мере часть их, или вообще все, не вошедшее в их систему. Не то мы видим у Алексея Александровича: у него решительно все факты находят себе место и объяснение в его системах и притом зачастую оказываются нанизанными на разветвления одной и той же идеи. И это производит на нас неотразимое впечатление, являясь, очевидно, большим достоин-

ством конструкций Алексея Александровича даже в тех случаях, когда они оказываются неудачными; они вводят в научный оборот все факты, подлежащие в данном случае обсуждению, и каждый грядущий исследователь, полемизируя с Алексеем Александровичем, вынуждается всем им дать то или иное объяснение, так или иначе считаться с ними. Но здесь лежит несомненно и источник слабости конструкций Алексея Александровича: так как все части его систем бывают обыкновенно тесно связаны между собой, то достаточно поколебать какой-либо ее уголок, достаточно зачастую одного нового соображения или новой группы фактов, чтобы разрушить всю систему. Этим объясняется, между прочим, почему сам Алексей Александрович неоднократно вынуждался к перестройкам своих конструкций.

Здесь уместно было бы поставить себе вопрос о путях той блестящей интуиции Алексея Александровича, которая давала ему такую власть над фактами. Не будучи особенно близок к покойному и не имея всех документов в руках, я, конечно, не в состоянии дать на этот вопрос надлежащий ответ. Однако небольшое число мелких наблюдений и соображений, имеющих в моем распоряжении, говорит о том, что путь этот был гениально прост и в общем исходил из фактов, а не из отвлеченных и общих соображений; впрочем, весьма возможно, что индукция и дедукция переплетались у Алексея Александровича, взаимно друг другу помогая.

Хотелось бы в заключение обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство, стоящее со всем сказанным в тесной связи. То исключительное владение фактами, которое мне представляется характернейшей чертой таланта Алексея Александровича, его «объем сознания», а также его богатейшая память предназначали его, по моему мнению, в творцы монументального, всеобъемлющего труда по истории русского языка. По некоторым признакам мне всегда казалось, что и сам Алексей Александрович считал написание подобного «компендия» одной из своих жизненных задач, и в курсах лекций, особенно по морфологии, надо, вероятно, видеть намечавшиеся части обширно задуманного плана. По ним можно судить о том, чего мы лишились по жестокому велению жестокой истории. Можно без всякого преувеличения сказать, что будь этот труд написан, русская культура могла бы по справедливости им гордиться перед Западной Европой, так как ни один народ не имел бы чего-либо равного. И это понятно: обыкновенно авторы подобных компендиев не отличаются полетом мысли, не имеют оригинальных общих связующих концепций, а являются лишь добросовестными регистраторами достигнутых в науке результатов. Предполагаемый же компендий Алексея Александровича

соединял бы в себе полные, исчерпывающие перечни фактов с цельным и законченным «миросозерцанием». Его недостатком было бы только то, что он должен был бы скоро устареть, и притом по той же причине, по какой вообще легко рушились конструкции Алексея Александровича. Но и устарелый он оставался бы на долгое время неувядаем как произведение единого творческого духа, сумевшего синтезировать в единой концепции весь материал, каким располагает в настоящее время наука истории русского языка.

Ф. Ф. ФОРТУНАТОВ В ИСТОРИИ НАУКИ О ЯЗЫКЕ

В старой России было три замечательных лингвиста-теоретика: А. А. Потебня, Ф. Ф. Фортунатов и И. А. Бодуэн де Куртенэ.

Я не говорю о филологах, бывших в той или другой мере хорошими языковедами. Не говорю даже о А. А. Шахматове, который был тоже совершенно исключительным ученым и прекрасным лингвистом; но едва ли он не был прежде всего историком вообще и в частности историком языка, как одного из основных элементов истории культуры, и собственно лингвистика — ее теоретические основы — лежала за пределами его кровных интересов. Будучи гениальным ученым вообще, он являлся истинным вдохновителем у нас всей работы в области русской филологии в самом широком смысле слова (отчасти он оказывается им еще и в настоящее время); однако его никак нельзя считать вождем и в теоретической лингвистике — он был и сам себя считал учеником Фортунатова в этом отношении. Между тем Потебня, Фортунатов и Бодуэн де Куртенэ, хотя и в совершенно разной мере, были действительно самостоятельными мыслителями в этой области и оставили глубокий след в истории общего языкознания в России. Менее всех посчастливилось в этом отношении А. А. Потебне: затерянный в провинциальном университете, он оказался в значительной мере вне путей мировой науки и остался чем-то вроде «русского самородка». Едва ли не наибольшая удача выпала на долю Ф. Ф. Фортунатова: он имел особенно много учеников — будущих профессоров разных русских университетов, которые и распространяли его идеи.

Впрочем, я сопоставил эти три имени вовсе не для того, чтобы сравнивать их между собой, а для того, чтобы констатировать, что все трое не сыграли в мировой науке о языке той роли, какую они должны были бы сыграть по своим личным ученым качествам, по широте и глубине своего лингвистического

мировоззрения. Они были вождями лингвистической мысли у себя на родине, но не были вождями мировой науки о языке.

Причины этого глубокие и сложные, и я хотел бы несколько остановиться на них в применении к Филиппу Федоровичу, не претендуя, однако, исчерпать этот вопрос.

Внешняя причина лежит, конечно, в языке, на котором они все писали: *rossica non leguntur*. Один из видных лингвистов сказал мне тридцать пять лет тому назад на прощанье, после того как я целый год у него занимался одним редким языком: «Желаю Вам стать знаменитым специалистом по этому языку; только не пишите по-русски — все равно не буду читать».¹

Из времен Филиппа Федоровича напомним следующий любопытный случай. В 1875 г. знаменитый И. Шмидт выпустил вторую часть своего не менее знаменитого труда «*Zur Geschichte des indogermanischen Vocalismus*», где специально славянскому вокализму отводится около 170 стр. В следующем, 1876 г. Ягич в 1-м томе своего «*Archiv für slavische Philologie*» пишет по этому поводу большую статью («*Über einige Erscheinungen des slavischen Vocalismus*», стр. 337—412). В этой статье выясняется, что Шмидт открывает явления (дело идет о сочетаниях гласных с плавными), давно известные славянским ученым, и что он не знает таких замечательных для своего времени исследований, как: [П. А.] Л а в р о в с к и й. О русском полногласии. [СПб.,] 1859, и [А. А.] П о т е б н я. Два исследования [о звуках русского языка. Воронеж]. 1866.

Специально для Филиппа Федоровича была как будто и другая, не менее очевидная причина слабого влияния его идей за границей: он вообще мало писал. Его биографы ставят это в связь с некоторыми чертами его характера и с особенностями его научного творчества (ср. некролог, напечатанный А. А. Шахматовым в Известиях Академии наук, 1914), и в этом, вероятно, есть та или другая доля правды. Не невозможно и то, что некоторую роль мог сыграть также характер его сравнительно-грамматических изысканий, при которых он стремился находить в реконструируемом им праязыке объяснения многих исторически засвидетельствованных различий.² Это вызывало

¹ Считаю нужным отметить, что в последнее время положение вещей несколько улучшилось: покойный Мейе читал все значительные лингвистические работы, выходявшие на русском языке. Многие и другие крупные лингвисты следуют его примеру. Сейчас, когда благодаря нашей национальной политике обследуется все великое множество языков Союза, мы пускаем в мировой оборот такое количество свежего языкового материала, что образованному лингвисту трудно будет не знать русского языка.

² Ср. замечание по этому поводу С. К. Булича в статье о Ф. Ф. Фортунатове (помещенной в 71-м полутоме Энциклопедического Словаря Брокгауза и Ефрона) о том, что при таком методе трудность «*wird verschoben, aber nicht gehoben*» (откуда у Булича здесь немецкий язык и принадле-

настолько сложные построения, что они сравнительно легко рушились, по крайней мере в некоторых своих частях, что в свою очередь обуславливало необходимость реконструкции и в силу исключительной добросовестности Филиппа Федоровича останавливало печатание начатой работы.

Однако обратимся к фактам. Филипп Федорович всю жизнь и больше всего занимался балтийскими языками и был, по-видимому, совершенно исключительным литуанистом. Это видно из того, что при всем небольшом объеме исходящего от него печатного материала никто и сейчас не может стать литуанистом, не изучив всего того, что написали по этому поводу Фортунатов и люди, находившиеся под его влиянием. Но написал он все же в конце концов исключительно мало и в этой области. Возможно, что тут интересовало его более то, что могли дать балтийские языки для его сравнительно-грамматических построений, но не сами балтийские языки.

Но вот возьмем акцентологию балтийских и славянских языков. Это один из триумфов современной сравнительной грамматики. Шестидесятилетняя работа ряда крупных умов создала на основе только одного сравнительного метода почти без всяких исторических данных историю ударения, количества и интонации в балтийских и особенно в славянских языках. Не все еще, конечно, доделано, но в основном здание построено. Эту блестящую главу индоевропейской сравнительной грамматики начинает Филипп Федорович в 1880 г. своей совершенно изумительной статьей в A.S.Ph., IV — «Zur vergleichenden Betonungslehre der lituslavischen Sprachen». Статья короткая — всего 14 страничек, — но насыщенная, как всегда у Филиппа Федоровича, и содержащая *in puse* до известной степени многое из всего дальнейшего развития акцентологии. Статья кончалась многозначительной припиской «Wird fortgesetzt». И однако продолжения не появилось. В совершенно попутном замечании одной большой русской статьи («Разбор сочинения Г. Ульянова: Значения глагольных основ в литовско-славянском языке») Филипп Федорович в 1897 г. открывает одновременно с Соссюром закон переноса ударения в связи с качеством слогового акцента в балтийских и славянских языках, закон, которому много позже усваивается его имя наряду с именем Соссюра. Кроме того, в 1895 г. Филипп Федорович печатает довольно большую статью на русском языке «Об ударении и долготе в балтийских языках, I» (РФВ, XXXIII, 1—2, стр. 252—297).³ Она посвящена прусским фактам, являясь основополож-

жит ли эта острота ему лично или кому-либо из немецких лингвистов, сейчас уже не могу припомнить).

³ Переведена на немецкий язык и появилась в В. В., XXII.

ною для них, и заключает в себе целый ряд ценных попутных замечаний. Однако продолжения (частей II, III и т. д.) не появилось, и вообще больше ничего не появилось, что бы было написано Филиппом Федоровичем в этой области. В результате все то замечательное здание славяно-балтийской и специально славянской акцентологии, о котором говорилось выше, оказалось построенным без Фортунатова. Лескин в 1885 г., открыл серию относящихся сюда работ, сделал простые, но для всей славянской акцентологии основополагающие выводы из сравнительной грамматики индоевропейских языков и в ряде исчерпывающих исследований ([A. Leskien.] *Untersuchungen über Quantität und Betonung in den slavischen Sprachen* [Leipzig, 1885]) разработал громадный относящийся сюда материал в области славянских языков. За Лескиным последовал целый ряд других исследователей — Вальявек специально в области словинского, Цонев в области болгарского, Кульбакин в области польского, Черни в области чешского, позже Белич в области чакавского и т. д. В дальнейшем целый ряд крупнейших лингвистов принимает участие в работе, и в их трудах имена Фортунатова и Соссюра, посвятившего вопросу — это любопытно отметить — тоже всего 10 страничек в VI-м томе I. F. Anz., начинают тесно связываться с определенным открытием в области балтийско-славянской акцентологии. Однако надо подчеркнуть, что в 1885 г. Лескин не считал нужным даже помянуть имя Фортунатова.

Какими бы чисто личными причинами ни объяснять тот факт, что Фортунатов мало печатал и, в частности, почти что не участвовал в коллективном построении славянской акцентологии, я не могу, однако, не сопоставить всего этого со следующим высказыванием Хирта (*Indogermanische Grammatik, V. Der Akzent.* [Heidelberg,] 1829), где он, жалуясь на то, что славянские ученые в свое время мало занимались ударениями, говорит: «Все же Фортунатов опубликовал в *A.S.Ph.*, IV, одно чрезвычайно важное открытие; без сомнения, он обладал еще целой сокровищницей различных новых фактов, однако его мысли не нашли надлежащего отклика, и поэтому его открытия не были им обнародованы».

Это высказывание заставляет меня предположить, что не случилось ли с Филиппом Федоровичем, по крайней мере отчасти, того же, что случилось с Соссюром и с Шухардтом, т. е. не оказался ли он чересчур передовым для тогдашней немецкой науки и не было ли это в той или другой мере одной из причин, — я не хочу отрицать других, в частности его молчания, — как это несомненно имело место у Соссюра. Из просмотра его курсов по сравнительной грамматике сравнительно с аналогичной немецкой литературой того же времени следует, что он был

головой выше большинства своих немецких современников.⁴ Этим и объясняется восторг некоторых приезжавших в Москву молодых ученых перед пытливой и глубокой мыслью учителя, и этим объяснялось бы и то раздражение, которое слышалось в тоне маститых основоположников младограмматизма, которое мне самому приходилось наблюдать и которое в общем якобы естественно объяснялось упорным молчанием Филиппа Федоровича. Своевременное опубликование на общедоступных языках сравнительно-грамматических трудов Филиппа Федоровича несомненно оказало бы большое влияние на ход развития индоевропейской сравнительной грамматики. Поручкой этому является отношение к трудам Фортунатова такого исключительно талантливое индоевропейца, каким был рано умерший профессор Боннского университета Зольмсен.⁵

Правда, разработка Филиппом Федоровичем сравнительно-грамматических вопросов шла не по тем путям, по каким она пошла в дальнейшем. Один Хирт на Западе до самой своей смерти продолжал стремиться восстановить реальную историю общеиндоевропейского праязыка. Однако и теперь, думается, опубликование плодов глубокого анализа и тонкой мысли Филиппа Федоровича окажет большое влияние на формирование умов лингвистов, желающих заниматься сравнительной грамматикой.

Но если в этой области некоторые крохи фортунатовской мысли все же стали всеобщим достоянием, то гораздо хуже дело обстоит с общими идеями Филиппа Федоровича о языке: они просто никому не известны. Между тем, если даже читать его курс лекций по общему языкознанию, предназначенный в конце концов для начинающих студентов, то невольно и теперь еще восторгаешься светлыми и глубокими мыслями Филиппа Федоровича по разным вопросам.

Таковы, например, его идеи об отношении между языком и диалектом и сосуществовании диалектов в языке. Таковы идеи об отдельном слове и идеи о сложных словах. Такова идея «отрицательной формальной принадлежности» (ср. «морфологи-

⁴ А. А. Шахматов говорит в некрологе Фортунатова, стр. 969: «В них (т. е. в университетских курсах Фортунатова) все самобытно, все глубоко продумано заново, все сравнительно с современной им немецкой лингвистикой свежо и оригинально». С. К. Булич пишет еще в 1902 г. в Словаре Брокгауза и Ефрона: «Среди современных лингвистов Ф. занимает совершенно самостоятельное и независимое положение. В начале своей научной деятельности он несколько отражал влияние геттингенской школы (Фик) и отчасти Шлейхера, но впоследствии совершенно эманципировался от него и пошел своим оригинальным путем».

⁵ Ему мы обязаны переводами на немецкий язык немногочисленных статей Филиппа Федоровича сравнительно-грамматического содержания.

ческий и фонетический нули» Бодуэна). Таковы идеи о переносном значении слов и многое, многое другое.

Таковы, я бы сказал, и идеи о форме слов и о классах слов и о словосочетаниях, если бы эти идеи в дальнейшем — у людей, чересчур внешне понявших фортунатовскую тонкую мысль, — не привели к совершенно неприемлемым концепциям. Фортунатов вполне различал — и не раз говорил об этом — историческое от актуального, т. е. то, что являлось всегда основным для всей научной концепции Бодуэна и что выражено у Соссюра терминами *linguistique historique* и *linguistique synchronique*; но на практике он часто переносил справедливое для предполагаемых предшествовавших языковых состояний в современность и часто этим запутывал мысль своих учеников. Но это было более чем естественно для его подчеркнута исторических позиций: научным он признавал лишь историческое языкознание.

Теоретические идеи Филиппа Федоровича в области синтаксиса надо признать особо глубокими. Не могу в этой связи не вспомнить здесь то впечатление, которое на меня произвели синтаксические идеи Филиппа Федоровича: я имел счастье слушать его лекцию «О преподавании грамматики русского языка в средней школе» на Первом съезде преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях. Отчасти исходя из идей Филиппа Федоровича, а отчасти отталкиваясь от них, я строю свой синтаксис.

И неудивительно, что общелингвистические идеи Филиппа Федоровича были столь интересными и глубокими. А. А. Шахматов пишет в его некрологе: «Фортунатов получил основательное философское образование. Одно время он специально занимался философией, следил за философскими журналами, а в особенности за успехами философии в Англии. Самостоятельно изучив психологические проблемы и постоянно возвращаясь к вопросам, связанным с теорией познания, с отношением мышления к внешнему миру, Фортунатов во всеоружии знания брался за разрешение вопросов об отношении языка к мышлению, а также, как уже указано, за исследование семасиологии и синтаксиса».

Все сказанное уполномочивает меня сделать в конце концов следующий вывод: Филипп Федорович был гениальнейшим лингвистом своего времени, и только какие-то внешние обстоятельства помешали ему сделаться одним из вождей мировой науки о языке.

В лице скончавшегося 21 сентября 1936 г. французского лингвиста Антуана Мейе (Antoine Meillet) мировая наука потеряла одного из самых блестящих своих представителей, бывшего последние десятилетия непререкаемым авторитетом в западноевропейской науке о языке. Наша Академия потеряла в его лице, кроме того, и своего члена-корреспондента с 1906 г., а потому вдвойне не может отнестись равнодушно к этой утрате.

Едва ли мы в состоянии здесь до конца критически разобратся в громадном научном наследии почти что пятидесятилетней неутомимой исследовательской деятельности покойного. Мы не имеем пока даже полного списка его научных трудов, рассеянных зачастую по самым разнообразным изданиям. Но что самое главное — эти труды не стоят для нас в надлежащей перспективе: мы не знаем, какие из них покойный ученый считал актуальными, а какие устарелыми и в каком отношении.

На непосредственных учениках покойного лежит обязанность выяснить то в его трудах, что должно войти в необходимый багаж будущих лингвистов. Нам, более далеким ученикам и просто современникам, возможно только попытаться наметить в основных чертах ту роль, которую играли труды А. Мейе в развитии лингвистики XX в., поскольку мы сами принимали в нем то или другое участие. А роль эта огромная.

Секрет влияния покойного ученого лежит несомненно прежде всего в качестве и количестве его трудов. Он написал около двух десятков книг. Это, конечно, много, но не представляется, однако, чем-то из ряда вон выходящим. Зато количество статей, принадлежащих его перу, хоть сейчас и не поддается учету, однако во всяком случае должно исчисляться сотнями. И каждая статья является своего рода маленьким шедевром: в основе каждой лежит какая-нибудь интересная оригинальная мысль; каждая солидно аргументирована и с лингвистической, и с филологической стороны; каждая оказывается в высшей степени прозрачной и изящной по своему построению; каждая посвящена какому-либо конкретному факту из истории того или иного языка, но каждая выходит далеко за пределы этого факта и имеет то или другое общее значение. А так как статьи эти касались чуть не всех индоевропейских языков, то не могло быть специалиста по какому-либо из них, который не должен был бы считаться с мнениями Мейе по многим вопросам своей специальности.

Действительно, покойный ученый был полным хозяином в таких трудных областях, какими являются славистика, иранистика и арменистика. Греческий язык на всем его протяжении, а также латинский язык с итальянскими диалектами были ему,

конечно, отлично знакомы, не только как лингвисту, но и как филологу, что, впрочем, надо считать более или менее нормальным для всех лингвистов старшего поколения. Но и в области других индоевропейских языков он мог брать материалы для своих построений не из вторых рук, но и черпать их из первоисточников, а зачастую даже делать и эти последние непосредственным предметом своего исследования. Мне кажется, что нет индоевропейского языка, который не останавливал бы его исследовательской пытливости. Я не помню только статей по албанистике, но, может быть, это только результат моей неосведомленности. Я не знаю также, в какой мере Мейе занимался романистикой вообще; что касается французского языка, то он постоянно черпал из его истории иллюстрации для тех или других своих утверждений. Современный французский язык он чувствовал исключительно тонко, будучи большим ценителем и французской художественной литературы, как об этом говорил мне его ближайший товарищ и друг П. Буайе.

Осведомленность Мейе не только в языках индоевропейских, но и в языках всего мира (он, по-видимому, между прочим, хорошо знал языки банту), а также по всем сопредельным дисциплинам, как то: история культуры, социология, философия, психология, — была прямо-таки изумительная. О ней все могли судить по его критическим отзывам о самых разнообразных книгах, имеющих то или иное отношение к лингвистике (отзывы эти помещались в последнее время в «Bulletin linguistique», а раньше преимущественно в «Revue critique»).

Сумма идей, частных и общих, составляющая содержание статей покойного ученого, и является, может быть, в еще большей степени, чем его книги, тем наследием, которое он нам оставил и в котором нам надлежит разобраться. Оно настолько разнообразно, что трудно подвести его под какие-либо простые формулы. Он и сам не выдвигал никаких чрезмерно заостренных лозунгов, которыми можно было бы определить его роль в истории науки о языке.

Очень часто Мейе называют основателем социологической школы. В этом есть, конечно, своя доля истины, ибо для младограмматиков, продолжателем которых он, конечно, является, роль теоретической науки для истории языков (этой последней, по их мнению, исчерпывалась вся наука о языке) играла психология, что и нашло себе блестящее выражение в знаменитом труде Вундта. Мейе же в 1906 г. с полной определенностью называет (во вступительной лекции к курсу сравнительной грамматики в Collège de France) лингвистику наукой социальной и одну из задач языковедения видит в том, «чтобы определить, какой структуре общества соответствует каждая определенная структура языка и как вообще изменения в структуре общества

отражаются в изменениях в структуре языка» («Linguistique historique et linguistique générale». [Paris, 1921,] p. 17). Как это и естественно было ожидать, приложение этих идей на практике Мейе начал с истории слов в своей знаменитой статье в «Année sociologique», [t. IV], 1904—1905, [Paris,] 1906, — «Comment les mots changent de sens» («Linguistique historique et linguistique générale», p. 230). Как это тоже было естественно ожидать, основы своей социологии Мейе взял, как он об этом сам говорит, у своего современника и коллеги Дюркгейма, официального идеолога третьей республики XX в. Поскольку Дюркгейм по многим пунктам резко расходится с марксизмом, постольку мы должны с крайней осторожностью подходить к социологическим построениям и Мейе. Однако Мейе, по-видимому, не склонен был замазывать понятия «класса»: в ряде своих работ последних лет он пытается остроумным анализом общего наследия индоевропейских языков установить в нем классовую дифференциацию слов (см., между прочим, предисловие к «Латинскому этимологическому словарю» Эрну и Мейе).

Признавая за Мейе заслугу четкой постановки проблемы отношений между социологией и лингвистикой, нельзя, однако, считать его абсолютным новатором в этом вопросе. Уже то разочарование, с которым лингвисты встретили первый том «Völkerpsychologie» Wundt'a, объективно показывает, что в ней желали найти нечто другое, чем приложение основ индивидуальной психологии к явлениям языка. Передовые лингвисты были несомненно вполне готовы к восприятию социологической трактовки языка.

То же можно сказать и о другом характерном для Мейе элементе его лингвистического мировоззрения — сознании необходимости общего языкознания как особой дисциплины. Тогда как теоретик младограмматиков, Г. Пауль, называл «Общее языкознание» — «Prinzipien der Sprachgeschichte», Мейе говорил, тоже в 1906 г., что «разыскание общих законов, как морфологических, так и фонетических, должно быть одним из основных предметов лингвистики». «Но, продолжал Мейе, эти законы по самому своему определению выходят за пределы отдельных семей языков: они приложимы к человечеству в целом» («Linguistique historique et linguistique générale», p. 13). И действительно, как указывалось выше, Мейе всегда и везде прежде всего имел в виду интересы «общего языкознания», конечно, такого, каким он его понимал. Но многие лингвисты уже давно тяготились концепцией младограмматиков и стремились сбросить с себя ярмо Г. Пауля: достаточно сослаться на труды Бодуэна де Куртене, начиная с конца 70-х годов прошлого столетия. Я не говорю, конечно, уже о В. Гумбольдте

и его эпигонах в Берлинском университете и о таких ученых, как Г. Шухардт, О. Есперсен, Ф. Соссюр, ван-Гиннекен и др., которые все в той или другой мере создавали те или другие элементы «общего языкознания».

Я хотел бы поставить в связь с этой постоянной направленностью Мейе на вопросы общего языкознания одну особенность его научного творчества, о которой, по-моему, никто никогда не говорил. Я догадываюсь о ней по тем лекциям, которые я слушал у него в 1907—1908 гг. Особенно сильное впечатление в этом отношении произвел на меня курс о латинском глаголе. Описывая генезис какой-либо формы, Мейе всегда исходил из констатирования семантической потребности в данной форме; далее он анализировал наличные возможности удовлетворения этой потребности и, так сказать, а priori выводил объясняемую форму как абсолютно необходимую. Сила рассуждения получалась прямо-таки поразительная. Такое реальное представление всех взаимодействующих лингвистических факторов в определенный момент времени исторического развития того или другого языка требует совершенно исключительной способности их видеть. Интересно отметить, что в письменной продукции Мейе этот прием, по-моему, не наблюдается. Поэтому-то я и предполагаю, что здесь отражался сам творческий исследовательский процесс. До лекций он доходил, но исчезал при письменном оформлении, обуславливая лишь убедительность окончательных выводов Мейе. Было бы очень желательно, чтобы его непосредственные ученики проверили справедливость моих слов, а главное, дали бы из своих записей реальные примеры подобных рассуждений.

Теперь я хотел бы перейти к тому, что я считаю одной из главных осей научной деятельности ушедшего от нас ученого.

Еще в последнюю четверть XIX в. между сравнительно-грамматической школой И. Шмидта в Берлине и сравнительно-грамматической школой Бругмана в Лейпциге происходила глухая борьба, несколько сгладившаяся лишь в XX в. В Берлине больше занимались историей языка, а в связи с этим и филологией, призывая сравнительное языкознание лишь в помощь истории. В этом отношении показательными являются самые названия главных работ В. Шульце, преемника И. Шмидта по кафедре: «*Quaestiones epicae*» и «*Italische Eigennamen*». В Лейпциге акцент делался собственно на сравнительной грамматике и на этимологиях. Недаром одним из предметов *privatissima* у Бругмана, по-видимому, часто являлся анализ осско-умбрийских надписей, расшифровка которых, как известно, целиком покоится на этимологиях. При этом первое время этимологии делались часто по словарям без солидного

знания соответственных языков, что являлось предметом нападок со стороны берлинцев.¹

Надо сказать, что и вообще филологи Западной Европы, а особенно классические филологи, зачастую чуждались сравнительного языкознания. До самого последнего времени в Германии стоял на очереди вопрос о внедрении сравнительно-грамматических и вообще языковедческих штудий в подготовку классических филологов. Вообще резкое противопоставление филологии (куда, конечно, начиная с Гримма в той или иной мере входит и история языка) лингвистике далеко не изжито еще и в наши дни. В этих условиях я считаю главным делом жизни Мейе возврат сравнительной грамматики к филологии, из которой она и произошла, заполнение той пропасти, которая была вырыта между ними в XIX столетии. Мейе старался показать, что практической целью сравнительной грамматики является лишь расширение хронологических рамок истории языка. Следует отметить, что Мейе никогда не читал курса сравнительной грамматики как таковой, хотя и занимал кафедру сравнительной грамматики в Collège de France, он всегда читал истории отдельных языков (ср. его книги по греческому и латинскому языкам). На практике это отразилось на отношении Мейе к этимологиям: он всегда критиковал те этимологии, которые возводят те или иные слова лишь к «корням» с более или менее определенным значением. Он требовал, чтобы этимология просто продолжала историю данного реального слова, производя его не от корня, а от слова же по могущим быть показанными типам. Деля этимологии на несомненные и возможные, он стремился к совершенному элиминированию этих последних, считая, что число таких возможных сопоставлений в сущности бесконечно велико для каждого данного случая и что потому большинство «возможных» этимологий лишено научного значения.

В 1932 г. он совместно со своим учеником, латинистом А. Эрну, издал «Dictionnaire étymologique de la langue latine», где он последовательно и систематически провел эти свои принципы на практике. В этом словаре дана точная и документированная история слов в латинской традиции, к которой присоединены несомненные (по мнению Мейе) данные об их истории в прошлом, данные, полученные сравнительно-грамматическим методом, доведенным до максимальной виртуозности. Здесь не мешает прибавить, что не только для того, чтобы самому пользоваться этим методом, но и для того, чтобы следить за рассуждениями словаря и оценивать степень их достоверности, нужна соответственная солидная выучка.

¹ Само собой разумеется, что позднее это не поощрялось и Бругманом.

С этим словарем окончательно рушится противоположение между этимологическим и историческим словарями — недаром авторы прибавили в подзаголовке: «Histoire des mots». С появлением этого словаря не должно было бы появляться «этимологических» словарей, хотя сам он и носит еще это название: впредь должны делаться только исторические словари. Сравнительная грамматика в сущности исчезает как особая дисциплина; остается лишь метод удлинения истории данного языка на несколько столетий в прошлое.

С точки зрения «Латинского этимологического словаря» многое в лингвистической деятельности Мейе получает яркое освещение и единое объяснение. Всю свою жизнь он браковал множество этимологий других ученых, показывая их несостоятельность как несомненных исторических фактов. Сам он почти не предлагал новых этимологий, считая, что все несомненные сопоставления уже сделаны. В связи с этим становится понятным и то, что в основу исторического изучения каждого данного языка он клал словообразование: всем известно, что так он поступил относительно славянских языков; мне случайно известно то же самое относительно армянского языка. В методах словообразования, еще наличных в историческую пору жизни данного языка, он искал твердого критерия для понимания происхождения слов в непосредственно предшествующую эпоху.

Ввиду всего сказанного я, вероятно, прав, считая «Латинский этимологический словарь» Эрну и Мейе ключом к пониманию роли покойного ученого в истории науки о языке.²

Поняв, что одним из основных дел жизни Мейе было выделение этимологий, имеющих историческую цену, из всех других, являющихся лишь в той или другой мере возможными, мы сможем понять и отношение Мейе к Н. Я. Марру и к новому учению о языке: при всем своем уважении к большому ученому и специалисту, каким он считал Марра, он всегда, еще с начала 1900-х годов, находил его этимологии «inquiétantes», как он говорил. Они действительно должны были его беспокоить, так как шли вразрез с проводившимся им отбором этимологий. Вращаясь по преимуществу в тесном кругу общего старого багажа индоевропейских языков, Мейе, однако, не видел, а вернее хотел не видеть стремления выйти из этих узких рамок, стремления узнать, что делалось раньше в области языка в человечестве; и он не хотел понять, что для удовлетворения этого

² Мейе говорил мне, что у него уже давно готов этимологический словарь славянских языков, составленный, вероятно, на тех же основаниях, что и латинский. Пожелаем же, чтобы слависты, ученики Мейе, практически владеющие славянскими языками, наложили на этот словарь последние штрихи, как это находил нужным их учитель, и помогли этому драгоценному орудию нашей дальнейшей работы увидеть свет.

стремления нельзя не пытаться в той или другой форме делать эти самые «*étymologies inquiétantes*», которые так смущали его у Марра.

Кроме того, Мейе, осуждая прежде всего этимологии Марра, упрекал его и за то, что он вносит политику в науку. Интересно, однако, что сам Мейе в своей книге «*Les langues de l'Europe nouvelle*» дал блестящий пример того, как ученый все же никогда не может оставаться аполитичным. Как бы Л. Теньер ни истолковывал в своем некрологе Мейе основные мысли этой книги, остается несомненным тот факт, что она на самом деле оправдывает всякую денационализаторскую политику империализма. Идеи Мейе о «малых языках» идут явным образом вразрез с нашей национальной политикой, и мы должны от них отмежеваться самым решительным образом.³

В другой своей книге («*Caractères généraux des langues germaniques*» [Paris, 1937]) Мейе оказывается опять-таки политиком, но на этот раз антифашистским, доказывая смешанную природу германских языков, а следовательно, совершенно отрицая наличие какой-то особой «чистой германской расы».

Возвращаясь к тому, чьей памяти посвящена эта статья, и пробуя резюмировать все предыдущее, я думаю, что не ошибусь, если скажу так: Мейе, с одной стороны, своими попытками связать лингвистику и социологию, а также всем тем, что он сделал для общего языкознания, подготавливает пути новой лингвистики; с другой стороны, своим этимологическим словарем латинского языка он в известной степени замыкает старую лингвистику, образуя последнее звено в цепи, начинающейся с Боппа и Гримма. Он снова соединяет то, что было соединено у Гримма, но что было разъединено в течение всего XIX в., где мы наблюдаем, с одной стороны, реальную историю реальных языков и, с другой стороны, оторванные от этой реальной истории спекуляции с туманными абстракциями разных «праязыков». Я, конечно, ни минуты не сомневаюсь, что и многие другие ученые более или менее сознательно шли по тому же пути и подготавливали почву для завершающей работы Мейе. Однако я полагаю, что своим этимологическим словарем латинского языка Мейе окончательно показал, что сравнительно-грамматическая методика (можно было бы даже сказать, пожалуй, сравнительно-грамматическая техника) совершенно независимо от того, как мы объясняем сходство так называемых «родственных языков» — их схождением, или их расхождением, или как-либо иначе, — может в известных случаях раздвигать границы нашей истории.

³ Нужно, с другой стороны, отметить, что в этой же книге Мейе с величайшей симпатией относится к славянству вообще, и особенно к русскому языку, за которым он признает большую цивилизаторскую миссию.

В подтверждение того, что я не далек от истины в своем определении места Мейе в истории науки о языке, я могу сослаться на него самого: как-то раз в беседе со мной он сказал, что своей жизненной задачей он считает сохранение всех накопленных в лингвистике достижений при переходе ее на новые рельсы.

Спрашивая себя, наконец, чему мы в советской лингвистике должны научиться из опыта этой длинной и богатой исследовательской жизни, я думаю, что прежде всего мы должны констатировать, что в области социологии мы начинаем собственное развитие благодаря бурному развитию у нас марксистско-ленинской методологии в применении к общественным наукам. Мы с благодарностью помянем почин Мейе в этом деле и возьмем все его достижения, но отправляться будем не от Мейе и Дюркгейма, а от основоположников марксизма.

В области общего языкознания сделано до сих пор еще крайне мало. С постановкой самого вопроса об общем языкознании мы давно согласны и опять-таки с благодарностью возьмем весь тот материал, который Мейе сознательно копил в течение всей своей жизни и из которого будет строиться здание общего языкознания. Но будем помнить, что и у нас в этой области, благодаря деятельности И. А. Бодуэна де Куртене, тоже накоплен некоторый интересный материал.

Но чему мы должны безусловно научиться у Мейе — это той доведенной до виртуозности технике узнавания и систематизации общего багажа в так называемых родственных языках и тому умению делать из этого выводы исторического порядка, которые дают нам возможность расширять границы исторического.

Однако несомненно, что сказанным не исчерпываются пути будущей лингвистики. Исследование именно «малых» и бесписьменных языков, которое стало не только возможным, но оказалось и задачей первоочередной важности в условиях нашего социалистического строительства, даст и уже дает могучий толчок развитию языкознания. В свете этого исследования, возможно, многие явления языков с большой историей, оставшиеся неясными, получат свое истолкование. Возможно, что некоторые вещи, казавшиеся в старом языкознании несомненными, получат в новой лингвистике новое освещение.

Наконец — да позволено мне будет высказать и свои чаяния — общее языкознание несомненно сделает большие завоевания, если, рассматривая язык данной эпохи данного коллектива как взаимообусловленную систему (разумеется, со включением в эту систему мышления), будет изучать взаимные связи отдельных элементов этой системы. Без этого мы никогда не построим марксистской лингвистики и не сумеем подняться над уровнем вульгарнейшего социологизма.

СПИСОК ТРУДОВ АКАД. Л. В. ЩЕРБЫ

Книги и брошюры

1. Дополнения и поправки к «Русскому правописанию» Я. К. Грота со справочным указателем к нему. СПб., 1911, 46 стр. (На правах рукописи).
2. Русские гласные в качественном и количественном отношении. СПб., 1912, III—XI+1—155 стр.; табл. I—IV.
3. Восточнолужицкое наречие, т. I (с приложением текстов). Пгр., 1915, I—XXII+194+54 стр.
4. Некоторые выводы из моих диалектологических лужицких наблюдений. (Приложение к книге «Восточнолужицкое наречие»), т. I. Пгр., 1915, 4 стр.
5. Как надо изучать иностранные языки. М., 1929, 54 стр.
6. Словарь русского языка, т. IX. II — идеализироваться. М.—Л., 1935, 159 стр.
7. Русско-французский словарь. Сост. Л. В. Щерба, М. И. Матусевич, М. Ф. Дусс, под общ. рук. и ред. Л. В. Щербы. М., 1936, 11 стр. без пагинации+491 стр.
8. Фонетика французского языка. Очерк французского произношения в сравнении с русским. Пособие для студентов факультетов иностранных языков. Л.—М., 1937, 256 стр.+1 табл.
9. Русско-французский словарь. Сост. Л. В. Щерба и М. И. Матусевич, под общ. ред. Л. В. Щербы. Изд 2-е, расшир. и перераб. М., 1939, 573 стр.
10. Фонетика французского языка. Очерк французского произношения в сравнении с русским. Пособие для студентов факультетов иностранных языков. Изд. 2-е, испр. и расшир. Л., 1939, 279 стр.
11. Русско-французский словарь для средней школы. Сост. Л. В. Щерба и М. И. Матусевич, ред. и общ. рук. Л. В. Щербы. М., 1940, 431 стр.

Статьи в журналах и сборниках

1. Доклад преподавателя 1-го кадетского корпуса Л. В. Щербы «О служебном и самостоятельном значении грамматики как учебного предмета». — Труды 1-го съезда преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях. СПб., 1904, стр. 14—27.
2. Несколько слов по поводу «Предварительного сообщения орфографической подкомиссии», — РФВ, 1905, т. IV, Педагог. отдел, стр. 68—73.
3. Quelques mots sur les phonèmes consonnes composées. Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, 1908, t. XV, p. 1—5.
4. [Рецензия на кн.:] Материалы для южнославянской диалектологии и этнографии. II. Образцы языка на говорах Терских славян северо-

- восточной Италии собрал и издал И. А. Бодуэн де Куртене. СПб. 1904. — *Le Maître phonétique*, 1908, N XXIII, p. 5—6.
5. К личным окончаниям в латинском и других итальянских диалектах. — *ЖМНП*, 1908, стр. 201—208.
6. Субъективный и объективный метод в фонетике. — *ИОРЯС*, 1909, т. XIV, кн. 4, стр. 196—204.
7. *Notes de phonétique générale*. — *Mémoires de la Société de Linguistique de Paris*, 1910, t. XVI, p. 1—7.
8. Критические заметки по поводу книги д-ра Фринты о чешском произношении. — *ИОРЯС*, 1910, т. XV, кн. 1, стр. 233—251.
9. К вопросу о транскрипции. — *ИОРЯС*, 1911, т. XVI, кн. 4, стр. 161—181.
10. *Court exposé de la prononciation russe*. — *Supplément du Maître phonétique*, novembre—décembre 1911, 8 p.
11. О научном и практическом значении говорящих машин [доклад]. — В кн.: Краткий обзор деятельности Педагогического музея военно-учебных заведений за 1912/13 уч. г., вып. III. Деятельность отдела иностранных языков учебно-воспитательного комитета музея. Пгр., 1914, стр. 107—111.
12. *Einige Bemerkungen zu Ščerbas «Russische Vokale»*, veranlasst durch die Rezension von A. Thomson. — *Arch. für Slavische Philologie*. Berlin, 1914, Bd. XXV, N. 3—4, S. 563—574.
13. О разных стилях произношения и об идеальном фонетическом составе слов. — В кн.: Записки Неофилологического общества, вып. VIII (в честь проф. Ф. А. Брауна). Пгр., 1915, стр. 339—347.
14. Главные отличия французской звуковой системы от русской. — В кн.: Краткий обзор деятельности Педагогического музея военно-учебных заведений за 1913/14 уч. г., вып. IV. Деятельность отдела иностранных языков учебно-воспитательного комитета. Пгр., 1916, стр. 52—57, с вкладной таблицей. Статья на французском языке.
15. Методы лингвистических работ А. А. Шахматова. — *ИОРЯС*, 1920, т. XXV, стр. 94—99.
16. К вопросу о летней школе. — *Педагогическая мысль*, 1922, № 3—4, стр. 41—49.
17. Опыты лингвистического толкования стихотворений. I. «Воспоминание» Пушкина. — В кн.: *Русская речь*. Под ред. Л. В. Щербы. Пгр., 1923, стр. 13—56, таблица.
18. *Sur la notion de mélange des langues*. — *Яфетический сборник*, 1925, IV, стр. 1—19.
19. *Культура языка*. — *Журналист*, 1925, № 2, стр. 5—7.
20. Основные принципы орфографии и их социальное значение. — В кн.: *Первый Всесоюзный Тюркологический съезд*. 26 февраля — 5 марта 1926 г. (Стенографический отчет). Баку, 1926, стр. 157—161.
21. Новейшие течения в методике преподавания родного языка. — Там же, стр. 339—344.
22. Об общеобразовательном значении иностранных языков. — *Вопросы педагогики*, 1926, вып. I, стр. 99—105.
23. Безграмотность и ее причины. — *Вопросы педагогики*, 1927, вып. II, стр. 82—87.
24. К вопросу о новых языках в трудовой школе. — Там же, стр. 204—206.
25. *Notes sur la transcription phonétique*. A l'occasion des propositions de la conférence de Copenhague 1925. — *Bulletin de la Société de Linguistique de Paris*, 1928, t. XXIX, fasc. 1 (N 86), p. 1—23 (включая 2 таблицы).
26. О частях речи в русском языке. — В кн.: *Русская речь*. Новая серия, II. Л., 1928, стр. 5—27.

27. Ueber die fremden Sprachen. — Wolgadeutsches Schulblatt, 1928, № 3, S. 226—228.

28. И. А. Бодуэн де Куртенэ и его значение в науке о языке. — Русский язык в советской школе, 1929, № 6, стр. 63—71.

29. Классификация ошибок в сочинениях учащихся. — Вопросы педагогики, 1929, вып. V—VI, стр. 214—242.

30. Трудности синтаксиса русского языка для русских учащихся. — Русский язык в советской школе, 1930, № 3, стр. 74—85. (Сост. совм. с Е. Д. Герке, О. И. Козелюкиной, Н. Н. Роде и В. В. Трубицыным).

31. И. А. Бодуэн де Куртенэ. Некролог. — ИРЯС, 1930, т. III, кн. 1, стр. 311—326.

32. К вопросу о реформе орфографии. — Русский язык в советской школе, 1930, № 5, стр. 126—127.

33. [Рецензия на кн.:] проф. М. Н. Петерсон. Введение в языкознание. М., изд. Бюро заочного обучения при Педфаке 2 МГУ, 1929. — Русский язык в советской школе, 1930, № 5, стр. 196—200.

34. К вопросу о «двуязычии». — [Журнал] «Элэнгэ» (на узбекском языке), 1930.

35. О практическом и общеобразовательном значении иностранных языков. — Вопросы педагогики, 1926, вып. I, стр. 99—105.

36. Транскрипция иностранных слов и собственных имен и фамилий. Изв. Ком. по русскому языку Акад. наук СССР, 1931, т. I, стр. 187—196.

37. О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании. Памяти учителя И. А. Бодуэна де Куртенэ. — Изв., Отд. 1931, № 1, стр. 113—129.

38. О взаимоотношениях родного и иностранного языков. — В кн.: Иностранный язык в средней школе. Методич. сборн. М., 1934, вып. I, стр. 30—34.

39. О «диффузных звуках». — В кн.: XLV Академику Н. Я. Марру. М.—Л., 1935, стр. 451—453.

40. Опыты лингвистического толкования стихотворений. II. «Сосна» Лермонтова в сравнении с ее немецким прототипом. — В кн.: Советское языкознание, т. II. (Сб. посв. В. Ф. Шипшареву). Л., 1936, стр. 129—142.

41. О взаимоотношениях дисциплин, изучающих звуки речи. — В кн.: Методы исследования и воспитания слуха и ритма у глухонемых и тугоухих детей. Под ред. проф. Д. В. Фельдберга. М., 1936, стр. 114—119.

42. Особенности восприятия речи при радиопередаче. — Там же, стр. 120—128.

43. О нормах образцового русского произношения. — Русский язык в школе, 1936, № 5, стр. 105—107.

44. Об образцовом русском произношении. — Говорит СССР, 1936, № 3, стр. 37—38.

45. Спорные вопросы русской грамматики. — Русский язык в школе, 1939, № 1, стр. 10—21.

46. Современный русский литературный язык. — Русский язык в школе, 1939, № 4, стр. 19—26.

47. Транслитерация латинскими буквами русских фамилий и географических названий. — ИАН ОЛЯ, 1940, № 3, стр. 118—126.

48. Опыт общей теории лексикографии. — Там же, стр. 89—117.

49. И. А. Бодуэн де Куртенэ и его значение в науке о языке (1845—1929). Русский язык в школе, 1940, № 4, стр. 83—90.

50. Общеобразовательное значение иностранных языков и место их в системе школьных предметов. — Советская педагогика, 1942, 5—6, стр. 30—40.

51. Литературный язык и пути его развития (применительно к русскому языку). — Советская педагогика, 1942, 3—4, стр. 48—53.

52. Разбор книги М. Е. Хватцева «Логопедия» («Недостатки речи у детей и их устранение»). Изд. 2-е, перераб. М., 1939). — В кн.: Учебно-воспитательная работа в специальных школах, бюлл. 1—2. М., 1943, стр. 41—48.

53. К вопросу о постановке преподавания иностранных языков в общеобразовательной средней школе. — Советская педагогика, 1943, № 11—12, стр. 4—8.

54. Перспективы преподавания иностранных языков в школе. — В кн.: Иностранный язык в школе. М., 1944, стр. 7—11.

Статьи в энциклопедиях и справочниках

1. Гласные. Русская энциклопедия, т. V, стр. 457.

2. Интонация. Большая Советская энциклопедия, 1-е изд., т. 29, стр. 30.

3. Фонетика. Большая советская энциклопедия, 1-е изд., т. 58, стр. 107—117.

4. Пунктуация. Литературная энциклопедия, т. IX. М., 1935, стр. 366—370.

5. Особое мнение проф. Л. В. Щербы по вопросу о роли языков в средней школе. — В кн.: Материалы по реформе средней школы. СПб., 1915, стр. 448—457.

6. Таблицы склонения и спряжения. — В кн.: С. Г. Бархударов. Русская грамматика. Ч. I. Морфология. Л., 1935, 88—103.

7. Правописание иностранных слов. — В кн.: Орфографический справочник. М., 1936, стр. 59—63 (Проект). Сост. Орфограф. комисс. при АН СССР.

8. Пунктуация. — В кн.: Правила единой орфографии и пунктуации. М., 1940, ч. II, стр. 77—114 (Проект). Сост. комисс. по разработке единой орфографии и пунктуации русского языка, учрежд. пост. СНК СССР от 10 июля 1939 г.

Статьи в газетах

1. Об языке и грамотности. — Студенческая правда, 1927, № 6.

2. Об иностранных языках. — Красная газета (Вечерн. вып.), 1927, № 332, 10 декабря.

3. В. Б. Томашевский — как ректор и ученый. — Красная газета (Вечерн. вып.), 1927, № 43, 15 февраля.

4. Мой метод занятий. — Студенческая правда, 1928, № 10, стр. 4.

5. Прекрасная инициатива. — Ленинградский университет, 1938, № 34, 20 октября.

6. Об идеально грамотном человеке. — Учительская газета, 1940, № 142, 3 ноября.

7. К итогам Диалектологической конференции в Вологде. — Красный Север, 1944, № 153, 4 августа.

Программы, тезисы и выступления

1. Выступление по докладу Г. Т. Синюхаева «К методике синтаксиса сложного предложения». — Труды 1-го съезда преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях. СПб., 1904, стр. 68—70.

2. Выступление по докладу К. С. Хоцянова «Несколько слов относительно вопросов, по которым предполагается заслушать доклады». — Там же, стр. 141—142.

3. Введение в языковедение. Программа курса, читаемого в Психоневрологическом институте на словесно-историческом отделении педагогического факультета. [Б. м. и б. г.] 6 стр.

4. Программа лекций по грамматике русского языка, читаемых в СПб. учительском институте в 1905/1906 г. СПб., 1906, 7 стр.

5. Положения к диссертации Л. В. Щербы «Русские гласные в качественном и количественном отношении», СПб., 1912, 3 стр.

6. Положения к диссертации Л. В. Щербы «Восточнолужицкое наречие», т. I. Пгр., 1915, 4 стр.

7. Филология как одна из основ общего образования. — В кн.: Первый Всероссийский съезд преподавателей русского языка средней школы в Москве 27 декабря 1916 г.—4 января 1917 г. М., 1917, стр. 18. (Тезисы доклада).

8. Образовательное значение языка. — В кн.: Родной язык в школе, кн. 1-я (2). 1919—1922. М.—Пгр., 1923, стр. 94. (Тезисы доклада).

9. Формальное направление грамматики. — Там же, стр. 95. (Тезисы доклада).

10. Программы-минимум единой трудовой школы I и II ступени, вып. IV. Немецкий язык. Л., 1925, 15 стр.

11. Выступление академика Л. В. Щербы на чествовании акад. И. И. Мещанинова в связи с шестидесятилетием со дня рождения и награждением его орденом Ленина. 7 декабря 1943 г. в Президиуме АН СССР. — Вестник АН СССР, 1944, № 1—2, стр. 84—85.

Редактированные труды

1. Э. Р и х т е р. Как мы говорим? Перев. с немецк. Е. В. Под ред. и с дополн. для русск. читателей Л. В. Щербы. СПб., 1913. 124 стр.

2. Русская речь. Сб. статей под ред. Л. В. Щербы, I. Труды Фонетич. ин-та практич. изучения языков. Пгр., 1923. 243 стр.

3. Русская речь. Сборники, издаваемые отделом словесных искусств Гос. ин-та истории искусств, под ред. Л. В. Щербы. Новая серия, т. I. Л., 1927. 96 стр.; т. II. Л., 1928. 83 стр.; т. III. Л., 1928. 94 стр.

4. О . Н. Н и к о н о в а. В помощь изучающему немецкий язык по радио. Фонетико-грамматический справочник. Под ред. проф. Л. В. Щербы. Л., 1930. 22 стр.

5. С. Г. Б а р х у д а р о в и Е. И. Д о с ы ч е в а, Грамматика русского языка. Учебник для неполной средней и средней школы. Ч. I. Фонетика и морфология. М., 1938. 223 стр. (Ред. коллегия: Л. В. Щерба, Д. Н. Ушаков, Р. И. Аванесов, Е. И. Кореневский, Ф. Ф. Кузьмин); ч. II. Синтаксис. М., 1938. 140 стр.

6. Н. Г. Г а д д и Л. Я. Б р а в е. Грамматика немецкого языка для III и IV курсов вузов и втузов. Под ред. проф. Л. В. Щербы. М., 1942. 246 стр.

7. Грамматика русского языка. Учебник для 5 и 6 классов семилетней и средней школы. 5-е испр. и доп. изд., под ред. акад. Л. В. Щербы.* Ч. I. Фонетика и морфология. М., 1944. 207 стр.; ч. II. Синтаксис. М., 1944. 151 стр.

8. Сборник упражнений по орфографии для 5 и 6 классов семилетней и средней школы. Под ред. акад. Л. В. Щербы.* М., 1944. 159 стр.

Посмертные издания

1. Очередные проблемы языковедения. — ИАН ОЛЯ, 1945, т. 4. вып. 5, стр. 173—186.

2. The Atlas of Russian Languages and Dialects. Dialectological Conference of the Academy of Sciences of the USSR. — The Modern Language Review, 1945, vol. XL, № 1 (January).

3. Новое об ударении. — Труды юбил. научн. сессии ЛГУ (1819—1944). Л., 1946, стр. 70—71. (Тезисы доклада).

4. Преподавание иностранных языков в средней школе. Общие вопросы методики. М., 1947. 96 стр.
5. Фонетика французского языка. Очерк французского произношения в сравнении с русским. Изд. 3-е. М., 1948.
6. То же. Изд. 4-е. М., 1953.
7. То же. Изд. 5-е. М., 1955.
8. То же. Изд. 6-е. М., 1957.
9. То же. Изд. 7-е. М., 1963.
10. Русско-французский словарь. Изд. 3-е. М., 1950.
11. То же. Изд. 4-е. М., 1955.
12. То же. Изд. 5-е. М., 1956.
13. То же. Изд. 6-е. М., 1957.
14. То же. Изд. 7-е. М., 1958.
15. То же. Изд. 8-е. М., 1962.
16. То же. Изд. 9-е. М., 1969.
17. [Вступительная статья в кн.] И. П. Сунцова. Вводный курс фонетики немецкого языка. Киев, 1951.
18. Грамматика русского языка, т. I. Фонетика и морфология.* М., 1952.
19. Избранные работы по русскому языку. М., 1957.*
20. Избранные работы по языкознанию и фонетике, т. I. Л., 1958.*
21. Из лингвистического наследия Л. В. Щербы: О задачах лингвистики; Что такое словообразование? (Тезисы доклада); О дальше неделимых единицах языка. — Вопросы языкознания, 1962, № 2.
22. Ф. Ф. Фортунатов в истории науки о языке. — Вопросы языкознания, 1963, № 5.
23. Памяти А. Мейе. — Вопросы языкознания, 1966, № 3.
24. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.*

Труды в рукописи*

1. В защиту французского языка. [20-е годы.] 1/4 п. л.
2. Мнение Л. В. Щербы об орфографической инструкции для юбилейного академического издания сочинений Пушкина. 3/4 п. л.
3. Литературный язык и пути его развития. 1/2 п. л.
4. Несколько слов по поводу орфографического словаря для начальной, неполной средней и средней школы проф. Д. Н. Ушакова. 1935. 1/4 п. л.
5. Грамматика (статья для МСЭ).
6. Конспект лекций по синтаксису.
7. О фонемах немецкого языка.

Стенограммы докладов и лекций

1. Лексика как система языка.
2. О задачах и методах диалектологической работы. 1.5 п. л.
3. Методы лексикологической работы. 1 п. л.
4. К вопросу о распространении у нас в Союзе знаний иностранных языков и состоянии у нас филологического образования, а также о мерах к поднятию того и другого. 1944. 1 п. л.
5. Лекции, читанные в Институте живого слова в 1918—1919 гг. (7 стенограмм).
6. Лекции по фонетике, читанные на различных курсах иностранных языков в 1928 г. (6 стенограмм).
7. Лекции по методике преподавания иностранных языков, читанные для методистов в 1928 г. (3 стенограммы).
8. Лекции по русскому языку, читанные в Ленинградском театре юных зрителей в 1933 г. (2 стенограммы).

ПРИМЕЧАНИЯ

- к стр. 13* Как видно из дальнейшего, Щерба хотел этим подчеркнуть, что отдельный звук — это не акустическая единица, а языковая. Мысль, которая в наши дни становится аксиоматической.
- к стр. 22* Л. В. Щерба имеет в виду те труды Ф. Ф. Фортунатова, которые при жизни Л. В. Щербы существовали только в старых литографированных изданиях. Они были опубликованы впервые в 1956—1957 гг. в двух книгах: Академик Ф. Ф. Фортунатов. Избранные труды, т. 1. М., 1956; т. 2, М., 1957.
- к стр. 24* Впервые опубликовано в Изв., Отд. 1931.
- к стр. 30* Перевод этой статьи см. ниже, стр. 60.
- к стр. 33* См. ниже, стр. 77.
- к стр. 39* Примечание сделано редакцией ИАН ОЛЯ, где в 1945 г. (т. IV, вып. 5) статья печаталась.
- к стр. 40* См. стр. 60.
- к стр. 41* См. ниже, стр. 60. Л. В. Щерба неоднократно возвращался к вопросу о двуязычии, особенно в работах по методике преподавания иностранных языков, изданных позже.
- к стр. 42* См. работы Л. В. Щербы по лексикографии (ниже стр. 265 и сл.). Эта точка зрения Л. В. Щербы не нашла широкого отклика. Следует указать однако на статью А. К. Боровкова «Агглютинация и флексия в тюркских языках» (Сборник «Памяти академика Льва Владимировича Щербы», Л., 1951).
- к стр. 60* Оригинал статьи был напечатан на французском языке под названием «Sur la notion de mélange des langues» в «Яфетическом сборнике» (IV, Л. 1925, стр. 1—19). Перевод на русский язык, выполненный И. А. Щерба, печатается впервые.
- к стр. 60* См.: Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Geschäftliche Mitteilungen, 1904, S. 112.
- к стр. 61* См.: Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afdeeling Letterkunde. Nieuwe Reeks, Deel XIV, N 6, 1914, S. 111 и сл.
- к стр. 61* Имеется в виду сборник важнейших статей Г. Шухардта по общему языкознанию, изданный Л. Шпицером под названием Hugo Schuchardt-Brevier. Ein Vademecum der allgemeinen

Sprachwissenschaft» (Halle, 1925). Русский перевод этой книги вышел в 1950 г. в Москве под названием: Г. Шухардт. Избранные статьи по языкознанию.

- к стр. 62 См.: Berichte über die Verhandlungen der königlichen sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften Philosophisch-historische Classe, Bd. 49. Leipzig, 1897, S. 113.
- к стр. 62 Статья напечатана в «Journal de la Société finno-ougrienne», 30, N 5. Helsinki, 1913—1918. В указанном примечании сказано: «Так, язык цыган Армении с армянской грамматикой, но с цыганской лексикой должен рассматриваться уже как некий вид армянского языка; использование цыганской лексики с армянской грамматикой делает этот язык арготическим. Так как морфологические элементы могут усваиваться из дивергирующего языка, то теоретически понятие „смешанный язык“, которое многими отрицается, не может быть отвергнуто».
- к стр. 64 В указанном примечании читаем: «Она (трудность) состоит в том, что все мы, также и те, которые являются решительнейшими противниками материализации языка, все же говорим о языковых процессах так, как будто они протекают в языке как в чем-то самостоятельном, а не в говорящих».
- к стр. 74 Печатается впервые по протоколу доклада, прочитанного 29 апреля 1933 г. в Научно-исследовательском институте языкознания при Ленинградском государственном университете.
- к стр. 75 Здесь Щерба имеет в виду статью А. Павловича «Между Сциллой и Харибдой» (Родной язык в школе, 1923, № 1, стр. 12). См. также настоящий сборник, стр. 80.
- к стр. 77 В протокольной записи пропущено третье направление развития грамматики. Судя по отдельным фразам (их пришлось опустить из-за неясности изложения), третья линия — это историзм в изучении грамматики.
- к стр. 77 Впервые опубликована в сборнике «Русская речь» (Новая серия, II, Л., 1928). В вып. III этого сборника (1928) на стр. 94 в сноске было напечатано следующее примечание: «Считаю своим долгом отметить, что некоторые идеи этой статьи послужили темой лекции, прочитанной мною летом 1927 года в Сорбонне по приглашению французского комитета научных сношений с Россией, которому и приношу здесь свою благодарность».
- к стр. 92 Эти глаголы не имеют формы лица в том смысле, что у них нет противопоставления по лицу (1-е и 2-е лицо отсутствует).
- к стр. 94 В сб. «Русская речь», вып. III, на стр. 94 была напечатана «Поправка к статье Л. В. Щербы: О частях речи в русском языке» следующего содержания: «Уже при самом выходе второго сборника друзья мои указали мне на невозможность относить вопросительную категорию в число знаменательных. Это совершенно верно, и я спешу исправить недоразумение. Но, конечно, это и не служебная категория, а какая-то особая. Может быть, „модальная“? Отмечу, что в нее входит и вопросительная частица *ли*. Л. Щ.».
- к стр. 99 См. русский перевод: О. Есперсен. Философия грамматики. М., 1958.
- к стр. 100 Опубликовано в сборнике «Русская речь», I (Пгр., 1923). Сборник выходил под редакцией Л. В. Щербы. Следующие выпуски

составившие «Новую серию» (вып. I—III), выходили с 1927 по 1928 г.

- к стр. 102 Л. В. Щерба приводит здесь ряд авторов без конкретных указаний, какие работы он имеет в виду.
- к стр. 103 Впервые напечатано в ЖМНП, 1908.
- к стр. 106 См.: R. Thurneysen. Zu den Zahladverbien auf *-iens*. — In: Archiv für lateinische Lexicographie und Grammatik mit Einschluss des älteren Mittellateins. Leipzig, 1888, V, S. 575—576.
- к стр. 109 См.: R. von Planta. Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte. Strassburg. 1892—1897.
- к стр. 110 Русский перевод этой работы см. в книге: И. А. Бодуэн де Куртене. Избранные труды по общему языкознанию. М., 1963.
- к стр. 110 Публикуемый здесь раздел представляет собой введение к экспериментально-фонетическому исследованию «Русские гласные в качественном и количественном отношении». СПб., 1912.
- к стр. 120 Имеется в виду статья «Несколько слов о сложных согласных звуках» (Л. В. Щерба. Избранные работы по языкознанию и фонетике, т. I. Л., 1958, стр. 105—109).
- к стр. 125 1-е издание этой книги вышло в 1937 г.
- к стр. 134 Приложение II в данном издании опущено.
- к стр. 135 Впервые опубликовано в ИОРЯС (т. XIV, кн. 4, 1909).
- к стр. 140 Статья С. Булича «О произношении русского л (польского ł)».
- к стр. 141 Впервые напечатана в сб. «Записки нефилологического общества» (вып. VIII, Пгр., 1915).
- к стр. 147 Впервые опубликована в сб. «XLV академику Н. Я. Марру» (М.—Л., 1935).
- к стр. 150 Печатается по стенограмме лекций, читанной 27 XI 1918 в Институте живого слова, существовавшем в Ленинграде с 1918 до 30-х годов. Лекция публикуется с сокращениями. Полный текст хранится в Архиве АН СССР в Ленинграде.
- к стр. 152 Печатается по стенограмме. Лекция читалась в том же институте 27 XII 1918. Печатается с сокращениями. Полный текст хранится в Архиве АН СССР в Ленинграде.
- к стр. 152 Это издание вышло в 1876 г. Начиная со второго издания (1881), книга стала называться «Grundzüge der Phonetik».
- к стр. 156 Печатается по стенограмме. Лекция читалась 29 IX 1928 в Фонетической школе, состоявшей при Научно-исследовательском институте сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока при Ленинградском университете. Лекция печатается в извлечениях. Полный текст хранится в Архиве АН СССР в Ленинграде.
- к стр. 158 Статья из БСЭ, т. 29, 1935.
- к стр. 159 Статья написана в мае 1941 г. Книга издана в Киеве в 1951 г.

- к стр. 171 Русский перевод, выполненный М. И. Матусевич, печатается впервые. Очерк вышел отдельным изданием на французском языке под названием «Court exposé de la prononciation russe» (Supplément du Maître Phonétique, novembre—décembre 1911).
- к стр. 171 См.: Exposé des principes de l'Association Phonétique Internationale. Bourg-la-Reine (Seine), 1905.
- к стр. 175 Далее идет текст басни «Северный ветер и солнце» и его транскрипция, которые в данном издании опущены.
- к стр. 176 Печатается впервые. Рукопись, хранящаяся в Архиве АН СССР, не датирована, но, по-видимому, относится к последнему году жизни Л. В. Щербы. В основу статьи, оставшейся незаконченной, легли некоторые идеи, высказанные Л. В. Щербой в докладе «Новое о русском вокализме в связи с пересмотром вопроса о русском ударении», читанном на заседании ОЛЯ АН СССР 25 августа 1943 г. Фрагменты записи доклада, сделанной А. А. Реформатским, хранятся в Архиве АН СССР.
- к стр. 177 Впервые напечатано в бюллетене «Учебно-воспитательная работа в специальных школах» (№ 1—2, М., 1943). Печатается с сокращениями.
- к стр. 185 Впервые напечатано в сборнике «Методы исследования и воспитания слуха и ритма у глухонемых и тугоухих детей» (под ред. проф. Д. В. Фельдберга. М., 1936).
- к стр. 188 См.: Н. G u t z m a n n. Physiologie der Stimme und Sprache. Braunschweig, 1909; Nagels Handbuch der Physiologie des Menschen, 1908.
- к стр. 190 Ленинградский экспериментальный детский дефектологический институт.
- к стр. 191 Впервые опубликовано посмертно по рукописи, относящейся к 1942—1943 гг., в книге: Л. В. Щ е р б а. Избранные работы по русскому языку. М., 1957.
Это часть задуманной Л. В. Щербой работы, аналогичной книге И. А. Бодуэна де Куртенэ «Об отношении русского письма к русскому языку» (СПб., 1912). Работа эта осталась незаконченной (из-за кончины автора) даже и в первой ее части, а от второй сохранились лишь отдельные отрывки, которые невозможно оформить для опубликования. Незаконченность первой части выявляется в отсутствии некоторых предполагавшихся разделов, как например раздел «Русское правописание и его принципы» (что видно из текста), а также и некоторые другие. Сказывается она и в рубрикации, не очень четкой и без нумерации.
- к стр. 206 Л. В. Щерба имел в виду статью Бодуэна «Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen. (Veranlasst durch die gleichnamige Broschüre von K. Brugmann und A. Leskien)», опубликованную в «Annalen der Naturphilosophie» (Bd. VI, Leipzig, 1907, SS. 385—433).
Русский перевод отрывка из этой статьи см.: И. А. Б о д у э н д е К у р т е н э. Избранные труды по общему языкознанию, т. II. М., 1963, стр. 139—140.
- к стр. 229 Впервые напечатано в «Русском филологическом вестнике» (1905, т. IV).

- к стр. 234 Проект составлен Т. Борукаевым, Х. Сруховым, А. Пшеноковым и М. Афауновым под руководством Т. Борукаева.
Статья публикуется впервые. Она была написана в 1936 г. и явилась результатом обсуждения этого проекта в Институте языка и мышления АН СССР. Ряд предложений Л. В. Щербы был принят и осуществлен в кабардинском алфавите.
- к стр. 236 Это замечание Щербы сохраняет свое значение и в наши дни, так как здесь имеются в виду не просто умеющие писать, а пишущие для многих читателей.
- к стр. 241 Впервые напечатано в «Литературной энциклопедии» (т. IX, М., 1935).
- к стр. 245 Напечатано впервые в ИОРЯС (1911, т. XVI, кн. 4, стр. 161—177).
- к стр. 248 Далее Щерба приводит таблицу, которая здесь не дается, так как устарела в настоящее время.
- к стр. 249 Международный фонетический алфавит публикуется в каждом номере журнала «Le maître phonétique».
- к стр. 249 Впервые напечатано в «Bulletin de la Société de Linguistique de Paris» (1928, t. XXIX, fasc. 1 (№ 86)) на французском языке под названием «Notes sur la transcription phonétique». Перевод выполнен М. А. Виллер.
- к стр. 249 Имеется в виду брошюра «Transcription phonétique et translittération» (Oxford, 1926).
- к стр. 253 Напечатано впервые в ИАН ОЛЯ (1940, № 3).
- к стр. 265 Напечатано впервые в ИАН ОЛЯ (1940, № 3).
- к стр. 267 Издание, составившее 27 томов, было закончено в 1956 г. Второе, стереотипное, издание было осуществлено в 1966—1970 гг.
- к стр. 268 Имеются в виду следующие словари:
F. Miklošich. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886; E. Berneker. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908—1913; W. Meyer-Lübke. Romanisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1930; F. Dietz. Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen. Bonn, 1878; G. Körtling. Lateinisch-romanisches Wörterbuch (Etymologisches Wörterbuch der romanischen Hauptsprachen). Paderborn, 1907.
- к стр. 281 Статья опубликована в настоящем томе (стр. 24—39).
- к стр. 296 В 30-х годах Всесоюзный Совнархоз издавал некоторые книги в Берлине.
- к стр. 304 Впервые опубликовано в 1-м изд. словаря (М., 1939).
- к стр. 313 Статья написана в 1930 г. для узбекского журнала «Oʻlengʻ», где она и была напечатана на узбекском языке, русский текст публикуется впервые.
- к стр. 314 Статья Б. А. Ларина, о которой здесь идет речь, была опубликована под названием «О лингвистическом изучении городов» в сборнике «Русская речь», Новая серия, III. Л., 1928.
- к стр. 315 Перевод этой статьи помещен в настоящем томе (стр. 60).

- к стр. 319* Две главы (гл. 1 и гл. 7) из книги, вышедшей в Москве в 1947 г. под тем же названием.
- к стр. 338* Впервые опубликовано в сб. «Иностранный язык в средней школе» (1934, вып. 1).
- к стр. 344* Статья из журнала «Советская педагогика» (1942, № 5—6).
- к стр. 347* 25 VIII 1932 ЦК ВКП(б) принял постановление «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе», в котором говорится: «Признать необходимым, чтобы средняя школа обязательно обеспечивала знание одного иностранного языка каждому оканчивающему школу». 13 V 1939 Всесоюзный комитет по делам высшей школы издал приказ «О постановке преподавания иностранных языков в вузах и втузах».
- к стр. 357* Раздел XV отсутствует в оригинале.
- к стр. 364* Речь идет о статье «Опыты лингвистического толкования стихотворений. II. „Сосна“ Лермонтова в сравнении с ее немецким прототипом» в сб. «Советское языкознание» (т. II, Л., 1936).
- к стр. 366* Впервые напечатано в журнале «Русский язык в советской школе» (1930, № 3).
- к стр. 379* Печатается впервые.
- к стр. 381* Напечатано в ИРЯС (1930, т. III, кн. 1).
- к стр. 391* См. примечание к стр. 61.
- к стр. 394* Указанный перечень здесь опущен, так как он был недавно опубликован под названием «Некоторые из общих положений, к которым довели Бодуэна его наблюдения и исследования явлений языка» в книге: И. А. Бодуэн де Куртене. Избранные труды по общему языкознанию, т. I. М., 1963.
- к стр. 394* Напечатано в ИОРЯС (1920, т. XXV).
- к стр. 399* Впервые напечатано в «Вопросах языкознания» (1963, № 5). — Рукопись не датирована, написание ее относится к концу 30-х годов.
- к стр. 405* Впервые опубликована в «Вопросах языкознания» (1966, № 3). — Рукопись не имеет точной даты. Статья была написана вскоре после смерти Мейе и предназначалась для «Известий Академии наук».
- к стр. 417* Основная работа по исправлению и дополнению учебника была выполнена его автором С. Г. Бархударовым совместно с Л. В. Щербой.
- к стр. 417* В составлении сборника принимали участие проф. С. Г. Бархударов, проф. Е. Н. Петрова, К. А. Воскресенская, В. М. Смолькова, А. Д. Сазанова, Л. В. Янушевич, В. Н. Клюева.
- к стр. 418* Л. В. Щербой написаны часть «Введения» и часть раздела «Фонетика».
- к стр. 418* В этом сборнике впервые были опубликованы: 1. К вопросу о русской орфоэпии. 2. Теория русского письма. 3. Система учебников и учебных пособий по русскому языку в средней школе. (Тезисы доклада).

к стр. 418 В этом сборнике впервые были опубликованы: 1. К вопросу о распространении в СССР знания иностранных языков и о состоянии филологического образования. 2. О второстепенных членах предложения. 3. Что такое сравнительный метод. (Тезисы доклада).

к стр. 418 В настоящем томе впервые опубликованы: 1. Из лекций по фонетике. 2. Об ударении. 3. Мнение Л. В. Щербы о проекте кабардинского алфавита на основе русской графики. 4. Об особенностях преподавания русского языка в национальных республиках и областях.

к стр. 418 Рукописи хранятся в Архиве АН СССР в Ленинграде.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
ИАН ОЛЯ — Известия АН СССР, Отделение литературы и языка
Изв., Отд. — Известия АН СССР, Отделение общественных наук
ИОРЯС — Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ИРЯС — Известия по русскому языку и словесности
М. а. — Международный фонетический алфавит
РФВ — Русский филологический вестник
ФЗ — Филологические записки
A. S. Ph. — Archiv für slavische Philologie
B. B. — Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen
B. S. L. — Bulletin de la Société de linguistique de Paris
I. F. — Indogermanische Forschungen
I. F. Anz. — Indogermanische Forschungen; Anzeiger
M. S. L. — Mémoires de la Société de linguistique de Paris
-

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Предисловие	3
Л. В. Щерба. Основные вехи его жизни и научного творчества (Л. Р. Зиндер и М. И. Матусевич)	5

I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ

О тройком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языко- знании	24
Очередные проблемы языковедения	39
О понятии смешения языков	60
Новая грамматика	74
О частях речи в русском языке	77
Предисловие [к сборнику «Русская речь»]	100
К личным окончаниям в латинском и других итальянских диалектах	103

II. ФОНЕТИКА

Русские гласные в качественном и количественном отношении [Извлечения из книги]	110
Фонетика французского языка [Извлечения из книги]	125
Субъективный и объективный метод в фонетике	135
О разных стилях произношения и об идеальном фонетическом со- ставе слов	141
О «диффузных» звуках	147
[Из лекций по фонетике]	150
[1. Фонетика как лингвистическая наука] 150. [2.] Фонети- ческие методы 152. [3. О фонеме и ее оттенках] 156.	
Интонация	158
[Вступительная статья к книге И. П. Сунцовой «Вводный курс фо- нетики немецкого языка»]	159
Краткий очерк русского произношения	171
Об ударении	176
Разбор книги М. Е. Хватцева «Логопедия» («Недостатки речи у детей и их устранение». Изд. 2-е, перераб. М., 1939)	177
О взаимоотношениях дисциплин, изучающих звуки речи	185

III. ТЕОРИЯ ПИСЬМА, ТРАНСКРИПЦИЯ, ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ

Теория русского письма	191
Несколько слов по поводу «Предварительного сообщения орфо- графической подкомиссии»	229
Мнение Л. В. Щербы о проекте кабардинского алфавита на основе русской графики	234

Пунктуация	241
К вопросу о транскрипции	245
Заметки о фонетической транскрипции	249
Транслитерация латинскими буквами русских фамилий и географических названий	253

IV. ЛЕКСИКОГРАФИЯ

Опыт общей теории лексикографии	265
Предисловие [к Русско-французскому словарю]	304

V. МЕТОДИКА

К вопросу о двуязычии	313
Преподавание иностранных языков в средней школе [Извлечения из книги]	319
О взаимоотношениях родного и иностранного языков	338
Общеобразовательное значение иностранных языков и место их в системе школьных предметов	344
Трудности синтаксиса русского языка для русских учащихся	366
Об особенностях преподавания русского языка в национальных республиках и областях. Тезисы доклада	379

VI. ПЕРСОНАЛИИ

И. А. Бодуэн де Куртене (Некролог)	381
Методы лингвистических работ А. А. Шахматова	394
Ф. Ф. Фортунатов в истории науки о языке	399
Памяти А. Мейе	405
Список трудов акад. Л. В. Щербы	413
Примечания	419
Список сокращений	426

Лев Владимирович Щерба

ЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМА И РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

*Утверждено к печати Комиссией по истории филологических наук
Отделения литературы и языка АН СССР*

Редактор издательства Г. А. Щербакова. Художник Д. С. Данилов
Технический редактор Н. А. Кругликова
Корректоры Н. В. Лихарева и Т. Г. Эдельман

Сдано в набор 2/I 1974 г. Подписано к печати 19/IV 1974 г. Формат бумаги 60×90^{1/16}.
Бумага № 1. Печ. л. 26^{3/4} + 1 вкл. (1/8 печ. л.) = 26^{7/8} усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,18.
Изд. № 5500. Тип. зак. № 829. М-37568. Тираж 5500. Цена 2 р. 02 к.

Ленинградское отделение издательства «Наука»
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская линия, д. 1